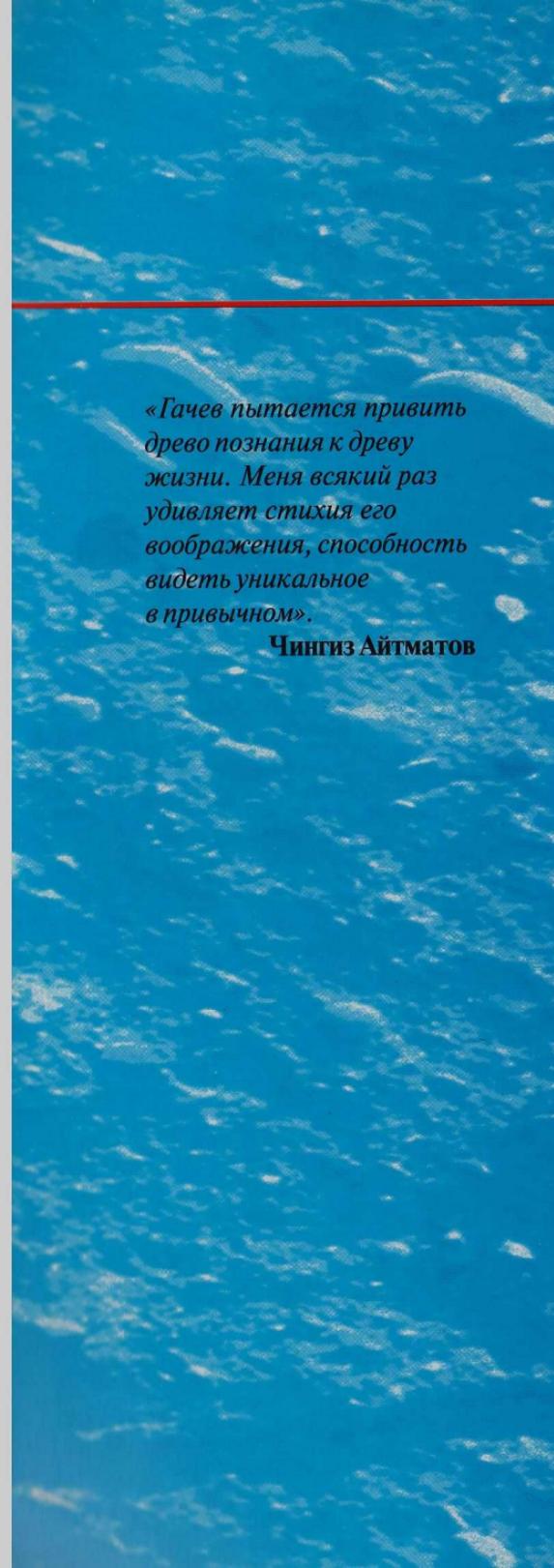


Георгий ТАЧЕВ

Национальные
Образы
Мира



«Кавказ»



«Гачев пытается привить
древо познания к древу
жизни. Меня всякий раз
удивляет стихия его
воображения, способность
видеть уникальное
в привычном».

Чингиз Айтматов

УДК 821.161.1

ББК 84 (2 Рос=Рус)

Г24

Федеральная программа книгоиздания России

Гачев Г.Д.

Г24 Национальные образы мира. Кавказ. Интеллектуальные путешествия из России в Грузию, Азербайджан и Армению.— М.: Издательский сервис, 2002.— 416 с.

ISBN 5-94186-010-2

Книга известного ученого-культуролога и писателя Г.Д. Гачева продолжает его многотомную серию сравнительных описаний культур и миропониманий разных народов «Национальные образы мира». Каждая национальная целостность рассматривается как своеобразный Космо-Психо-Логос, т. е. единство местной природы, характера народа и его склада мышления. Ландшафт, язык, быт, танец, застолья, песня, роман — все служит автору как текст, в котором он остроумно вычитывает национальную систему ценностей, логику и психику каждого народа. Настоящий том посвящен странам Кавказа. Грузия, Азербайджан, Армения предстают как особые миры со своим умом — «менталитетом». Книга учит понимать и любить непохожесть каждого народа, видеть в различиях дополнение и обогащение своего миропонимания культурой соседа.

Книга написана в жанре дневника путешествий и раздумий, есть опыт экзистенциальной культурологии, когда личность автора и его жизнь включены в процесс исследования. Книга — факт и науки, и литературы. Она может послужить как политикам, так и учебным пособием для вузов при изучении национальных особенностей культур. И для возвращения к себе, для работы «познай самого себя» — каждому народу и человеку.

УДК 821.161.1

ББК 84 (2 Рос=Рус)

ISBN 5-94186-010-2

© Гачев Г., 2001

© Академический Проект, оригинал-макет, оформление, 2002

© Издательский сервис, 2002

Оглавление

От автора	7
Про что эта книга?	11
ВМЕСТО ПРОЛОГА	15
Гроздь и гранат. Конь и ковчег	
Заметки о национальной символике в кино	15
СВЕТ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ	
Грузия	36
Предуведомление	36
Юмор, совесть и горы	37
Историософия Грузии	44
Космос при-СУГ-ствия	49
Философия застолья. Тамадизм.	51
Космос При-Бытия	57
В гостях у режиссера Стуруа	61
Притча об окне и зеркале, или как я убег от познания самого себя	68
Музыка и пляски	70
Женщины Грузии о своих мужчинах	73
Акценты в Троице	76
Хитрость — да. Непосредственность — нет	81
Род и свобода личности	83
Логос грузинского языка	86
В гостях у художников	93

Кавказ

Эзотерическое тайнознание о национальном	97
Скульптура и живопись	101
Иерархия стихий и чувств	105
Религиозное чувство	107
Застолье русское и грузинское	109
Любовь и Дружба	114
Горное право	122
Грузинский Эрос	130
ГОРЫ умаляют Небо и Отца	133
Письмо Гурама Асатиани	136
Грузинские сказки	139
Гость не по-грузински...	142
Продолжение сказки	146
«Руставели»	152
Горная социология	154
Отступление о методе	158
Домашняя интермедиа	162
Бог и царь. Князь и крестьянин	167
Линия поведения	174
Мысли об истории Грузии	176
Субстанция братства России и Грузии	186
Мировоззрение Языка	191
Силуэты имен	193
Мечтанская смерть: от сына...	199
Разговор с музыковедом	200
Дорога — впредь = вспять...	203
Разочарование в «жизнемысли»	211
Аккорд «шайри»	212
Слезы сквозь Свет	214
КОСМОС ОГНЕ-ВОДЫ	
Азербайджан	218
Сад и Рок	219
Кура и Дорога	225
Огнедышащий Логос	234

Первые наблюдения	244
Глазею на набережной	247
Учусь неспешности	250
Разговор с азербайджанским интеллигентом	255
Анар и Тогрул	258
Недоразумение	261
Коран и Духовность	263
Азербайджанствую!.....	265
Культуролог Рахман	268
Художник Джавад Мирджавадов	278
Фонетика и музыка	282
Космос ковра	292
Понятные имена	297
И снова — на ковер!	300
Меджлис культурологов	306
А женщины каковы?	313
Национальный запах	314
Путь — с возвратом	315
Желтые березы	326
Одухотворение азербайджанства	331
Азербайджан и Россия	345
Взгляд на игры истории	346

БЕЛЫЙ АРАПАТ И ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

Армения	351
Еду в Армению — с ТОСКОЙ по РОССИИ	
(Полупутешествие в октябре 1973 года)	351
В вагоне	353
В Гаграх	353
В армянском храме	361
У молокан	364
Чужая жизнь в Ереване	367
Картины Сарьяна	369
Удобно Армении под Россией	372
На винзаводе	376

В Эчмиадзине	381
Лаваш и хачкар	384
Еду на долг жить	392
У Бога не убудет	392
Русский космос возникает	393
Григор Нарекаци	401
Черное солнце	403
НЕТ БОЛЬШЕЙ ПЕЧАЛИ...	
(Послесловие)	408

От автора

Как вздыбились ныне национальные страсти! Народы хотят быть самими собой — то есть не такими, как другие! Но чего добиваются бряцанием слов и в спорах оружием? Заиметь собственный парламент и президента, границы, валюту-монету, таможню и армию, посольства во всех странах, свой сыск госбезопасности, свой государственный язык... Да Бог ты мой: хотят, оказывается, быть «как все», «чтобы у нас, как у людей»! То есть, нивелироваться под общий ранжир. И в войнах за это уничтожают свою и чужую природу, памятники старины, книгохранилища — субстанцию своей культуры!.. Вот те и на! Ну и переплеты и парадоксы — в этой национальной проблеме!..

Я описываю национальные особенности в мышлении и культуре разных стран и народов уже более 30 лет и, хотя не мог ничего почти публиковать на эту тему в годы обязательного казенного «интернационализма» (из-за опаски редакторов и цензуры: а не подкармливаю ли я национализм этими своими исследованиями?), имел то преимущество, что делал свои работы в спокойную эпоху все же реально существовавшей «дружбы народов» (хотя и несовершенной, конечно), национального благожелательства друг к другу, и мог предаваться бескорыстному любознанию и малевать «лица необщье выраженье» каждого народа и его культуры. Я вершил теоретическое познание сущности, «души» и «духа» каждого народа без мысли, что это мо-

жет иметь практическое применение. Но вот вдруг вскипела прагматика «национального вопроса», и все ринулись РЕШАТЬ его сразу и скорее, однако, оказывается, без понятия не только о сложности и тонкости этой материи вообще, но и без понятия о самих себе, что вроде бы целят реализовать, а именно: самость свою! А в горячке страстей и действий где уж заниматься теорией и спокойным, неторопливым самоисследованием, сократову работу: «познай самого себя!» — осуществлять? Тут — лишь бы успеть! Не опоздать! А ЧТО успеть — не опоздать? Об этом думать некогда: потом, мол, разберемся!..

И вот оказывается, что мои неспешно писавшиеся портреты национальных миров могут быть ныне полезны: содействовать и само-, и взаимо-познанию народов. Побудить подумать, прежде чем делать и рукам волю давать. Остудить горячечные головы и сердца сердящиеся. Мои интеллектуальные головоломки на национальную тему — да будут заместо физических!.. Выходит, впрок я работал: ведь сейчас такие исследования осуществлены быть не могут: национальные субстанции взболтаны и замутнены, а прежде их моря были спокойны и воды прозрачны, и я мог долго и на большую глубинуглядываться...

Когда проникаешь умом в толщу национальной целостности каждого из современных народов, видишь, что всеопределяющим для ее склада явился исходный способ хозяйствования среди природы. Каждый в прошлом — или кочевник (как араб или тюрк), земледелец (как русский) или горец (как грузин)... Это — грубая классификация, конечно, но она позволяет с чего-то начать различение, которое будет все усложняться и конкретизироваться, разветвляться. Еще и народы мореходы-островитяне, как греки, англичане, индонезийцы... И везде всё есть: у всех и земледелие, и пастушество... — но в разной пропорции и удельном весе в быте, обычаях и культуре. А их описать и что может значить каждая тут деталь — мне главный вкус и азарт.

Однако, читая мои анализы и гипотезы, читатель да отдает себе отчет, что тут важен не только предмет (данний народ, стра-

на, национальная культура), а и выработанный мною метод распутывания любой национальной реальности и способ чтения ее предметности: как переводить язык быта и вещей — на язык идей и смыслов. Намотав себе на ус (на антенны-усики ума) эту технику, каждый сможет затем сам применить ее к интересующей его национальной действительности, разобраться лучше в проблеме своей собственной «национальной идентичности»: кто я есть и что это может значить и к чему обязывает (и чем мешает) и как стать самим собою как личностью, а не только членом рода-народа-племени, этноса.

В этом — важнейший и животрепещущий для каждого человека аспект национальной проблемы. Предопределен ли я первичной принадлежностью по происхождению к данному народу, его языку и культуре в своем жизнепрохождении, понятиях, целях и делах,— или свободен, как уникальная, единорождающаяся личность? Ответ может быть дан лишь ПРОБЛЕМНО, а не единорешающе. Жизнь наша течет в пространстве, в силовом поле между полюсами Судьбы и Свободы. Своим рождением в данном Космосе, природе, этносе, стране, языке, традиции, культуре — я во многом предопределен изначально быть таковым, а не иным и в своей шкале ценностей и психике, в понятиях и целях. Но ведь такого именно, как я, еще не рождалось и не будет! Недаром есть в нас такое убеждение, и оно «материализовано» в идее о бессмертной душе, которая в нас, в каждого, вложена, и она единственная и неповторима. Она нам — как задание и проект: построить себя и жизнь свою в соответствии с нею, развить себя в личность. И это уже творится в пространстве Свободы, выбором твоей воли — своего идеала, цели, в творчестве предметов и себя.

Национальный Космос, который я пытаюсь реконструировать и восписать для каждого народа, выступает как Судьба, скрижаль завета — эти письмена я пытаюсь рас считать. И это нужно учитывать, чтобы народу и человеку осуществлять свое шествие в Свободе. Народ это делает в ходе Труда за свою Историю, выстраивая самобытную Культуру, которая есть уникальный диалог между Судьбой и Свободой; а

человек строит себя как Личность в жизнетворчестве в ходе прорастания сквозь Бытие и среду и решая мириады микроситуаций свободоволящим «я» своим. Интегралом этих микронамерений и поступков и явится Личность, которую ты со-зиждешь из себя в итоге.

Итак, мой аспект — односторонний: я восписываю, так сказать, «ветхий завет» для каждой национальной целостности и индивидуума из нее. Они призваны писать своими трудами и жизнями «новый завет» — каждое поколение данного народа и каждая личность. Но «новый завет» пишется все равно по письменам и на основе «завета ветхого».

*Деревня Новоселки
5 мая 1993 года*

Про что эта книга?

Ир — един, как небо над нами. Но один народ — на земле, другой — на море, кто — в горах, кто — в лесах: природа-то разная. Еще и языки непохожие, и история пути-дороги свои пролагает каждому народу. Из всего этого, а также и от многих других причин складывается у каждого народа своя картина мира, и ею человек руководствуется в своем поведении и мыслях. Она залегает в душе, как компас, как особая система координат и шкала ценностей. Поэтому-то, хотя все мы — люди, все — люди, не легко разным народам понимать друг друга. А понимать — надо, ибо в мире современном не изолированно, как прежде, обитают страны и народы; из-за недопониманий же много бед происходит. Помните, как у Свифта: один народ составляли «остроконечники», то есть там полагали, что богоугодно разбивать яйцо с остального конца, а другой народ — «тупоконечники», кто тупой конец почитал священным; и между ними из-за этого шли нескончаемые войны. А тургеневский персонаж замечал иронически: все-то может понять человек — и как звездное небо устроено, и философские идеи сложнейшие, но вот как другой человек иначе ложку берет — это ему не вмещается в ум...

Но это значит, что в привычках и вещах быта — особое бытие, философия целая: в наших навыках и умениях — собственный ум. Только надо научиться его понимать: обычай и предметы переводить в мысли и слова.

Этим и занимаюсь я уж более четверти века — охотой на национальный дух. Дело увлекательное, но трудное: чуешь — вот, точно пахнет — русским духом, грузинским, итальянским.., а попробуй-ка поймать, определи, сформулируй его — он ускользает, и ты ловишь себя на том, что говоришь банальности, общие всем народам. Вот почему надо как можно шире зачерпнуть каждый национальный мир, воспринимать его как целостность и усматривать взаимные соответствия всего со всем в нем: устройства юрты — и представлений кочевника о пространстве, мелодики мугама — и психики азербайджан и т. д.

Каждый национальный мир я понимаю как Космо-Психо-Логос, то есть единство местной природы, характера человека и склада мышления. Описываю же его — на старинном языке «четырех стихий»: земля, вода, воздух, огонь — его основные слова. Если их понимать расширительно и символически, то всякую вещь и даже идею можно этими «словами» рассказать: как из этих элементов они составлены; и даже ребенок уловит, в чем там дело.

Мой жанр — интеллектуальное путешествие. Некогда англичанин Стерн отправился в «Сентиментальное путешествие» по Франции и Италии и живописал свои ощущения и чувства там. Я, не отказываясь передавать впечатления и переживания, главное — мысли заношу, соображения и уразумения о том, как думает-рассуждает данный народ и почему бы это так. Как это связано с его природой, бытом, языком, историей, культурой?

В последние годы среди многих прочих описаний национальных образов мира совершил я путешествие в Грузию, Азербайджан и Армению — и их предлагаю в этой книге. Разумеется, и мои наблюдения из предыдущих работ о русском и германском, об английском и французском, об индийском и болгарском, об американском и еврейском и прочих национальных миражах будут тут сказываться и работать в сравнениях, сопоставлениях и толкованиях.

Еще бы я определил мой жанр — как интеллектуальный детектив. Тут весь азарт именно в том, чтобы по немногим данным

верно угадать и реконструировать целое. Специалист по данной стране — как участковый инспектор: знает местность и людей во всех деталях, но приехавший детектив Шерлок Холмс, у кого наметан глаз и велик опыт прежних расследований, подходит к детали как к осколку вселенной — и может уловить ту связь событий, что ускользает от ока местного знатока.

Приступая к описанию национального мира, чувствуешь себя чем-то вроде странствующего космографа-портретиста. Конечно, в своих соображениях и построениях никто не застрахован от неточностей, но есть свой смысл в свежести первых удивлений, в напряженном поиске мысли, в дознании до знания...

Однако прошу читателя о снисхождении. Я могу чего-то не так понять и ошибиться в толкованиях. При этом крен рассуждения в одну сторону может быть уравновешен потом, в другом месте. Так что не торопитесь осуждать... Воля у меня — совершенно добная: понять каждый народ и его образ мира как равнозначность и незаменимость и описать так, чтобы каждый возлюбил в другом — его непохожесть: что другой умеет и видит так, как я не умею и не вижу, — и в этом его необходимость и для моего существования и миропонимания. Не за то ведь мужчина любит женщину, что она — такая же, как он, а за то, что — совершенно не такая же!.. Чудо чудное и диво дивное непохожести и взаимной дополнительности! Народы — как инструменты в симфоническом оркестре человечества: скрипка, фагот, арфа, труба — все разные, и все — музыка.

Итак — в путь!

Москва. 9 сентября 1987 г.

«В путь!»? Ха-ха! Поехал... Не тут-то было: издательства одно за другим пужались: национальную тему не замай! Так страшно щепетильна, задевает национальные чувства!..

Вот и докатились мы до нынешнего состояния, когда стрелять друг в друга воспаленным националам — можно, а издавать-печатать о национальных культурах по-прежнему нет.

О том, что было потом, — в Послесловии.

21 января 1993 г.

Кавказ

На последнем перегоне к изданию крепкую руку помочи
собратски протянул замечательный писатель, сценарист и ре-
жиссер, Председатель Конфедерации Союзов кинематографи-
стов, Рустам Ибрагимович Ибрагимбеков, за что автор выражает
ему свою живейшую благодарность.

3 января 2002 года.

Переделкино.

Вместо пролога

Грозь и гранат. Конь и ковчег Заметки о национальной символике в кино

Н

а днях смотрел три фильма: армянский документально-музыкальный, ибо это симфония из документальных кадров, «Мы» (режиссер Артур Пелешян) и два грузинских фильма Отара Иоселиани: «Листопад» и «Жил певчий дрозд».

Пока я усаживался плотнее, забивался в келью кресла и стущалась тишина и тьма, в душу впорхнуло предчувствие чуда: вот сейчас распахнутся створки, и ты, не сходя с места своего, перелетишь в неведомые тебе доселе небеса и земли и будешь озирать их, как Демон, витая над вершинами Кавказа, вездесущим и всепроникающим взглядом проглядывая насквозь людей, лица и души, и вертограды и веси,— а они и знать не будут, что ты за их бессознательно текущей жизнью надзирать будешь оком все-бытия и всесознания. И священный трепет причастника всемирному всесознанию, будто я, как небожитель, буду сейчас сквозь разрезы облаков в святая святых Земли заглядывать,— священство и кощунство этой предстоящей операции неким трепетом полоснуло и содрогнуло меня — как удар по струнам души-инструмента, привод его в ситуацию музыкальной восприимчивости. Недаром кино называли в начале «волшебным фонарем» — наподобие волшебного зеркала и магического кристалла, через который можно все видеть и через который, например, Хромой бес Лесажа открыл студенту окна и стены соседних домов и показал, что за ними происходит.

Кавказ

Кино — одной природы с телескопом и микроскопом. Как первый обращает подзорную трубу в дали и выси чистых пространств, а второй — надзорную трубу в низи вещества и всякой слизи, их высветвляя, так кино есть взорная в мир людской труба, рентгеноскопия человеческой психеи средь тел и предметов природы и цивилизации.

И как будто чтоб подтвердить это мое себячувствие небожителем, взирающим сквозь сон пространств на страну людей чрез окно экрана, там то вспыхнет вид горной земли, то потухнет — и опять невидаль: воистину как сквозь прорези облаков возникает видение и настраивается антenna на лицезрение Земли. Но вот отстоялась взволнанная муть — и возникла и застыла голова: лик людской. Дитяти. Девочки. Но как будто седой — с такими же клочковатыми растрепанными прядями, как у старухи-сивиллы в прорицании страдания, когда на себя и свой наружный вид не обращается внимания, ибо где там! Нутро надрывается, душа клубится — как же тут со стороны на свой взгляд на чужой взгляд можно задуматься? (А, кстати, это: свой наружный взгляд в любой, даже момент отчаянного горя, — озабочивает миросозерцание всегда артистичного грузина.) И она все смотрит, девочка, а пряди волос развеиваются = соборные нити душ — линии жизней народа своего, как шлем на голове, носит — вешая девочка, парка. И внедряется в душу, как архетип, праматерь армянства, и залегает там как субстанция и вечный фон всех последующих раскатов кадров, что имеют прокатиться по очам души твоей на протяжении сеанса = транса йогического созерцания, когда, отсевая все наружное, сосредоточиваются и видят только средоточие вещей, Истину, сущности.

И кино обладает этим даром символизации: превратить каждую вещь — в вещью, бесконечно много говорящую предметную идею. Кино может быть похоть очес, но и школой медитации, духовного созерцания, йогическим трансом. И все кадры в фильме «Мы» выдержаны на этом патетическом уровне вещей созерцаний, когда все, что ни попадает в кадр: пот на щеке, мышца, искры, камень, шурф, колесо — заряжается от него всевидением и всеведением и начинает излучать из себя сущностную энергию и видится как образ-праобраз, вещь-архетип. Так что

миропостижение и философствование посредством зрелиц-видений-идей, где кадр = понятие,— вот что совершается в фильме «Мы». Но одновременно — и симфония, о чем ниже.

Итак, девочка. В Грузии — мальчик, отрок, юноша, мужчина на переднем плане осознания (и в фильмах Иоселиани так). Страны и народы по телу Земли парно располагаются в соседство: Франция и Германия, Греция и Рим и т. п., так что одна есть по преимуществу женская ипостась Космоса, а другая — мужская. И потому между ними возникают страстные исторические отношения супружества в историко-космическом Эросе. Причем народ, мужеский в одних отношениях, может выступать как женский в других. Германия, например, как историческое тело на кесарево-ургийном уровне, мужеский организм, *Geist*, дух, но внутри, в Психее, душа вечно женская, *schöne Seele*, откуда в ней туманность философии, симфония музыки, как из пифийских недр, испаряются. Франция же выступает на телесно-бытовом и историческом уровне как женская ипостась, тогда как психея ее — *animus*, более сухая, *sèche*, откуда рационализм картезианства, выделанный стиль литературы, живопись и формализм и та душевная сухость, которую чувствовал в своем народе Стендаль. Потому-то жаждут: «пить» (*boire*) Рабле и «оракул божественной бутылки» с его первой заповедью *Drink!*— как смысл бытия.

Грузия на Кавказе во многом аналогична Франции. Тот же культ общения, слога (тост есть всегда некое *mot*), рыцарственность в обхождении, аристизм, тщеславие и забота о впечатлении, пантагрюэлизм вечно жаждущих и осуществляющих религию святой воды — вина. И у Иоселиани, не в фильме-панораме, как о певчем дрозде, а когда ему понадобился сюжет,— сюжет недаром смог организовать именно вокруг винного дела (в фильме «Листопад» герой — технолог виноделия), ибо метафизическое это дело — пиршественные возлияния и подготовка нектара и амброзии для того, чтобы народ чувствовал себя собранием олимпийцев, легко и бессмертно живущих на высиях гор. Потому так легко воспринимается смерть дрозда, ибо олимпийска птица, и смерти-то нет индивидуальной, ибо вообще нет индивидуальной души, а есть соборная хоровая мужская (что в возлияниях и

хоровом пении бытийствует). И что это за смерть — случайный наезд машины! Даже, ей-богу, стыдно за смерть, не к лицу ей так уни(что)жаться, умаляться и заискивать пред жизнью — не серьезно это. Да и кто сказал, что визг машинных тормозов и Х-образная, в разлет крыльев, поза человека на дороге есть именно то, что мы чувствуем как смерть: страх и конец? И как ни старается автор последним кадром несколько ущемить наше сердце: след от героя в крючке для шапки, да завод механизма часов как бездумной жизни, что идет себе безотносительно к лично умершему,— слезы не выжимаются.

По окончании фильма все размышлял над этим парадоксом: вот мне вроде сообщили, что умер человек, и показали воочию свидетельские материалы о катастрофе,— а в душе ни столечки горевания. Хотя вроде можно бы и такую горестную мысль извлечь: вот наша жизнь: прыгаем, скакем средь людей-друзей, и вдруг прихлопнуло — и все, столь дорожившие общением с тобой, чтоб выпить и попеть, иль девы, чтоб полюбить,— равнодушно отворачиваются и проходят. Нет, совсем не о *memento mori* этот фильм: хотя введен факт исчезновения человека, но сущностью смерти здесь и не пахнет — ну что ж? Просто снялся и улетел певчий дрозд на другие горы: с Олимпа на Иду, с Тбилиси на Мцхету. Так что факт смерти введен, чтоб ее совершенно отчудить от души: ее совершенный случай, а не необходимость, лишает ее всякой субстанции возможного переживания в душе.

Но не только ошибка вместо смерти здесь изображена, но и умирать-то некому. Конечно: ведь герой наш совсем не живой телесный человек, грузин, а именно певчий дрозд, легкая певучья птичья душа. Вот почему и телесных примет грузина как этнического типа в нем нет совсем (как мало, но есть, и в Нико, герое «Листопада») — то, что так контрастно подчеркнуто в тех, с кем он общается: скулы, носы, усы. А тут — просто некая грузинская бестелесность, неувесистость. Ну да, конечно, он есть просто *душа* этих людей во плоти тяжкой: они ею обременены и ограничены. А душа в них легкая, летучая, певучая — и вот она стала отдельно от возможных своих тел и воплощений разгуливать, ну как Нос у Гоголя,— прямо душа в пиджаке. Так что и

когда наезд машины — ну и что из того? Просто костюм свой крестообразно скинула, а совсем не крестом распятия распластался жив-мертв человек.

Да, легкая у грузина душа (хотя жизнь может быть и тяжкой, и бедной, и трудной), — ибо так расположился их Космос: поверх земли, средь гор — и даже не средь, «в» горах, а *на* горах, на вершинах, по-птиччи, небо и высь чуя и легко ею дыша. А в долины просто небо засосано, так что и в низинах своих пребывая, они небом дышат.

В Армении ж, где тоже горы, но их соотношение с небом и воздухом иное: горы суть не проходы неба в землю (как долины и ущелья в Грузии), а, напротив, — плацдармы и форпосты завоевания неба землей, поход вздыбившейся матери(и) земли, отелесненье воздуха и оплотнение неба. Поразило меня в фильме «Мы» именно отсутствие неба, его безыдейность, никакая несказуемость даже когда оно над горами появляется, — тогда как у Иоселиани, где тоже нет неба, но склоны гор даны в дымке — парятся, овоздушнены, летучи — вот воспарят и взнесутся.

И что есть вино? Это ведь тоже не кровь земли, а *надземная* солнечная жидкость кустов вино-града: его крупинки — это градины = индивиды, а гроздья = селения, артели, соборные хоры градин и сообщества. И если на Руси — белый град, льдяный, крупицы бела света, то градины винограда — цветные, разложен белый цвет там на спектр: разные длины волн = разные сорта, радужен там свет, и потому почва для живописи.

Итак, вино — жидкий «свет» (= «мир», как есть и *жидкий* гелий, воз-дух), эфир. И он цветной здесь. Недаром и во Франции *волновые* теории вещества: Декартовы вихри, свет трактуется как жидкость тонкая, эфир, флюиды разного рода, жидкие субстанции. Вино, таким образом, есть не кровь земли, ее нутра, а из промежуточного пространства меж небом и землей, из союза солнца-неба-огня-тепла, земной влаги-воды и воздуха (земли-то, т. е. тверди, всего меньше в винограде: кожурка да kostочка, а то и без нее).

Так что виноделие = это выделка пространства меж небом и землей, его возвращение в первичные космические воды; и когда пьют, соединяют свою кровь с влагой мирового простран-

ства,— так что это религиозное дело воссоединения с Целым бытия, и такая литургия и ритуал царят за пиршественным столом у грузина.

А пространство меж небом и землей есть обитель *мужеских* стихий воз-духа, огня, света. Потому и утверждается в психее Грузии и в грузине мужское легкое воз-духовное начало. Однако *апітус* в них женствен...

Плод Армении — гранат. И недаром фильм Параджанова о Саят-Нове назван «Цвет граната». *Армения и Грузия= гранат и гроздь!* Всмотримся в гранат и в виноград. Гранат есть заключенный виноград, гроздь в тюрьме, небо в утробе: в кожуре, в оболочке свиты градины, а не распущены вольно-крылой гроздью. Ну да: гроздь — той же формы фигура, что и крыло. В гранате именно и свершился тайный замысел сути Армении как тайно-священной матери(и) земли: обволокнуть собой воздух, свет и небо — и погрузить все в недра, во внутреннюю жизнь души, откуда сочиться, истекать музыкой, сольным соком души индивидуальной (в Армении не принято хоровое пение так, как в Грузии), ее стоном вековечной заключенности. Но родна эта заключенность, плен стал одухотворенным (небо и солнце и воз- дух, плененные в кожуре граната, стали изнутри кожу земли высовывать, откуда и розовость армянского туфа и полотен Сарьянна), и родна и любима стала мука и печаль родной земли, и ностальгия по ней: сцены возврата, репатриации, объятия, патетика встречи, воссоединения — раскатываются по фильму «Мы», есть кульминация там: объятия репатриантов — впи(ты)ваются друг в друга, словно приникают к матери земле родной, в нее вгрызаются — в лица, как в гранат.

И гранат есть, в отличие от винограда, гораздо более кровь земли: хотя и тоже вознесен в промежуточное пространство меж небом и землей, но на мощных ногах — стволах — туловищах деревьев (а не на курьих ножках кустов винограда, которые сами не стоят на земле, приходится их подпирать, подвязывать). Гранат, как плод, взметнутый в небо, есть более результат агрессии земли на небо, присвоение ею солнечного огня, абсорбция и узурпация. Да и земли в нем больше: огромно ядро, гора кости в каждой градине, а меж ними — розовый туф мясистых прослоек.

И если в Грузии прыгает певчий дрозд, то в Армении — петух, которого ритуально режут: обезглавливают ипускают кровь (сладострастие медленного пускания крови, как и выдавливание сока печали из граната и окровяненье белизны,— очень подчеркнуты в фильме Параджанова о Саят-Нове). И через петуха опять мы к парности Грузии и Францииходим. Ведь там — галльский петух, фанфарон, на коне, самок пасет на своем cour'e, средь куртуазности. Ибо знает он свои права, как птица зари, утра, огнесвета, предвещающая каждодневную погибель нечистой силы. И краснеет гребешок его — как факел пожарно-зарный, дозорный; золотой петушок и в России.

А в Армении петуха *режут*, как в Иудее *курицу* режут ритуально, синагогально. Ему голову вниз сворачивают, как гордышню человеку, как Бог — Иова. Ветхозаветной древностью дышит земля Армении — тоже голая, как и пустыни Палестины, а Севан на ней = Мертвое море. И Аарат, конечно,— гора библейская, армянский Синай, откуда ковчег и скрижали. Та же музыкальность и лишь, как исключения, но мощные,— таланты живописные. А их отличие можно по этому символу разобрать: что одни режут петуха, а другие — курицу. В иудействе — Бог-Отец, мужской Дух царит («Бог Израиля») и приносит себе в жертву женское начало матери(и). В армянстве Великая Матерь Кибела (что царит в примордиальных культурах Передней Азии) приносит себе в жертву мужской гребень, фалл петушиный, огнесвет окунает в грязь лицом.

Не должно быть в армянской поэзии (предполагаю) обидчивых претензий к внешности: врагам, насилиям, угнетению — и списывания на их счет горестей и бедствий. Но должно быть мощно чувство первородности и самости печали как собственной беды и греха. И глаза девочки, налитые, черные, хоть дышат грозным страданием, но без обращенности ко мне: мол, «что вы (или они) надо мной сделали?» — но стоически несет, порождает и терпит печаль, как Прометей на горах Кавказа, казнимый во печень — некрасивую (в эллинском восприятии) часть тела, внутреннюю, что здесь вдруг постыдно обнажена.

И глаза недаром у армян жутко черны, налиты или втягивающи, прямо как черный печальный луч снаружи внутрь, к полюсу

сердца. А у грузин характерны глаза светлые: голубые, зеленые, серые, желтоватые,— но воздуховные. А из тех словно манихейское «черное солнце» светит,— идея о котором недаром где-то здесь, в космосе Передней Азии, зародилась. Это о том, что зло — не просто недостаток добра, а есть активная первосубстанция, равномощная Божеской; и Сатана и Диавол — равнouchастник Богу в творении мира (аналогичны этому в недалекой отсюда Персии Ормузд и Ариман — их парность и дуализм). Но, по сути, в этой мужеской Двоице Бога и Шайтана, конечно, скрыта парность мужского и женского, Бога-Отца и Великой Матери(и), которая первичнее и Неба. Но это материально-матриархатное воззрение могло на уровне духовно-патриархатного проявиться как парность *мужских* духов, благого и злого, светлого и черного. И недаром Армения, хоть и приняла христианство, но не в варианте православия (где «свет» и «воз-дух» важны), как Грузия, чем эта близка к России, но в некоторой «ереси» (монофизитство григорианской церкви) — по которой у Христа только одна природа, а именно божеская. Так что и тут мощно педалирована Великая Матерь, ее всезасасывающая власть.

И природа Армении есть некое монофизитство: монолит Армянского плоскогорья, плато, которое есть выпуклость Земли, вспучившейся из вулканических недр в небо. Равнина плоскогорья — совсем не то, что равнина низменности = кротости, смиренния русской равнины. Плато есть живот Земли, утроба, вспучившаяся в небо, тело Великой Матери. И Аарат стоит — как белое диво: как несбыточная мечта о белизне и чистоте, но спарен с народом именно как мечта и ориентир, по контрасту¹. Но и он стоит, силуэт его — как белая грудь, точнее, черная грудь Великой Матери, которая вернула себе Млечный Путь, брызнувший некогда из ее сосцов, стянула его с неба и самооросилась, покрылась его пухом — саваном.

Монофизитство, монолит Армянской плиты-плато — и верно фильм наименован «Мы». Армяне, разбросанные по свету,

¹ Недаром в фильме «Мы» он, Аарат, не в начале, как субстанция, в роли которой девочка-старуха-сивилла,— но в конце: как цель и небо. И недаром мужеск он — имя его.

сильнее чуют родину, стремясь туда, едино «Мы» народа,— тогда как в соседней Грузии сколько гор, долин, столько языков, и царствует разброс самоотличения: кахетинцы, мингрэлы, аджарцы. Это птичья черта — разброс, разлет. Для армян же архетипичен именно *слет*, а потому третья фильма «Мы» занята сценами возвращения, репатриации.

Кстати, недаром из поэтов XX века более духовный, поэт пространства и снегов, сын живописца, Пастернак тяготел к Грузии, а более чуткий к телесной мистике и музыке «ствол миндаля» (= Mandel-stamm) Мандельштам тяготел к Армении².

А в отношении к вину Армения переходна от пьющего Севера, христианства, к непьющему исламу, для которого недаром запретны и живопись, и вино. Человек с точки ислама совсем лишен божьей искры и самости, компаса в себе, «я», т. е. совершенно в нем монофизитство, только земно-человеческая природа, и потому должен беспрекословно повиноваться Корану и пророку. Человек есть случай(ность) и бессмыленность, и потому в отношении него — внешняя жесткая необходимость, фатум. Ислам есть Рим Востока и недаром подобно так же воинственен. И подобно как в Риме эллинская изнеженность сказалась в одухотворении римлян, в проникновении поэзии и муз,— так же и в исламе одухотворение возникало как северная ересь и недаром связывалась с вином (суфизмы суфийская поэзия, в которой вино — символ Истины, возвышенного духа, красоты).

Зато, напротив, телесная чувственность вполне предписана человеку= как только природному существу и плоти,— в отличие от Севера и христианства, где похоть трактуется как помрачение, утопление и уплотнение воз-духа. И это в исламе — угождение великой Матери(и), ее исчадье.

Патетика земли, вздыбленной в небо, задается сразу как лейтидея армянского фильма. Долго выдерживается кадр: белые руки в черных рукавах, подъятые над головами женщин. Руки

² Даже пропорцию можно такую вывести:

Пастернак = Грузия
Мандельштам Армения

воздеты вверх, но головы не открыты к небу, как если бы была молитва, но наклонены вниз и отделены от неба платками: не опростоволосены в смирении пред небом, но по-бычыи упрямо рогами в небо. А рукава, взметенные, плещутся — на каком ветру, под каким ливнем? Кажется, держат над головой черный покров от Божьего гнева. Это не обычный ливень и ветер, но *Dies irae*. И точно: вон волны из земли, океан бушует — нет, то земля в извержении на небо клубится взрывами, стреляет в небо — то шторм земли. О, это, ясно, не взрывы от падающих с неба бомб — не военные, при которых земля покойна внизу и лишь насильственно продырявленная воронках, провороненная, стонет и отмахивается камнями вверх и в стороны. Нет, тут земля изнутри, целеустремленно в одну сторону вкось, а не вразброс, — вперед и вверх тайфуном пошла. И опять руки, взметенные ввысь, — понятно теперь: они не простерты к небу с мольбой, а отталкивают небо.

И точно: когда меняется ракурс, и на это же смотрят с неба на землю, то видно, что по волнам людских колыханий плывет барка — гроб черный, красивый, изящный, легкий, щегольской даже. Так это его поддерживают над головами белые руки в черном! Это гроб положили как рубеж и посредник меж собой и небом, и небо отталкивают днищем и крышкой гроба. Но гроб есть низ, могила, лоно земли — так что, выходит, приподняли лоно (как в кадрах потом потом мышц камень земли) и покров земли над собой рассторели вместо неба и воздуха, перерезав их воздействие на себя, окутались землей, как платьем и платком, со всех сторон, и ушли в нее, как в кожуру граната, самим же быть гранатинами: косточкой — костью и красным мясом-соком — кровью своей земли.

Да, какое торжество похорон! Как одеты, все высыпали на улицу; ибо в похоронах наиболее мощно ощущают свою причастность недру земли, свою могильность, и могут заявить об этом гордо и во всеуслышанье небу и воздуху, взметнув гроб на руках над головой и осенившись им как знамением. Гроб — как знамя, катафалк — как флаг. И то, что похороны — торжество, обнаруживается в радостном легком ритме шествий — быстрой походкой, почти танцуя, идут щегольски одетые современные и молодые люди в черном и белом. Совсем не тяжелая, натужная

поступь траурной процессии. И когда черное море вдруг сменяется в кадре белым (прилив белых рубашек на ярком солнце — волной белой пены нахлынула на храм, откуда задумчивый ангел с крылами, тоже изувеченный — с приплюснутым носом), тогда опять лиющая патетика похорон звенит. Затем волна свертывается сверху черной сетью наискось, как ковер-рулон скатывается, и виден становится город.

В чем тут жизнь? С той же выси, что и ангел, взирают люди: из кабин кранов — храмов новых алтарей, с выси бетонных конструкций, искры — брызги сварки посыпая. Но и тут плоть людская — плоть земная — крупным планом: пот по небритой щеке в морщинах растрескавшейся земли, губы, жующие виноград на высоте над городом, и пучности выпуклых черных глаз. Или берется земля снизу: и тут округлое, влажное, потное туловище во весь экран — не поймешь, что, сначала; потом прорисовывается бицепс и все тело, пружинно согбясь, выколупливающее камень. Потом он же ухает с выси в шурф вниз, и стая голубей взлетает над городом — нет, то брызги искр литейных — опять взлет магмы в небо. (Подобно и в фильме Параджанова смерть Саят-Новы в храме: слетают белые птицы — думаешь, вот голуби, умиротворяющие символы Святого Духа, принимать душу слетелись,— ан нет: оказывается, то белые петухи с красными гребешками хищно набрасываются и расклевывают белые хлопья, мягко падающие с неба как снег,— и вот их нет, и опять небо уничтожено, расклевано, распотрошено землей.)

Или что это за ноги волосатые, платья, сгибы,— обнимая и поддерживая друг друга, люди лезут вверх? На некий холм на поклонение: открытие старинного памятника (потом узнал). Но ведь и памятника не видно, да и холм лишь раз показан на фоне неба, а долго музыка телесных натуг, безобразные хороводы взбирающихся тел — не красивых граций, а корявых, узловатых, старческих тел. Да то ведь опять восшествие земли на небо — Вавилон! Столпотворение, где тела — кирпичи. Думаешь, что здесь бы, в Армении, из пластических искусств скульптуре добавало развиваться.

И храм как оказывается! В грузинском фильме часовня Мцхета висит в небе, как птица над горами, средь их крыл (ибо

складки гор здесь воспринимаются как сложенные крылья). А в фильме о Саят-Нове большинство кадров — в стенах монастыря, и ни разу (не помню чтоб) не показан на фоне природы, где стоит. Ну да: тут важно чрево вещи обнажить, что внутри, а не со стороны извне посмотреть да посравнить (как это для грузина интересно). И вот стены, крыши — но без неба, а на крышах искры белые — но не птицы, а книжные страницы ветром-солнцем листаются (аналог брызгам литейных искр в «Мы»). И камни, стены, люди пред могилами в стене, где они будут замуравлены, возле своих плит. Человек — чтобы срастись с плитой, окровянить и одухотворить камень — на то его призвание в жизни на земле.

Иль город дается, машины. Но и они из-под низу, под юбку им, в пузо заглядывают, где мышцы — сочленения колес, передач, тормозов, валов карданных. И они стоят — долго, а если движутся, то совсем не скоростно, а словно пританцовывая, да и то гружены живностью — баранами (низом) или петухами (верхом). Нет, не дает земля (= вертикаль глуби, шурф) оторваться от себя и устремиться вдали, в путь-дорогу, но магнитно тянет, парализует центробежные усилия вразброс, опять стягивая в себя — как вот репатриантов со всех стран света, что есть узел и свод фильма: как они длительно вгрызаются зубами и губами, и шатунами и кривошипами рук в толщу своих тел в объятиях, поцелуях. Это та же усилиная и метафизическая священная работа, что и бурение камня в земле; родственные объятия — это труд.

Нет того, что обычно в русских картинах: даль, движение вдали — «птица-тройка»... Нет, все статуарно, и усилия уходят не вдали — вширь, а вниз — вверх, на распорах атлантовых небосвод держа. Народ — домкрат.

Потому и время совсем не играет роли: словно довременно и навечно установилось в этом атлантовом напряжении земли, вздыбившейся вверх. И когда являются кадры исторической кинохроники — недаром вдруг они врываются посередь хоральной замедленной звучности ритмами опереточно прыгающими, дергаными, птичи-поверхностными, пролетными мимо. (И ритмика старого кино совершенно музыкально использована режиссером и в идеально-духовном контрасте.)

Так называемые «приметы современности»: город, асфальт, дома, одежды, машины — в фильме проходны. Важно, что из-под них в их оболочке то же древнее сивиллино тело, как вон старуха, улыбающаяся в пролетке, долго покачивается и улыбается весной, солнечно и молодо озарена; она — как ракоходное обращение темы-образа девочки вначале, как ей контрапункт и pendant. А из окон машин — головы петухов и баранов — в день жертвоприношения: все равно оно блюдетсѧ, а тащат ли их руками иль на колесах — это фокультативно, исторический налет.

И в музыкальной коде фильма, в последних аккордах — современный дом, но на нем, как на старинных семейных фотографиях, недвижно стоят на балконах и смотрят вперед люди — «Мы», и за нас — Арарат. Богу — небу молится. Он весь белый, но ведь под пеленой снега и он — черная грудь, вулкан (= нарыв, прыщ, бородавка земли) — остывший.

Вообще фильм есть кино-симфония из кадров-мотивов, и организован музыкально. Тут темы: главная и побочная, разработка, лейтмотивы, контрапункт, превращение тем друг в друга (как голуби — в искры-брзыги, т. е. небо — в камень), вплоть до зеркальной репризы: в конце обратным порядком упливают виды-горы, как они наплывали в *начале*. И опять колышется голова девочки.

Ну, а как музыка в грузинских фильмах Иоселиани? В фильме «Жил певчий дрозд» сразу меня удивил характер, с каким в его ушах звучит лейтмотив: ведь это же мотив арии альта из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, выражающий отчаянье и раскаянье апостола Петра, когда он понял, что сбылось предсказанное Учителем, и он трижды предал его. Какой здесь взлет-надрыв человеческого страдания и в то же время смягченность и кротость души, принимающей предопределенность человека природой своей.

И что же? В ушах героя это звучит как легкое кроткое дуновенье ветерка, слегка меланхолическое, но совсем без патетики и без страдания. Просто красивая музыка, радость души — и совсем не индивидуальной души образ.

И когда она в конце, по смерти героя звучит, опять же ее нельзя воспринять как образ именно его индивидуальной души,

ее память,— но опять как нега и дуновенье ветерка, как и в *начале*, когда наш певчий дрозд сидит в травке, ее напевая — навевая.

Нет, тут не хоралу быть, но хору, мужскому, где слетаются души-орлы за пиршественный стол на высях — и начинается клекот в горле и упоение — опьянение, мистическая служба воздуху и небу. Как разносятся озорные вскихи фальцетом, как тирольские перепады над жесткой суворой линией горных очертаний, которую вырезают, чеканят другие голоса! Ну и наш певчий дрозд оттого и любим всеми и обласкан, что он — певчий, и в любой компании желан и зван, так что от этих протянутых рук, постоянно его зацепляющих, никакого дела сделать не может, да и сам он постоянно открыт на горизонтальный зацеп с соседом, с близким, с любым, кто оказался возле,— сразу он друг и «генацвале» и «душа любезный»: легко сходятся, легко и без страданий расходятся и забывают, без зиядости обиды и глубины печали,— ибо взаимозаменимо все в хоровом бытии, нет индивидуальных душ, а общая, птичья, воздуховая парит над горами.

Легкость жизни — и труда. Если в армянском фильме даже радость свидания после вековечной разлуки — есть тяжкий труд мускулов и до кровавого пота,— то здесь и работа совершается пританцовывая, играючи, и технолог винодельный в «Листопаде» подпрыгивает возле винных бочек (таков ритм его телодвижений), а в конце и вовсе на бочку взлетает; певчий дрозд работает в оркестре на литаврах и прилетает туда в тот миг, когда ему нужно клекот дроби, прыгающий танец палочек на кожах-бурдюках исполнить, улыбнется лукаво — и опять упорхнет. И кругом все любовно и снисходительно к шалостям трудовым. И в фильме «Листопад» символичен бильярд и пианино в кабинете директора — играют во время рабочего дня.

При таком хоровом бытии всех для всех в легкой дружбе и взаимных об(в)язательствах, неизбежно снисходительно приходится смотреть на такой людской порок, как готовность пригнуть: это просто вынужденная вежливость, ибо вас много, а я — один, а угодить надо всем, никого не обидеть. И девушки таковы — а что им поделать, если они красивы и все их приглашают? Но и тут ничего серьезного: лживость не перерастает в измену — тут суб-

станция женская совершенно чиста в Грузии — и обманы легкие совершаются на уровне поверхностной игры, не доходя до живого тела и нутра семьи — тут свято. Просто ЛЖИЗНЬ.

И наш певчий дрозд переходит из рук в руки — как в хороводе, менуэте, когда меняются партнерами. Но без обиды и претензий расстаются.

Вот: *хоровод* — таков принцип плетения грузинского фильма Иоселиани, тогда как в армянском фильме «Мы» симфоническая разработка и контрапункт — суть принципы, организующие весь зрительный материал, его смену и движение.

Фильм о певчем дрозде — это панорама, фильм-обозрение, где он — связующее звено, Меркурий — вестник от круга к кругу, от среды к среде — и позволяет провести взор читателя по всем кругам — не ада, не чистилища, но скорее земного рая грузинской горы, как машина спирально поднимается. В фильме «Листопад» — хоровод дней недели: опять «среда», опять «воскресенье»; а тут — хоровод мест, где бывает дрозд: яма оркестра, улица, спальня, ресторан, библиотека консерватории, дома знакомых, химическая лаборатория, домик часовщиков и т. д.

Легко владеют грузины землей, раскрепощены, вырвались на простор. А у армян — земля ими владеет, как суть и нутро.

Совсем иного рода символику явила мне другая пара фильмов: американский фильм «Инцидент» (режиссер Ларри Пирс) и киргизский «Небо нашего детства» (режиссер Толомуш Океев). Тут я имел возможность созерцать рядом весь диапазон бытия и истории человечества: от вольной первобытной природы (горы, озера, реки, небо, стада, щучье, первобытие людей как членов и слуг царства природы, приладившихся к ней) — до цивилизации в пределе, когда ничего живого, природного не осталось, клоуна неба или земли живой не видно, а все асфальт, стены, железные конструкции, машины, электрические огни, люди смотрят не вверх, в небо, а в туннели, где метро и мосты. И люди сами в ночи и в металле блуждают, бесприютные, неприкаянные и никчемные. Ну да: в железо-каменном каземате и оковах стали жить. Согнаны в железный мешок вагона метро и там начинают душить друг друга: стихии здесь и вулканы извергаются из чело-

века, — поскольку он один остался живое тело природы в машинности города.

В киргизском фильме человек тоже крохотность и затерянность, но средь другого царства — естества. Хотя фильм назван «Небо нашего детства», но небом здесь является земля: ее лишь видно в разновидностях гор, долин, озера, рек, в нее любовно вглядывается камера обскура оператора городского — как в воспоминание о золотом детстве человечества, когда оно жило не средь искусства и отчуждения, а средь естества и природы = родной, — ощупывает глазом мощные кости хребтов, упругие мускулы склонов, тугие груди холмов. По ним проносятся движения — взлеты вкось-вверх, вкось-вниз: если стадо сбегает вниз по одному склону, то за ним дается другой, что взметывает вверх. Четкая векторная геометрия линий — движений. Причем весь фильм выдержан не в Декартовой квадратно-городской системе координат (как американский), а в косоугольной: не в фигуре +, а в x, соответственно разлету крыл беркута — сердцевинного персонажа фильма. В этом разете захватывается небо и всасывается воронкообразно в землю: в долины, в джайляу — пастбища, как само небо струями света иль лучами дождя в космическом Эросе непрерывно нисходит и вдавливается в землю. И весь фильм напоен этим Эросом, производящим жизнь: сосцы кобылиц, струи молока под струями дождя и под слезы из глаз — все смешивается в мощном аккорде = согласии сердечном (*лат. accord* от *cor-cordis*, сердце).

Но вот средь этой изначальной косоугольности (недаром и глаза раскосые) и округлости (и тела кочевников круглые — животные, мясистые; волнообразный перебор и колыхание этих форм дан в картине празднества, тоя) — возникает призрак Декартовой — кубической системы координат. Сначала он нависает кабиной вертолета, как некое пророчество, потом — прямоугольной рамкой фотографии живущей в городе семьи, где все сидят вертикально-статуарно, прямоглядящие; и городской сын Бекташ весь пиджачно-квадратный — рядом с косо-закругленными киргизскими шапками и халатами. Затем это — кузова самосвалов. Наконец, два геодезиста на неожиданно возникшей четко горизонтальной плоскости хребта на фоне неба восстав-

ляют перпендикуляры штативов и визируют будущую горизонталь дороги. И с этого заварился сюжет и началась смерть стойбища. Оно вынуждено откочевывать: дорога его сгоняет в глубь гор. Они снимаются, прошли несколько переходов в поэзии перевправ, лучистых игр света с водой, средь сказочных силуэтов дерев, что любовно вцепляются в медленно проплывающие фигуры: не уходите, мол, ибо без вас и нам конец; средь акварельных силуэтов лошадей на фоне неба, пронизанных светом и облегчившихся так, что выглядят птицами, светотенями — идеями самих себя: словно возносятся в небо, ибо на земле они не нужны, гонимы, излишни — заменены самосвалами, а кумыс от них — разве что побаловаться хохмачам — студентам-работягам: конечно, не всерьез они на это в неделю разовое питание взирают. И привезший им его в бурдюке старик-киргиз чужеродный растерянно взирает, как на их прежнем стойбище разместился поселок в вагончиках, а на их народном святилище — каменной бабе — повешено ведро, и закопчена она костром; как вместо живого беркута — высеченная из камня статуя беркута, и взирает он уже по Декарту: державно прямо, как дороги продвигаются в горы, завладевая Кавказом иль Памиром; пьют эти работяги — быстро глотая, без медитации, как пьют киргизы из лоновидных пиал (их фигура тоже  — как силуэт киргизского Космоса³; а эти пьют из декартово-квадратичных цилиндров — кружек.

Итак, лошади стали излишни: практически они не нужны ни как тяга, ни как корм и все более выталкиваются в чисто эстетическую реальность, возносятся в небо. И весь сюжет фильма — это гонение на лошадей, их выталкивание с земли в небо — в Пегасов превращение. Ну да: вот их сгоняет дорога. Несколько переходов пронеслись, как им навстречу едут прямоугольники самосвалов и машут оттуда: дальше нельзя, там взрыв будет. И только доскачали до этой линии, как взметнулся барьер-занавес взрывов, облака земные. Для лошадей это — светопредставление. Они в ужасе поворачивают назад, сметывая все, и утную цивилизацию кочевников: стулья, термоса...

³ Кстати, сложенная юрта лежит на верблюде, как сложенные крылья у птицы. И у юрты форма обращенной пиалы: .

Поскольку не нужны для цивилизации прямых линий правды, права и справедливости — лукавые излучины гор и округлости живых форм,— то одновременно выталкиваются в небытие лошади и выравниваются горы: взрывами, туннелями нивелируют, сводят на нет горделивые личности вершин и патриархальные общины хребтов. И вот в конце открывается глазу чудо и святотатство: дыра в горе = туннель — как сквозная рана-прострел. В него вскаивают на последних лошадях дети-киргизята, летящие в школу навстречу своей судьбе.

А навстречу им действительно накатываются электрические скаты, фары и бурканы машинных чудовищ смотрят в адской иронии на это допотопное несоответствие: на лошаденках по туннелю скачут, по асфальту и белым линиям, и вылетают в конце в трубу и в дым их силуэты, испаряется прежняя природная жизнь. Эти огни мы перед тем видели во сне мальчика: они накатывались лавиной по склону, как шины-факелы, и он от них в ужасе бежал. Теперь он летит им навстречу по прямой.

Побеждает прямая дорога нового бытия. А старики уходят в горы: если малец скачет вниз, то отец его в последний раз явлен взбирающимся по склону вверх, а за ним старики в эллипсах тюрбанов, верхом на киргизских лошаденках уходят в Лету: лошади, мотая головами, вычерчивают синусоиду — волну = идею гор, которые суть каменное море-окиян. Волнообразно вьется тропа средь прекрасных грудей и мускулов склонов: они предстают в последний раз, в трагическом освещении, навевая пийтический ужас и прочищающая душу катарисом — состраданием.

И сюжет в людях соответствует этому основному сюжету, который призван совершиться на Земле за ее историю: сюжету меж цивилизацией и природой соответствует сюжет в Троице: между Отцом, Матерью и Сыном. Отец, прозевав старших детей и не чуя еще беды старому быту, отпустил их в город, но за последнего, младшего, цепляется, ибо почуял, что конец пришел: некому будет пасти стада, некому уметь доить, ловить, лечить коней. Все покидают горы природы для города, который есть искусственные горы. Но за соломинку цепляется. Младший сын уже крепок в тяге в школу и квадратен, крепыш. И когда настала пора ехать в школу, отец плетьью хлещет мать, что со-

гласна пустить сына, а сын отца обухом — дубиной хрясть! Вот он, архетип: Эдипов комплекс выплыл трансцендентной рыбой-идеей из глубины моря-окияна гор.

Но тяжка эта брань, и души отца, сына, матери мечутся в колебаниях, как кони,— туда и сюда! Да: смятение и перегоны-всполохи коней — это откровенье того, что совершается в психе киргизского народа. Ибо с конем у киргиза самоуподобление. Недаром и непокорному мальчику аналог и метафора — стреноженье непокорного жеребенка. Но она здесь не тянет, ибо идет от эпико-патриархальной поэтики, когда батыр сравнивался с тулпаром (скакуном), а здесь и поэтике этой конец, и сын-крепыш, скорее, уподобляем самосвалу: как он, сам сваливает отца. А тот уже — в полусиле, как беркut, оставляемый им на прежнем джайляу. Тот уж сам ручной и не может летать, а лишь ковылять, и тянется за хозяином. Недаром стариk-отец так долго в негоглядывается, как себе в душу. Уж не орел и он, и не тулпар.

Ну, а в американском «Инциденте» что национального? Не есть ли это просто картина современной машинной бес-человеческой цивилизации с ее визгом-лязгом и скрежетом шестерне-зубовым? Попробуем поковыряться...

Во-первых, вагон метро, куда иммигрируют на срок общей жизни люди разных прошлых и судеб — это ковчег, чрево кита МобиДика, Левиафана, куда угораздило человека Иону на трое суток космических быть проглочену, безвыходно и без продыху. Тут иная метафизика, космогония и мифология, нежели в Психо-Космо-Логосе гор и степей киргизском. Действительно: в последний вагон метро, как в Америку — Новый Свет, стекаются иммигранты: одиночки и одиночные семьи-секты-общины. Что у них между собой общего? Только то, что на этой земле оказалась, а не родились: не при-родна она им, нет с нею исконно-растительной связи, как у других народов, что к родине-земле приросли телом и душой. Они здесь как матросы наемники на корабле «МобиДике», но крепко всажены на неопределенный срок, которого хватит на жизнь и смерть каждому. Вот и пассажиры здесь переживают жизнь и каждый глядит в лицо своей смерти, и перед этим *memento mori* вскрывается, взвивается психе каждого в некоем исповедании своего жизненного credo.

Но соборность общества с бору по сосенке, а не его вырастание лесом,— роковым образом оказывается в разобщении индивидов и семей: хоть их много, но они не могут объединиться против стихийного бедствия двух мальчиков — бандитов от беспомощности, от неупругости окружающей среды, которая б им определила их место. Они алчут его, покоя. Они умоляют этих респектабельных людей: укажите нам место и путь. Они дразнят их. Выводят из себя, чтобы вызвать из них им указ и определение, пробудить на некую общую заинтересованность — хотя бы им самим в отпор и смерть,— но чтоб увидеть хоть раз, хоть перед смертью, проявление истинной человеческой души, ее сияние,— они провоцируют. В издевательствах, которым они подвергают, унижают, хлещут этих людей-рабов,— они, хоть бесы, но выступают, как оружие кары господней, казней египетских, что на человеческий вертеп, на Содом и Гоморру насылаются. И, кстати, ветхозаветность, библейское, а не христианское исповедание тоже существенно для Соединенных Штатов Америки, как и для Англии. Да, общество в вагоне — это именно сборная солянка, соединенные штаты (человеческие ведомства), но не естественно выросшее единство народа. И это основная ламентация американских идеологов: слабость в американском обществе чувства единой целостности, общей судьбы.

Потому это общество, не будучи семьей, беззащитно против внутренней порчи, не может дать отпор язве хулиганства и бандитизма. Это им кара за продажу души удобствам establishment'a и общества потребления, за бездуховность и насилие над природой.

Ну да: если киргизы в общем покидают горы и долины и переселяются вниз, в степи и равнины, оставляя природу самой по себе, а город — сам по себе, то в Америке пришельцы конквистадоры-иммигранты именно насели на природу чужой им, не родной и не любимой земли, стали ее покрывать, насиливать, испепелять, выветривать, заражая воды и воздух. И природа мстит: взрывом в душах человеков, оставшихся единственной живой природой в машинных казематах городов. Хулиганство двух детей-молодчиков — истерическое, надсадное, отчаянное, с мольбой о выходе,— это именно стихийное бедствие, извержение

вулкана человеческой души, изувеченной психеи. И когда, наконец, выдоили из человеков-рабов воскресение души, когда салага с перевязанной рукой вступил за девочку и вышел на двух хулиганов с финками, и когда распластался на полу вагона первый, а второй завизжал, как бесноватый,— будто от облегчения, что у него наконец его черную душу, что мучила его, выпустили вон,— какое успокоение и разрешение у первого: крестообразно раскинувшись, он лежит, как распятый за грехи общие.

Но единичен отпор и героизм: одиночка, как Мартин Иден, выходит на поединок. Не общее это дело, а общ пока лишь стыд: всеми разделяем он пассажирами, когда они переступали через два тела, покидая ковчег вагона. И вопрос: когда перестанут чувствовать себя в американской жизни не пассажирами-иммигрантами, а ответственной общностью — семьей?.. Но общий стыд — уже есть нечто и полдела для рождения общей чистодушной психеи.

Декабрь 1971 г.

СВЕТ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ Грузия

Памяти
Гурама Асатиани

Предуведомление



тот текст — эпизод из моего дневника ЖИЗНЕМЫСЛИ (то есть, мышления привлеченного, а не отвлеченного от моей жизни). В современной физике дошли до понимания, что прибор влияет на результаты эксперимента. А в мышлении — что прибор? А вот я, мыслитель. Я принципиально считаю нечестным упрятывать за скобки себя самого и ситуации жизни и настроения, психическую обстановку, в которой совершается мышление о предмете — о той же Грузии. Читателю представляется возможность делать поправку на обстановку и искажающие субъективные помехи. Так что привлеченное мышление может оказаться честнее и именно объективнее; полнее — якобы отвлеченного.

Надеюсь этим интеллектуальным путешествием (как у Лоренца Стерна было «сентиментальное») послужить самосознанию Грузии и ее пониманию другими народами.

Москва. Новоселки.
21 июля 1986

Юмор, совесть и горы

22.III.80. В аэропорту в очереди спрашиваю: «Как погода в Тбилиси?» — «Лучше, чем здесь!» — отвечает грузин спереди.— «Я не про «лучше» спрашиваю, а про температуру. Мне, например, снег лучше.» — «Если снег лучше, зачем едешь?» — «Разве хочешь? Надо... Командировка!» — «Давай я тебе отмечу ее здесь. Оставайся!» — И смеемся оба.

Вот уже сразу: юмор, легкость жизнеотношения. «Нет проблем!» — как про жизнь на юге и людей там сказала накануне Аня, художница, что была у нас. А на севере души угнетены — тем, что все принимают всерьез, каждую мелочь — как проблему.

И легкостью и праздничностью повеяло.

А, может, это во мне так: просто общее состояние путешественника, который приволен, оторван от будней,— а не черта Грузии и грузин?..

Итак, первое — юмор... А второе — совесть. Читал в автобусе по пути на аэропорт в учебнике истории про грузинского царя Дмитрия Самопожертвователя (Тавдадебули): во избежание вторжения монголов сам поехал к хану и был казнен в 1289 г. Про это — поэма Ильи Чавчавадзе.

И вспомнил про колодец совести царя Аэта в романе Отара Чиладзе «Шел по дороге человек»: когда в царстве беда, царь задумывается: не за грех ли это ему какой кара?.. «Аэт задумался — завил мысль бечевой, свесил ее в бездонный колодец и спустился по ней в глубину. Спустился — и сердце у него сжалось: на дне колодца было полно людей, и все они ждали Аэта. «Слава богам, вспомнил о нас!» — закричали жители колодца. Аэт присмотрелся к ним — и узнал всех: то были изгнанные им колхи, побежденные, затаившие злобу и потому опасные, беспощадные, как голодные волки... Злоба и жажда мщения наполняли весь этот глубокий колодец; когда-нибудь он должен был переполниться и выплеснуть свое содержимое — как созревший и лопнувший гнойник»⁴.

⁴ Отар Чиладзе. Шел по дороге человек. М., 1978. С.28.

И третье впечатление — от Тбилиси сейчас: кучен город, нет зелени, дом к дому, человек к человеку, и некуда друг от друга податься, деваться, как это на Руси: в *далъ*, в путь-дорогу, в бег — и там, в пространстве и разлуке, расхлебать муку совести или беду.

А тут — сживаться надо на месте; ни в какие расширения: в Сибирь, на Кавказ — не расплеснуться энергии. И вся память здесь: в родах, в людях, в стенах, в камнях, в преданиях. И нет ей отвода чрез умиряющее дерево, его листву и корни — в небо и в землю.

Нет, тут в миропонимании не должна действовать модель Мирового дерева. Вместо его мякоти здесь жесткость Горы-камня... И вот первое умозрение-уразумение наплывает, дающее взаимосвязь этим трем (юмор, совесть и отсутствие Древа) и им друг через друга взаимообъяснение: теснота и несдвигаемость люда тут и народа за историю. Грузия прошпилена горами на-крепко. Она сама — колодец, где дно — каменисто (не то, что «мать-сыра-земля», где все перегнивает, исчезает), и все сюда стекает, остается, никуда не уходит ничто: ни вверх, ни вниз, ни вбок — и зло, и грех, и добро-память. Этически и психически насыщенное пространство.

Равнинным — им легче с памятью и совестью: рвется традиция через переселение или кочевье: напряжение греха ослабляется. Я не вижу убийцу брата, отца: он переехал, или я переселился — и дело с концом: нет ни у него долга — совести, ни у меня долга — отмщения. А в горах, в аулах — вендетта: никуда не деваются добро и зло — действуют их накопляемые энергии. Как с таким жить?.. Начать с начала нельзя, что есть главная мечта и шанс человеку на Руси: уехать на край света, куда глаза глядят — и начать жизнь сначала!.. Тут же все — длится... И требуется жесткий закон, обычай, — но и милость, прощение⁵.

Алико Гегечкори покажет мне через два дня, в гостях у него, семейную фотографию 1936 г., в Боржоми: «Вот Георгий Дмитров, вот мои родители и я, а этот осанистый старик — убийца

⁵ В «Гудамакарских рассказах» молодого прозаика Годердзи Чохели сильно передано это первоначатие Закона в горном селении.— 29.XI.83.

Ильи Чавчавадзе. Он покаялся через 30 лет, сам назывался — и его простили...» — 29.XI.83.

Если Человек — срединен между Небом и Землей, то и Горы — тоже таковы: братья человеку. Так же и Дерево — брат ему, и мудрость равнинно-земледельческих народов с ним сообразуется. Древо — растет, модель изменений: сезоны, времена года, тоска и надежда, обновление, возрождение... Горы же — неизменность и твердь. И единственно мягкое в этом космосе камня — это сам человек, грузин. Отсюда — хрупкость и чувствительность его души и необходимость ей защититься, как свану — в своей башне, — препоясаться строгим обычаем и ритуалом; и не подпускает он в святая святых себя, не откровенничает — и не только с чужеземцем, но и между собой не склонны выворачивать душу наизнанку — в исповеди друг другу...

Чернота волос — горючая субстанция этим указывается. Особенно сильно действует множество черноволосых женщин. Энергии стекают в людей: с неба и по стокам-спускам гор: каждый человек — как котловина и ущелье, слив огня солнечного. А на севере энергии разводнены, остужены. И плоть рыхлее, пористая, и душа воздушнее, водянистее, кротче, милосерднее...

Но кто на севере помнит свой род, предков? А тут Ванико Шатберашили рассказывал так про самочувствие свое: «Приезжаю в деревню, ко мне — на «Вы», ибо то крестьяне моих предков. В XIX в. они были связаны с Шамилем, но остались строгими христианами. Но в 1921 г. поsekли их советские; недосеченных же тогда — в 1937-м перевели...»

И вот подумал я, что и в Н.Ф.Федорове памятование о пращурах грузинско-кавказской его кровью и субстанцией подпалено... Ибо на Руси вертикаль рода вообще ослаблена — ее сила уходит в горизонталь пространства...

Но и юмор — от той же тесноты общежития, что и совесть: он есть способ идеального избегания тесноты сердечной — в слове, в шутке застольной. (На Руси ж — в водке и драке иль сне берложьем). Так что даже пропорция возможна: чем разряженнее поселения людей, чем меньше плотность-притертость человека к человеку — тем меньше юмора. Меньше всего его при ху-

торском житии (в Эстонии, например, или Финляндии); или у американских фермеров. Не так действуют тут останавливающие силы совести, памяти и юмора, но действует импульс мгновенный, где все — всерьез, в корысть иль в схватку: кажется, что есть возможность сразу и окончательно разрешить проблемы — через убийство, например, человека...

Но в космосе гор убийство врага ничего не разрешает, а готовит отмщение... Так что проблемы тут нельзя разрешить, но с ними нужно жить (как в свое время мудро говорил Шарль де Голль о политике мировой...). Этот принцип действует и в малой политике отношений между людьми: такт и этикет и снятие напряжений через юмор...

Да, пожалуй, вот уже намечается у меня сюжет и проблема, семя искания сути грузинского Космо-Психо-Логоса. Грузин — сток и по горизонтали географии, и по вертикали гор и памяти. Тут слив эллинства (Колхида), христианства (Византия и православие), ислама (арабский халифат, турки); Ирана (изящество и эстетизм культуры) — и через то: арийство, Индия, мудрость Востока; страстотерпство от кочевников: монголов, сельджуков... И включенность в судьбы Руси дальней, в ее историю и величие... — и оттуда одухотворение... Еще и из древности армянской: через Урарту тут вток цивилизаций южно-плоскогорных, древних...

Проснулась Настя, дочь моя⁶, и спросил я ее: чему ты удивилась тут?

— Народ никуда не бежит, не толкаются, не ругаются. Извинились, если столкнулись. И какая-то одухотворенность, воспитанность.

И это тоже — культура общежительности. На Севере почему «проблемы» и от них страдают? Потому что кажется, что их можно разрешить — разрубив разом навсегда. А здесь «нет проблем», потому что они — неотвязны и образуют плазму жизни; так что надо освобождаться от них — при них и с ними: через культуру и юмор. Это — если по горизонтали: к человеку и миру рядом. А если по вертикали — то через дух: «овнутриванье» — и творчество.

⁶ Писать это все размышление засел я в гостинице «Иверия», проснувшись рано... — 24.XI.83.

Да, горы тут — всемодель! Вон и силуэты храмов: пики пирамидальные. Нет купола — полукруга, что есть образ небосвода, видный в равнинах Руси иль на плоскогорьях и пустынях исла-ма. А вертикаль германской кирхи — уже по подобию дерева, ели, Fichtenbaum'a.

Вон и бытового градоустройства деталь: в подземных пере-ходах через улицу — магазинчики, кафе, как и в Болгарии.

— Дорожат тут пространством,— Насте говорю, ее наблю-дения толкуя.— Расширяться-то городу некуда: горы обступа-ют. Вот и приходится в глубь да в верх рasti.

Так же и человеку: в глубь = в душу, в колодец совести. В верх = в культуру, в изобретательность творчества, эстетики и ума-духа: в слово, в песню...

Это равнинному есть куда в стороны расширяться под эпицент-ром-вулканом порождающего народонаселения: новые земли ос-ваивать, народы в войнах подчинять соседние. Тут добродетели воинские, солдатские. Государство — оно само держится, а люди все — растекаются, клонятся вбок, устремляются в даль. Так, ходь-ба трактуется по физике — как непрерывное падание вперед...

А тут воинственность — защитная, втягивающаяся, вбираю-щаяся — в башню, в крепость, в дом-башню сванскую.

Да и блюдо хачапури, что вчера в подвальчике на проспекте Руставели мы ели,— есть крепость лепешки с жижей-жизнью внутри: яйцо в сыре плавает, как озеро в берегах. И все искусст-во — так есть эту «ватрушку», чтобы обрезать стены городские из хлеба и макать эти кирпичи в гущу жизни внутри, умудряясь не расплескать, не выдать-вылить жизнь наружу, надрезав брешь-проход-туннель.

Грузин тоже не самодержится, а на-родом держится, как стенами: имеет стыд и уклад и ориентирован на суд и взгляд его поведения со стороны рода и села и памяти прошлого. Грузин подобен такому хачапури: жика жизни в стенах крепости: одет нарядно, вышколен, глядит воинственно, а в душе — чувствите-лен, раним... Вон Настя поразилась, как непрерывно плачут ви-тиязи в поэме Руставели, слезоточивы...

И если на стих русского, Лермонтова: «бежали робкие гру-зины» отозваться, то тут — увы! — даже наш любитель Кавказа,

по русской модели поля Бородина храбрость оценивает. А ведь они не «бежали», но свивались, укрывались в горы, которые — их космос и стены и дом, что бережет их именно, но ощерен навстречу равнинному пришельцу...

И вся работа русского духа — в векторе поравнения всего, нивелировки различий: и горы снести, и леса пережечь (как во владение Кавказом вступали в XIX в., изгоняя Шамиля), и совесть и память грузин, стыд перед своими, близкими — выжечь, отдалив их и разбросав.

Так и Сталин: потому мог явить собой катаринскую безудержность бессовестности, что есть грузин вне Грузии, вне умеряющей структуры Космоса и Этоса национального, и распоясался так, как ни русский в России, ни грузин в Грузии не мог бы себе позволить.

Именно интернационализм разгульный и есть шествие Антихриста, нивелирующего натуральные этосы (нравственность)... Хотя и христианство тоже нивелирует их же, рождая вместо природной этики Земли, ее особенного склада,— равенство всех перед Небом.

Как Ванико мне объяснял: у Сталина была именно отмстительностьbastarda, недоноска и недотепы, по меркам грузинского Космоса (мать — б..., отец — приемный, сапожник; а истинный — дворянин какой-то); потому пуще всего расправе грузин подвергал, хотя русские думают, что наоборот: им-то, своим,— наверное, привилегии!..

В 1917–1921 гг. Грузия, оказывается, была независимым государством, и на ее присоединении к России настояли Сталин и Орджоникидзе: ибо иначе они там никого бы не представляли, как и финка Коллонтай одна была против предоставления независимости Финляндии.

А вообще-то присоединение Грузии именно к России — наименьшее для нее зло, раз уж не выстоять ей независимым государством рядом с Турцией и Ираном, монголами... Эти все — поближе, по-свойски и лютее. А русский царь, Москва — далеко, не так сюда ее руки доходят, на периферию власти, на выдохе уже силы. И в то же время уберегают от рядом облизывающихся шакалов-турок, лис-персов... Это им не повезло со

Сталиным, Джугашвили — своим, отмстителем. А так бы, под Русью, и неплохо им: и христиане, и духовность оттуда, и защита кесарева, так что сами на воинство («кшатризм») могут не тратить сил впустую (как русские), а предаться созерцанию ценностей материальных (как вайши) и духовных (как брахманы).

Да! Еще один слив в долину Грузии ныне происходит — цивилизации западной, европейской, модерной: наука, интеллект, модная экипировка, сексуальная революция, автомашины собственные! Гонор быть «европейцами» у нас!.. И это нашествие — почище монгольского: вырезает национальную субстанцию, хотя кажется, что — безболезненно.

Вон читал повесть Гурама Панджикидзе «Год активного солнца» (иши, как названа супермодно!) в 11 номере «Лит. Грузии» за 1979 г. Там герой — доктор наук молодой, с машиной, семьи не заводит, любовница — отошнела, курит, думает о самоубийстве, ибо и науку-то не любит: не творец в ней, а именно начитан, образован-воспитан: «зной, мол, наших!» Субстанция абсолютно ценная это было в Грузии: чадородие, род, а с ними и любовь, и совесть, и смысл жизни. А эти, интеллигентные нынешние, ее от себя, пуповину, отрезав, презрев (в бунте против «демографического взрыва» и как адепты «сексуальной революции»), остались — как рыбы на песке, полудыханные, импотентные... Трудно им...

И вот нравственная проблема остройшая: ввязываться или не ввязываться: оставить все, как есть и идет, мудрым природно-привычным распорядком?.. Эта проблема — и для Дата Туташхия (героя романа Амиреджиби), что благость восточного Дао, недеяния, для Грузии усваивает — после своего отчаянного вмешивания во все, в духе экзистенциального нравственного действия из чистого императива свободы и этики: «без надежды на успех». Она же — и для молодого следователя из той же повести Гурама Панджикидзе: перетряхивать старое дело или нет? Ведь, как обвал в горах, если вытянуть камешек, пойдет... Да как змею одну вытянуть из клубка?.. Стоит ли? Все уже успокоились. Всякое шевеление — к худшему ведет... Вот ты, интеллигент-«брахман»: сумей жить свободно сам, не шевеля других, не мешая мудрости-«дхарме» вайшьев, природно-животно-коры-

стной и подлой даже, но тоже мудрой, в целом (по природному-то и по горному этосу), организованности, космичности.

Итак: быть сводом меж эллинством языческим, христианством, российством, исламом в двух вариантах: утонченно-персидском и тюркском; меж Индией, арийством и Востоком, дао... — и плюс европеизм современный!.. Большая тут каша заварена историей и культурой всемирной!..

Историософия Грузии

23.III.80. Задумался над стилем некрологов в газете «Вечерний Тбилиси» от 21.III.: «А.К., И.И., Г.Д., Л.В., Т.Г., И.Г., Т.Г., Т.Г., Аракишвили, Р.К. Санадзе, Д.М. Кахана, Л.С. Кипиани, Н.Е., Ш.Д., Т.С. Аракишвили с семьями извещают о смерти мужа, отца, сына, брата, шурина, деверя и племянника Игоря Георгиевича Аракишвили...»

Какая вплетенность в сеть людей, облеченность отношениями перед ними! Не шевельнуться — чтоб не отразилось это на членах рода. Сколько тяжей и нитей — и ожиданий от тебя с их стороны должных поступков! И эти отношения важнее ролей социальных: чин, должность и проч., к перечислению которых мы привыкли в русских некрологах: «Дирекция, парт., проф., и комс. Организации Института...» — вот человеку родственники по социуму: не по крови, а по работе, товарищи-сотрудники. И не о том, что он «деверь» и «шурин» сообщат, а что «научный сотрудник», «профессор» и проч.

Народ и общество! В Грузии крепок на-род, и из него — общество, общественное мненье... А в России — государство, и из него общество. И потому самый минусовый в Грузии, безродный, пригульный Джугашвили мог стать первым, Сталиным (от «сталь» = Труд) в России.

Вот и в Историческом музее вчера характерную трактовку Св. Георгия, патрона Грузии, узнал. Его возводили сначала к языческому патриархальному богу плодородия — и с фаллом торчащим его статуэтка; затем в нем — атрибут воина, и наконец — христианский святой, поражающий дракона. Не помнится он как мученик; копье же = фалл, да и дракон — это одновременно

и фалл=змей, и женское влагалище=горло. Так что Св. Георгий — это Христос с фаллом, такой тут национальный образ бога.

И читая Отара Чиладзе роман «Шел по дороге человек», поражаюсь мифологической родовой энергии. Нет Неба и духа, и свободы. Нет и общества, и истории, и ролей социальных. Но есть Судьба и пол, и кровь — и все они индивидуально-ипостасны. Человек, существо всякое — предопределены: варианты схождений, порождений — вот в чем здесь разнообразие судеб, а не в общественно-исторических возрастаниях и действиях персонажей.

Искусство жить под игом было в истории и у болгар, и у грузин. Не в государство вливая сок и суть народа, а в иные каналы бытия. Ибо безнадежно скучна пространственная история: расширились — сузились, снова расширились — опять потеряли такие-то земли... Но нравственный уровень действий людей, и деятелей исторических, в том числе, оказывается более памятным тут, нежели заслуги или неудачи в строительстве государства.

Вот, к примеру, что памятуется в Грузии, входит в субстанцию ее истории. Когда выдали заговорщиков-князей и отвезли к монгольскому нойону в Ани, их посадили под палящим солнцем, чтобы такой пыткой заставить их признаться... — тогда «Цотне Да-диани, который случайно избежал ареста, узнав о судьбе своих соратников, отправился в Ани. Он решил добровольно разделить их горькую судьбу: Цотне обнаженный сел на той же площади, где валялись на солнце его связанные товарищи. Когда удивленные неожиданным поступком Цотне допросили его, он заявил: мои товарищи невинны, и если можно наказывать невинных, то пусть и я буду наказан вместе с ними. Его рыцарский поступок произвел неотразимое впечатление на монголов, и грузины, несущие наказание, были освобождены» (см. учебник: «История Грузии», с. 120 — про «Заговор в Кохтастави»).

Итак, рыцарский акт жертвы «за други своя» (как и в «Витязе в тигровой шкуре») — и враги тоже великодушны оказываются, чувствительны на такое... Вот христианство в действии личном, а не в «торжестве православия» как церкви и силы... В Грузии ценится мнение народное, репутация рода, и *честь* здесь *важнее славы*, как признания социально-государственного, из этой шкалы ценностей. Не на скрижалях истории госу-

дарства пишутся имена и деяния, а в сердцах и душах отметины рубцуются.

Потому литература тут, поэзия важнее летописания, истории. Народно-мифологический уровень и язык ценностей здесь внятнее рационалистически-счетного, временного, на котором пишет себя история и слава. Государство не любит Природу-матерь, враждебно ей, и далек их язык друг от друга. Народ = природа: он — на роде, она — при роде, брат и сестра они, муж и жена. И этого уровня и языка история взаимоотношений пишется в романе-мифе Отара Чиладзе. И перипетии тут супружеских мифологем... И странно здесь вдруг русское линейное написание, наименование: «Шел по дороге человек». Путь-дорога — это русский архетип. В Грузии, где горы, он дивен...

Обращаю внимание на прозвища царей Грузии: Давид Строитель, Димитрий П. Самопожертвователь, Георгий У. Блистательный⁷. Стойка, жертва и блеск — т. е. труд, этика и красота (эстетика). Все категории — не воинственные. А и в воинстве здесь важна-ценна не победа, а нравственное поведение в битвах. Честь важнее победы, достигнутой «любой ценой», в том числе — коварством или казнями; и этим отличны грузины-христиане от народов ислама, монголов, для кого «цель оправдывает средства».

В Грузии же средства важнее цели. Ибо цели — нет. Некуда ей развиваться-стремиться пространственно (к расширению земель, к величию и роли в истории человечества, в мировой политике), как другие народы-страны. В Грузии все изведено: ее земля-космос, субстанция; и не расширяться, а сохраняться — ее дело. Расти — не в *шифъ*, а в *глубъ*. Тут нет цели. Но есть Целое. Вот его себе сохранять, осваиваться в нем и культивировать: и его, и себя в нем — нутрь свою возделывать, постигать. Потому тут — самоудовлетворение, самодостаточность и есть цель образа жизни и воспитания. Фаустианская неустойчивость

⁷ В России же прозвища: Иван Калита (= мешок, собиратель, множитель земель), Иван Грозный (= страх, ужас), Петр Великий (= идея величия); хоть и изверг был, сам пытавший и казнивший, но прославлен за увеличение России. И Годунов... Прощается тут безнравственность и то, что выродок ты,— за служение отечеству... И Николай Палкин...

стремления *dahin*⁸ к эфемерному идеалу здесь опасна уничтожением на-рода и при-роды, как основных живых ценностей-сущностей. Русское «Все переменить! Все переделать на новый лад!» — тут равносильно бы самовыкорчевыванию.

Потому и нравственный герой Дата Туташхия в итоге приходит к принципу воздержания от действия, от вмешательства в порядок вещей и дел. Экзистенциальный ареал — вот куда деятельности духовно и нравственно активных грузин свойственно направляться: сумей развивать себя, наружно не многое меняя в мире вещном, политическом...

Итак: горы — и народ. Свободная от внешне-политических притязаний и амбиций, энергия народа уходит в землю, в ее возделыванье и во *внутрь* себя, в самокультивированье, в творчество красоты. Оттого-то Миф тут важнее Логоса и внятнее. Сказка, чудо, волшебство больше говорят здешнему уму-разуму, нежели сухой рассудок и отвлеченная идея прогресса. «Прогресс» — это латинское слово означает буквально «шагание вперед», линейное. Но куда в горах линейно двигаться? Тут — объемное, и не движение, а пребывание. Трехмерности некуда двигатьсяся. Ей лишь — пребывать. Это точке на линии — есть, куда... Но грузин не ощущает себя точкой, а свою страну — линией, даже плоскостью = «территорией». Но сам он — пик=фалл, а страна — долина=вагина. Они — приросши друг к другу, и иного им не надо. Нет неудовлетворенности... Грузин не только «счастью» = счастлив, но — при Целом.

Да, вся история в Грузии и политика — это защита, оборона своего Целого — как извечного. Она не становится, как Россия, за ход истории: от Киева через Москву, в Питер и Сибирь, Влади-Кавказ и Влади-Восток... А тут сразу — данность жития каждого на своем месте: без переселений и отношений. Нет у жителя Абхазии иль Вани отношения к жителю долины Алазани; живут сами по себе, не грабя и не сбирая дани⁹, да и мало обмениваясь: все у каждого — при себе, вертикально.

⁸ Туда! — нем. Из «Песни Миньоны» Гете: «Туда! Туда!..»

⁹ Какой плюсквамперфектной идиллией дышит этот текст ныне, среди сводок военных действий между Грузией и Абхазией! — 10.XII.92.

Самоудовлетворенность — на своем месте и времени-сроке. Не взыскиют личного бессмертия, приемлют спокойно смерть (см. У Давида Гурамишвили «Завещание»; и в песнях: про разговор Вано со Смертью «за бочонком цинандали»...), ибо род и природа принимают и продолжают человека.

2 ч. дня. В музее Литературном выставку про Илью Чавчавадзе смотрел, и там его стихи:

Когда на тебя идет человек с мечом,
То щит выставляй на защиту.
Но вовремя употребленный щит
Может вообще заменить меч

Вот принцип Грузии: не нападение-расширение, а сохранение, со-держание в стенах гор своих. Лишь однажды расширилась Грузия мощно: при царице Тамар — и то лишь от избытка сил и как бы для того, чтоб национальная Библия = «Витязь в тигровой шкуре» создан был; и быстро затем вобрались в свои берега. И экскурсовод Шалва даже как-то стыдливо об тогдашнем завоевательстве говорил.

А вот Давидом-Строителем гордятся: кто сам пахал и засеял, тот сумму раздавал, а не из казны брал.

Основал Илья Чавчавадзе журнал «Цис-кхари» = «Заря», а буквально значит: «в небо дверь» (цис = небо), то есть, в вертикаль, а не в путь-дорогу по горизонтали смотрит дух грузина.

Пахота земли в *низ* и дверь в небо — вот вектора грузина.

Дом грузина выходит на прямую связь с небом.

«Три ценности завещаны предками: язык, вера, отчизна» — надпись на стенде музея. И все-то ценности мирные, духовные.

Еще я на буквы грузинские смотрел, и их изящество, округлость, овальность восхищали меня. Тут именно синтез алфавита европейского, греко-латинского, — с арабским, купольно-горизонтально бегучим. Тут — остановка, самодостаточность, Целого облик. Нет бегучести по горизонтали (как в арабском) или по вертикали (как в готическом шрифте), но самоудовлетворенность пребывания в существовании прекрасном.

Космос при-СУГ-ствия

24.III.80. Сама походка грузин в Тбилиси — медленная, наслаждающаяся каждым шагом, свидетельствует о том, что они — при себе, присутствуют в бытии, при сути пребывают, в удовлетворении и исполнении; что для них «все здесь и теперь» (что есть принцип эллинства); и Мамардашвили, грузин-философ, это со вкусом и проникновенно развивал.

Русских же походка в городе — стремительна (летят сломя голову, как угорелые; они — в отСУГствии перманентно пребывают); для них все не здесь, а где-то в *дали*, куда их манит и страгивает с мест.

И потому так противокосмосно в Тбилиси ощущается стремительный бег и рев озверелых машин, некий американализм, изгоняющий людей и благодушный их променад по проспекту Руставели. Они срезают, автомобили, пуповинную связь грузин с землей и ввергают их, бескорневых, в лихорадку.

Зачем им, в горах, автомобили? Они ж для равнин. Ради них — срезают горы, пролагают прямые дороги, и начинают служить грузины прямой линии, которая так противоестественна в их космосе гор и вытекающих рек, витиеватых бесед и тостов.

А вместе с прямой линией — и принцип экономии времени, который так чужд тут. Грузин не торопится, некуда ему спешить, ибо он — при себе, все ценное в бытии целиком здесь и теперь для него, так что его задача — не пробежать скорее сию секунду, час, день, год существования, чтоб и не заметить их, а, напротив, удлинить их, провести как можно заметнее, весомее, вдумчивее и чувственнее.

Если русский поэт скажет о блаженстве:

И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

(Тютчев)

— о нечувствительности существования мечтая, об эфирности его,— то не родно такое здесь. Потому на Руси, из подсечки низа, из съемности его, неустойчивости, страна — космодром:

Кавказ

кверху, в небо разгон... В спиритуализм тяга уйти, мистика духовная... В Грузии ж, как и в Элладе и Болгарии,— напоенность крово-семенная каждого мгновения и движения, и если мистика, то — телесная.

Боже! Какой шум и рев и скрежет снизу — от машин! Ведь слышны были бы птички!.. Котловина-то и долина тесная — для людей кайфа. И вот они разогнаны, жмутся на тротуарах за решетками поручней, притиснены; зато во всю носятся новые тимуровские кочевники, ревут звери века сего, железные. Они тут господа и дань собирают — и жизнями, и душами, и целями, и смыслами, и средствами. Повернуты умы и цели людей на эту приманку — и теряют существенное, свое, родное...

...Вышел на балкон: солнышко, кайф, горы! Куда отсюда бежать, стремиться, из земель в какую? Некуда. Разве что — в небо, куда дверь поэты пробивают («цискхари»!). А желать других стран? Не им. Скорее они, Грузия желанна и завидна другим народам, как и оазисы Средней Азии, что суть сливы благ бытия в одно избранное место.

Так что недаром и Маяковский Грузию, сей «радостный край», — Эдему и раю уподобил в стихе своем.

Здесь узел земного бытия: и горы, и долины, и море, и снега, и жары, виноград, и высь, и низь...

Обратил внимание на то, что Грузия и Абхазия расположены перпендикулярно друг другу: и это выражает действительную разность и соотношение их принципов друг ко другу, как в нераздельной электромагнитной волне: векторы полей магнитного и электрического направлены перпендикулярно друг к другу. Между ними — сюжет, и он образует сложное содержание их общей истории, жизни и бытия.

Абхазия — локатор, уловитель, магнит, приманщик Запада: Эллады — в Колхида; из Византии же волна христианства здесь увлечена, принята побережьем.

Грузия же — проход с Востока на Запад, более чутка к Персии, к исламской культуре. Тут ее встреча с христианством: терпимость, венок и арабески из них — и в душах, умах, и в поэзии, искусстве. (Таков — Руставели).

Грузины — всевосприимчивы, приветливы. Но не облизываются на чужое. Нет в них комплекса неполноценности перед «великими» державами и культурами.

И вообще: «большое-малое», сия количественно-математическая мера, что характерна для прямой линии и европейского рационализма,— тут не работает. По существу и качеству мыслят и ценят: каков ты здесь и теперь?

Вот за столом пиршественным — как себя проявить умеешь, ты, лично, не прячась за величие субстанции своей: страны, культуры?..

Итак, всех впускают, терпимы, нет национализма: и армяне, и евреи, и тюрки, и русские — пожалуйста!.. Кварталы целые всех их в Тбилиси. Нет шовинизма и резни...

Но в другие земли — не хотят. Не приживаются грузины вне Грузии в отличие от тех, кому «где хорошо — там и родина». Пуповинен народ на родине своей. Как и русские — чуют чужбину...

Даже и в путешествия не очень-то стремятся: не слыхивал я мировых путешественников-грузин. И если «странник» — высокое звание на Руси («Угоден Зевсу бедный странник» — Тютчев), то вот как во втором романе Отара Чиладзе оплакивает жена мужа, который «бездумно бросил молодую жену ради каких-то там исконных земель»: «Он обязан был понимать, что родина начинается с семьи; а человек с разрушенной семьей, с опороченной женой и потерянным сыном — уже не оседлый житель земли, а скита-лец, которому совершенно безразлично, где, под каким небом, у чьих дверей ему подадут кусок хлеба и кружку воды»¹⁰.

Философия застолья. Тамадизм.

25.III.80. Упит, ует я. Вчера в грузинском гостеприимстве купались — второй уж вечер. Слава богу, в первые два дня по приезде я никому не объявлялся: освоились, акклиматизировались в новом космосе и привели себя в некоторый строй с ним и созвучие. Так что и отдаться, наконец, на массаж хозяевам можно стало.

¹⁰ Отар Чиладзе. И всякий, кто встретится со мной... М., 1982. С.118. Это выписывают — ныне: 11.XII.83.

Да: как тбилисские банщики, описанные Пушкиным, с тебя стружку снимают и хрящи и хребты твои пропрыгивают,— так и с гостем тут творят несказанное. Тут — ласковый бой: кто кого? Уложат ли они гостя наповал, уласкав его, упив и уев,— иль выстоит?.. Испытание народное ему — на отзывчивость навстречу им, на готовность принять здешний закон и взять и возлюбить,— и в то же время самость его проверяют: чего он стоит сам по себе и что содержит и как воздержан.

«Гость — не на живот, а на смерть» — так у меня это единоборство сформулировалось... «Гость — на кость!..»

Что же там совершается, за пиршественным столом?

Во-первых, на столе распластана Грузия сама: ее дары, жертвенник. Так что стол — не нейтральное пространство еды, насыщения, но алтарь, лицо и тело Грузии, ее плоть и кровь, плоды земли и вино. Евхаристия: к национальной субстанции причащение, домашняя церковь, семейно-дружески-храмовая литургия.

Во-вторых, над этим полем-поприщем состязания воздымается Логос: речи — тосты. Тамада = первосвященник. Речи — «цисхари»: дверь в небо Грузии, в ее дух и Логос. И через слова сверху прекрасные, и через плоть яств и кровь вин снизу (через Космос и его агенты) цель — стяжать Психею гостя: его во други обратить, наладить душевное взаимопроникновение.

И когда расходились мы во втором часу ночи, довольны все были: взаимоузнание состоялось и стяжение дружества, увлечение меня во други.

Речи же — беспардонное ласкательство, гиперболическое восхищение, одопение.

Безусловно восточен этот стиль, персидск, не христианск: не подобают человеку такие похвалы.

Да, человек — гость тут играет роль одновременно и агнца жертвенного, и бога: во божеское сановничество возводится.

Земной бог! И поочередно каждый в этой роли выступает: заслуги, качества припоминаются достойные. О дурных же умалчивают. И это тоже хорошо: человек, кому возможный идеал его самого преподнесли в речах восхищенных,— будет и в буднях затем как-то подтягиваться, стараться соответствовать иде-

альному образу себя самого в глазах других — этой иконе себя во психеях людей рода, как на иконостасе.

Да: община есть живой храм; и письмена, и образы друг друга прямо на душах лепятся и пишутся.

Потому нет ничего важнее для сохранения народной субстанции грузинства, чем ритуал застолья, встреч частых друг у друга по всевозможным поводам: ртвели, свадьба, поминки, приезд друга, гостя и т. п. Не в отчужденном государстве, не в независимой власти содержится национальная субстанция, а вживом обычая нардно-соседской общей жизни: в трудах, едах, речах, песнях и т. п. Так что пусть под Персией, под монголами, турками, Грузия как государство была, — не в царях и чиновниках ее суть и ген, а в тамадизме.

Тамада = тавада: голова, вельможа тут.

Вон болгары мои — сравним их застолье с грузинским. Нет тостов, речей пространных, а просто «на здоровье!». Пить — и петь и хоро танцевать. Душа в песне и телодвижениях танца, в объятиях плеча к плечу, в ритмах выражается. Не в Логосе.

В Грузии ж именно в дух: в мысль и слово перекачивается разогрев паров винных в моем существе, в импровизации языковой, в красноречии оказывается. Экспромт, стих, остроумие, витиеватость, юмор, целые сюжеты и микроновеллы тут прокручиваются во время тостовой речи. Вот вдруг что-то будто осуждающее промелькнуло в слове — и все напряглись (осуждение ближнего не положено в застолье): как-то выкрутится из диссонанса этого? И вот — неожиданная модуляция — и блестательный финал: сам недостаток объекта речи явил как мнимый, а по сути — как его достоинство раскрыл... И все — ликуют: принцип восхваления и человекоугодничества вновь восторжествовал!

И что же? Суд — дело власти и правды = прямой линии и рассудка, закона.

А горы и реки — это кривая, вензеля, витиеватость, обход и лукавство, иррацио и любовь.

И при том, что снаружи власть — приходящая (в истории Грузии так чаще всего было), чужда и судящая, — тем важнее человека подкреплять каждого всем родом в хорошести его, в нрав-

ственno высокой стихии содержать-массировать, слова идеала непрерывно прокручивать и их в души внедрять; тем и сама психея народная в высокой красоте блудется в целом.

И, попадая в поле это, чужеземец, отдаваясь, покорись, проникнись; а не как про немку одну из ФРГ рассказали: пришло из ЦК распоряжение разобраться: написала она, как запаслась рвотным и пургеном, идя на грузинское застолье,— и все равно сумели ее упить и отравить. Я-то думаю: с юмором и она писала, и грузины это понимали. Но чиновник на всякий случай должен всерьез и в суд это дело воспринять.

Так что грузинский Логос моделью своею имеет *тост*, слово застолья. В стихотворении — это очевидно так. Но и в философском умозрении: Мамардашвили — это философ-тамада: держит перед очами ума идею как икону — и описывает ее витиевато, красиво, артистично, ходя кругами, применяя и изощренья все диалектики... А другой сильный философ, из мне известных, москвич Библер Владимир Соломонович,— не умозритель, а диа-логик.

Тамадизм и талмудизм... Платон и Кант — две философские матки-матрицы, родоначальники методов: умозрение и аналитика. Так вот: грузинский Логос склонен к Платону, и его жанр философского Пира пророчит и философичность грузинского застолья. Ну да: и у Платона — круговое собеседование, на коем Сократ — тамада, ведущий — и ведающий... И, направляя беседу, передает нить-чашу рассуждения «Алаверды — Протагору», «Алаверды — Горгию...»

Кстати, когда я про еврейскую свою половину не скрыл — тоже это им понравилось: меня как болгарина — на более плоском уровне общения принимали, а как полуеврея — уж поглубже и сочувственное. Один сказал в тосте, что с возрастом каждый человек (мужчина — особенно) на еврея становится похож: некое умудрение и смирение, как у рэбе, поникшесть и ироничность...

И так, прощупав мои родо-душевые сочленения, успокоились на мой счет: ведь человек из метрополии приехал, из столицы, мало ли каков?.. И приняли — за своего — не своего, но — близкого.

Один тост прямо как эстафета прошел. Хозяин лома, Алико Гегечкори, напомнив четвероццу: Вера, Надежда, Любовь и София, сказал:

— Вера в разное — у всех есть. Любовь — ах! поверхностное нечто. Мудрость — суха и скучна. Лучшее, что есть, — Надежда! За нее выпьем! — и передал мне тост на продолжение: «Алаверды — Георгий!»

— Эти четыре — женщины все! — так подхватил я. — И я удивляюсь, как без женского рода обходится грузинский язык и что бы это значить могло?.. Но не могу с хозяином согласиться: Вера и Надежда переносят идеал, цель и их исполнение — наперед и снимают с нас ответственность за осуществление Абсолюта в бытии вокруг и в нас самих, сейчас и здесь... Любовь же — здесь и теперь, установление Бога во человеке, требует от нас максимума свободы и творчества и активности, тогда как Вера и Надежда нам — как маменьки, а мы при них — сынки, детки, потребители отдающиеся... Так за Любовь, которая есть Бог и его совершение!..

И передал тост Отару Нодия. Он — подхватил эстафету и тоже артистично развил мысль о Софии: по логике общей цепи тостов она ему досталась, он уловил — и развил хорошо...

Правда, Любовь, — я почувствовал, — понимается тут мусульмански, чувственно, не по-достоевски и по-христиански: духовно-душевно. Или — по-эллински: как Любовь — к мудрости, как София. Так ее и развил Нодия: «Нам, в возрасте уже, не пристала любовь и ее нега. Умная любовь, мысль — вот что нам подобает!..» — и так вышел к Софии.

И это тоже важно — для оттенка религиозности грузин: христианство у них, православие — не столько внутренне пережитая религия сердца, а знак национальной независимости, как католицизм для поляков: меж православных русских и лютеран немцев. Так и тут: для самоотличения себя от исламских соседей ближайших: турок, персов, и от григориан — армян...

Вчера в Сионском соборе Католикос служил, проповедь держал — и тоже характерно: благословил детей и сказал: «Дитя — это свобода. Что ни похочет — тому родители подчиняются. И завтра у нас — день свободы церкви нашей: 25 марта — день

обретения ею автокефалии.» И стал кратко напоминать историю Грузии и церкви в ней: когда утратила и когда восстановила независимость. И это звучало национально, но не скажу: «патриотически», ибо патриотизм — общественно-государственно-го плана понятие-чувство: его цель и форма — достижение национальной государственности. Между тем Быт, Язык и Вера — как раз способы содержания-сохранения-развития национальной субстанции, независимо от того, есть своя государственность, свое «кшатрийство», или нет.

В этом грузинское чувство божества и роль церкви там сходны с болгарским — под игом.

И вообще: как ни полна история Грузии борений за национальную государственность,— не есть это (как мне пока кажется) им обязательно, внутренне присущая, необходимая форма бытия. Символично в этом плане то, что Алико Гегечкори рассказал нам про старую крепость города Тбилиси. Мы по ней ходили: такая неприступность со всех сторон! Отвесы!

— И однако же каждый, кому не лень, ее брал, из завоевателей,— сказал Алико.— И пословица у нас есть: «крепости берутся изнутри», то есть, находился всегда какой-нибудь лазутчик, предатель. И это естественно — в таком разношерстно-многонациональном городе, каким был и является Тбилиси. У нас — все приживаются. Терпимость!

И вот это и есть подлинная крепость Тбилиси и Грузии: она — в терпимости ко всем и в гибкости людей (отчего — и живучесть, и выживаемость), а не в жесткой каменности стен.

Достаточно, что тут вокруг камень гор: естественные стены. Зачем же людям тут быть каменными и несгибаемыми?.. Это вот там, где природа — это мать-сыра-земля, а почва — глина и гниль,— естественно народу, человеку качества стойкости, не-сгибаemости собой (в дополнительности к мокро-мягкому космосу) осуществлять: «гвозди бы делать из этих людей...» и «Как закалялась сталь», и «Железный поток» и «Сталин» пришелся по душе и по чести (а в Грузии «Джугашвили» — мягче).

Хитрость тут — не в минусе из качеств нравственных. Пере-метываться и лукавить многим приходилось историческим деятелям: тот же Георгий Саакадзе...

КосмоПри-Бытия

26.III.80. И вот к такому прихожу предуразумению: из трех вариантов Абсолюта: Истина, Добро и Красота — именно последняя наиболее родна в Грузии и доступна грузину: эстетическое чувство тут и творчество — сюда устремляется духовный потенциал нации. И именно потому, что Красота есть чувственный и конечный вариант Абсолюта, дух, тут воплощен и телесен. Чистая спиритуальность не внемлема грузином. Недаром за своего приняли именно Дионисия Ареопагита — христианского неоплатоника, кто в сочинении своем «О небесной иерархии» строение божества представил как гору — в многоярусности духовных образов-символов.

Идея Бесконечности чужда здешнему Космо-Психо-Логосу. Тут — окаём всего. Небо бы образом бесконечности могло предстать душе и уму — да уловлено оно зубчатостью гор в Грузии гор и долин. Море бы могло таким образом бесконечности быть для приморской Грузии, но последняя чувствует себя как Колхиду, место прибытия, берег, конец странствия (тех же аргонавтов), приход к цели, осуществление, совершение.

Если символы и архетипы русского Пространства и Времени: *берег, порог и канун*, и при том: берег — как от-плытие, а не приплытие (как в Грузии); порог — как выход из дома в *далъ*, в путь-дорогу; канун: душа русского вечно накануне в ожидании главного события и разрешения всех мучительных проблем, эсхатологична, а символическим изображением всего этого может служить геометрический луч, односторонне направленная бесконечность: $\rightarrow \infty$, то в Грузии мы имеем, скорее, пункт прихода Бытия к своему осуществлению, к цели, совершенству. Тут пункт При-Бытия, При-существия, тогда как на Руси вечный зов в *Даль*, отсюда — куда-то, Психо-Космос От-Бытия, вечная неудовлетворенность: «Эх, не то это все!..» и динамизм, не-при-себе-йность... «От самой от себя у-бе-гу!» — поется в песне...

Так что скорее таков будет геометрический образ для грузинского Логоса: $\infty \rightarrow$; то есть, из некоей бесконечности, что — откуда-то, и нас не касается, не исповедима в началах-истоках своих, — к нам: на берег, в дом, в гости, в застолье, на исполнение цели.

То, что я нарисовал выше,— это, так сказать, прибрежно-абхазский вариант грузинского мирочувства, вступающий в соотношение с горизонтальным пространством: море = к Элладе отношение; а также выход в степь российскую, на север.

Для горной же Грузии не линейность горизонтальная, но некое полушарие, сводчатость лучей, обращенная вниз: туда, где мы,— будет, возможно, моделью:



И тут — приход, замыкание Бытия. Отсюда, при всей порывистости и энергичности грузинской Психеи,— статика, удовлетворенность, довольство.¹¹

Вчера картинную галерею смотрел — и эти мистически зас্তывшие округлые образы Нико Пиросмани в душу вгнездились. Там именно фон схода Бытия сюда, где мы, в долине за столом...

Горы не зовут вверх, к небу...

Но это — вектор грузина-вайши, человека материи, плоти и творца плода. Духовные же, поэты, «брахманы» — Цисхари = дверь в небо тут прорубают: по линиям гор в верх...

Во всяком случае, полувод вниз:
вверх по аbrisам гор, но не купол:
для купола романского Средиземноморья (Италия) и для космоса пустынь и плоскогорий ислама (мечеть): се космос опускания неба на землю...¹²

Такую модель и графика грузинского письма нам являет: в ней общая закругленность... А шар — образ совершенства, завершенности, полноты Бытия, конечной бесконечности. Если в арабской письменности окружность — более приближенная к

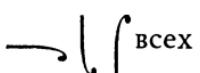
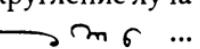
¹¹ Андрей Битов, выслушав 3.XII.83 в Пицунде мой рассказ о грузинском космосе, подарил мне следующий образ: грузины вокруг застолья — что горы вокруг Грузии.— И все та же конфигурация получается, что нарисована мною выше.

¹² «Перевернувшееся небо // Подперто льдами на Казбеке» — у Тициана Табидзе есть такой образ в «Иду со стороны черкесской» (пер. Б. Пастернака) — см. Антология грузинской поэзии. М., 1958. С. 684.

плоскости, стремительна по горизонтали, как бы порыв кочевых народов этого региона в своих чертах выражая: и точки звезд, и штрихи лучей: س ف ا ت (дуги тут не достигают полукруга, и в них лишь тупой угол вписывается), — то грузинское письмо в этом смысле близко к европейской вертикальности, что принцип гор, древа и личности выражает самостоятельной. Близко оно, грузинское письмо, к греческому и латинскому; к последнему даже более — к округло-вертикальным силуэтам букв.

И в то же время нет тут остро-угольчатости-изломанности готически германского письма, что образ древа и его ветвистости в себе фиксирует. Хотя есть вертикальный размах в грузинских буквах, как и в готических: линия верх-низ наиболее родна и разработана, — но эти длинные линии закругляются плавно в письме грузинском...

Словно, живя в космосе гор и среди зубчастости их, душа особо любит окружность, от всякой рваности и порывистости отворачивается...

Итак, при-себе-йность, исполненность, При-бытие — такое тут мироощущение и миропонимание. И линии:  всех букв грузинских это графически выражают: упокоение, плавность, совершение. Так что не так:  , где луч, разогнавшись, как волна о гору в сшибке вечно конфликтной бьется, — но как волна на исходе мягко накатывается на берег: закругление луча более подходит как графический образ этого:  ...

В Грузии динамизм — статический. Энергия душ и соков, как рек горных, стекающих в долины, и солнца кровь в вине, — выливается в бурлении тутешнем: в междуусобицах племен и родов, в пляске-лезгинке, стремительно-порывистых взлетах птичьих и виениях — исходит.

Хорошо Фазиль Искандер эту гневливость грузинскую юмористически изобразил в «Сандро из Чегема»: когда собираются в погоне за человеком из соседнего ущелья, кто похитил невесту, — каждый впадает в исступление, но и рад, когда на него навалятся и успокоят; в свою очередь этот, из успокоителей, впадает в раж: «Заррежу!» — и демонстрирует готовность броситься очертя голову (=гадавафдна есть и принцип поэтического творчества здесь — так его Тициан Табидзе выразил) в погоню... И так все: в бодрой потен-

циальности дрожат-танцуют и избыток винно-кровной энергии так из себя испускают и успокаиваются. И с миром расходятся...

«Все Бытие целиком здесь и теперь» — этот тезис эллина Парменида здешнее мироощущение максимально близко выражает.

Итак, нет бесконечности, устремления от себя — к ней, куда — к идеалу порыв...

Нет и пейзажей — на это обратил внимание в галерее картинной. Пейзаж ведь есть проекция одиночества; бесконечность внутреннего мира одинокой личности ищет себеозвучье и отзыв в *дали*, в просторе дикой природы. Таков Кавказ и та же Грузия были для... — русских: Пушкина, Лермонтова... Но не таков он для грузин. Хоровая, на-родовая душа общежительного грузина не знает высокого опыта одиночества, странничества, перекати-поля однокого, как лермонтовский «дубовый листок», например, что приился к чинаре грузинской на береге колхидском, возможно...

И если пейзаж есть — то не уводящий, а приводящий сюда, в ярчайше-солнечное ярое чувство тутошнего бытия, как в переводе Н.Заболоцкого поразила меня «Кахетинская осень» Симона Чиковани.

Вон у Галактиона Табидзе «Осень», «Весна» — все про сад и плоды тутошнее...

Или «Событие сада» Паоло Яшвили: все — при мне, здесь и теперь.

А спустишься в этот же сад ввечеру,
Посмотришь на уголь в куле и стропила,
И врезаны знаки в листву и кору,
Что солнце еще раз его посетило.
Стемнеет, и тонешь душой в теплоте
При мысли о выпавшем саду событие.
Дом — настежь. Луна — простыней на тахте.
И ветер — как замысла первые нити.

(Пер. Б. Пастернака)

И стихии (земля, вода, воздух, огонь) приручены, прикручены, точнее: сами опустились и впали в мое бытие, при-были и оплодились, оплотнились...

При слове «приручены» вспомнил свою пару понятий: «гения» и «ургия». Что тут в Грузии? Порождение — иль сотворение всего трудом?

Тут, пожалуй, гармония ургии и гонии: труд требуется, но акушерский: помочь разродиться щедро дающей природе.

Так что при лоне и труд... Природа вознаграждает за труд. И труд тут — потребления, пиршественного съедения, поглощения природы, ее плодородия.

Утробны грузины (опять Пиросмани вспоминается), бурдючны.

И духовные творцы здесь — гурманы, поглотители красоты, эстеты-ценители прекрасного во всем...

Потому так важно слово тут Тамады: он не дает превратиться поглощению в скотство, а возвышает сок и силу, входящие в плоть, до энергии мысли. Культура перегонки плодородия в красноречие — вот что такое застолье грузинское.

Возгонка: как чача — поэзия тут.

...Это Лермонтову — дикий лес и барс. А тут дерево — как сад и плод — любимо и родно.

Плод же — объединитель, как и солнце. Это солнце, что едят. Солнце на столе. Общее дело и литургия...

Если «солнце на столе» = свет, лампочка (так это в рускости естественно истолковать), то в Грузии солнце — не свет, а жар, энергия плодородия — и застывает в плоде, который грешно поглощать одному (как просто пишу моей машине), но естественно общую жизнь на-рода в поглощении его воспроизводить.

Так что пиршество — это солнечное священное действие, мистерия солнцепоглощения. И потому столь строги лица у Пиросмани: таинство — священство...

В гостях у режиссера Стуруа

27.III.80. Обалдеваю от многого, что вошло и что осмыслить надо. Во-первых, опять застолье вчера вечером было. И вот думаю о болгарском и грузинском отношении к гостю за столом. Все щедры, гостеприимны, напоят, накормят... Но в болгарах некий чуется pragmatizm, корысть и хитрость: сейчас задарить гостя, а потом и его использовать во «вземане-даване» (=ты — мне, я — тебе). Есть интерес к гостю, расспрашивают: кто ты, чем занимаешься, семья-дети и проч.— то есть, в каких ты социальных ролях ходишь, а не к личности твоей интерес. Когда же это про тебя

уведают, теряют интерес и устраивают между собой разговор о своих делах и знакомых, а ты оставлен и скучаешь в стороне...

У грузин нет корысти к гостю: они в застолье служат не этому гостю-человеку (к личности его, к «я» особому тоже тут нет интереса, как и у болгар), но и не своему прагматизму: что я с этого могу-буду иметь?.. Служат они чистому этосу застолья, богу застолья, его ритуалу: чтоб оно прошло первоклассно, и они бы могли испытать самоуважение — от достойного исполнения ими категорического императива гостеприимства. Так что тут вкус к чистой форме долга, а не к содержанию встречи: будь то — моей личности, или их интереса: что можно из нее (встречи) выжать.

Тут целесообразность — без цели, эстетическое состояние. Потому атмосфера щедрости и красоты создается в застолье. И все чувствуют ее царство, возникшее здесь и теперь, на миг = длительность застолья, и стараются, восхищенные, ее выше и дальше продержать — речами своими красными и любезными. Тут все любят и восхищаются друг другом еще именно от этого: что на платформу вступили незаинтересованного наслаждения, сбросили свои личности и корысти, и все вместе священнослужат общему богу — Красоте и Любви и Уму; и в этом служении каждый лучше, чем он в жизни, и образ божий по-грузински в себе и друг в друге пестует и воздымает. Так что радостная мистерия застолья как народной литургии есть восхитительный труд по удержанию священного огня национальной субстанции...

Тут — служба Абсолюту. И речи поэтому — на высокие и отвлеченные темы, объединяющие всех: про дружбу, братство, любовь, искусство, надежду = детей, про память умерших, про благодарность... И все это каждый должен уметь развить изящно-артистично, с юмором и игрой, и сумев на ходу с-ориентироваться с новым человеком — гостем и его качества, достоинства вовлечь и обыграть... Как у архитекторов: «привязка проекта (= тоста) = на месте».

Понятно поэтому, что тянет грузин на огонек-очаг застолья не просто поесть-попить-посплетничать, душу (даже личную!) отвесть в запое иль беседе дружеской,— но чтоб высокое в себе и в бытии вновь ощутить, приобщиться к Абсолюту. А восхищенные глаза гостя, который тает от красоты их речений, не

ожидал такового ни вокруг, ни о себе слышать ласкового,— тоже им это нужно: как зеркало, отражение на них возвратной волны самовосторга, как философическая рефлексия радости.

Вчера в доме режиссера Роберта Стуруа сошлись совсем не-знакомые друг другу люди, по разным своим корыстным поводам туда притянувшиеся. Я пришел потому, что Владимир Турбин дал мне его телефон и просил передавать поклон и сходить на его гениальные спектакли: «Ричард III» и «Кавказский меловой круг». Я же хотел в общении с ним вобрать в себя образ грузинского художника экстра класса и чем живы люди элиты тут, о высоко духовном поговорить, прощупать его взгляд...

Но ничему этому не суждено было осуществиться: сам режиссер был на репетиции допоздна; но это и не важно оказалось: милая жена его Дудана нас не отвергла, когда я позвонил, пригласила на чай, сказав, что он будет. Мы пришли с дочерью, атмосферой художественного дома упивались: картины его отца, Роберта Ивановича Стуруа, разглядывали, эскизы к декорациям, маски и проч. Веселую рухлянь, среди которой, как самые чернорабочие, сграют-трудятся подвижнически актеры, режиссеры. Вон пришел громадный красавец-актер Кахи — и рассказал, каков его день. С 6 утра он на съемках на телевидении, потом с 11 — репетиция; в 3 — киностудия, вечером — спектакль, потом — застолье; да и перед сном он должен еще час поработать над собой: назавтра роль учить новую... С 6 утра до 2–3 ночи его день рабочий!..

Ужаснулся я и ухнул! Да еще и в воздухе дурном, городском, помещенском, дымном весь этот труд происходит!..

Входит вдруг совсем иного антропологического и профессионального типа пара: из Финляндии шведы, нежные, белые, тихие, кому от 50 до 60. Он — организатор общества за сохранение здоровья, она — издатель женского журнала домохозяйственного. А в Тбилиси приехали потому, что прабабка ее — грузинка, Алданашвили, кажется... Были они на спектакле, Дудана переводила им — и пригласила...

И вот мы по-английски спознаемся, разговариваем тихо. Кахи наливает вино — пока в боковой комнате... Зовут ко столу. Тут священнодействие начинается... Да, еще школьная подруга Дуданы пришла, тоже по-английски говорит. Но так вышло, что мне

пришлось роль переводчика играть в обе стороны, ибо Кахи английского не знает достаточно.

Кахи был Тамадой... Потом пришел еще диктор телевидения. И когда восхищенный финн говорил о превосходном тамаде Кахи, тот: «Что Вы! Есть гораздо лучшие!..» — и два крупных человека, Кахи и он, дружески друг друга подзадирали: «Это он — из зависти ко мне!..» — и т. д.

Так вот: демократизм института Тамады: любой им может стать-исполнять. Само собой кто-то наиартистичнейший в этом деле берет бразды в свои руки. Но если нет «спеца», любой грузин возьмется — и великолепно исполнит литургию, обряд их любимый и родной. Тут именно народное «пресвитерианство», как и было в общинах христиан первых веков, которые тоже за братскими трапезами встречались и ликовали, и радовались и любили друг друга, во имя Божие, Христово. И Святой Дух, тепло его любви и мудрости почивало на них.

Тут же вроде атеистично и материалистично все, языческий обряд... Но не скажи «а-теистично»: «противо-божия» нет тут. Напротив, в грузинском застолье — «природно-божие»: гармоническая встреча Неба, Слова (что в высокомыслии и красноречии тостов) с Материей, Землей, ее чадами — плодами, что на столе жертвенно поданы, разукрашены.

И человек выступает как меж Небом и Землей посредник, связной. Тем же ртом он и плоды ест, и речи говорит, энергию вещества в красоту духа и мысли претворяя.

К божественному делу этому связи и превращения «земли» в «небо» (вещества — в смысл) и наоборот — призван человек вообще; но у грузин это делается не отчужденно, сублинированно: в муках науки, изобретения, в уединении и аскезе творческой думы,— а на миру, хорово, вдохновляясь людьми, а не избегая их, получая от народа вокруг дополнительный импульс и ум. Не стыдясь. Нет застенчивости. Нет и «комплекса неполноценности» в грузинах, как есть он у болгар, у русских: первые все ж малым и недостаточно цивилизованным себя народом болезненно ощущают; вторые, хотя и большие, да вечно — в отсутствии, не при себе, в неудовлетворении... Грузины — это те, кто совершились и совершаются. Нет в них робости, не жмутся по бокам

и стенам, но смело выступают в центр и берут на себя главную роль. Ибо — при сути они, присутствуют, при Абсолюте их точка существования. Они — его виночерпии. Тут народ Гебы и Ганимеда. Но те — только разливают нектар и амброзию, а эти и сами боги-олимпийцы: за трапезой хохочут гомерически, умом и словом прекрасным упиваясь, умея производить его и ценить. Космос свершения и довольства...

Вспоминаю я свое эстонское путешествие. Там другой тип встреч. Застолья и нет, где бы много людей. Тихо вдвоем сидим с новым знакомым. С трудом роняем слова. Пьем молча, задумчиво...

Не словами и шумом их, а душами тихо сообщаясь. Смирение и кротость. Веяние Космоса вне нас...

Тут же, у грузин, мы — сами Космос, весь он в нас утопает: мы ему свои, родня, не причастны даже, но при-центр-ны, при-цель-ны, Психо-Космос исполнения.

Каково же это было тут тихому финну-северянину (про кого анекдот: три рыбака удили рыбу. Один сказал за день одно слово. Возвращаясь вечером, второй сказал третьему осуждающее про первого: «болтун!»...) внимать речам, что, как и вино, — рекой?.. Тот же корень, кстати, недаром у них: у «реки» да у «речи», как и у «руки» да у «ручья»...

Умно и красиво говорил артист Кахи. Да еще и в модуляциях прекрасного голоса, что то восходил в горы, то падал обрывисто в «гадавардна» — «очертя голову».

Да: интонация речи грузинской — восторг и энергия. Тут мужественность и крепость воинская, которым не удается, по историческим причинам, в дело кшатрийское излиться,— перекачиваются на поприще воз-духовное, вздымаются поэзией высокой — не только у поэтов профессиональных. Но каждый грузин, как потенциальный и актуальный тамада, — поэт.

Говорил Кахи об искусстве, что заменило религию и единит народы. О талантливости всех присутствующих. За хозяйку. О надежде — и о детях всех наших, как телах надежды. (Уже на застолье у Алико Гегечкори такой ход мысли слушал. Значит, есть свои уже штампы, конечно, как и во всяком ремесле, у тамадизма. Но по этой канве и вышивает каждый раз творческая изобретательность, импровизация).

Потом предлагал сказать финну, мне. Я сказал тоже, грузинским духом проникшись:

— Вот мы все сошлись здесь, друг друга не знающие. Так что даже сюжет тут готовый для пьесы-действия: что-то произойдет?.. А произошла — радость взаимопонимания, братания, любви. И виной тому — Грузия: та атмосфера любви и радости, которую она из себя источает и которой встречает и завораживает каждого пришельца в ее космос, так что и он становится радостным и любящим. Итак, за атмосферу любви, которую источает из себя Грузия!

И этикетные и иначе скованные северяне-шведы тоже так детски-простодушно радовались и раскрывались. В нем — легкость и веселость и изящество обнаружились...

Уж в 12 часов почти вошли еще: сам Роберт Стуруа и с ним невысокий, лысоватый, сосредоточенный в себе...

— Гия Канчелли, композитор, — представили его.

Я — обомлел. Как! Он, композитор, чья Пятая симфония потрясла меня так, что мороз по коже, — когда слушал ее зимой с мамой в Большом зале консерватории в Москве!. Да, да, это он: узнаю, как он выходил и кланялся — не смущенно, не застенчиво, ибо знает себе цену, но и без угодливой, на публику, улыбки, не расплескивая бисер, самим сосредоточенным обликом своим о высоком и тягчайшем труде вслушивания в мистерию Бытия напоминая.

Но как «на ловца и зверь бежит!» Как раз сегодня я с утра заволновался-потянулся душой: в грузинскую музыку бы как проникнуть, где бы ход к музыкovedу найти, — и вот!.. Оказывается, и мать мою он знает, ее книгу о Бизе, и как она историю музыки у Гнесиных читает... Сказал, что есть лишь один человек, с кем можно на высоком уровне о национальном аспекте грузинской музыки поговорить: Орджоникидзе, композитор и музыкoved, — и дал мне к нему записку...

Да, недаром, как стал близиться вечер, и мы гуляли с Настей, заволновалось во мне что-то: провести в Грузии вечер одному! — это как бы отлученным от церкви оказаться, в отсутствии, в изгнании от сути, — и стал я лихорадочно соображать, к кому бы напроситься? Настя даже иронизировала надо мной и над обря-

дом ласкательных тостов: «Будут говорить красиво о дружбе и какой ты хороший и умный, и заласкаешься ты и напьешься и накуришься; приедем в 2 часа ночи, и утром голова и сердце болеть станут...»

Но вот что замечаю: хоть и выпиваю в застольях и слегка курю, но все же в меру, и хорошо сплю, хоть не так много, и утром хорошо себя чувствую.

А что? Почему так уж опасливо смотреть на вино? Ведь это — подача энергии, кровь бытия, солнечность! И тебе, остывшему в русских стужах, прозимленному,— продымленным плюс к тому стать несколько (обкуриться) тоже не вредно.

Вообще оба с дочерью мы тут с первого дня ощущаем какую-то чисто физиологическую легкость: себя не чувствуешь. Легко по ступенькам вверх вбегаем, тело свое несем. Что-то тут с переменой давления, наверное, для нас, с зимы Севера на весну Юга, связано.

Шампанскость некая существования в настут тоже брызжет...

— Завидно мне все же,— Насте сегодня утром за завтраком в номере нашем (кипятильник в кружке нам воду нагрел, чаек заварили, лепешку ломаем со сметанкою — славно!) посетовал я.— Вот режиссер, композитор: по миру ездят со спектаклем, с концертом; пластинки, слава распахивает горизонт мира — видеть!..

— Знаешь, папа, я тебя сейчас разобью вдребезги,— Настя загорелась.— Как они прогорают! Вся работа их — на людях, вредная, в воздухе тяжком. Им 42–45 лет, а выглядят много старее тебя: тебе 50, 51 скоро, а ты молодой у меня, выглядишь на 38. А бремя славы сносить — думаешь, легко?

— Да: сколько пустых встреч! К славному льнут люди теряться о блеск его — и расхищают... Да, Настя, ты мне то сказала, что я сам себе готовился ответить, себя ж опровергая. И свобода-то у меня какая! Кроме листа бумаги мне ничего не надо. В любом месте — хоть в самолете иль в лесу — взял, мысль записал — и дело свое сделал. А им, беднягам, сколько условий надобно, чтоб творчество свое делать! 100 актеров, художники, сцена, деньги и проч!...

Притча об окне и зеркале, или как я убег от познания самого себя

28.III.80. Лежу с утра с перепоя и гляжу на стенку. Ничего не видно. И вдруг глаз упал на окно в стене: стекло, блестит — но видна лишь противоположная стена комнаты. Ба! Да это не окно, а зеркало! А как похоже: тоже большой висит прямоугольник стекла в раме на стене. Но вид из него не вперед, а назад: взгляд в тебя самого. А в окне — видишь мир окружный, себя позабываешь, отвлекаешься.

Понятно, почему Сократ, занявшись познанием самого себя, прекратил изыскания и вопрошения о том, что есть мир и как устроен космос,— чем занимались досократики, натурфилософы. Они смотрели в окно — Сократ стал смотреться в зеркало.

Но чтобы окно превратить в зеркало (ведь и то, и то — стекло!), надо закрыть—заложить чернью, стеную, невидалью какой-либо наружную его сторону.

Потому и в душевном художестве первый акт: перестать глядеть наружу, в мир, развлекаться его бесконечным калейдоскопом сменяющихся впечатлений,— а воззриться внутрь себя, опамятоваться, себе ужаснуться. Тогда взвидишь бревно в глазу своем, а то больно разглядываешь в бинокль науки сучок-инфузорию в глазу мира окружающего...

Вот и я: живя дома, в Москве, возуглубился внутрь себя и какой-то уж путь очищения прошел... Но не удержался, а поддался искушению опять вынырнуть из себя, перестать глядеть в зеркало и заглянуть в окно — и вот я в Грузии, глазею, впечатляюсь, соображаю, гуляю... А сам — хам хамом. И только уперевшись в досаду окружающих на тебя, опамятуешься несколько,— как я вот сегодня в ночь и с утра.

Нагрянул вчера вечером я, непрошеный, с дочкой к Автандилу. Человек только поужинал, придя с работы, жена убирает со стола — и вдруг мы! Снова-здрава затевать готовку ей, ему — за стол садиться. Говорим пока. Сетую я, что мало раскрывают-ся мне люди навстречу: разговоры все — на поверхностно-формально-ритуальном уровне... Он:

— Пожить надо... А то ты приехал и объявил, что познавать нас будешь — за неделю командировки... Ишь, какой быстрый!..

То же самое мне и Гиви Орагвелидзе в Редколлегии сказал (когда я с дамами его редакции позавчера анкетно опрашивал-разговаривал): «Трудный орешек, Грузия-то!» — на что я высокомерно: «А Франция — не трудный? А Россия, Италия, Америка?.. Навык уж есть у меня разбираться — вот и тут попробую...»

И Гурам Асатиани в одном из тостов третьего дня: «Трудную задачу взвалил на себя этот человек. Мы тут полторы тысячи лет живем, познать себя не можем, а вон он хочет это сделать!..»

Обидно людям, сопротивляется национальный дух вторжению пришельца и его изучающего холодного взгляда. Аж ругаюсь Насте, огорченный: «Не хотят помогать! Не хотят знать самих себя!..»

И правда — их: им с самими собой жить, а не знать: внутри, а не со стороны...

Приятно ли было тебе сегодня ночью, мучаясь бессонницею от перепитья и вспоминая ужин вчерашний у Автандила, вдруг взвидеть себя глазами их? И что же я про себя узрел? Ввалился человек в дом, а они уже поели. Наготовила снова хозяйка, поставила на стол, призвала детей, но они уже поели с отцом, поклевали чуть — и ушли с Настей; а я остался с ними и один уплетал яства на столе... А они сидели рядом, не ели, смотрели, говорили, подливали... А я — жрал: днем-то не ели мы — и вот ворвались обчищать друга, сэкономив на кафе-ресторане... Тьфу на меня!.. Ужас! Особенно вспоминается белое, нежное мясо курицы, что они приготовили. Мало того, что я ножку поджаристую ухрумкал, так еще и этот кусок потянул!.. А он бы был назавтра детям... Так, наверное, думала мать, на это все глядя. Трудно ведь и доставать сейчас еду, и готовить...

Вот я сейчас смотрел не в окно, а в зеркало: не в грузин, а в себя их глазами возможными. И для этой процедуры понадобилось — что? Семью Автандила превратить мысленно не в объект моего глазения, но в субъект видения меня в них предположить; самих же сделать непроницаемой подкладкой под стекло взгляда Бытия, которое может и мною на них глязеть, и ими на меня обернуться,— так что вот я становлюсь прозрачным и вижусь...

И накой взвалил я на себя эту Грузию? На мозг мой обессиленный и иссущенный... Не понять мне... А от прямой стези своей уклонился.

Ну ладно. Почувствуешь-познаешь несколько этот окружающий мир тебе новый, и подложишь потом под стекло: станет он из окна зеркалом, высвечивать не видные доселе закутки твоей нечистотности поможет...

Как вон взвидел нынче воспитанность и выдержанность грузин, их интеллигентность, этикет, светскость — и свое хамство, да еще самооправдываемое и эстетизируемое под культом «наивности» и «простодушия»...

Вот что уж не должно быть в чести и плюсе среди грузин — это качества наивности, несветскости (*enfant terrible*), что цепняются во французской, русской, германской культурах (Кандид, Пьер Безухов, Зигфрид...). Это, конечно,— от народности их интеллигентности: близка, недалеко ушла-отделилась, нет отчуждения, великосветскости формальной и бездушной, которую надо пробивать, отстранять такими сильными средствами, как вторжение неотесанного увальня в чопорную светски-хансскую среду. Таковой нету в Грузии...

Однако ж и тамадизм в них — тоже непроницаемая подкладка-облатка, стена-запрет на познание самого себя: не глядит Логос застолья внутрь Грузии, реальности общества и каждого человека, но пестует лишь идеал должного, родового, безличного...

Музыка и пляски

И вот почему слеза меня прошибла, исторглась вчера, когда жалобный лейтмотив увертюры к «Даиси» зазвучал: трагедия личности, личной судьбы в оковах рода, обычая... Стон души, свобода «я» против свободы на-рода. Последнему ведь не нужны «я», а лишь «мы»; и какая разница родственникам бедной Маро, от кого народятся им внуки, племянники: от ее любимого Малхаза иль от сосватанного ей Киазо? И кому они станут затем дядьями, дедами, тестями, свекрами, о ком панихида служить вскоре...

Опоясан человек ритуалом на-родовой жизни. И вот птичка чувства свободного взлетает в небо, в воздух — и некуда ей сесть! Лишь смерть ей — путь...

Какая опера прекрасная! Правда, показательна ли она совсем для грузинства? Много очень мелизмов восточно-туркских (азербайджанских? персидских?..); армянские увеличенные секунды... Тбилисская то музыка, города смешений, скрещений и встреч культур и цивилизаций.

И вот какие соображения навеивала музыка «Даиси». Пронзенный укором щемящего душу лейтмотива, восплакал я, как оскорбивший Грузию за отсутствие трагедии в ней — лишь «тамадизм» в ней пока видя и осмысляя. И Автандил умно и с горечью сказал: «Зачем это у нас такой обычай: гостей в стельку упивать, так что они думают, что грузины только застольничают и веселятся? Будто не тяжело нам и нет своих проблем?..»

«Тамадизм» — родовая этикетность, и в «Даиси» большим пластом — народные хоры, пляски.

В плясках грузинских — прыгучесть птицы, легкая воздуховность грузина: семенят-пружинят ножками быстро-быстро; но не отбивают чечетку, как цыгане по твердой земле степи, или увальнями медвежьими в раскачку и в присядку русскую: не пройдешь так по горам и осыпям: камень спустишь — камнепад устроишь... Ногами — как чуткими пальцами рук надо низ опробывать, перебирать. Сучат ножками энергично, динамично; а верх образует хоровой обруч: руки — на плечи, и ровна, недвижна поверхность — уровень горизонтали социальной плеч и рук, какие бы ни выделявали под ними штуки ноги... И грузинка плавет так, что дрожь ног не отзывается на застылости плеч. То — этикет, предел неба: сохранить великолепную форму — и над страстью; вышколенность, воспитанность...

В ритмах танцев послышалось мне некая мазурочность: такты на три, да с ударением на первой доле (ср. ритм лезгинки); значит, нет социально-cesareвой маршеобразной двутактности, иль -ургийной, рационалистической квадратности, как в метрике музыки западной цивилизации... Нет здесь и рассудочной линейности, но родовая объемность жизни, интуиция... Социальность тут (как и в Польше) плаstична, изящна, трехмерна, а не в

бинарных вся оппозициях рассудочных, как на Западе: «да» или «нет», «третьего не дано»... И в мужественных мелодиях (как ария Киазо в *начале III действия*) тоже на 3 — размер.

В ритмах постоянна хореичность: ударение на первом слоге. И связалось это во мне с типом мелодии: она — ниспадающая, как ручьи-реки с гор, вьется мелизмами... Но обычно начинается с самой высокой ноты — и ветвится вниз, на выдохе... «Мелодия-вершина» — так именуется такой тип мелоса.

В германской же музыке характерно прямо противоположное: затакт, ямб и восходящий тип мелодии — она растет, как древо, набирает силу, высь, разгон вверх.

Из европейских космосов Грузии близка по типу мелоса Италия: тоже там «мелодия-вершина», ниспадание (ср. «Санта Лючия...»), и опера Палиашвили очень мне Пуччини напомнила...

И в космосах тут общее: космосы ниспадания, камня... Если ямб знаменует вертикаль вверх, устремление в небо, то хорей — вертикаль вектором вниз, ниспадание с первой, сильной доли...

Так что подтверждает и музыка грузинская мою интуицию устроения ее Психо-Космоса как опрокинутого свода — куполом вниз... А в Италии купол небосвода — вверх, но по арке — тоже ниспадает, свободное Галилеево падение...

В ариях особенно чувствуется некий сплав тут Италии и Персии, в Грузии. Ср. ариозо любовное Малхаза в конце I акта. Ну да: Грузия как раз на уровне, на широте Италии, и есть проход из Европы в Персию. А оттуда — утонченность чувственности, гедонизм...

Вообще город в Грузии — место, где оседает и прививается ислам, Восток берет верх: в Тбилиси и в его песнях, в среде «кинто» блатных, вроде «романсов жестоких» на Руси, — и то же в городах. Вон «застольная» Киазо в *начале II действия* — вполне исламские мугамы тут, хроматизмы и мелизмы чувственные, как в азербайджанской музыке.

«Деревня» же, горцы — там строгость христианства бледеет, а в музыке — диатоника, нет хроматики, капризной ветвистости мелизмов...

5 веч. Работать надо. Завал надо разгребать узнанных сведений, соображений. Продумать-истолковать... Разговоры вел се-

годня — с женщинами: о Грузии и грузинах в Редколлегии. Болгарка там была и эстонка. Осетинка прекрасная...

Женщины Грузии о своих мужчинах

29.III.80. Вчера Психею и Логос Грузии постигал я. Повезло — с женщинами иметь разговор. Ведь до сих пор они были непроницаемы для меня. Гляжу на их облики на улицах — лица совершенные, в себе законченные, резко очерченные линии: брови, нос, губы... В сравнении с ними лица русских женщин кажутся несколько размытыми, недоосуществленными... Недотепы-растяпки и мужики русские, кур-носые, коротконосые (от франц court если...). Лица русских женщин — нежные, милые, вбирающие, робкие. А лица этих — гордые, излучающие огненность, стрельчатые — во бровях и неприступные. Да, как горы они и крепости — такими извне кажутся чужеземцу-пришельцу грузинки.

Но вот разомкнули уста — как вчера мне посчастливилось — и такие полились умные, мягкие речи.

— Я, правда, не грузинка, осетинка,— одна начала,— а осетины — потомки скифов...

Вот и не знаю: как вести речь, запись рассказа — поименно иль безымянно?.. И решить это можно опять же из стиля Психеи местной. Что дороже для той же говорящей грузинки: авторство ее мыслей-сведений в беседе со мною, или инкогнито ее суждений, которыми она доверчиво со мною поделилась и которые я никак не должен употребить ей во зло, нетактичностью какой-либо?

Для западного человека, наверное, ценнее первое: авторство, паблисити, экслибиционизм, реклама. Для грузинки же, даже эмансионированной, каковы мои собеседницы, наверное, важнее дискретность, некоторая спрятанность,— ибо я уеду, а им здесь жить, среди обратных отражений волн-слов, ими испущенных, сказанных.

Итак, как мне ни хочется восхититься, воздать их авторству и мудрости мыслей, придется их имена шифровать.

Я спросил первую: каковы грузины — с женской точки зрения? Она:

— Любят семью, дорожат ею, женой. Много времени на стороне, с друзьями проводят. Но и жене приятное любят сделать — помочь. Правда, не стирать — как Вы говорите, что своим детям пеленки стирали,— но вот приготовить пищу сами — это берутся и любят, особенно если друзей ждут. Вообще это ложное мнение, будто грузинки — забытые в дому женщины. У нас — не ислам, а христианство. Муж с женой считается. И она — с ним. Нет ссор, скандалов, как, я слышала,— в русских семьях. Даже если какие противоречия, стараются мягко уладить. Вот одна моя подруга: во всем с мужем соглашается, но потихоньку делает по-своему, но так мягко и ласково, что он уверен, что все сделано по его... Самолюбие его удовлетворено.

Самолюбие очень важно у грузина: гордость и самоуважение. Он никогда не простит жене того, что русские прощают: быть рогоносцем. Если сам изменяет (что не часто), то старается и к жене быть ласков... Но вообще у нас мало свободных женщин, да и общественное мнение... Так что в общем — нравственный климат.

Потом слишком много грузины в мужских дружбах проводят времени, чтобы ловеласами и селадонами быть, дамскими угодниками.

Но приветливы, рыцарственны к женщине. Вот и у нас: ни с того ни с сего может цветы принести — этот вот молодой мингрелец, что в Иенском университете специализировался. А ведь без связей каких-либо, из деревни, все — сам...

И еще — артистизм. Грузины все — немного поэты. В нашем народе вообще культ поэтов. Говорят: «Наш Илия» (Чавчавадзе), «Наш Важа» (Пшавела), «Наш Акакий» (Церетели); не знаю, в каких так еще народах?..

Я уж тут начинаю вплетать речи и других женщин...

— Даже преступления тут — из самолюбия. Вон прогремело дело. Один был богат, шиковал и однажды в ресторане послал ящик шампанского бедно одетому юноше, который свой лимонад пил и лобио заедал. В унижение ему, значит. И вот тогда, или потом, не помню уж,— этот оскорбленный подошел, выхватил пистолет и в упор застрелил — при всех, не скрываясь... И его поступок понятен, прощается общественным мнением.

Так что «униженности и оскорблённости», из чего в России источались перлы смирения,— тут нет.

Нет и зависти: чувствует себя на коне каждый. И стыдно было даже показать это чувство...

(Это — самодостаточность, самоудовлетворенность — важное качество самочувствия в жизни.)

...Мне и потому еще важно выяснить грузинское жизнечувствие, что из него, из Психеи — и Логос проистекает. Как мне прямо вчера исповедовал философ Зураб Какабадзе (в гостях у него мы с Настей провели дивный тихий вечер в беседе...) свое Кредо: не отвлеченное мышление, любопытство к познанию мира со стороны, но та философия, экзистенциальная, что за живое берет и отвечает на вопросы: как жить и вести себя? — вот что ему близко, да и вообще грузинам, в Духе.

Так что перед складом Логоса уклад Психеи, ее уложение надо понять-прочувствовать. Ибо Логос будет ее функцией.

Итак, все свидетельствует о покойном, радостном самочувствии грузина в жизни этой: нет чувства несчастности, ущемленности чем, обездоленности миром, богом и людьми,— и отсюда: мятежности, зависти, мстительности, порывистости прочь отсюда и от сегодня — вперед, в *далъ*, в будущее, к идеалу...

— Чувство будущего? — на мой вопрос задумались женщины.— Мало понятно оно. Лишь — в детях... Грузин любит-знает прошлое свое и живет в настоящем полно, не откладывая на будущее... Но и нет такой истеричности в жизненаслаждении настоящим, как в принципе: «лови мгновение!» и «после нас хоть потоп!». Это другие народы, кто мучимы и обездолены, несчастны, страдают в настоящем существовании,— уповают на будущее и чувствуют его силу и влечение к «потустороннему»...

Да, нет у грузин охоты радикально перестраивать мир, бытие, жизнь и человека. Есть чувство — что они как раз вполне мудро и прекрасно устроены... Так что в их литературе не заметно особых мотивов романтической мятежности и богооборчества. Но и не от косности и негибкости духа это, а просто мягко и мудро устроен быт и обычаи, и способны они принимать в себя хорошее новое без ожесточения и противостояния, без страха за погибель свою.

Нет страха, нервности, неустойчивости — в самочувствии грузина.

Нет и национализма, шовинизма. Все народы здесь приветливо включаются: и армяне, и евреи... Скорее, армяне несколько более ревнивы...

Потому и не уезжают никуда в другие страны. А те, кому пришлось эмигрировать: князья, после революции,— в такой ностальгии пребывали в Париже... Да и сейчас, если кто в командировке, про него в деревне с сожалением говорят: «Бедный наш Ванико! Он все еще в Париже!..»

Эта удовлетворенность даже в некоторое самодовольство переходит. Когда я болгарку, вышедшую замуж за грузина, спросил про них, сказав, что болгары все же страдают комплексом неполноценности себя как малого народа, а грузины — нет, она: «Даже слишком не страдают».

То есть, апломб, даже самоуверенность избыточная, что раздражает другие народы...

Точнее: это не апломб, который есть вызов и взрыв гордости — в ответ на унижение извне или себя, иль кому доказать, как это бывает как раз у людей застенчивых и страдающих недостатком самоуважения. В грузине покойно и естественно самоуважение, и он не рвется «доказать!» себя, воображать и выставляться...

Но привычка жить во *вне*, на виду, среди людей, выработала некое милое натуральное тщеславие: любовь красоваться, восхищать(ся), что сопряжено и с артистизмом их: врожденным...

Не нужно грузину замыкаться в себе и там, в уединении внутренней работы интенсивной, в отрыве от общества людей, доказать себе и миру, какой он «гений!» — и этим самоудовлетворяться. Это — уродливо выглядело бы здесь.

В Грузии же — гармония и мера, ее царство.

Акценты в Троице

В никал я и в национальный вариант христианства и вообще в представления о божестве здесь. Бог чувствуется не «там», а «здесь»: в божественности Природы, ее плодов, жизни, человека. О человечен и очувствен тут спиритуальный Бог

единый. Но чужд и суеверно-рабский политеизм языческий, иррационализм стихий природы, от которых неведомо что ждать, как это в Индии или в Средней Азии, где засуха, самум, землетрясения, наводнения... Тут Космос надежен, проверен — и уверен в нем живет человек.

Когда я расспрашивал об ипостасях троичного Бога: что тут в народе воспринималось интимнее, сердечнее: Отец, Сын или Дух Святой (этот вопрос очень проверчен для характеристики национальных образов мира)? — странен им вопрос. Эти числовые расчленения в Божестве — дики тут. Да и Бога отдельно от Жизни и Природы не чуют, а именно — в слитности их, когда и Бог оживлен, и Жизнь омудрена,— как это у гармонического Руставели...

Так что не могли на вопрос мой выделить кого-то из Троицы, хотя Дух Святой — наидалек и непонятен... Близко чувствовался Сын, Богочеловек, Христос,— но не распятый, в муках (такового чувствуют ближе в германстве, лютеранстве), а просто любящий, человечный.

Итак, общая осененность, одаренность и радостная благодарность миру и Богу — таково мироощущение извечное тут. Даже «благодарность к Богу» — неточно будет сказать: предполагает отделенность божества в объект и вынос из народа и природы куда-то.

Нет при-цельности, а есть цельность в грузине. Он — в Целом, в его центре самочувствуется...

Но нет и чувства себя как «избранного народа», что как раз сопряжено с острой униженностью в текущей жизни и с вызовом, завистью и оскорблением этим других народов, как это у евреев, немцев, русских...

Нет нервности, напряженности: чтоб начеку быть, подозрительности, ожидания зла. Нет ориентированности на зло в мире, тем более его героизации, как это в образах германской культуры (Сатана в «Потерянном рае» Мильтона, Люцифер в «Авроре» Якова Беме, Мефистофель в «Фаусте» Гете, Каин у Байрона и проч. ...), в Антихристе православных и в демонизме европейского романтизма. Бесов= злых сил не чуют так остро...

Есть, конечно, дэвы фольклора, но и они сравнительно добродушны, нет в них «радикального зла», не так они иезуитски-изощренны, как «бесы-искусители» европейского христианства...

Из ненапряженности, неусильности — даже и лень некая, расслабленность. Как сказала одна вчера грузинка: «Немножко мы лентяи. При нашей одаренности, если б потрудились, могли бы быть лучше. И — богаче страна...»

Но именно это трудовое усилие и стремление (как у англо-саксов, американцев) как раз было бы плодом и знаком того, что они стали бы именно хуже: утратили беспечность, самодостаточность, окрыленность-одаренность, а пришлось бы, как другим народам, среди бедной природы в поте лица трудиться, в «проклятии» себя чувствовать и отлученными от «благодати», и сочинять миф о «грехопадении». Я думаю, что чувство «первородного греха» и проклятости мужчины на труд в поте лица своего, а женщины — на рожанье в муках,— чуждо грузинству. Оно и доселе — в раю: «отпадение» и «изгнание» еще не совершилось с ним.

Грузины добры, отзывчивы к чужому горю, помогают бескорыстно, а не в расчете, что и им воздадут. Просто императив долга помочи ближнему исполняют и от того самоуважение испытывают.

Так же и гостя встречают. Пословица здесь: «Гость — от Бога».

— И не в расчете на то, что в свою очередь будет обласкан, когда в Москву, например, приедет? — я спросил.

— Нет. Вообще грузины предпочитают не выезжать из страны своей.

А у болгар в гостеприимстве сразу хитреца-корыстца наперед. Сказал я болгарке, ее провоцируя:

— Вообще грузины более одухотворены, аристократичны, по сравнению с болгарами, которые — более «прибиты», «плембей» рядом с ними.

На это она:

— Не могу согласиться. Да, в грузинах есть единичные взлеты, но масса грузин в деревнях — не просвещена. А в Болгарии более общий высокий уровень культурности.

Это верно: и училища, и читалища в селах, и кооперация давно. Болгария более однородно-культурна в целом... Но я не про то: про легкость и аристократизм жизнечувствия, неозабоченность...

Да, в Грузии важнейшее: что была на протяжении столетий своя аристократия, роды, и они вполне дошли до наших дней: чувствуют себя потомками князей, фамилий славных — и это прибавляет в достоинстве, чести, культуре, этикете: не посрамить предков!.. Вертикальность сквозь историю — особое чувство, и оно вообще у всех грузин.

Тут еще и поэма Руставели (что им — Библия) общей древней им платформой и шкалой благородства, рыцарства и идеалий служит.

Ведь что такое, если вдуматься, аристократизм? Это есть чувство рода, корня, древо, своей вертикали, сращенности именно с этой землей (с Вязьмой — Вяземские, с Мещерой — Мещерские и т. п.), где род и имя, и память о нем в истории сохраняется. Аристократ: «сэр» или «фон» или «виконт» или «князь» — не поедет жить в другую страну, где никто не знает рода-имени и не испытывает исторического трепета перед ним. А плебей — как «плейбой», «без рода, племени-имени», готов сняться в другое место, свободен начать новую жизнь, смотрит, где — лучше. *Ubi bene — ibi patria*¹³. Ему — нечего терять-жалеть. Ему — все равно: любое место и время.

Аристократ же для того и избран и облагодетельствован местным Психо-Космосом, чтобы быть всегда его устоем и сваей — и жертвенно погибнуть, не покидая свое место, если понадобится. Тогда имя его будет прибрано в историю, в дух, в Логос страны — и тоже: не только не пропадет, но еще и напитает ее. Так что и жизнь, и смерть тут — питательны и питающие: и человека, и его Целое.

Аристократические роды — это дубы, это эвкалипты народа, если долгую за собой, многовековую имеют историю, как Черчилли, Трубецкие, Дадиани, Бараташвили, Багратиони, Чавчавадзе...

А у болгар этого нет: фамилии-роды еще лишь столетники: кустарники, а не деревья. Принжен этим отсутствием аристократии своей народ весь...

Спросил я еще: какие народы чувствуются грузинами как более похожие на них, более свои?..

¹³ Где хорошо — там и родина (лат.).

— Испанцы... Хотя они — слишком мрачны и жестоки, напряженно страстны. Пожалуй — итальянцы. Но они — торгари. Французы — но они слишком подвижно-показушны... Но все же романские народы ближе. Германские же — дальше всего. Англичане, например: их чопорность и презрительность к другим. Когда провозгласили независимость Грузии, англичане вывесили на посольстве какую-то тряпку, а не флаг: в знак демонстративного презрения. Потому в XX веке немцы оказались ближе, приемлемее — в культуре.

— Ну а с русскими как? Что вошло из России в дух, культуру, быт Грузии за эти два века?

— По быту далеки друг от друга. Общее — православие. Сверху особенно на это нажимали. Литература русская XIX века?.. Кому — как...

Зураб Какабадзе Достоевского любит, русскую философию от Соловьева и дальше: Бердяева и др... Но все же не проникла русская культура в дух тут, чужеродна, не своя. Ближе гораздо — персидская, иль современно европейская. Особенно поэзия — на Восток ориентирована.

...Еще о душевности грузин эстонка говорила: поразила ее теплота тут — в сравнении с сыростью, холодом, одиночеством душ в эстонском космосе, где обитают на хуторах, сами по себе, замкнуто. Нет доброжелательной открытости. А здесь — общая светлая жизнь.

— И Бог-то тут какой-то радостный, — говорил Зураб Какабадзе. — Всегда на атеистов походили грузины: оттого, что земные блага ценят и бонвиваны. Но земные блага одновременно чувствовались и как божьи блага. Жизнь наша и дух имеют задачей продолжать солнце Природы. И святых рисуют грузинские художники не аскетически-изможденными, а кругло-солнечными.

18.XII.83. Сейчас, через 3 с половиной года перепечатывая этот текст, добавляю, что жена, только что из Тбилиси, привезла из разговоров с грузинками.

— Эротической радости они от мужчин своих не имеют: и не ведают те, что и женщине что-то подобное нужно... Но так как выбора нет — мужчин другой национальности, и как в крепости они в Грузии, то смиряются и находят компенсацию в других

сторонах внутрисемейной жизни... Да и некогда грузинам женщины любить: так много времени проводят они в дружеских засильях! Ну и, конечно, дорого обходится их «тамадизм» женщинам-хозяйкам, которые все это готовят, а за стол не всегда и зовут их.

Хитрость — да. Непосредственность — нет

30.III.80. Саднит душу вчерашняя неловкость моя: привез меня Гурам Асатиани в общество за стол и спросил: хочу ли я пригласить еще такого-то (к кому я, собственно, приехал — книгу издавать); а я, глядя на веселую свою ихнюю компанию, куда и меня-то с дочерью ввели на помеху (так, по-русски, комплекс «незваного гостя» переживаю), — так еще сметь желания какие-то свои выражать?.. И я сказал: «Как я могу в чужом доме, в гостях, еще чего-то своего хотеть?» И он так уточнил: «Значит, не хочешь, чтоб его позвали?» Я пожал плечами — и он уже утвердительно заявил: «Не хочет он этого человека».

И вот я переживаю ложный шаг этот: передадут еще ему это, он обидится, и все дело издания, ради которого я в Тбилиси прилетел, рухнет...

И пришло уразумение: наивность (и неосмотрительность) тут не годится. Она оказывается невоспитанностью. А хитрость тут необходима. Она есть вежливость — потому что вертеться надо грузину среди многих и разных людей и интересов, и всем угодить и быть другом, — как вон Гурам Асатиани о себе прямо говорит: «А я — хитрый». Это бы стыдно про себя сказать в России. А здесь — и по сути это положительное свойство, да и сказано Гурамом было с хитринкой, артистически, полуушутя: хочешь, верь, принимай за чистую монету, хочешь — нет: это уж твоего интеллекта дело. А я — сказал...

Не просто все тут. Отнюдь. Ритуальными формами препоясано: в них вертись. И любят они их. (Вон и Мамардашвили-философ воспитующую естественного человека всеважность формы и ритуала утверждает. Вообще руссоизм и концепция «естественного человека» должны быть невозможны и чужды Грузии — пока...). И не устают от форм — как мизантропы в

Европе. Нет тут бегства от людей, социума; человекофобия, как у меня вот, чужда им...

Политики они, грузины: меж человеками, меж душами дипломатия, психологи... Политика внутренняя, меж человеков, а не вещей: уважение, отношение, нюанс слова и взгляда — все имеет значение...

А мы, на Руси, привыкли быть невыдержаными в этом отношении и не политанствовать середь людей и друзей, а просто душно-открыто себя вести и говорить. И не притворяться.

А притворство-то, если вдуматься, — совсем и не плохо: оно есть тоже творчество, а не роспуск естественных штанов...

А я в Грузии себя чувствую невоспитанным, неотесанным, с замедленными реакциями...

А их ласкательность — меж собой и к гостю — сродни вос точной вежливости, даже китайской церемониальности. Но ближе — к персидско-турецкой лукавой елейности ритуальной. Хотя у грузин это и просто простодушное добродушие, благая воля и любовь радоваться со всяkim человеком.

Да и застолье грузинское, эта сопряженность вина и слова, духа — сродни суфизму, где мистика вина и духа высокая, поэтическая, артистическая...

Ускользают грузины от того, чтоб «поговорить по душам», как это среди русских приемлемо и тянет — незнакомому человеку (ему-то даже особенно!) всю подноготную свою раскрыть, признаться, покаяться, поплакать, по-достоевски разговориться...

Тут и стыдливость у них: обнажать душу, подполье ее. А, может, нет вообще такого подполья, куда демоны духа и муки все, как титаны в Тартар, в подсознательное загнаны, вытеснены? Или, при малой развитости здесь рефлексии, самоанализа (для чего требуется высокая культура одиночества, чего здесь, при постоянно воспроизводимой хоровой жизни, нет), — этот поддон души в себе не стал еще осознан, не стал проблемой и сюжетом духовной работы?.. (А Узнадзе-психолог как?.. Но там не подсознание, а установка на наружное действие... — 18.XII.83.)

Разговоры не взаимно-ввинчиваются душой в душу, как буравом, но предпочитают вести на ритуальном уровне всезащит-

ного от всяческих демонов (зла, нутра, Природы, естества, страдания...) тамадизма, который есть всеобщая тут форма и платформа и «проформа», что для русских иронично и скверно звучит, а на самом-то деле есть вариант «пра-формы», архетипа...

И отсюда к Логосу грузинскому мне ход забрезжил: не должно тут быть влечения к началам и причинам, выяснить происхождение всего, как это в европействе (в эллинстве, в германстве особенно), — к прототипам и праформам... Но именно к формам живым и ныне действующим, — у них интерес и понятие их интимное. «Все Бытие здесь и теперь» — значит: исследование не того, что было, даст мне истину, а понимание того, что есть, и как теперь функционирует жизнь форм. Соответственно, и наперед: цели, последствия — не обременяют заботами их ум и душу. Будущее всякое...

Они живут именно в настоящем как вечном и мудром, увесистом, а не в настоящем как нервно-эфемерно-суетливом «мгновении», которое, порхающее, «ловить» надо еще напрягаться, усиливаться, «остановить» чтоб (как Фауст...).

Род и свобода личности

Но такая живая и мудрая настоящая жизнь форм, ритуальность, — насколько оставляет простор свободе, не теснит личность? Иль эта проблема не мучает так грузин, ибо не несчастны, в радовании обитают?.. А несчастье главное — смерти — среди друзей, в общине как раз наилучше преодолевается...

Вон и вчера в среде интеллигентных грузин (три геолога, профессор-психиатр, киноартисты, скульптор и пр.), когда Гурам хотел договориться о встрече на завтра, выяснилось: нельзя — днем похороны у одного, неудобно другим веселиться...

То же и Автандил: неделю назад день рождения его жены был, но так как 10 дней назад умер человек из их подъезда (= как села), неудобно им пышно спровалить этот день, и стали тихо, приглушенno: кто придет — хорошо, но не приглашать самим...

Так что и у проснувшегося к обособлению индивида — фундаментальная благодарность общине: ибо много друзей — спасают от лицезрения Смерти наедине...

В Грузии чувствуется мне некая мера и гармония — меж выделенностью и развитостью личности, ее свободой,— и ритуалами общежития народа.

Да, свобода — главный тут вопрос. Но это я его поднимаю, а не они им мучаются. А я поднимаю потому, что, по традиции европейской, для возуглубления духа и развития личности — необходимо отпадение от рода (и от Бога — грехопадения фаза). А тут это не совершается, чтоб противостоять инерции традиции...

Хотя это — в героях Важа Пшавелы, которые оказываются исполнять долг кровной мести и становятся изгоями рода (этот именно сюжет и Пушкина на Кавказе привлек: «Тазит»). Это же и в Дата Туташхия, вольном абреке...

Свобода — от рода (а не юридическая) тут важнее и есть более сущностная проблема... Вчера я даже тост поднял, восхищаясь способностью грузин жить свободно от политики, игнорируя ее как неважность для себя, жить по существу, не волнуясь формами права, но средь существенных ценностей: в роде, в ритуале, в любви, в дружбе, в деле...

Так что род и сохранение личностью его форм и ритуала было залогом того противостояния, которое субстанция Грузии могла оказывать на протяжении истории внешнегосударственным пришельцам: последние на уровне внешней политики глушили грузин, выбивали их, и проигрывали они тут; но туземцы уходили в подполье рода, народа — и там были свободны жить по своему обычаю...

Но, значит, и обратно: в той же мере, в какой род и ритуал был оплотом внутренне-бытовой свободы грузин в целом, как народа-нации, он своей разумностью двойной мощно подчинял себе индивидов, пробуждению личности препятствовал — еще и тем, что сильно ласков он в Грузии, не насищен, радостен, так что мало у кого и импульс тут возникает выдираться из-под власти форм традиционных в свое «я» и его особый путь, сопряженный с мучениями...

Вот Дата Туташхия и его автор, Чуба Амирэджиби,— выпавшие из рода и народа личности, на особую судьбу... Однако, им тут же пришлось в конфликт с политическим государством вступить, а поддержку им оказал опять же род и народ, укрывая и кормя...

Да, свобода... Тут вообще под сомнение ее ценность встает уму человека, моему вот тоже: не Абсолют она, а пустота-пустота смыслов, негативность лишь... Условие возможного личного творчества, но лишь у-словие, а не уже слово и ценность. Предпосылка, но не «посылка»; предбытие, предбанник, а не баня...

Так что и настаивать на ней и желать и выдвигать как необходимую проблему и стадию для развития личности — верно ли будет? Не перенос ли это европейских моделей?.. Что если они положительное содержание жизни: в любви, радости, творчестве,— умеют осуществить не на путях свободы индивида, а хором, родом, народом, страной, семьей? Ведь в семье-то мне свобода не нужна, ибо тут царит Любовь. А она -- выше и мощнее Свободы, есть не условие, а безусловность, не предбытие, а Бытие...

«Свобода выбора», экзистенциальная... Опять же сомнительна ценность этой идеи-принципа. Выбор-то — между тем, что мне предлагается социумом отчужденным: «или-или» — по этой формуле. А если, когда я сам и мы все вместе творим свое окружение и его «условия»,— тогда же мне не надо выбирать, стоя в позе судьи, рассудком, но я сам веду-творю некую позитивность, полагаю ее сам в бытии (а не «данность» она мне и не «факт») и потому люблю, как возлюбленную жену: я ж не выбираю ее, а мы вместе выбраны — любовию...

Так что то, что можно бы в терминах европейской цивилизации означить как «неразвитость» или «недостаточная развитость» личности тут и «свободы»,— начинает для меня тускнеть в категорической ценности и непреложности критериев этих: тушуются они при обработке ими грузинской реальности; и хочется, услышав эти укоризны грузину, задать ответный вопрос: «Ну и что из того? А накой они, вообще-то, обособленность личности и свобода?».

Потому что и закон родовой не жесток тут, но мягок, милосерден и уступчив. Вон читал вчера поэму Давида Гурамишвили «Веселая весна». Там пастух алчет пастушку, невозможет удержаться до брака, ибо умерла бабка, и в течение года надо траурносить. А тут еще и дед на подходе. Так что родители бы их и рады сочетать, да обычай не позволяет: соблюсти надо ритуал. Тогда дружественный сосед приходит им на помощь вместе с попом — и женят их: поминки-тризну превратив в свадебный пир...

Здесь какая-то добродушная встречность обычая и притязаний индивида. Он и хочет своего, но не настаивает на этом жестко и железно. То же самое и обычай бывает уступчив, гуманен. Удобно и уютно им вместе тут обитать: грузину — под грузом народного обычая своего. Ибо истину: «бремя Мое сладко и иго Мое легко» — так и Грузия могла бы своему человечку сказать.

Ненапряженность, ненатужность тут и в отношениях личности и общества. Сейчас особенно это так: род подразмылся, и закон общества, государства заступает его место. Но закон, во-первых, сторонен, чужд, не свойск: из России пришел и формально лишь блудится, не берут на себя за него субстанциальную ответственность, не берут грех на душу, предоставляя его центральной власти. А, во-вторых, закон смягчается, ибо свои кругом, и разрешает по дружбе, — как вон милиционер на моих глазах разрешил Гураму в недозволенном месте разворот на машине сделать... И в соблюдении ритуалов, и законов нет тут формализма и отчуждения, но — душевность, содержательность.

Способность суждения хорошо развита в людях: учет, что можно и когда, а что — нельзя. «Хитрость» — тоже вариант способности суждения: умелого соотнесения единичного со всеобщим, подведения частного случая — под общее правило...

Логос грузинского языка

И в языке меня поразила особая форма глагола — «субъектно-объектная»: учет в ней не только того, что я, но и кому и что делаю: ориентированность и считаемость, обратная связь от «объекта» на «субъект», а не просто необратимая переходность действия, «транзитивность», как в европейском и русском глаголах.

Это так называемая «кцева», или «версия» действия. Их три. Нейтральная: «действие здесь происходит вообще, т. е. ни к кому не относится и ни для кого не предназначается («пишет»)». Вторая форма кцевы: «действие, выражаемое глаголом, предназначается для лица субъекта («записывает лекцию для себя»)». Третья форма кцевы: «действие, выражаемое глаголом, совершается

или предназначается для другого лица, для объекта («он пишет лекцию для меня»)»¹⁴.

В европейском и русском глаголах две первые формы есть, а третьей нет. В ней — ориентированность на другого, считаемость с ним, уступчивость, обратная связь, общая жизнь: в моем действии учет и глаз другого на меня.

Некое единство субъекта и объекта, которое характерно именно для Бытия-Мышления и что резко разрубил европеизм и языки там, так что не удается им мыслить Единое Целое: для этого приходится замереть, молчать, как в йоге...

И то, что в грузинском языке есть способ мыслить-выговаривать нечто, не разрубая резко субъект и объект, как раз подтверждает ту интуицию, на которую я раньше тут напал: грузинство — располагается в Бытии, в центре Целого: космос совершения здесь, и потому никуда не торопятся от себя прочь...

Особенно это в такой черте грузинского глагола, как его «полиперсонализм» — многоличность: т. е. не просто множественное число «мы», где снивелированы разные «я», «ты» и «он», а — хоровость, встречность лиц и душ в одном действии, их взаимосоотнесенность и увязка.

«Основная особенность грузинского глагола — это его многоличие (полиперсонализм). В одной форме грузинского глагола могут быть представлены как субъективное лицо (действующее лицо), так и объектные лица (т. е. лица, которых касается действие, производимое субъектом). В зависимости от этого в грузинском глаголе есть субъектные показатели лиц и объектные показатели лиц.

...Если в глагольной форме представлено только одно лицо, то глагол одноличный, т. е. в глаголе представлено только лицо субъекта. «Вибалиби» (прячусь) — в этой форме глагола мы имеем только лицо субъекта, т. е. того, кто совершает действие, и это действие ни на кого не распространяется. Эта форма глагола безобъектна.

Если в глагольной форме представлены два лица — лицо субъекта и лицо объекта, то такая форма глагола будет двухличной. «Давцэрэ» — «написал» — я его (я — письмо). Я — лицо

¹⁴ Джавахия Д. Учебник грузинского языка для негрузин. «Ганатлеба». Тбилиси, 1977. С. 88.

субъекта, его (письмо) — лицо объекта, т. е. того, на кого распространяется действие.

Если в глагольной форме представлено три лица (субъекта и двух объектов), такая форма глагола будет трехличной. «Тэув-кэрэ» — «сшила — я ей то (сшила я дочери платье). Я — лицо субъекта, ей (дочери) и то (платье) — лица объектов — одного прямого и одного косвенного» (там же).

Такое многоги́чие глагола иметь должно глубокие субстанциальные корни в национальной сути грузинства и образует важнейшую черту Логоса здесь. Потому нет такой жестко-резкой тяги у грузина обособиться в чистый субъект: стать абсолютно свободной личностью.

И самый свободный из известных мне образов, Дата Туташхия, — весь в перекрестных отношениях, считаниях, ориентировках на людей: как бы не принести кому зло своим — пусть и с одной стороны и нравственным вмешательством в ситуацию, которая всегда многоперсональна и не учитываема в своих причинах и последствиях, хорова по составу и сути, — так что лучше и не вмешиваться: недеяние блюсти...

То есть, и Бытие — многоперсонально, и каждое деяние-событие в нем, «факт» и «вещь» и ситуация. Тут не христиански-эллинского образца «троичность»: потому-то и не мог найти я следов ее интимного переживания или предпочтения кого-либо одного из трех ипостасей в грузинском образе Бога. Но есть своя живая троичность, нераздельность и неслиянность, что сродни «святой семейственности» христианского Божества и что залегает единым прообразом, Богообразом в сути всего, как грузинская монада-модель всякого существования... Его уже я остерегся означить как «вещь» (не сказал: «всякой вещи, идеи, понятия...»): ибо тут нечто другое, трудно мне выразимое, что мне еще только мерещится, подозревается как наличное тут. И оно — диковинно мне, выросшему в европейском Логосе, и трудно улавливается его средствами...

В многоперсональности действия — взаимо обращенность лиц, замкнутость их друг во и на друга. И это тоже — на совершенность и нестремительность грузинского Космо-Психо-Логоса указывает, на его пребывание при себе и самодостаточность. Не глазеют тут завистливо и облизываясь в любопытстве и инте-

ресь — по сторонам: в чужие страны, карманы, народы. Не завоевательны грузины, но зато стенкой лиц стоят, обнявшись, крепость образуя, в общем многоперсональном деянии всяком, и в танце (вчера их смотрел, танцы-то): обнявшись за плечи, ходят и троичные круги образуют даже в присядках: отираясь и сцепляясь тем пуще; так арка, падая, скрепляет себя...

Многоперсоналия — фундаментальная структура грузинского Космо-Психо-Логоса. Именно резкая разделенность субъекта и объекта = собственника от вещи — в европействе и языках его — и порождает неустойчивость, динамизм, отрицательность и стремление к выходу из себя, к чужому, империализм из «Я» — в «Не-Я», в овладение («колонизацию») природой и миром знаний — в европейской цивилизации. В грузинстве же нет империализма — в отношении к природе и к бытию вне себя: не заряются на чужое, и повелевать не стремятся, порабощать чужое «я»: «воля к власти» ницше-фрейдова тут людям не свойственна — внутри Грузии (грузин вне Грузии — это особь статья: может быть безудержен — вне рамок космоса своего и рода...).

Не путешествуют они, не торгари, как евреи и армяне: от неполноценности своего — в чужое проницают. И если ныне на русских рынках грузины появились как торгари, то это просто избыток некий плодородия природы здешней и народно-трудовой активности... Возникла ситуация — и, при талантливости общего, смогли стать и торговцами, «вайшьями», раз в «кшатрийство» энергия нации перестала течь. Но и в торговле грузинской есть элемент игры, эстетический, щедрость, приятно — удивить, свободу свою и от корысти показать!..

Игрово живут. А игра — взаимность, в отличие от модели труда и науки, которые в Европе преимущественны и где резко делятся субъект и объект.

6.30 веч. Вмысливаюсь в *звукность* грузинского языка. Из гласных = чистых координат пространства (согласно моей «фонетике стихий» — исследование 66 года) царит безраздельно «а» = звук чистого пространства, вертикаль меж небом и землей, место для стихий воз-духа, для воздуховности грузинства.

«А-са-ти-а-ни»... По моей схеме: «и» = звук переда, выси; на Руси он представляет даль, «е» = ширь. Но здесь, в горах, где горизонт замкнут и далей нет, есть выси — и «и» их представляет.

И это взаимозаменимо: на Руси «даль» — место Абсолюта: там, впереди — Бог, высшая ценность, к ней идти надо, в путь-дорогу. И окончания «ыи» — там основные, зовущие в одностороннюю бесконечность...

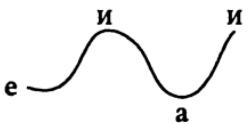
В Грузии же Абсолют, божество — по вертикали и в шаре. И если «а» — весь объем Бытия, Целого означает, то «и» = усилие человека вверх навстречу Небу. Если дело Абсолюта, Неба, Космоса — «кенозис», т. е. самоумаление, ниспадание до человека — в «а», то дело человека — им навстречу усиливаться вверх — в «и». Так что сочетание «а-и» символизирует как бы «богочеловечие», по-грузински: сотрудничество Бога и человека в существовании. (Обратное же сочетание: «и-а», что характерно для фамилий Абхазии, где космос склона; с гор — к морю ниспадание: Гургулиа, Цвинариа, Гулиа... — символизировать может то, что в мифологии Достоевского, например, означено, как «человекобог», и недаром тут, в Колхиде, — пифийство и колдовство и магические способности издревле отмечались. Отражено это в романе Отара Чиладзе «Шел по дороге человек». И Медея — волшебница не случайно тут... 19.XII.83.)

Вообще, напав на это противоречие языка, Логоса, устройству Космоса, как я его доселе для Грузии вывел: как космос, в общем, опадания,— я понял важное для всей моей системы «космо- психо-логики»:

Язык (Логос) — не только в резонансе с Космосом, гармоничен и адекватен ему, — но и дополнителен к нему, восполнителен, есть «его другое». Если вектор Природы, Космоса, в общем, всегда вниз, то вектор Языка, Логоса — всегда вверх: есть преодоление духом веса и тяги плоти и тяготы вещества.

«Мамардашвили» = «а-а-а-и-и».

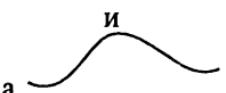
«Какабадзе» = «а-а-а-е» («е» ~ «и»: тоже звук переда и выси). Или некий галантный вензель описывают звуки: «Тэлиани»: «е-и-а-и», что можно таким графиком высот представить:



, — т. е. вполне получается космос Грузии: горы, долины... «На холмах Грузии» Язык располагается — как

Цисхари = дверь в небо. И «а-и» есть основной неумолчный стук грузинского логоса в небо, как рокот рек горных есть ниспадание — «кенозис» Неба до уровня земли и человека.

Или руствалиевские имена характерны тоже: Автандил: «а-а-и»; Тинатин = «и-а-и». Остальные, правда, более тюркски: космосу ислама соответствуют. Тариэл — семитское вполне звучание, как Рафаэл. Хотя тоже очевиден вектор восхождения:

«а-и-э»:  Но уже Ростеван и Нестан-

Дареджан более резонансны Логосу тюркскому, где уровень степей аравийских, гор нет, и сочетание «е-а-е» дает космос выси и шири (не дали...).

Что же до сочетания-распределения согласных и гласных, то тут преобладает гармония, звук на звук. Но самое характерное: нет закрытых слогов в грузинском языке, что, напротив, для немецкого специфично, где космос -ургии: Haus, дом бытия против открытого пространства Raum, его не любя и чуя его не как «Я», но как «Не-Я».

Открытые слоги более соответствуют -гонии, нежели -ургии, т. е. Логосу природы: уважая принцип естества и жизни, а не искусства и трудового умерщвляющего усилия, преобразования Природы.

Дом (человек) тут открыт в природовую жизнь, как божественную.

Сама же равномерность чередования согласных и гласных: «га-ма-рждо-ба» — как бы соответствует чередованию хребтов и долин, вершин и впадин в грузинском космосе, стихий земли и воды. Гора = огнеземля: язык-всполох земли вверх, под огнем магмы недр. Ущелье же с рекой = влаговоздух: впадение неба вниз — на орошение и одухотворение жизни...

Нет тут такой жгучей суши, как в сочетаниях армянского плоскогорья: «Мкртчян», где фактически 6 согласных подряд (ибо «ч» — африката, сдвоенный звук). Но есть мощно энергийные взрывные сочетания: «цховреба»...

И вообще роль приыханий в фонетике — как ветров среди ущелий и теснин согласных: их тверди духом прорывая.

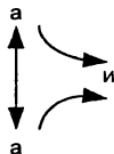
Речь грузина — космоургична: ртом и грудью сотворяет Космо-Логос. Ибо в *начале* ж было Слово. И оно есть воззвание к сотворению-возникновению адекватного ему вещественно-атомарного устроения Бытия. Язык же есть акустика = испускание волн. Вначале, значит,— волны, потом — атомы. Волновая теория строения вещества соответствует тому, что «в начале бе Слово...»

А гортанный клекот: «к», «кх», «цкх», «пх», «тх»... — из горловины вырываются звуки, согласные = это как горы в горле прорывает ветер духа. Из глубин, «де профундис», ревет и рвется — как Терек в ущелье Дарьальском.

Но стоп! В опровержение своим выкладкам насчет «а-и» вспомнил Нодия, Гулия, Гурия — обратное сочетание: «и-а» выражает космологос опускания. И характерно оно как раз для западной Грузии: Мингрелия, Гурия, Абхазия, где спуск гор к морю и уж безбрежно открытое пространство берет верх, не перемежаясь твердью согласных = звуков стихии земли, гор; «и-а» — зияние: прямо гласный к гласному.

Так что в звучности языка грузинского такая просвечивает знакообразность: в Восточной, континентальной Грузии, в Картли и Кахетии, преобладает сочетание «а-и»; в Западной же, морской, в Колхиде, где горы сдаются морю,— сочетание «и-а», которое ведь тоже можно читать не только как опадание, но и как разверзание: от срединного уровня «и» ход в «а» знаменует и верх, и низ.

Так что теперь и сочетание «а-и» мы можем несколько переосмыслить: тут сход распяленной вертикали «а» меж Небом (Отцом) и Землей (Матерью) — в некоей середине, мере, к человеку:



Ибо «а» = звук и царственной высоты, и звук глотки и нутра: «а-а» — говорит младенец на горшке. И когда врач в глотку лезет, просит «а» говорить: зев глотки открывать, где нёбо — небо.

Ну да: недаром звуки родства: «мама» (папа, отец), «дэда» (мама), «да» (сестра), «дзма» (брать) в грузинском, да и в других языках,— на «а»: вертикаль меж небом и землей знаменуя, в нее выводя... И тюркское «ата» (отец) и «энэ» (мать)...

«Дядя», «тетя», «баба»...

В гостях у художников

31.III.80. Вчера у художников — братьев Георгия и Ираклия Очиаури с Гурамом были и с Настенькой. Смотрели, а под конец разговорились.

Георгий сравнивал скульптуры русского и француза: взять любой кусок — видна фундаментальная разность русского и французского понимания жизни и подхода к человеку и телу. У русского в скульптуре чувствуется, что под поверхностью кожи вяло кровь струится, нет давления, упругости. Тело хочет сникнуть, не пружинит, опадает. Некая ватность плоти. А у француза плоть обнаруживает бодрое кровяное давление, пропитанность, сочность, солнечность, витальность...

Развил я вкратце им свои идеи о грузинстве: при себе, довольство, не зависть, гармония Природы и Духа, дружелюбие, хоровая жизнь и невыделенность личности.

Между прочим, и по картинам и чеканке Ираклия хорошо пластика грузинского Космоса чувствуется.

Закругленность, возврат в себя, спиной к миру: нет интереса вбириания (что от чувства собственной неполноты и недостоверности в народах и людях возникает и о том свидетельствует).

Друг друга за руки можно держат — в хевсурских танцах, так что при всей динамике, энергии-силе ног и телодвижений, она при себе остается, сохраняется, наружу не выходит.

Или композиции, когда 3 или 4 воина спинами друг ко другу, лицом в мир, заняв круговую оборону, готовы отражать написк внешнего мира.

Обсуждали мое соображение, что нет грузин-путешественников, торговцев, снующих в любознании и зависти по другим странам.

Грузины на чужбине — это в основном воины: мамелюки — из грузин, отодранных с родины. Отчаянные воины — еще Наполеон их ценил. И в Персии, когда 300 тысяч грузин вывезли, их воинами содержали. Но не торговцы они. Даже когда в XIX в. стала буржуазия развиваться, это дело армянам предоставили.

За границей грузин — правитель, воин... Отодранный от корней космоса своего, он становится особенно лют и динамичен: не имея сдерживания и меры космоса вокруг себя, как на родине,

где — ориентировка на людей, друзей, народ вокруг. Одинокий, он становится страшно активен, развивается в личность, но — недобрую. Ибо импульс его основной — отмстительный, а не любовный, как когда он на родине при себе, при сути.

Так что там грузин может становиться чудовищем, монстром: Сталин, Берия... И если Грузия сама страдала от их рессантимана («Что? Недоделки мы, по вашим понятиям? Так получайте!..»), то и России, что Грузию присоединила себе на голову, они так отмстили-изувечили, как никто. Да еще заставили русских — вот ирония-то и смех сатанинский судьбы! — возлюбить джугу-изувера, как отца родного, сыновне покориться, как рабы — Великому Инквизитору! Да и сейчас поминают многие, особенно из «простого» народа, сталинские времена — как золотые...

И в этом отличие свое от армян видят: те — торговцы, за границей богатеют, а грузины — володеют. И то характерно: одни — вещами, другие — душами интересуются, во Психее работают, что есть грузинский навык существования: прежде всего в субстанции рода, дружеб, и меньше — в космосе, социуме, цивилизации. Наиболее чувствителен грузин именно к душевности. Вот и Сталин с Берия такой изуверский психологический климат установили: слежку, подозрительность, «шестое чувство» чекиста, проницание в подсознание... И недаром мирового значения школа психологии тут — Узнадзе...

Вот и Ираклий Очиаури любит раздвоенные лица рисовать (женщин притом), где половина одна — «нормальная», а другая сдвинута по вертикали вниз, перекошенное в ней все и изуверское, демонское: лицо дэви как бы...

То же и в музее впечатлилось: в «Гурйке» Кикодзе — лицо ведьмы молодой. Кстати, недаром из Гурии множество мятежных грузин вышло...

Но оставим грузина, как он наружу, в мир обернут. Займемся им, как он при себе. И тут все согласились с этим моим понятием: Космос при-себе-бытия, присутствия, радости, гармонии.

— Солнечность,— вот что в грузине, в Руставели особенно,— Георгий Очиаури стал развивать эту мысль.— А почему? Потому что Смерти не боимся. Рядом с нами — армяне. Тот же Кавказ. Но они почему-то весь век, всю историю — плачут, боятся, дро-

жат. А мы — вон восточная Грузия, Кахетия,— сколько там вырезали, страданий приняли, а в песнях ничего такого не осело, не отразилось, но — мимо. Песни — радости и солнечной легкости.

— Да, значит, не в наличии или отсутствии внешних страданий дело,— подхватил я,— а в клейкости им навстречу, иль — как от стенки горох: так от Психеи грузин отскакивают самые что ни на есть удары, что размозжили бы душу иного народа... Тут — хоровое со-держание друг друга на горах, при небе, что и в танцах, за плечи обнявшись иль за руки вцепившись; как тут выделиться личности — на отчаяние и мировую скорбь, но зато и на духовную свободу и возрастание в духе, наедине с Бытием?..

Так что хоровая жизнь и благодетельна: содержит душу каждого грузина в радости, помогает Смерть одолеть. Но и не выпускает на свой путь: на саморазвитие личности...

— Ну а когда я один,— Ираклий вмешался,— а не в застолье, ужели не личен я и не подступится ко мне мрак?..

— Подступится. Но грузину даже в страдании — есть, куда вернуться: в круг друзей или родственников, где дом и уют душевный, защита и обогрев на радость... А личность развивается в радикальном одиночестве и отчаянии, отрыве от всех связей и в самоопорности — на себя и на Абсолют: на прямую связь с ним выходит. Только он — ее дом...

— «Всякая птица имеет гнездо, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову»,— Гурам тут вспомнил удачно.

— Вот именно: радикальная бездомность в этом мире, чувство, что «во зле лежит»,— предпосылка становления личности и ее свободы и самодеятельности. В Грузии ж есть мощные *индивидуальности*, самобытные характеры, но *личность* — это другое... Ибо космос гармонии не выпускает ее на несчастность (из Целого-то) и на свой поиск, на свой страх и риск.

— Это верно, так,— Ираклий сказал.— У нас был философ Бакрадзе. Пытался он мне растолковать, что такое экзистенциализм, но я ничего не понял. Однако, понял, что и он, сам Бакрадзе, ничего в нем не понимал.

— С Какабадзе я говорил: ему нравится экзистенциализм.

— Но и он, я думаю,— продолжал Ираклий,— до конца не может его понимать, ибо нет у грузина опыта такого мироощущения заброшенности и одиночества...

Пожалуй, он прав... Ведь что Какабадзе в экзистенциализме привлекает? То, что это не отвлеченно-рассудочное мышление, не сухое, а жизненное, человечное, за живое хватающее, психейное,— и в то же время эстетическое: красота там, а мысль — в чувственной форме, пластична. И феноменология Гуссерля чем его привлекла: умозрением, платонизмом... Экзистенциализм — на одиноком лицезрении Смерти замешан. А в Грузии вот что:

— У Руставели,— Георгий вспомнил,— есть эпизод, когда Автандил бросается в битву с разбойниками — бескорыстно, ради купцов, и возвращает им отобранный товар. Когда те, пораженные его бесстрашием, спросили его: вот товар ведь наш, но мы боялись за него биться, а ты, витязь, за чужое рисковал жизнью, как это возможно? — он ответил так: эта жизнь не стоит того, чтобы за нее держаться. Все равно, что здесь, что — там...

Но это — не от мученичества в сем мире (так я это понимаю про героя Руставели), а от чувства закрыленности себя в божественности Бытия всего. Легкость и радость тут, франциско-асизская...

И недаром у Ираклия в его коллаж из любимых художников входят Эль Греко, Тициан, Боттичелли (две головы), Модильяни, Дега, Ренуар, Сезанн, Матисс — все романцы, с жизнерадованием в мире сем и во плоти его. И — ни одного германца и русского...

Да, смерть переживается во одиночестве — как ужас и кошмар и высекает из души отчаянное усилие к свободе из законов мира сего — и к творчеству. В Грузии же общий хор кладет себя платформой и от могилы: перерезает ее пуповину и жало («Смерть! Где твое жало?..»), но и от личности. Потому и Настя справедливо заметила:

— Не чувствуя, не боясь Смерти, грузинам не выйти и к маминому Федорову (к «Философии общего дела» Н.Ф.Федорова.— Г.Г.), ибо не переживают так исчезновения уникального человека, личности, «я». Ни острого чувства смерти, ни личности... А сопряжены они...

Кстати, Федоров — тоже полугрузин¹⁵ и недородок... И слеп к русской благодати, хочет всю ее перекорежить-переворошить

¹⁵ Версия тогда была, что мать Федорова — с Кавказа: грузинка или черкешенка.— 13.XII.92.

(чуждая ему эта Природа) и перестроить мир. Не чуткий к благодати русского и европейского Бытия, не знал, полупришелец, «на что он руку поднимал!..» — как и Дантес: тот — на поэта, этот — на Природу, на Жизнь: ее надо убить — чтобы заменить Воскресением.

— Личность лишь с христианства начинается в Европе,— я развивал.

— В эллинстве,— заметил Гурам,— был снизу страх-ужас, который преодолевался в упоении дионисийства, а сверху — покров мифа о светлых богах, аполлонова стиля.

4 ч. Нет: уж 5 тбилисского. Это в самолете мы: ждем отлета — и перехожу на внешний счет-счисление московские. Но Психея вся прогрузинена моя: только во вкус взошла мира понимания их, сроднения и промышления!

Но постараюсь закрыть все в себе чувствилища, остановлю приток новый, московский: оглохну, ослепну — и лишь буду изнутри вынимать и промысливать запавшие за эти 11 дней грузинские впечатления в меня.

Итак, погружусь еще во вчерашний вечер и разговор.

Гурам Асатиани припомнил нищеву схему и сравнил гармонию по-эллински и по-грузински: и там, и тут — гармония. Но в эллинстве ее сущность — трагедия, ужас и мрак существования, разрываемый бог, и выработали себе покров иллюзий — аполлонов слой, где радость светлых богов, и в нее усиливаются взойти всей культурой: развивают в себе, в людях, этот слой бытия.

В Грузии же не чуют так низа и хтоники. Бог, грузинам адекватный,— Прометей; его вера — что здесь, внизу, на земле, жизнь прекрасна, и не надо изобретать себе план Олимпа, Зевсов уровень и ориентир — для гармонизации существования. У нас есть и аналог Прометею — Амирани: он из основных божеств, духов...

Эзотерическое тайное знание о национальном

1.IV.80. В Москве уж я. Едем с женой на панихиду Николая Степановича, священника, нас крестившего. Это — надо. Но остальное — не хочу впускать в себя. И не расспрашиваю жену: кто звонил? Как тут мои дела? Только про ее слушаю...

Опять втолчки в ум и душу: радио, газеты. Выключаю и не хочу смотреть. Но донеслось: вот Брежневу Ленинскую премию по литературе, и Светлана упивалась зреющим по телевизору: как созвали на вручение всю элиту художественную и как заставили рабски встать и аплодировать: обсераться, начисто в себе самоуважение похерить.

Тьфу! Как хорошо было 12 дней забыть про политику всякую, отключить слух и от нашего внутри, и от снаружи, и от Сахарова и Афганистана, от евреев и славянофилов, и пребывать лишь в метафизике и эстетике. А из газет покупали мы лишь «Вечерний Тбилиси».

Рассказывая жене о своих мыслях про Грузию, уразумел, что нигде ни один мой «космос» не напечатают, ибо задевает очень; что Эстонский и вот Грузинский надо будет где-нибудь... в Литве. Да и нигде не выйдет. Обречены мои эти работы быть ЭЗОТЕРИЧЕСКИМ ТАЙНОЗНАНИЕМ о сути и смысле каждого народа, которое вынести могут лишь посвященные, а обнародовать это на всех и на массу — нельзя: «выдать секрет своего народа!»¹⁶

— Но, может, грузины, как умные и художественные и свободные от политики, напечатают? — Светлана.

— Что ты! Написано у меня: что нация без политики, лишь в эстетике, что нет личности и свободы... Сразу издатели в ЦК понесут, и им скажут: «Да что ж это делаете вы, товарищи?» Нет, грузины хитрят и вертятся, в наших-то условиях, а тут я вроде донос на них пишу...

О, под большой угрозой мой Грузинский Космос, чтоб ему доделаться! Пока был там и ему отдавался, все иное забыв и выключившись, охота — понять, Эрос — угадать и азарт брали верх и увлекали. А тут навалилось: жизнь своя с семьей и в социуме, что подкидывает непрерывно материал на осмысление-освобождение через жанр «жизнемысли», — как вот эта рефлек-

¹⁶ Когда в 1963 году я путешествовал с болгарином Йорданом Радичковым по Якутии, мы разговорились с местными студентами, и один просто-душно рассказал, что в общежитии их 20 человек в комнате, — тут стал его отчитывать другой, видно, начальник комсомольский: «Ты перед иностранцем выдал секрет своего народа!» — 13.XII.92.

сия, что я сейчас записываю; ведь уводит от уразумения грузинства она: строки чешет, время отбирает от погружения-сосредоточенности, в которой мысль рождает мысль без усилия, а по разгону-накалу своему сплавляя легко любой попадающий материал,— отвлекает... А тут еще Россия, да советчина, да политика снова.

Тьфу! Отрешусь-унесусь в туда, откуда прибыл...

Да! Еще и насмешка над собой: кому и куда я пишу это? Там, в Тбилиси, не задумывался — и просто писал-постигал. А сейчас демон похочатывать начал, в сознание приводя — подразнивая, что ни в какой Грузии к этому, что пишу я, хоть и трижды это им будет интересно, не отнесутся всерьез. А сами-то уж они никогда бы такой нелепости не предавались: выговорили бы все подобное, что я пишу, в застолье, на письмо такое бесполезное не тратили бы ни времени, ни слов.

Так что снова пригнан я к экзистенциальному акту: писать — в никуда, то делать, что сами заинтересованные — не станут...

Да, все хитры... Нигде наивность не в почете, и ей не верят просто: заднюю мысль во всем предполагают.

Между прочим, наивность — дело не простое, не патриархальное. Народный человек — не наивен, а хитр и ритуален. Наивность — у романтической личности. Для наивности — надо быть личностью: чтоб посметь ей отаться — своему простодушию. Ницше наивен, безогляден, самоопорен, свободен.

У грузин есть простодушие, чистосердечие, искренность даже, но нет наивности — такую мне тонкость Ванико в них разрыл:

— Все, что Вам показывали,— это прикрытие одного другим: чтоб Вы не увидели того, что грузин о себе знает и думает.

— Это перед чужеземцем — понятно...

— Нет, и между собой так: это обряд. Даже если и все хорошо у него, но не его покажут — это свое хорошее, а — ритуально хорошее: что принято, чтоб было, и что положено показывать... Малый мы народ, а претензия — на большой...

Да, заметил: все «самое лучшее» тут делают, роскошное: концертный зал — так такого в Москве нет! Театр, опера, стадион...

— Это со времен Руставели-Тамары повелось: тогда Грузия была в 4 раза больше нынешней.

Еще умно говорил Ванико — о личности:

— На личность может рискнуть-раскошелиться лишь большой народ. А тут действовал закон выживания малого народа: когда давят-стесняют извне, не очень-то будет личность вступать в конфликт со своим народным обычаем, с родом, а вбирается, сплачивается... Выходить-то ей на стези свои особые было некуда: кругом был недруг и другой народ, что есть уже — Небытие, холодный космос Вселенной...

— Феодальная у нас психика,— продолжал Ванико.— Нет буржуазности. Когда в XIX веке стала она везде развиваться и проникать в Грузию, мы предоставили это дело армянам, другим при нас нациям. Скорее, сейчас у нас буржуазность развивается — из-за неупотребимости старых, привычных для грузина качеств его: воинства, рыцарства...

— А и междуусобицы, что были, в феодальном стиле,— додумыслил я,— тоже не только вредны были. Они, как массаж воинских, рыцарских качеств, удерживали грузина от развязивания, к чему и климат, и вино, и соседний ислам его располагал:

Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

(Лермонтов. «Спор»)

Как мне братья Очиаури, хевсурь сми, рассказывали: были фехтования среди хевсур — как спорт ныне. Но — рыцарствено: убить вообще запрещалось. Но даже и рану глубокую нанести — признаком трусости и слабости считалось.

— И, так сказать, «контрреволюционен» наш народ.

— Ну да: прогресс грозен разрушением общины и обычая, что есть субстанция тут, так что естественно свиваться назад, в настоящее.

— Народ не держал в себе больших революционеров, но выталкивал их от себя: в Россию, например.

— На тебе, Боже, что мне не гоже... Ну да: революционеры — изгои из народа, «личности» поневоле. Ибо для них порваны родо-народные связи: они — скитальцы, на чужбине...

И вот Сталин. Это — грузин «от противного», сатанинский вариант божественной Грузии, космоса гармонии и радости. Национальны в нем: тамадизм, пиршества, где любил людей на крепость к кубку испытывать, и своих членов Политбюро, русских, на удочку утопляющего грузинского застолья ловил. За ночь шли его пиры и заседания. И речи на них, на заседаниях,— это тамадизм опять... И юмор, подразнивание. И стихи писал: чувствительность к эстетическому имел. Но в основе всей этой сходной формы — не радость и удовлетворенность, а страх, зависть, мстительность, неполноценность величайшая в самочувствии и оттого жажда надуваться и доказывать... Будучи малым, напрягаться на величие и «соответствие мировым стандартам», как выражаются нынче.

...Но личность — действительно проблема в Грузии: какою ей здесь быть?.. Да и так ли уж жгуче нужна?..

Скульптура и живопись

Вот я даже такое заметил, посещая музей художественный и галерею нынешних живописцев: мало портретов очень. Лица какие-то мало характерные: красивые, лица знаменитостей, то есть, общезначимо важное — это рисуют; но не из живости внутренней исходя — того, что на Руси и в Европе понимают как «интересность» лица, раскрывая внутреннюю жизнь души, в нем просвещивающую. А модерные грузинские художники, работая вне реалистической манеры, падки на стилизацию и абстракцию, на кубизм и всякую иную величностность... Тут смыкается патриархальная доличностность — с преодолением «я» в механизме и модернизме Запада XX века.

Зато прекрасно удается пластика тел: людей — как красивых животных. Много статики. А если и движение, как в танце и борьбе,— то самовозвращающееся, не разомкнутое... Вот и у чеканщика Очиаури Ираклия так.

Принесли обложку рассказов Борхерта, которую сделал Георгий Очиаури. Там в центре — крест могильный с каской, как солдатам немецким ставили. И на нем распят молодой солдат. Символ. Как Христос. Но вот какие тут детали важны. Во-пер-

вых, руки — как крылья: не распят, а — летит. «Воз-духовность грузин в этом», — кивнул я Гураму Асатиани, и он понимающее поддержал¹⁷. Но главное:

— Смотрите,— говорю,— вместо лица к нам — затылок и шея! Ни один европейский живописец в сюжете такого рода не преминул бы лицо нарисовать и через него — личность и душу выразить. А грузину словно лицо и не нужно: мало что оно ему говорит. А индивидуальное он, скорее, выразит в пластике, в изгибе тела... Прекрасная,— говорю,— графика эта и символ, но вот внеличностные тут пути миропонимания и выразительности. Затылок и шея выразительнее вам, чем лицо. У русского художника так никогда не может быть. Иль у немецкого...

Про современных живописцев еще мне вот что рассказывали: монументалисты тут мощные: Зураб Церетели всемирно известен. Его жанр — монументальная мозаика... Опять же — ритуальный это жанр, народный, иконографический, а не личностный, не субъективный.

А молодые живописцы так рисовать любят ныне, что человек не выделяется из космоса, из фона — трудно отличим. И тоже тут смыкаются архаизм — и модернизм: в обход индивидуализму и субъективности — и в объекте, и в художнике...

Мозаика = человек сведен к камням. Жанр горцев в живописи. Иль ислама: человек там — из агатов и рубинов и прочих камней драгоценных, весь ими увенчен (особенно красавица) и в их категориях метафоризируется. А уж камень — это предел античности, ритуальности вещества искусства.

Вспоминаю галереи художественные: хорошо рисуют тело, позы, изгибы, напряженность-упругость — в статике. «При себе-йность» здешнего Космоса и человека в нем и его Психеи в этом выражается. Много народных сцен — «массовок»: пиры, осень, ритуальные приношения плодов — на громадных плоских блюдах на головах... Такое изобилие! Им как бы придавлены люди: ведь все это преизобилие именно им придется, обречено

¹⁷ Он напечатал в «Литературной Грузии» в 1979 г. № 7 мой этюд «Грозь и Гранат» — о грузинском и армянском образах мира, где я о «воз-духовности» грузин писал.— 30.XI.83.

ны они — в себя выпить и поглотить! Агнцы жертвенные роскошно-щедрого Космоса Грузии: он кишечно-полостен должен в них стать!..

Потому, когда я о характерных здесь национальных болезнях спросил женщин, они мне назвали: холецистит, болезнь печени, ожирение и непроходимость... — много вина пьют и мясо едят, и остroe... И сравнительно мало смиренных овощей в рационе, что, напротив, для северян характерно: пища не солнечная, не энергичная, но сыроzemная, не огненная: картошечка и проч... И болезни там, в Эстонии, например, национальные: ревматизм — отсырение плоти...

— Еще инфаркты тут часты,— одна мне заметила,— оттого, что вспышчивы грузины.

Опять же: «вспышчивость» = огненность, солнечность Психодо-Космоса... А на Руси — цирроз печени: от водки она разъедена, ибо пьют, не закусывая...

Да! В живописи много желто-красного цвета; это значит — солнце внизу, среди жизни самой вгнездилось. Тем самым центральность стихии огня и точки жизни самой грузинства в этом выражается. Потому нет пейзажей, далей, меланхолий (= «чернокровий», по-гречески), которые нужны одинокой душе для созвучья, понимания и отзыва, чего не находит личность среди людей: в живописях европейских так. Но в Грузии отзыв человеку всегда есть, готов: в дружестве и за столом народным,— так что и пейзажей здесь нет исторгнутости человека из общины мира сего.

Когда из грузинского зала вышел в той же Тбилисской галерее в зал русский,— сразу пейзажи и портреты именно «бросились в глаза».

А там — монументализм и лапидарность (от «ляпис» = камень...) вывесок Нико Пирсмани, фресок народных, массовых сцен. И все застыли в мистике статики и в самоуглубленности, в «никудайности», чему как бы и сами дивуются: что ничего-то им иного не хочется и никуда прочь отсюда не тянет и ни к какой цели... Опять «присебейность» существования...

Или «пейзажи» — как пестрые ковры, в духе персидских; так художник, что все Имеретию рисует (не помню его имени...),

такие и живописные пасьянсы раскладывает на горах и холмах. И много такого и у молодых: живописность и красочность... Да и Пирсмани — как бы лубочные дешевые коврики настенные вышивает-вырисовывает: олени, лани, девица, свинья — как архетипы монументальные, лапидарные, покойные — в метафизической своей обеспеченности и гарантированности им «пазухи Христа» на существование тутошнее, посюстороннее.

И у Гудиашвили, классика грузинской живописи, много в персидском духе танцовщиц и ковровых сцен народных и гаремных: красавицы телесно пышно разубранные и изукрашенные. И тут же мир поддонный: дэвов, городских низов, «кинто» — зелено-синий, нощный, лунный. А те — солнечные живописания.

И никто не понимает рисовать глаза: вбок смотрят, отводят глаза-взоры на большинстве портретов грузинских. Очиаури вообще нам показал набросок, где один глаз без зрачка оставлен: эффект получается — что-то это может значить?.. Но не нужно ему это окно в душу...

Черты лиц очень ритуальны: брови, губы, носы, ресницы, — как правило... А в современных, психологических бы вроде, рисунках графиков большинство нарисованы — в профиль или отвернувшись: опять ненадобны глаза оказались... В отвороте может еще подозреваться возможная многозначительность интеллектуала модерного, что на портрете. А если впрямь впрыться — не разоблачен ли будет, за безликостью?..

Содержание особое индивид нынешний на себя напускает, набирает в виде некоей облачности современного мира: как плащ и шпагу облачает — и в контакте этом может и действительно нечто особое, и личностного (а не индивидуального только) характера, в итоге возникнуть. Недаром в эту сторону притягиваются молодые нынешние: избирательное средство это о чем-то говорит...

Хотя современный западный человек — как раз менее личность, чем в XIX веке был человек; нынешний — ролевой и функциональный, как раз более абстрактный; и недаром приемами абстрактной живописи и скульптуры сподручно выражать, что у него там есть в существе — как суть и цель.

Очиаури Георгий интересно рассуждал о русской литературе:

— Достоевского я вообще не считаю русским писателем, а вот Толстой — русский: у него природа, пейзаж и человек в нем, как и у Тургенева. Это — отличие от западной, от французской литературы.

На это ему брат, Ираклий, напомнил:

— А у Пруста? Пока он в пролетке едет — какие пейзажи!..

И женщины мне подтвердили, что Достоевский чужд грузинам. Но вот Зурабу Какабадзе он — душевен, внятен...

Иерархия стихий и чувство

2.IV.80. Вцепляюсь за отлетающее от меня грузинство — даже женой пожертвую: сегодня именной день ее — Фотиньи = Светланы; а есть бы, о чем написать в жанре «жизнемысли»... Но отвожу прочь — продолжаю Грузии предавать ум и слово свои: вникать.

Тоже вот разница между болгарами и грузинами: оба народа чтут Св. Георгия; но болгары — весеннего, а грузины — осенний Георгиев день пышно справляют. Что бы это могло значить?.. Вон и иерархия времен года, как я в беседе выяснил, для грузина такова (по порядку ценности): осень, весна, лето, зима. Для болгар же, наверное: весна, осень, лето, зима. И, при схожести расположения лета и зимы на ценностной шкале, обратный порядок между весной и осенью вот что знаменует: для грузина — итог бытия, космос завершения, плодов, праздник — вот что их место в Бытии, собственная точка существования. Для болгар же, работаяг больших,— начало трудов, и вообще начала бытия роднее: недаром к эллинам близки они. Для грузин во Логосе важны цели и Целое. Для болгар — начало и причина.

Иерархия же стихий во болгарстве (как мне чутсяся): земля, огонь, вода, воз-дух: дух — на последнем месте. А вода: «чучур», источник-«кладенец» — читится и освящается, как и в исламе: в них жизнь и кейф...

В Грузии **воз-дух** = это и слово застолья вдохновенное, и продуваемость космоса ветрами. А **вода** — она не проблема, всегда есть, стекает — жизнь-то...

Кстати, слово устное, столь насыщенное и философичное в Грузии, снимает с письменного слова, с литературы, ряд ее

важнейших функций: дума, философема, описание, эпос... Поэтому развита в Грузии поэзия — и мало развита проза. Лишь ныне: Отар Чиладзе, Чабуа Амирэджиби и другие — создают классику прозы: здесь насыщенность мыслью, чего и требует проза и большая форма романа. Лишь ныне для нее историческая возникает почва в Грузии: большой город, отчуждение, одиночество, личность, свобода...

Иерархия чувств (опять же по моему чутью...) такова: слух (пение, музыкальность), вкус (готовить сами мужчины любят и дегустаторы винные), зрение, обоняние, осязание... — сия чувственность накожная мало здесь развита — не то, что у французов, где осязание = перво чувство, где космос близкодействия... А ведь схожесть в иных отношениях у грузин с французами: рыцарственность, галантность, тщеславие... Но не женоугодники тут...

А отчего чеканка — из искусств — специфически грузинской стала? Это ведь — осязание, пластика...

Хотя нет: тут молот касается металла, его осязает, а итог — выпуклость, сферичность, что и присуще Целому, при себе бытию.

Чеканка — отлив металла предполагает: руду = огнеземлю огнем выделать, как урго-гонию: единство рождения природы и труда человека — вот что такое металл. Но идет он в Грузии не на индустрию (все глубже металл в природу проникает в Европе, как Молох), не на прагматику, а на эстетику его тут употребляют, как и в Италии Возрождения. Останавливают прожорливость сатанинскую стали, металла — и на нем красоты искусства наносят.

Но в Италии выливают статуи из бронзы и проч. (Челлиничеканщик). А тут по листу плоскому выбивают руками — как барельеф. Но — не объемное тело, не пластика, осязание плоти. Барельеф — телесен, а чеканка — воздуховна: полость под выпуклостью — не самость тут пухлость-то. В барельефе человек еще не выделился из вещества природы, в отличие от статуи и ее полномерности. То же и в чеканке: намечен лишь силуэт, начало выделения... Но и то характерно: сюжеты — хоровые на чеканных «полотнах»: смешно индивида портрет высекать тут. Чеканные сюжеты: танец, бой, витязь на коне, охота, пир, плодородие, застолье — доличностное все...

Религиозное чувство

Х отя что я все — про «личность» да «свободу»?.. А так ли они и нужны-то и ценные? Вон Восток: древние Индия, Китай — при глубочайшей мудрости и умозрении обходились без личностей, и свое воле не понималось как предусловие проникновения в Истину Бытия. Но в себе способность слияния и истаевания в Атмане-Брахмане и в Будде развивали, силой Единого влекомые, а не импульсом покаяния и отталкивания от «я» своего,— как к этому же Единому личности европейской цивилизации обращаются и стремятся. Тут «Житие великого грешника» (достоевская задумка) есть характерная идея: человек должен стать индивидуальностью на путях греха и свободы, чтобы затем, во ужасе от себя и пути своего, отшатнуться и к Благу обратиться и в личность — реактивно. И тогда «небеса ликуют», как о возврате блудного сына и заблудшей овцы. Вот те и личность и ее путь... Совсем он не обязателен всем как ценность некая и *conditio sine qua non* («необходимое условие») для подъятия человека в Дух... Личность тем и ценна и дорога во европействе, чтоб, в нее развившись,— ее отречься: принести Богу было б что в жертву... Обратиться. Покаяться. Ибо Бог страшно далек в европействе, в кесаревой цивилизации отчуждения. И лишь сосредоточясь и испустив одинокий луч, можно к нему наедине выйти тут.

В Грузии же Бог близко: вот он — в благой Природе и Жизни их народа: солнчен и телесен, как Св. Георгий: лучом-копьем дракона-дэва тьмы побивает-процаает, воин и пахарь жены-земли = «деде-мицы» («матери-земли»).

Грузия — исторический надел Богородицы — так о себе понимали тут. И соборная церковь Сиона тут — храм Богородицы.

(Это я исследую национальный вариант религиозного чувства).

Из образов божества тут чутут слитного Бога, не разделенного на лица троичные, а также Богородицу и Св. Георгия — как всебога им близкого: и человек он (как и Христос), но земной, а не небесный. И силен, и воин, и плодородящ — пахарь...

В Болгарии же Христос первее: недаром имя «Христо» так тут распространено, как на Руси — «Иван». «Сын Матери-Болгарии» тут дороже Отца (недаром греческий «Эдипов комплекс» тут неда-

лек...). И «Димитрий» = «материнский» — тут имя, соперничающее с «Георгием». И в изображениях Димитрий, убивающий «ламю», тут столь же част, как и Георгий, убивающий дракона.

Но и там, и тут божество приближено к человеку и к земной жизни сей... Однако в Болгарии религиозность — более трудово-обрядово-земледельчески-языческая. А в Грузии она более легкая, солнечная, возвышенная в слово. Радостна она: не было тут аскетизма и изуверства, мученичества, а — праздник она. Как мне с иронией говорили братья Очиаури: двое в Грузии великомучеников, да и то: одна — армянка (св. Шушаника), а другой — араб (Або). Этот араб Або, в VII—VIII веке где-то, во время арабского завоевания, попал в горы к грузинам, которые ели и пили, и такой радостной их жизнь ему показалась и так люди эти полюбились, что он отрекся от ислама и принял христианство. Когда о том проведали в его войске (а он воин был), его стали пытать, но от Христа он уже не отрекся... Хотя какого он «Христа» мог иметь в виду!.. Просто ему грузинская радость жизни пришла по душе, в отличие от грозного мусульманского Бога, Аллаха. И за это — пострадал...

В Грузии — терпимость к разным верам: Давид-Строитель ходил и в синагогу, и в мечеть, наряду с церковью. И недаром в старом Тбилиси рядом, на одной площади стоят христианский храм, синагога и мечеть — сам я это сейчас видел. И не было, и нет тут шовинизма и гонения на нации другие: мягки и всеприемлющи.

Вообще в мироощущении здесь нет чувства жестких пределов и граней в бытии, единичностей и уникальностей. И Смерть — это «гардацвалэба» = «перевоплощение», т. е. не такая уж уникальность эта жизнь, чтобы за нее цепляться так и страдать от ее потери; и это в Грузии — восточное чувство (ср. Индия). А в Европе именно резки грани и нет «транцензуса» — перехода; потому и мыслится неповторимость личности и жизни, и скорбь от утраты неутолима...

Соответственно, и «Жизнь» тут — «цутисопели» = «страна минуты», «минутная обитель» («сопели» — мир, страна, деревня, в новом грузинском, а «цути» — минута).

«Потусторонний мир» — «грузели сопели» = «длинная страна». Идея «дали», что для Руси — своя, тут — потустороння. Это там — все длинно. А здесь — все близко, в том числе и Бог. Космос близкодействия, как и Франция...

Но нет жестких европейских выборов: «или-или», «третьего не дано»... Мягче переходы, слабее и ярость тут — в отличие от испанцев, с кем роднят грузин часто, и они себя. В частности, танцы так же сходны: мужчины — в обтяжку, а женщины — закрыты, и при мельчайших частых дробностях ногами, верх остается статною осанкой и выпрявкою...

Но испанцы мстят кроваво и убивают быка. Гураму же Асатиани очень запало при посещении Португалии, что там на корриде быка не убивают, и эта мягкость грузинам по душе. У испанцев — Абсолют, аскетизм, садизм был, и это плод синтеза романства-католицизма с исламом, Аллахом и воинством и газаватом: жизнь ни во что здесь ставится. Грузины же, тоже находясь на кромке-границе с исламом, отшатывались от него ко христианству, к его мягкости. От ислама же и Востока некую негу переняли, кейф жизненаслаждения и поэзии персидской эстетику...

Интересно сравнить испанскую «Песнь о моем Сиде» с «Витязем в тигровой шкуре». Обе поэмы — на грани христианства и ислама, но сколь мягче и гуманнее стиль отношений в руставелиевской поэме!.. Тут как раз персонажи из арабского стана: Тарифэл и Нестан-Дареджан — более кровавы и убийцы ничтоже сумнявшиеся: Нестан велела своему возлюбленному убить ни в чем не повинного царевича, сына шаха Хорезма, кто к ней сватался,— и этот его головой шмякнул и размозжил. И кровь львов и зверей и тигриц неустанно льет — ну и слезы лютые... Все они кровавей и горячей, в сравнении с Тинатин и Автандилом, которые кротче и более смиренны в притязаниях своих к этой жизни и другим людям, более христиански мудры и терпимы. И Автандил в этом духе своего друга горячего, как арабский скакун, воспитывает и утешает. И к жизни отношение Автандила менее притязательное, философичное: многого от нее не ждет — и готов расстаться.

Застолье русское и грузинское

3.IV.80. Жизнь, конечно, напирает. Но мы не будем сдаваться.

И то, и это надо: включился в московско-российское поле. И рассасывает оно заряд грузинский, то солнечное облачко сил, что я оттуда вывез, на Эрос ко грузинству направленных.

Тут Боб — с муками перевода моего «Декарта» на английский. Бочаров вчера у нас был: именины Фотины = Светланы, да и его день — Сергия — тоже оказался; у нас справляли.

А утром — на Мамарду ехать¹⁸. Заколебался: сил нет. Куда мне еще приток?.. Приток теперь скорее меня губит, чем крепит. Лежать и не шевелиться в бытии... А я еще грузинство на себя взвалил промышлять...

Но коли не доведу до некоего конца — жалеть стану, уныние охватит.

Так что все ж еду на Мамарду — хоть на второй час: грузинский Логос буду в нем постигать, ветвение-виение мыслей.

Вчера русское застолье у нас было. Чем от грузинского отлично?

Там обязательно по каждому человечку, что за столом, пройтись и пришить-извлечь из него некую идею общую и развить — с оглядкой на человека: меж ее сутью и сутью этого человека движась мыслию. На Руси нет жесткой ритуальности. Конечно, за именинницу и сопряженных с нею — выпьют. Но без идей. А потом, уж в ходе пиршества-разговора, за идею какую экспромт возникнет выпить.

Идеи — идеями. Люди — людьми.

Несоотносимость между ними. При одном — забывается другое. За идеей — о человеке. За человеком — об идее.

Затем — жажда исповедоваться охватывает за выпивкой: вот и мы вчера со Св. наперебой исповедовались Бочарову и Бобу о перипетиях нашей семейной жизни.

В грузинстве нет тяги на исповедь, на искренность = на иско-ренение чрез то из себя злоб и черней. И так можно суммировать: грузинское застолье — это Алилуя! = «Хвалите бога! Сла-ва тебе, Боже!» Радование и юбилияция. А русское застолье — это «Господи, помилуй!» Печалование-покаяние о грехах своих. Биение себя в грудь со слезами — пусть и пьяными, но все же очистительными: от того, что прошиб заскорузлость мою луч идеала — и ужаснулся я себе.

¹⁸ Мамардашвили тогда лекции об эллинской философии читал.— 30.XI.83.

Нет такого в грузинском застолье: никто на дурное себя иль другого не смотрит, не поминает, а воздымают все друг друга во хвале и одопении, держа пред общим умом, в медитации, платформу идеала высокого: уровень идей как бы платоновских преднося душам и умам всех.

И неизвестно, что лучше воспитывает человека: говорить ему, что он — хороший, иль говорить себе, что я — плохой, а другой бы утешал и говорил бы: «Ну не такой уж ты совсем плохой, Гоша. Ты еще не знаешь, какой я плохой бываю!..»? И так взаимно и поочистимся: каясь, окалину окаянную с душ соскребая в исповеди, в рефлексии, самокритике — личной, из «я», в работе самосознания.

А в Грузии — высокое и прекрасное общественное сознание, хоровое, и каждый в нем — устой и вкладчик; но нет хода назад и внутрь каждого: не высечен родник-источник самосознания личности — и именно в свободе: никто ведь не тянет меня за язык — повиниться, покаяться. Смолчать бы мог да затаить дурноту в себе. Ах — беру да выковыриваю.

Грузин же — самодоволен... И ото всех подтверждение этому имеет.

Русский: «Ты меня уважаешь? Любишь? А как я тебя-то люблю!» — обнимает и целует. Личность — к личности.

А в Грузии: «Как мы тебя любим, ценим!» Хоровое к индивиду отношение.

2.40. Еду в баню: «чистый четверг» сегодня, кстати. В Институте на 10 минут мелькнул. А на Мамарде — 3 часа пировал во духе...

4.IV.80. Все ж Грузия и петарда Мамарды меня хорошо вынесли из суэты и житетишины. И от газет-радио отключился: «информашку» — по боку! Противно этот весь небытийственный кошмар в уши и души запускать: что сказал Банисадр и что Картер.. Да на х.. вы нужны, со своею пустожвачкою псевдорешающего чего-то! Я лучше в Платона зароюсь да в «Витязя в штурме тигровой».

Так что сетовал я, приехав: что должен еще грузинство расхлебывать, что не успел там и не могу сразу включиться в «высокие проблемы» здешнего существования. А теперь — благода-

рен Грузии за удержание меня в эстетике и метафизике. А проще — катись!.. Обрыда уж свара западников и славянофилов, перипетии ее нескончаемые...

Кстати, грузинское проклятие: «Чтоб ты умер на глазах своей матери!» А по-русски: «Пошел!..», «катись к ...!» — везде движение прочь, в *далъ*, по горизонтали, в «путь-дорогу» тебя отсылает.

В Грузии же проклятья — родовые, рожательные.

Читаю Ильи Чавчавадзе сатирическую повесть «Человек ли он?» — и это хорошим противовесом взять можно моему панегирику грузинству. Он видит те же качества, что и я,— и это мне подтверждение, что я верно угадал. Но дает им иную, из национальной самокритики, оценку. И — из личности.

«Удивительные люди грузины: какая ни выпала бы судьба, будь то счастье или несчастье,— грузин все равно покоряется ей. Ко всему на свете одинаково равнодушный (это я величал как «не-зависть», «космос самоудовлетворенности»! — Г.Г.) и упорно-невозмутимый, он не станет ломать себе голову ради счастья и не вступит в борьбу с несчастьем. Это равнодушие и невозмутимость грузины величают удовлетворенностью и довольствием. Почтенные старцы частенько говорили мне: «Мы лучше нового поколения хотя бы потому, что довольствуемся малым». Я, бывало, молчал, а в голове мелькало: «Довольство малым — смертельная болезнь для человека». Благо новому поколению, если оно и в самом деле не знает этого довольства. (Вот: неудовлетворенность, жажда, открытость в бесконечность — путь становления личности. — Г.Г.). Это наша единственная надежда: бездарные довольствуются тем, что есть,— потому среди них больше счастливых. Даровитые редко счастливы: они стремятся к лучшему...»¹⁹

Да, зароюсь в грузинство — как в сказку, нездешность некую, что от прозы унылой выводит, освобождает,— и за то спасибо. Как вон Лермонтов мог душой и стихами так отдаваться Кавказу. Иль как Пушкин «Тазита» писал в зрелости. Так и я стану «Грузинский Космос» мастерить и далее. Благо — рука набита, навык есть... Что-то и получится.

¹⁹ Грузинская проза. Т. II, ГИХЛ, М., 1955. С. 65—66.

Сейчас вечером, на исходе дня, где все меня отшвыривало от груза Грузии, а я его упорно на себя возлагаю, чтобы удержаться в проблеме и в инерции мысли,— при слабомыслии, хотя бы цитатку перепишу, которую все равно собирался. Это — из «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера. Там изображен момент, когда мужи села узнали, что умыкнули одну деву, и начинают впадать в ритуальную лютость: готовность на погоню и отмщение изображают:

«Тут страшный шум поднялся на дворе тети Маши. Женщины выли, мужчины кричали, чтобы их отпустили, и они тут же уничтожат весь род этого паршивого полукровки. Как только кто-нибудь начинал кричать, чтобы его отпустили, на нем мгновенно повисали три-четыре человека, так чтобы всем ясно было — не отпускают парня, а то наделал бы он делов. Интересно, что пока успокаивали и гасили этот очаг гнева, неожиданно загорался один из гасивших, словно в него влетела искра из этого очага, и теперь все кидались успокаивать его, а погашенный очаг как-то стыдливо смолкал и отходил в сторонку, словно говоря: ну что ж, пусть более разгневанный и, значит, более достойный, отомстит. Это не мешало ему после некоторой передышки иногда снова загореться и броситься мстить оскорбителю и, когда его схватывали успокаивающие и как бы говорили ему своими удивленными взорами, ведь мы тебя уже успокоили, он, продолжая неистовствовать и кричать, отвечал им глазами, мол, не виноват, оказывается, там еще оставался огонь, оказывается, вы меня не до конца загасили».

Тут танцевальный героизм, ритуальный розыгрыш хоровых страстей, куда каждый влагает свою пылкую лепту — стремительности, подобной танцам грузинских ансамблей.

Но метафизически здесь интересно: как умеют завернуть на себя динамизм свой, не расплескать, в себе оставить, в своем космосе — полноты и присебейности.

А из Чавчавадзе — чтоб не забыть! — «У нас существует поверье, что если человек, впервые приехавший в город, не проглотит камушка, то в городе его постигнет несчастье. В свое время и мне, автору этой повести, пришлось проглотить камушек»²⁰. Значит: горцы себя с горой, камнем отождествляют — и нутро свое им талисманят.

²⁰ Грузинская проза. Т. II, ГИХЛ, М., 1955. С. 68.

Любовь и Дружба

5.IV.80. Хочу сопротивляться стону-унынию окрест: Грузией от домашности оборониться в душе, как это и Пушкин, и Лермонтов — сюда за тонизацией душою улетали. Но, с другой стороны, и здесь со мной происходят осмысленные вещи, которые записать-промыслить надо.

Вчера в деревню ездил: снег покидать с погреба, чтобы не затопило, когда таять начнет. Как освежился-улегчился в труде белоснежном! Но вот общество местное самогоном угостило, а я отказаться не устоял — и дань с меня здоровьем сняли: сердце побаливает-пошаливает. Жена вышла — тоже с сердцем и говорит:

— Наверное, неверно это: что средняя полоса — наилучшая для жизни. Как вы там, в Тбилиси, себя чувствовали?

— Легкость-крылатость некую; легко было носить тело свое: взбегали вверх.

— Давление другое, высокое. А тут — низкое, все давит, гнетет...

— Да, солнца тут, тепла мало человеку — в средней полосе: энергии не хватает противостоять холоду. Не пылкий тут и народ... Хотя, где уж живешь — там и живи: организм сам приспособливается...

— Вон Х. на весну всегда в Коктебель уезжает: хорошо устроились жить радянские письменники! А сейчас — только что из Ялты: спортивен, загорает, в теннис играет...

А я тут бегаю-вымораживаю остатнюю жизненную силу, тепловую энергию — на лыжах зимой долгой. Да, пока молод и избыточно горяч и энергичен был я, бурно-кровный гибрид из южных кровей на Руси,— хороша мне зима была. А в эту зиму, видно,— перестошился...

— Пасха на снегу — нехорошо это! — так Быковы в деревне сказали.— Одна бабка говорит: к войне это...

Русский народ все войну поминает и к ней вечно готов психологически.

— Но если война будет,— Быков,— помяните, Г. Д., мое слово: такой разбой в стране начнется! Грабить будут. Дезертиро-

вать: молодежь-то какая пошла!.. Все им дай! При Сталине лучше было: порядок!

— Ну уж «лучше»! Есть нечего было, миллионы людей перерезал...

— Это не Сталин. Это — Берия.

Вот русский народ: легковерен как! Как готов обманываться!

Да, обмануть меня не трудно:

Я сам обманываться рад,

как поэт — про возлюбленную... Утешиться мифом каким — вся кому сладко, сонно, забвенно. Не только русскому, конечно...

...А вообще, кончай-ка ты про все национальное рассуждать — и присущее человеку вообще толкуй... Хотя мои «национальные образы мира» — это моя структура, язык, на каком я свое понимание мира, Бытия вообще, по частям раскладываю, рассказываю, уясняю.

И вот вопрос-проблема: как жить? Организовав жизни внешний порядок: чтоб рассеивающий энтропийный поток существования обрезать на подступах к тебе, устанавливая режим, ритм работы своей, отсечение привходящего, назойливого, но тебе сейчас не нужного, разрушающего?.. Но ведь и важное вторгается в разрушение структуры твоего бытия, как вон похороны Николая Степановича на днях; но ты не мог воспринять — от того, что утро было, а ты алкал за письменами своими сидеть, мысли отписывать,— и пропало для тебя такое событие, что Б. говорил: ничего подобного я не увижу до конца дней моих! — а ты был закрыт именно априорной внешней организацией-ритмизацией своей жизни, дня, дыхания: перебили его — и ты задыхался. Или — организовать только свою внутреннюю реакцию, а что туда и когда вступит — отпусти это на волю Бытия, отдавайся? Ибо не предусмотришь всего. И лучшее-то и высшее-то как раз вторгается — как радость иль трагедия — в инерцию даже твоей организованности...

Это, кстати, я то, что говорил Мамардашвили, имею в виду: философский постулат в отношении к миру таков: в «порядке вещей» — чтоб был хаос, бессмыслица, несчастье. И если есть космос, смысл и радость,— то этого не должно было бы быть,

но это должно создаваться каждый раз усилиями — в каждый миг и каждым существом. Тут я строителен: сопротивляюсь хаосу, из себя строю свое существование и выстраиваю свой мир. Это — принцип «мужской».

А «женский» принцип — отдаваться навстречу потоку и встречать там не предполагаемый твоим узким рассудочком смысл. Быть открытым на все стороны, на ветер — его в тебя влетам. Б. так настроен: свою душу организовал — на готовность! А я страдаю: ах, опять день покорежен! Мой план разбит! И ропщу и ворчу — на то, о чем потом стану жалеть, что не отдался ему всею душой — и пропустил неповторимый момент и случай...

Ибо все сверхмерное именно неожиданно вторгается в жизнь, и надо ликовать, его встречая, а не ворчать, что нарушает ритм буден.

В деревню ехал когда, читал Важу Пшавела «Гость и Хозяин» и другие поэмы; и вот что мне сверкнуло, уразумение какое.

В Грузии Бог — это Дружба, тогда как апостол эллинский Иоанн сказал: «Бог — это Любовь» = Эрос преображеный...

В «Витязе в тигровой шкуре» Автандил покидает любовь, государство, где он военачальник и опора; все пренебрегается из-за императива побратимства — за обретенного друга. И самые страстные чувства — не любовные даже страдания, а от встречи и разлуки с другом. А уж интерес государства, политики, целого — вполне оставляем и пренебрежим — перед долгом к другу.

Вон и в поэме «Гость и хозяин» Пшавелы кистин Джохола, приняв в夜里 хевсурा Звиадаури и не узнав в нем врага народа своего, кто многих тут убил и сейчас рыскал отомстить за брата,— когда наутро вся община села его вторгается в его дом взять врага, нарушая закон гостеприимства и побратимства,— Хозяин встает против всего села и рода-народа своего и защищает Гостя, будь он трижды враг народа и убийца его брата даже!

Здесь до предельной парадоксальности доведено то, что составляет специфический нерв грузинства и какова иерархия на его шкале ценностей.

И тут что важно: вступление в дружбу есть акт личности и свободы: никто к тому не принуждает, — в отличие от исполнения закона на-рода, общины-общества-государства: когда враг

идет, скачут по селу и грозят вырезать семью того, кто не снаряжается в бой; также и от императива Любви Дружба отлична: Эрос тоже ведь неволит, а потом — семья, чадолюбие...

Так что исполнение свободно выбранного долга дружбы, побратимства (в отличие от не избираемого мною братства, родства) есть мера самоуважения личности и достоинства моего.

И Бог есть — Друг (а не Отец иль Сын иль Мать) во грузинстве. Недаром Библия Грузии «Витязь в тигровой шкуре» есть эпопея не войны (как «Илиада») и не поэма любви (как «Лейли и Меджнун» сладострастного Востока), но поэма Дружбы, преданности Другу. Сама любовь — для этого подсобна, есть предлог лишь: Тинатин направляет своего возлюбленного Автандила искать рыцаря и не возвращаться к ней, пока не разыщет. Любовь Тариэла и Нестан-Дареджан заводит сюжет и ведет, как цель, но фактически — за скобками повествования. А вся фактура поэмы — дружба и подвиги во имя ее. Ну да: любовь — обрамление повествования: она — причина (Тинатин причиняет отъезд Автандила и вступление его в дружбу с Тариэлом), и она же — цель: достижение Нестан-Дареджан, ее стяжание. Все же действие и настоящее — это тело и дело дружбы.

Дружба, побратимство возникают как свободный акт — надо всеми необходимостями существования, в том числе: над родом, государством, любовью и истиной даже. Дата Туташхия неохотно идет на какое-нибудь разбойное дело, чуя его нравственную нечистоплотность и бессмысленность, но не может отказать побратиму. «Наши люди готовили террористический акт,— рассказывает Никифоре Бубутейшвили.— Позарез нужны были деньги... Человек мне нужен был для того, чтобы экспроприировать деньги у ростовщика Кажи Булава... Правда, Дата Туташхия ни про политику, ни про партии слушать не хотел, политически темный был человек... Был он мне побратимом — отказать права не имел»²¹.

Зачем? К чему? — у друга не спрашивают: все эти связи вещей и идей и истин ниже уровнем и вторичны. Априорен же императив побратимства, который должен быть исполнен — как вза-

²¹ Чабуа Амиреджиби. Дата Туташхия. М., «Известия», 1979. С. 43.

имно-свободное действие²² (в отличие от лично-свободного, индивидуального, которое знает Запад экзистенциальный), сдвоенное, парное; но и не эросно-парное (как супружество и любовь), а дружески-парное...

(Не связано ли это с гомосексуализмом, мужской любовью, распространенной как раз в этих широтах? Орест и Пилад в Элладе — друзья образцовые; французы Оливье и Роланд в мавританской Испании — в «Песне о Роланде» и т. п... Да и армянство рядом, с мальчиколюбием его...)

Если во европействе Истина ставится превыше всего: «Платон мне друг, но истина дороже», — то тут именно Друг превыше Истины — отвлеченной, не чувствуемой и, значит, означающей то, чего нет в горизонте грузинского существования.

Даже долг к отечеству стушевывается перед долгом дружбы. Читая «Витязь...», я поразился невозможными на Западе и в России выкладками, какими Автандил доказывает царю Ростевану, что он, чтобы выполнить нравственный долг и быть чистым перед Богом, — должен оставить Родину и дела государства (хотя они — в опасности, а он — главный здесь) и во исполнение приказа невесты Тинатин и клятвы верности новообретенному, именно Богом приданному брату Тариэлу, должен уехать на годы прочь и в никуда, и на смерть возможную... (см. «Завещание Автандила царю Ростевану»).

На Западе мы знаем конфликт между долгом и чувством, причем долг — к Родине, а чувство — любовь к женщине (сюжет «Сида» испано-французского хотя бы припомним, Корнеля). Тут же — другая иерархия «долгов»: ведь и друг = тоже долг, что первое даже чувства к другу — прямо по Канту (если чувство примешивается к долгу и исполнение долга приятно, такой поступок — «легален», но не «морален»)! Вон Дата Туташхия: ему неприятен, видно, побратим его, политик, нет к нему теплого чувства, напротив, отвращение уже, наверное, — но долг побратимства надо исполнять, не рассуждая и не считаясь...

Правда, в поэме Руставели сила долга и пылкость чувства гармонизированы (гармония — вообще принцип Грузии): страсть

²² Вспомним и полиперсонализм грузинского глагола.

Автандила к миджнуру Тариэлу сильнее даже его любви к Тинатин. А эта — сильнее его любви к государству. Так что иерархия долгов совпадает с иерархией чувств. Автандил — царю Ростевану:

Не осудишь ты, я знаю, государь, мое решенье.
Мудрый друг не бросит друга, несмотря на все лишенья.
Вспомни, царь, Платон-философ нам оставил поученье:
«Ложь несет душе и телу бесконечные мученья».

И далее: «Каково служенье дружбе, такова и мне цена»²³.

То же и в поэме Пшавелы «Гость и Хозяин»: вспыхнувшее внезапно личное чувство, симпатия между двумя встречными в горах ночью в тумане и вступившими у очага в отношения побратимства,— выступает как нечто дражайшее и редчайшее, дар подкидыши Бога самого («Гость — от Бога» — грузинская пословица снова вспомнилась), перед чем должны стушеваться все прочие отношения, в которые вплетен индивид: как член рода, села, народа, семьи, муж, воин и т. д.

И это не просто сверхчеловечество «ницшеанца» Пшавелы: личность противостоит изволению общины, обычаю, смеет свое помыслить, захотеть и исполнить (как Алуда Кетаури отказался отрезать руку-десницу поверженного врага, восхитясь его мужеством,— и за это был изгнан из села с семьей скитаться), но и в гармоническом «Витязе» — такая же иерархия. Читая поэму Руставели, я поразился «apolитизму» ее. Государство и политика видятся как нечто сравнительно малое и неважное, чем можно пренебречь, во исполнение более важных и ценных: метафизических и эстетических, нравственных принципов — дружба, любовь, красота...

Вот вазир увещевает Автандила:
Но коль царь и согласится, что на это скажет рать?
Для чего ей полководца на чужбину отпускать?
Ведь, соперничая с нами, враг поднимется опять...

На это Автандил: «Если он меня не пустит, я тайком покину рать». «Предатель и изменник!» — таковое ему тогда имя мы бы

²³ Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого. Т. I. Тбилиси, 1958. С. 133,134.

нарекли... Но Автандил мыслит иначе: страшнее измена дружбе, чем общине:

Я обдумал это дело и решился на уход.
Лишь изменник и предатель богохульствует и лжет.
Сердце здесь без Тариэла изнывает от забот...

Тут принцип Грузии: отношения внешние, с другими целостностями государственными, отчужденными, что далеки,— не переживаются так, как близкодействия Дружбы и на-Рода, обычая, обряда, долга врожденного, внутри чуемого в груди каждого: что хорошо и должно, а что не должно... Долг же политический — далек: кто там разберет, что должно сейчас делать в игре между грузинским царством и исламом, Персией и т. п.?

Но есть непосредственный компас, реле, указатель в сердце грузина: нравственно или нет ведет он себя? И это — обычай, с его четко разработанной иерархией ценностей: Друг, Род, Община, Семья, «я», Жизнь, Бог.

В России же все привыкли политически мыслить: даже в глуби какой, которую Гоголь описывал, смекают высоко-политически: уж не к тому ли ревизор — инкогнито едет, что это к войне с турками? Или капитан Копейкин = Наполеон на самом деле... На все — высокие виды государства, они во всякой мелочи усматриваются: сюда, как к общему знаменателю, все приводится: и стили в музыке («формализм» Шостаковича в постановлениях), и что можно мне допустить-высказать о национальных нравах разных народов, что нельзя «в нынешней международной обстановке»: как посмотрят со стороны и что скажут-подумают «враги наши?»... Все эти выкладки с серьезным и непререкаемым видом и тоном делаются, и ни «либералы», ни «русофилы», из своих политик исходя, не чутки, не восприемлют просто красоту или глубокую мысль; и даже теории на этот счет тут развиты: что чистых истин и красот не бывает, а во всем — интерес класса, партии или народа, или эгоизм личности... Бескорыстная вроде нация — русские, а как корыстно-прагматически все выкладывают, рассуждают...

Грузины чутки и просто к красоте, или истине, или нравственному поступку (пусть и не выгодному им) у врага: рыцарствен-

ное тут отношение, как и в «Мцыри» —уважение к противнику, барсу, иль у Алуда Кетаури к убитому им Муцалу — нехристю, кому он жертву приносит. Нет критерия: выгодно или не выгодно (мне, роду, государству, семье), а есть прямая чуткость к Абсолюту, приближенность к нему и оттуда ему, человеку, дар различать, что — хорошо, а что — плохо, без всяких там долгих рассудочно-горизонтальных выкладок, где запутаешься, как это в больших социумах и среди разработанных культурой логик, политик и этик: что выгодно «нам», а что «льет воду на мельницу наших врагов», соображай и считайся, в рассудочное отношение к миру и всему вступай и выкладкам этакой логики доверяйся...

Безрассудное доверие, какое высказал хозяин Джохола даже к обманувшему его, скрывшему свое истинное имя и род гостю — хевсуре Звиадаури, оказывается на весах истинных ценностей таким алмазом, на котором воистину держится народ грузинский и его шкала ценностей и субстанция. Ибо ошибиться в выкладках насчет прагматических результатов-следствий, какие вытекут из моих поступков,— каждый может, и не в нашей это власти, но в «неисповедимости путей Господних»: ему тут учитьвать и итожить... Но в нашей власти: в каждый данный миг поступать согласно высшему императиву, по лучу Абсолюта, который предписывает предполагать в мире и человеке добро и лучшее (а не подозревать во всем зло, сам тем самым во зле варяжива как в атмосфере своей жизни), доверять-верить, и эту веру свою пролагать и утверждать — даже безрассудным и ошибочным, быть может (как кажется на низовом уровне), поступком.

Тут — как в «тамадизме», в застолье грузинском: произносятся тосты, ориентированные на идеальную суть данного человека: на образ Божий в его индивидуальном варианте, что предполагается в нем,— и тем и он сам, и весь временный социум застольной общины вздымается на уровень идеала, себя там выдерживает, питает, упражняет, медитирует. Это — род «тапаса» = испытания-радения-служения, как в индуизме и аскетизме. Ну да: вроде и застолье, и ублажение плоти, а на самом деле — аскеза, упражнение духовное, выдерживание долгое, всенощное — во благодати идеальности всех друг ко другу, без раздражения и ссор и непорядочностей каких-либо, включая и

выход из-за стола по нужде, плоти своей низкой поуслужа и нарушая заклятие общего испытания трудового, поруки круговой, застольной: тужатся преодолевать немощи кишок и пузырей — и в разуме, и в слове, и в мысли высокой пребывать...

Так и Хозяин в поэме Пшавелы: предположил в Госте высокое и благое. И пусть ошибся — эта его ошибка и как он себя повел «здесь и теперь», последовательно в утверждении идеального образа Гостя и долга Хозяина к нему, вплоть до боя с, вообще-то, народом своим за, вообще-то, врага народа своего,— есть на весах Абсолюта пир Добра и радость и воздымание всего народа грузинского на высшую нравственную ступень — туда усилие...

Горное право

Ану вникнем в диалог Хозяина Джохолы и толпы, что ночью выкрала и связала его Гостя; тут и к Логике грузинской нам путь может нащупаться — как к Логосу Абсолюта в большей степени, в отличие от принципа относительности в европейском рассудочном мышлении.

Еще глазам своим не веря,
Кинжал Джохола вырвал вон,
И, открывая настежь двери,
В толпу людей метнулся он.
«Вы что, с ума сошли, кистины?
Чей гость тут связан, чуть живой?
Зачем, презрев закон старинный,
Вы надругались надо мной?
Клянусь вам верой Магомета²⁴,
Гостеприимство — наша честь!
А если вы забыли это,
Так у меня оружье есть!»
«Ой, не бреши, дурак впустую!
Чья лянная рука
На мать поднимется родную
Во имя кровного врага?..
Не он ли, бешеный, когда-то
Засел у нас в березняке,

И поднимал на нас врага.
Зачем позоришь ты, несчастный,
Себя, свой дом, свою жену,
И в слепоте своей опасной
Сним делишь трапезу одну?»
«Пусть это так... Пускай вы правы,
Но все, что вы сказали мне,
Еще не повод для расправы
И вы — преступники вдвойне!
Сегодня он мой гость, кистины!
И если б море крови был
Он должен мне, здесь нет причины,
Что горец гостю изменил.
Пусти, Муса, пусти, убийца,
Его напрасно не терзай!
Когда из дома удалится,
Тогда как хочешь поступай.
Соседи, вы не на дороге

²⁴ Кистины — мусульмане в Грузии, но это неважно здесь для Пшавелы и для грузинского Этоса.

И твоего прикончил брата
И ускакал с ружьем в руке?
Он враждовал, и дрался с нами

Грозите нашему врагу.
Какой вы, стоя на пороге,
Отчет дадите очагу?..»

Тут прорисовываются разные континуумы бытия и логики: в дому, у очага — один закон, а на дороге, в открытом пространстве — другой, и община нарушила это разделение, впав в тотальность. Хозяин встает на защиту этого принципа, спасительного именно для субстанции Грузии (хотя, может быть, для данного мига в отношениях между кистинами и хевсурами невыгодно его исполнять: попался грозный враг, убийца многих,— вот удача-то для кровной мести!). Ибо именно благодаря соблюдению этого «рыцарского» императива, среди всех непрерывных войн междуусобных между народами мелкими и селами Грузии,— они не вырезали друг друга, как если бы кто взял верх и объединил государство; но сумели так, на протяжении тысячелетий, сохраниться и выжить — в разнообразии своих составляющих: областей, нравов и народов. Ибо не поддавались до конца прагматике и физике и политике минуты, но памятали категорические запреты и императивы высшего порядка.

То, что континуум дома и континуум села,— это различные космоса, повторяет и воспроизводит в микросфере тот же принцип, что и между тем или иным селом-народом, расположившимся в долине меж хребтов,— и всею Грузией, всем Кавказом. Каждый микронарод в микродолине есть абсолютный субъект права — на своей территории. Ты, даже повоевав землю и разбив ополчение сельчан, можешь разграбить и увести,— но не можешь здесь жить: никто в Грузии не переселяется на завоеванные места, как это непрерывно в России... Пусть и не на злачных, на своих, субстанциально присущих землях и селах, и в ущельях дурных, неприступных, с дэвами,— а все ж живут; ибо тут — пуповина и субстанциальная привязь: земли, гор — к роду, на-роду и к личности...

Таким образом, раздробленность — естественная по природе и космосу Грузии на Кавказе, среди гор (ибо как же вести хозяйство тут и управление дальнодейственное, из ущелья в ущелье?),— и этос соответствующий выработала, каким смогла Грузия выжить. Тут нет и не может быть тотальности, как и

отчуждения и дальнодействия. Вот и в нашей поэме: когда потом нахлынули отмстительные хевсуры в село кистинское и победили воинов местных,— они взяли труп своего Звидаури, чтобы успокоить его дух, похоронив в родной земле и оплакав родными слезами, угнали стада, но не тронули запершихся в домах жен и детей; и это закон Грузии, в отличие от ислама и монголов, что вырезают повоеванные народы и занимают их пастбища... Но в Грузии сами горы помогли, чтобы не был упражнен тут такой принцип, острые, пиковые,— в отличие от ровных плоскогорий среднеазиатских или равнин русских, способствующих дальнодействию и нивелировке всех под одну гребенку...

В Грузии — врожденное горами уважение к разнообразию мест и обычаяв и народов: это предел абсолютный, его же не прейдешь даже pragmatически: я, и повоевав, там жить не смогу, ихнее ущелье мне и даром не нужно: мне и у себя хорошо. А вот движимость — стада — это увести можно. Или — придвижившегося к нам чужака, в наши земли зашедшего, можно убить и ограбить.

Равнинный же житель полагает, что «все — равно», «все — едино», везде мы жить сможем по-своему и свой закон и образ жизни распространить. Широта страны может приводить тут к узости понятия: непредставимость и недопустимость другого ума и рассуждения и обычая: они считаются абсурдными, нелепыми, смешными — и должны измениться на наш, наилучший вообще, а не для нас только...

В этом смысле — терпимости и допущения разного грузины — вполне европейцы, которые тоже — рельефно расчененные страны и народы. Горы, Гордость, Город — хорошо это В. Мильдон увязал-упарил, сопоставляя европейский горно-городской логос и этос с русским равнинным, плоскостным и линейным. Благодаря горам и смогли уберечься в своих самостях народы Европы: и франки, и немцы, швейцарцы, болгары, венгры — везде естественные препятствия для нивеляторов-завоевателей равнинных.

И русские, завоевывая в XIX в. Кавказ, что делали? Дороги проводили — органы своей субстанции: «путь-дорожка дальняя» = луч России и ее вектор в бытии. Горы равнять пытались, леса жгли — то есть все стены-границы естественные, что позволяли

многим и разным в разностях своих малых и узких продолжать существовать. Права меньшинств как высочайшие и важнейшие — вот что утверждает Космо-Психо-Логос Грузии и Кавказа в общем бытии человечества как ценности не менее важные, нежели «большое» и «великое», и «многое», и «общее», «единое».

Однако тут я пришел в противоречие с тем, что утверждал в *начале*: про хоровой, соборный, неличный характер грузинства. Вот мы видим, что отлично тут общее и личное и их соотношение — от вроде тоже соборного «мы» в космосе России. В России тенденция: жить-быть Единому Целому государства, великому и большому; партикуляризм отдельностей тут нелеп, противокосмосен: как отстаивать самость Новгорода иль Казани, Сибири иль Средней Азии, которые все — равнинами лежат и растеканию не препятствуют Единого импульса, из центра России начавшегося? Тут срабатывает тот же принцип, по которому и татаро-монголы залили и снивелировали в свое время Россию. Только те, кочевники, не интенсивно обладали, а эти, земледельцы,— интенсивно: в опоре на растение, на долгое Время, а не на экстенсивность Пространства.

Итак, Грузия — космос множества субъектов Бытия. Хоровых субъектов. Над ними, как верховный всегрузинский императив: уважать другого субъекта — в его законе и доме. И когда частный хоровой субъект права, истины и ценностей зарывается и посягать начинает на тотальность, за свои пределы выходит,— тогда встает мудрец иль рыцарь и позволяет себе судить из «я», которое выступает представителем высшего, непрагматического принципа, субстанции всеуважения, которую блести надо еще пуще, чем свой хоровой субъект. И вот именно от того, что обозримо малы эти хоровые субъекты, не совпадают по своей безграничности с бесконечностью (так что заступают уже на место Абсолюта, и Родина отменяет Бога, а патриотизм или классовый интерес замещают нравственность: «нравственно — то, что выгодно» нам: для нашей страны или для моего класса...), тут нравственный и умственный кругозор выходит шире, нежели у великого народа, что ограничен в узости своего величия, которое все равно ведь всегда мнимо и мало — перед Истиной и Абсолютом.

Меру грузины чуют — как и эллины: именно из-за родственной и тем, и другим малости полисов, общин и их законов и патриотизмов и их императивов. Потому пришлось и тем, и другим вырабатывать надмestный, небесный, Олимп идей и принципов, Казбек ценностей, с высоты которого уязвима, узенька и посмешна верность роду и провинции своей... Ишь, термин-то какой: «провинция» — от лат. *vinco* = «завоевать»! А земли Грузии принципиально не завоевываемы, не суть «провинции», но каждая — «*метрополия*» = «матерь-социум»: можно победить мужское воинство, людей земли этой, но нельзя овладеть землей-матерью-женой: она — не отдается другому. Да и не нужна она: терпка, ядовита, не вкусна — на вкус другого, как и почва горная: лишь плоды ее сладки (как и дети грузинки: недаром 300 тысяч их шах Аббас вывез в Персию — в янычары, в мамелюки их брали), отчуждаемы и переносимы — на те же рынки русские; но ни один русский не захочет жить в Хевсуретии, например, иль в Пшавии: не вкусны и дики земли и женщины тамошние. Они же любимы и восхитительны — своим, как и Абсолюту: для любви Бытия к земле этой и ко грузинке — и создан особый народ, как воплощение абсолютной любви Бога ко всякой тварине, в том числе и к этой...

Но тот же закон — и для России действителен:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный
Той красы, что ярко светит
В наготе твоей смиренной.

Тютчев так о России сказал; и она тоже, в сущности своей, и даром не нужна другим народам как место их жительства (не колонизации) и субстанциальных отношений и любви к Бытию, к Богу...

Но возвратимся к исследованию грузинского Логоса (по диалогу ценностных систем: рода и пространства наружного — и личности и очага) в поэме Пшавели. Тут парадоксальное отношение: тот же вроде человек, переступив порог, т. е. совершив «трансцензус», перестает быть членом мира феноменов, явлений, подсудных рассудку и прагматике политики и суду общего, общины, социума (согласно выкладкам которого он — враг и

убийца и подлежит злу и казни), — и становится членом мира ноуменов, божьим человеком, у Христа за пазухой, недосягаемой и неприкасаемой вещью в себе, абсолютной ценностью и самостью, сохранить жизнь которого гораздо важнее именно для Высшего Блага самой Грузии и каждого из ее народцев и социумцев малых, нежели соблюсти закон рода и крови, материнский. Недаром тут аргумент Хозяину народом высказываеться: кто ж поднимет руку на мать родную (= высшая в на-роде и по закону крови инстанция) и защитит чужака-врага? Народ, как эринии в «Орестее», требует крови рodoугодной, а воздымающееся над низом земли и ее множества элементов и законов Небо Единого Аполлонова закона Абсолюта (в лице ареопага и голосом мудрости девы Афины, а в нашем случае — волеизъявлением Хозяина, блюстителя дома как храма и очага = как статуи божества, к которой прислонясь, беглец любой и преступник становился недосягаемым для суда и погони и мести,— в Элладе было такое заведение), — высшая эта инстанция требует прощения и мира.

А тут, в Грузии, дом каждого — не просто «моя крепость» (как для ангlosакса), но святилище Абсолюта, в котором я — лишь жрец. Дом — более глубокая и высокая метафизическая инстанция, нежели село и народ, не говоря уже о царстве. И не терем это, как для русского купца, замкнувшись где, я могу распоясаться и безобразничать, благо никто не видит. Нет, тут жизнь домашняя на виду у рода и соседства протекает, открыто внешнему судящему глазу, и оттого стыд здесь в семейной жизни имеют; но плюс к тому и совесть, как высшая инстанция, судящая уже и род, прямо прилагается и чувствуется сердцем и контролирует частную домашнюю жизнь, которая здесь благообразна в гораздо большей степени, нежели в больших народах, с отчуждением этики в закон, вынос их в царя да в Бога, до которых далеко и высоко — и не достанут, не увидят, не доглядят за всем.

Если на Руси пословица: «без Бога ни до (от) порога», чтя опять же выносную инстанцию в путь-дорогу (порог!), то тут Бог ДО порога, внутри дома, тогда как Кесарь — уже за порогом, вне стен свою юрисдикцию имеет. И вот Хозяин — как Бог Кавказа — выступает против мелочного множества хоровых

субъектов и интересов общин (как, повторяю: голос Афины или Аполлона — на ареопаге, судившем Ореста). И тут не надо оракула — как вне нас находящегося голоса Истины: он врожден каждому — как совесть.

Потому-то именно в доме частном устраивается очаг-застолье как литургия божья — и служба Идеалу совершается во человеке. Дом тут — такое священство, которое незнакомо русским, например, которые высшие смыслы и ценности полагают вне стен: Даль, Дорога, Родина, Истина. Потому не бьет грузин жену и детей, совестится, о благообразии в дому радеет, а не только на людях, как у нас, на Руси (да и сам я мальчиком: в школе-людях паянька, отличничек, а дома — гад, реванш брал от напряжений во социуме...).

О, до разумения важных универсалий докапываемся мы, вникая в Грузию, сию вроде малость и частность среди Космо-Психо-Логосов мира. «Дайте мне точку опоры — и я переверну мир» (Архимед); так и Грузия у нас — как ни мала, а становится рычагом и точкой опоры для переуразумевания бытия и ценностных систем и других, и «великих» народов...

Теперь и Личность, и Свобода по-иному мне раскрываются в грузинстве и вообще. И — Логос. Недаром в глаголе тут есть взаимность субъекта и объектов: прямого и косвенного, взаимоучет их во всяком действовании, ориентированность «я» на другие «я» — и обратная связь и реакция от них уже в замысле и сказе самого действия всякого. Это — как завихрение в долине, ущелье, котловине между гор: все видно, и последствия тут же и возвращаются на тебя — от твоих поступков, мыслей и слов, тогда как в космосах бесконечности: земли-равнины (как Русь) или моря (как греки), Океана (как англичане) основной Эрос в Логосе — неисповедимость демонстрировать, неучтимость всего, так что хочешь блага — выходит зло (как у Эдипа, и у царей России, и в трагедии Шекспира...). На это и Дата Туташхия уже в ставшем более отчужденном космосе Грузии рубежа веков настыкается и приходит к выводу о воздержании от деяния.

Грузинский Логос — это именно «со-весь» как «со-ведание», «взаимо-знание» всегда и сразу — с кем-то, с Богом, с Бытием, или с более частным субъектом. Но Другой некий всегда предоучтен, в

априоризме души и духа, в их зачатии, в по-мысле присутствует, как и грузин всегда в космосе — при сути, а не в отсутствии, не в разлуке, как русский, что постоянно — втягивается к своей сути, которая лежит где-то в *дали* и куда надо снаряжаться в путь-дорогу.

Для грузин невозможен тот метафизический вопрос, которым задавался Достоевский: если бы ты нагрешил на Луне, но никто бы об этом не узнал на Земле, среди твоих, — каково бы тебе жилось?.. В русском космосе, где импульс мысли и поступка воли уходит в неучитываемую бесконечность и возвратной волны не поступает («Тебе ж нет отзыва» — Пушкин), человек, личность распадаема и может быть беспамятна — и тем праведна: ее же состояние и мысли, и дела для нее не собираемы и не судимы, раз нет ее тождества; так что «не суди» и «Мне отмщение и Аз воздам» (эпиграф к «Анне Карениной») — лишь в итоге и Богу одному подсудны мы и дела-мысли наши. И человек может исчезнуть-переселиться и начать новую жизнь, как *tabula rasa* («чистый лист» — лат.), и может не помнить, что натворил вчера по пьянке или каких ужасов в опьянении историческом наделал кровавых. Все — не он, а нечто налетело и смущило («нашло»). А сам — чист и не судим: и другими, и самим собой.

Как сладко быть ни в чем не виноватым:
Совсем простым солдатом, солдатом!

— как именно грузин Окуджава это чувство со стороны схватил-понял.

В русском языке и прочих индоевропейских, конечно, тоже выражена взаимность в действии, но аналитически, отдаленно: я, субъект, особь статья, а он, кому я делаю, — тоже особь статья, («косвенный объект»); а ЧТО я делаю — тоже особость («прямой объект»): Я ДЛЯ НЕГО ПИШУ КНИГУ. Во грузинстве же сам глагол есть синтетическое хранилище и полагалище всех этих субъектов-объектов сразу, — как и нравственность в котловине-долине народа меж судей-гор вышних вся тутощня и возвратна, не отсыльна; как и знание есть со-весть.

Да, не просто Этос, но и сам Логос тут устроен как Со-весть: взаимоориентированность субъект-объектов, так что и «объект» волю на меня имеет и субъективность свою дает знать сразу. Так

что даже в мысли, во всяком подумании — хóров я на корню, а не есьм особы.

Между русским субъектом и объектом отношение-импульс линейны: я испускаю волну действия — и оно уходит по прямой в даль, конечную иль бесконечную, но в обоих случаях — безвозвратную, беспамятную для меня. Мысль-действие же в грузинском глаголе мне видится не как линия прямая, а скорее как круг иль завихрение, окольцованный, замыкание и совершение некое.

Ну, хватит на сегодня. А то передою мозг — назавтра Эроса не достанет... Однако, с разгону, запишу, чтоб не забыть,— зачники на будущие промышления.

Сюжет «Хевисбери Гоча»: дружка жениха полюбил его невесту-жену — как раз на той же волне, что и «Витязь...», только от противного: Любовь превыше Дружбы личностью поставлена, и потому противокосмосно тут, мятежно поведение ее, и она — изгой, романтическая.

Бог есть Друг в Грузии.

И у Достоевского мысль: если так бы как-нибудь случилось, что Христос разошелся с Истиной, я предпочел бы остаться с Христом, пусть и против Истины... Об этом жена мне, Светлана, напомнила, когда я ей про возможное грузинское перетолкование афоризма: «Платон мне друг, но Истина — мне более подруга», — рассказал.

Грузинский Эрос

6.IV.80.— Ну, пойду досыпать,— говорю Светлане, вставая от завтрака.— Грезы свои досматривать.

— Грезы о Грузии...

— Звучно сказано. Пойду запишу.

— Тебе бы, папочка, лишь бы созвучие внешнее — ты и рад!..

— Но в созвучиях — нездешний, не подозреваемый смысл часто раскрывается, метафизический. Да и приучают они хотя б слух и готовность на взятие неожиданных смыслов в себе пестовать...

Итак, продолжим расхлебывать — тьфу! — слово какое низкое и гнусное для того, что сказать имею впереди в виду: вижу пики над туманами, словно горы прямо в небе, отделенно от земли плывут. И таковы сонмы образов и подозрений на мысль, что

во мне теснятся, очереди своей ожидая быть высказанными, промысленными... А «расхлебывать» кашу грез: болотный это образ, из оперы русской матери-сырой земли, тогда как в Грузии земля — хоть тоже «мать» («дедемица»), но отнюдь не сыра-поприста, а жестка, каменна: недаром причастие камнем в рот принимают, по обычаю, приходящие первый раз в город = тоже гору.

Умом упираюсь в следующий вопрос: что значит ОТСУТСТВИЕ РОДОВ в языке грузинском? Откуда это так появилось, возникло, — это дело лингвиста, науки. Но ЧТО бы это могло значить и о каком наклонении Логоса свидетельствует, — это промыслить — дело философа.

Еще и в английском языке стерты родовые различия: нет ярого Эроса в космосе Англии — андрогинен²⁵ Альбион. Напротив, в семитских языках, в древнееврейском, к примеру, — столь резкое расчленение всего поля языка на полы, что и глагол весь генитален: половыми признаками исполосован. Мощен тут Эрос, в этом регионе, и противостояние и противомыслие полов. И в быту арабов, тюрок и персов, в зоне ислама и иудаизма, — резко половины мужская и женская различены: меж ними разность потенциалов, противостояние, а, значит, и влеченье — огромное, ярое.

В Грузии же, более суровой по природе, аскетичной: горы, камень, снег... — Эрос не яр. Не случайно Дружба тут первее Любви, как модель всесвязи вещей и идей. И кто, как Онисэ в «Хевисбери Гоча», столь пылок и пламенен в любви, что забывает про прочие свои отношения: как друга и воина, — тот выродок. И недаром в «Витязе» именно Тариэлу, сыну условного Индостана, придано свойство «миджнур»: он — безумен и юродив от нестерпимой любви к женщине, любви сверхсильной человеку, стихийной, метафизической. А вот наш Автандил, сын условной Аравии, а по сути — страны христианской, более северной, покойной, не пылкой, — миджнур не от страсти к женщине, а от страсти к другу. Любовь же его к Тинатин — более покойная, разумная, как и ее — к нему. Она, скорее, сестра ему — не по внешнему положению («сестра» Тариэлу и Нестан-Дареджан), но по сути их отношений не пылких.

²⁵ Андрогин (*греч.*) — мужеженщина, первый целостный человек в «Пире» Платона.

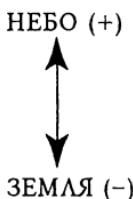
Откуда это? Как связано с космосом Кавказа? Чтобы понять это, вникал в символику стихотворений Важа Пшавелы. Вот «Гора и долина». Поэт их спаренность в труде космостроения Грузии являет, их взаимную ориентированность друг на друга (что и в языке в глаголе мы как специфическую черту Логоса грузинского отметили):

Почему глядишь высокомерно
На долину, гордая гора?
Потому что ты крута, наверно,
А она полога и пестра?
...Но взгляни в долину, на дорожки,
На сады, что зреют впереди,—
Это ль не жемчужные застежки
На расшитой золотом груди?

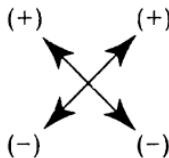
Я уже пишу карандашом на полях себе заметку: «муж. и жен.» — имея в виду половую парность, брачную: гора = муж, долина = жена: тут ведь и низ, и лоно, и даже грудь под лифом застежек жемчужных... И вдруг:

Не тебе ль она СЕСТРА РОДНАЯ —
Та долина, полная плодов?²⁶

Даже графически это можно изобразить. Если в Аравии, в исламе



, то в Грузии:



скошены вбок силовые линии Эроса тут. И получается силуэт горы и долины: наклонная плоскость здесь моделирующая: скат-склон (ильт взлет-подъем) ребра горы... Не то, что в степях и плоскогорьях зоны ислама и иудаизма, где небо прямо по вертикали жжет и любит и орошаает землю, впиваясь по прямой, кратчайшей, молниеносной. А тут — мягче, вбок, нежнее, но и ос-

²⁶ Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого. Т. II, Тбилиси, 1958. С. 209.

лабленнее. Да и по стати и лицу грузинка близка мужчине (как мне, по моим малым наблюдениям, представляется): горбоноса и сухощава; не разнеженно-колышущаяся ее плоть, как широкие бедра и осиные талии исламитянок иль индианок, жриц чувственности... Подруга она, ум мужу (как Тинатин Автандилу), энергична, как властная и мужеподобная Дареджан в рассказе Пшавелы «Из пшавской жизни»: «Отправляясь куда-нибудь со двора, она брала с собою пику с длинным древком... Односельчане награждали Дареджан множеством ... прозвищ: «Дэв» и «Пароход»... «Родиться бы тебе, Дареджан, мужчиной!»²⁷

Да и в «Витязе...» женщины мужественны и решительны и умны: им принадлежат затеи и подсказы, что делать их возлюбленным, они заводят на поступки: Дареджан повелевает Тариэлу жестокое убийство жениха своего, Хорезмского царевича, подстегивает его на решительное объяснение с ее отцом. То же и Тинатин: нет чтобы завождаться к жениху и скорее сочетаться-совокупиться, но, движимая любознанием, посылает его в даль разыскивать Витязя, разузнать, отчего он такой странный?..

И хотя стушевана грузинская женщина при застолье: она носит яства, а муж — тамадит, глаголет, в *высь* дух испускает,— но тут разделение труда в их служениях: как Долина в стихотворении Пшавелы несет плоды и цветы, так и она, жена, на блюдах себя полагает, и мужчина знает свою зависимость от жены и чтит ее, сам стушеван.

ГОРЫ умаляют Небо и Отца

Еще в никнем в горы Грузии, в устроение-рельеф ее Космоса, и к какому Логосу они обязывают народившийся в этом пространстве и времени народ.

Небо, конечно, уменьшено здесь: заслонено пиками, склонено. Не предстает во всей своей мощи, как над равниной степи или моря. Потому ослаблен здесь Царь Небесный, Небо как образ Бога, Абсолюта,— не то, что облегающий Небосвод, Уран, взлегший на Землю: Гею иль Кибелу; иль Ян на Инь — в Поднебесной...

²⁷ Грузинская проза. Т. II. М., ГИХЛ, 1955. С. 498—499.

Небо уступает часть своей власти и моши и смысла — ГО-РАМ, пикам, что суть тела ДЭВОВ, божеств-демонов полутемных, хтонических. В них Земля на Небо пошла штурмом, взъелась и отняла часть власти и чистоты и силы, застив Небо горами да туманами и нечистью понизовой...

Зато и Небо тут и свой прорыв вниз учинило: ослепительность снега и ледников накинув на плечи гор: ледники, сии языки-глаголы небесные, кристальные, что затем в ропот и грохот вод и рек, водопадов, в «гадаварда» = «сломя голову», пускаются, опрометью решительно опрокидываясь, как и стих обрушивается на поэтов вдохновенно («гадаварда» = «очертя голову»; Тициан Табидзе этим термином объяснял процесс вдохновенного стихотворения: как водопад и каскад).

Да, Горы отнимают часть силы и власти у Неба, и вот почему идея Отца в грузинском космосе принижена несколько: и Бог как Отец не так тут велик, как в иудаизме, христианстве прочем и в исламе. Не озnamенован этот мир такими патриархами, как в Ветхом завете или в семьях-родах Востока. И на Руси образ Отца — как Кесаря («царь-батюшка», и поп — батюшка) мощнее. На Руси, как и на Востоке исламском, Рустамов комплекс (так назовем его), вместо европейского Эдипова, всесилен: Отец убивает Сына — такова тут модель: Рустам — Зохраба, Илья Муромец — Сокольника, Тарас Бульба — Андрия, Иван Грозный да Петр Великий — сыновей своих и т. д.

Вон и в «Витязе...» так немощен и скуден смыслами царь Ростеван да и отец Дареджан: бессильны они приструнить детей своих и полководцев. То есть, Отец (как архетип) ни как Бог, ни как Кесарь — не значителен и не весом. Важнее тут Мать да Сын. Недаром и в сказках постоянно сюжеты: вдова с сыном. Да и проклятие: «Чтоб ты умер на глазах у своей матери!» И в сказках много — про Мать да Сиротинку. Горемыка-Едок великий, входя к матерям дэвов, так их приветствует: «Мать, ради всех матерей и детей, дай мне хлеба и огня...»²⁸

За счет умаления архетипа Отца и вертикали Эроса меж Небом и Землей, нарастает значимость Сынов и их горизонта: хоровое их братство-дружество. Вслушаемся еще в стихотворения Пшавельы:

²⁸ Грузинские народные сказки. Тбилиси, 1956. С. 186.

В ущельях сгрудилась мгла.
Как братья, заполнив просторы,
К телам прижимаются тела —
Вечерние темные горы.

(«Горы спят»)

Это как в танце хоровом мужском: прижавшись и обнявшись и содержа друг друга — и заполняя космос: космос это полноты и совершенства — грузинский. Нет тут ПУСТОТЫ, и не знает он ее страха, в отличие от латинян и романцев, кого цепенил Ноггог vacui²⁹ — в том числе, и в философии и естествознании (Декарт).

Горы также дают модель отношений между ОБЩИНОЙ и ИНДИВИДОМ: на одном хребте (= символ единого тела общины) высятся пики-вершины (= индивиды). Но они не самостоятельны — именно: не сверху донизу самодержатся, как такие выродки-титаны-вулканы, как Эльбрус... И недаром он вынесен космосом Кавказа на север Главного хребта: вне Грузии титан этот сослан, как Амиран-Прометей, Сверхчеловек-Гора, иглядит он в сторону России: ей он более адекватен, а Грузии таковой не нужен. Ей по душе более такая гора, как Казбек: первый среди почти равных вершин рядом.

Итак, индивиды в Грузии чуют свою лишь половинную сущность: так сказать, до пояса; а ниже они все срашены в единое тело, в неразрывность общины, народа. Их же дело, поручение им от низа: выситься красиво, языками вверх глаголать («цискхари» = дверь в небо пробивая и руками махать, остриями-мечами).

... Да и Казбек тоже — на выходе из Грузии, на полпути к России: на Крестовом перевале стоит, страж Кавказа, как и Шатогора (Эльбрус) в стихотворении Лермонтова «Спор»: почувствованы они как дэвы-титаны, стражи Кавказа.

Но не доглядел и Казбек: змею (именно!) пригрел (именно!) на своей груди. С Казбека-то как раз и стек Терек = сей предатель Кавказа, что выдал его и Грузию северянам: проложил на север лаз-ущелье, по которому и пролегла основная трасса завоевания: от Владикавказа рука Военно-Грузинской дороги до Тифлиса дотянулась.

²⁹ Страх пустоты (лат.).

Но вслушаемся дальше в стих Пшавелы:

Луны опечаленный лик
Глядит из нахмуренной тучи,
И плещет в ущелье родник
И плачет о чем-то певуче.
Вот всхлипнул он, тяжко дыша,
Откликнулся эхом несмелым
И смолк... И как будто душа
Рассталась с измученным телом.

(«Горы спят»)

Родник = душа. Вода — Психея Грузии: звучно и раскатисто низвергается пышным днем и в застолье тамадинском. Но еле слышна и тиха ночью — как нежная детская тема-вспоминанье робкое в Пятой симфонии Гии Канчелли... И там-то вдруг против нее вдруг — страшный обвал, каскад и грохот, гадавардна (тоже) Смерти стремительно пронзает лучом молнии душу, а спину всю в мурашках и дрожи оставляет...

Мать и Дэв, а меж них — Сын, (не защищенный Отцом) грузин, его душа зажата на существование — внутри трагическое, а не такое пышно-праздничное, как это гостю и чужеземцу за застольем предстает на показ и на хваст.

Письмо Гурама Асатиани

Н а это мне еще Гурам Асатиани указывал в письме на мой этюд «Грозь и Гранат» (что он напечатал в «Литературной Грузии» в 1979 г., в № 7), где грузины у меня сильно уж «воз-духовны» и легки, легковесны даже в своем жизнеотношении — так изображены. «Вы упустили,— писал он мне 12.IV.79,— в грузинском характере его драматизм, имеющий основой внутреннюю противоречивость, точнее, амбивалентность — свойство, уловленное в свое время Пастернаком.

... Вы считаете «хор» признаком отсутствия «индивидуальностей». Но ведь грузинское хоровое пение не единогласие, а полифоничность, где минимум три (а то и больше, как, например, в «Криманчули») голоса противоборствует, дерутся, словом, каждый, в сущности, поет свою песню. В результате полу-

чается гармония, но это особая гармония, построенная на противоречиях, на многообразии.

...Само «Мы» (армянский фильм Артура Пелешяна, что я анализировал.— Г.Г.) говорит о чем-то неделимом, где главное — в общем, а не в частях (т. е. в индивидуальностях). С другой стороны, «Певчий дрозд» (фильм Иоселиани, что я сравнивал с армянским,— Г.Г.) — это нечто одиночное, некая индивидуальность, «душа», хотя жертва инерции и всеобщего коловорота, но все-таки одиночная... То же самое вытекает из Вашего «разлета» и «слета». Птичья черта не «разлет», а именно «слет». (Я с птицами грузин сравнивал.— Г.Г.). «Разлет» характерен именно разным индивидуальностям, в частности, племенным индивидуальностям (имеретинам, мегрелам, кахетинцам и т. д.). «Слет» же как раз стадная черта.

Одним словом, понять Грузию и грузинский характер без «индивидуальностей» — то же самое, что понять Индию без «духовности» Вивекананды. Вся история Грузии — это история сильных индивидуальностей, их столкновения, соперничества, противостояния, взаимоуничтожения. В этом главная прелесть и трагизм этой истории.

Если сегодня таких индивидуальностей меньше, чем, например, в начале нашего столетия,— это следствие того, что они были физически (или духовно) истреблены двумя зловещими индивидуальностями (тоже грузинами, «злыми гениями» грузинского народа).

В каждом грузине живет маленький Бонапарт и вместе с тем каждый грузин — в чем-то Эмма Бовари.

...И, наконец, поверьте мне: грузинский характер — один из самых трудно разгадываемых. Потому, что ясность в нем только внешняя. Это как в детективе: первая догадка всегда ложная. Это посторонний взгляд видит грузина преимущественно в хоре, хороводе, в дружном согласии. А внутри все гораздо сложнее.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ГРУЗИНЫ НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА.

Но так, наверное, могут сказать о себе и некоторые другие народы...

Все знают разницу между гасконцем и бретонцем (опять параллель с Францией!— Г.Г.), однако таких противоположностей (в характерах) внутри одной нации, которые наблюдаются в Грузии, наверное, очень трудно сыскать во всем мире...»

Чудное и умное письмо — и пусть оно во мне работает как поправляющий голос и компас к моим глобалиям, в которые я, увлекаясь, впадаю...

В нынешнем писании про грузинский Космос я уже более тонко стараюсь подходить: различаю между «индивидуальностями», которые в Грузии действительно ярки, — и «личностью», которая тут — проблема (как мне пока видится)... И с «воздухом» и «небом» сейчас у меня отяжеленее выходит. И личность?.. — как раз в Алуде Кеталаури и Хозяине Джохоле именно Личность мне предстала, а не просто яркий и колоритный характер-индивидуальность. Личность — это свой свободный выбор и *сменение* (от «сметь») противостоять общему уму, свой ум и принцип зная и с Абсолютом прямо сносясь (а не через посредство коллектива общины и рода и обычая): сам судит и решает.

Да, такой можно моделирующий образ представить:

Небо — Абсолют. К нему пики гор (что представляют индивидуальности) ближе и чутки и на острия свои (как на антенны). Его голос и смысл первые принимают и понимают Его волю, тогда как хребет-община и, тем более, долина — ниже и дальше отстоят от Абсолюта. Так же не верховна и воля социума тут: общины рода, на-рода, иль государства-царства даже; их уровень — хребтяной, суммарный, а не вершинный, где в тишине вслушиваются именно личности в глас божий Неба и с высоты этой берут на себя право судить-противостоять и общине (как Хозяин Джохола), и семье и жене (как Миндия в «Змеееде») ибо уровень последних — долинен...

Пики = языки грузинского Логоса. Их речи понимают звезды:

Один только звездный хорал
Доносит напев колыбельный:
«Привет вам, скопления скал!
Да сгинет ваш недруг смертельный!
Когда бы погибли и вы
В годины суровые эти,
До нас не дошло бы молвы
О том, что творится на свете!»³⁰

³⁰ Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого. Т. II. В. Пшавела. Горы спят. С. 208.

Скалы = речи, тосты хребтов и долин...

В то же время скосы гор = дороги умерших душ на небо:

И души людей из могилы,
Как тени, пойдут по горе.
Вот души усопших земли
Сквозь горные движутся щели.

А вот опять строй Космоса:

Вершину с вершиной сливая,
К скале прилепилась скала.
Природа от края до края
Ущельями их исsekла.

Тут членораздельность грузинского Космоса и Логоса представлена: ущелья-долины = это малые земли-страны. Хребты = микронароды. А на них вершины = индивидуальности.

Грузинские сказки

Ну, а теперь в философемы, что из сказок излучаются грузинских, повним. Уж сама приговорка в концовке сказки характерна:

Мор там, пир здесь,
Отсев там, мука здесь.

— космос при-сут-ствия этим зафиксирован. Сравним русское: «я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало», — зафиксирован космос от-сут-ствия: то, что было рассказано в сказке, — это где-то там, в *дали*, а не здесь; тогда как в грузинстве наша точка в бытии — «здесь» и противопоставлена резко некоему чуждому «там». В русском же Психо-Космосе именно «там» загадочно и влекуще. В путь-дорогу, в странствие (как и купцы арабские, степные, исламские, — в море) стремятся народы равнинные, дале-ширеевые. Любознание к чужим краям.

У грузин же этого нет. Характерна сказка «Цветок Эжвана». «Жили на свете мать с сыном» (Отец — в минусе, не столь важен. — Г.Г.). Подрос сын, захотел жениться, мать велела ему бросать хлебы в реку, кормить ее — и вышла оттуда жена, как форель на живца. (Кстати, отметим водянную и здесь природу

женского начала: подобно и Афродите — «пеннорожденная», морска Киприда; и русалка — водяная). Стали они жить, как муж с женой. «Вот и говорит муж: «Не хочу я больше жить здесь. (Дивное, противокосмическое желание: грузин-переселенец есть ересь и абсурд! — и мы увидим, что из этого получится.— Г.Г.). Перейдем куда-нибудь в другое царство». Отказывается жена, не хочет. (Жена = долина, опора «здесь»-бытия. Мудра она, а он — исполнитель воли, как и витязи в «Витязе...» — Г.Г.). Уговорил он ее все же. Перебрались в другое царство, живут».

Тут злоключения и начались, испытания ему от царя — иначе заберет себе приглянувшуюся ему жену. «Сказала жена: «За что ты погубил меня, ведь говорила я — не надо ехать». С помощью ее ума, однако, они выполнили все испытания, а под конец перебросила красавица через реку один свой волос — из него вырос мост с домами, лавками да садами (как Тбилисский старый мост, «Ослиный»). Вышел туда царь со всеми своими советниками, веселятся, пируют. Потянула красавица волос свой — и рухнул мост, попадали все в воду и утонули.

Освободилось, значит, все царство для них. Мы ждем, что они тут и останутся: «жить-поживать да добра наживать» — по русской-то логике допустимости переселенчества. А н не тут-то было: «А юноша и его жена пошли себе домой»³¹. Вот ведь как: не надо нам чужого! — не жизненное это им, грузинам, пространство, как бы ни было оно злачно, а у них — горно и трудно, каменисто, не сытно, хладно. Ибо велико притяжение магнитного силового поля их Космоса.

Но и вообще думаю: как мы под действием земного тяготения существовать можем, а в невесомости-легкости не можем, — так и нам нужен труд и тяготы нашей жизни, проклятье: в поте лица добывать хлеб и в муках рожать чад, — ибо то наш противовес влечению на съем в *верх*, в Небытие, в «Небо»... Так устроен просто наш «антропос», склад натуры: по космосу каждому местному... Как кораблю нужен груз и даже балласт, чтоб плыть, иначе перевернется, так и человеку — тягота; и «грех» («зло») = наш киль, разум = нос, а вера = мачта (так преуподобию древние символы)...

³¹ Грузинские народные сказки. Тбилиси, 1956. С. 120.

Еще вмединиуюсь в приговорки сказочные русские: пир-то там (а не здесь, как в Грузии), «за морем житье не худо». Пир жизни — чужой: «в чужом пиру похмелье». «По усам текло (= как по горам), а в рот (= ущелье) не попало». И в этой детали — космос от-сут-ствия, космос Небытия: не досталось!..

А вот еще архетипическая для грузин сказка — «Земля возьмет свое». (Про нее мне еще в Тбилиси Алико Гегечкори говорил-вспомнил как значительнейшую и моделирующую грузинское сознание). «Жила одна вдова, и был у нее единственный сын. Растет сын и видит, что у всех есть отец (снова Отец в Грузии — проблема и минус.— Г.Г.), только он никого не может назвать отцом. «Отчего у всех есть отец, только у меня его нет?» — спросил он мать. Мать сказала: «Умер твой отец». — «А что такое — умер? Что он, не придет к нам больше?» — «Он к нам не придет, но мы все пойдем туда, где он», — сказала мать, — никто не избежит смерти». Юноша сказал: «Я никого не просил о жизни, но уж если я живу, то не хочу умирать. (Каков силлогизм мощный! Вот грузинский Логос где!— Г.Г.) Пойду, найду такое место, где не умирают».

А вот уж и ошибочка: вечную жизнь, опровержение Времени стал мыслить в термине «места», Пространства: пошел в путь-дорогу, переселенец... Это бы свойственно так заключить сознанию русскому, где даль — «место» Абсолюта... И вот наказан был грузин, взыскиющий бессмертия.

Подумал я, кстати, о «пространстве-времени», континууме, где сказки совершаются, их действия и смыслы. Недаром зacin у сказок таков: «Было то или не было — жил один царь...» Тут — тождество Бытия и Небытия, метафизическое «пространство» — обиталище чистых смыслов, идей, зона тождества Бытия и Мышления, преодоления логического запрета: «или-или», «или есть, или нет». А тут — и нет, и есть: смотри-суди-понимай, как знаешь-умеешь, на что у тебя слух есть... «Не любо — не слушай, а врать — не мешай», ибо «враки» эти — не «бреки», а почие истин ваших рассудочных...

Однако продолжим анализ сказки нашей. Силлогизм юноши напомнил мне аналогичный довод в одном стихотворении болгарского поэта Христо Смирненского (перевожу дословно):

Я не знаю, почему я родился в этот мир,
Не спросил, за что я умру...

Но вот он видит толпы пролетариев, примыкает к ним и глаголет:

И тогда, не спрашивая:
почему (для чего) я рожден в этот мир,
Я буду знать, за что — умереть!

Сильные стихи. Философически — тут отказ от вопрошения о причинах-началах (что так любит Логос эллинов и Разум германцев-немцев) и удовлетворение на знании ответа о целях: ради чего, что впереди. Прислоняясь к идее будущего.

Вот этого хода мысли не должно быть (мне кажется) у грузин. Кто при Целом, кто при сути — тому не гоже искать частичных целей. То же самое и о причинах-началах рессантимантично задумываться, в претензиях-счетах к Бытию, — не пристало здесь. Тут все Бытие все Цело здесь и теперь, так что просто исполнение существования и есть самосмысл его.

Гость не по-грузински...

Тут у меня сейчас маленький сюжет вышел: позвонил человек — и я его к себе, не подумав, пригласил: Пасха сегодня, мои уехали к деду, я — один. А теперь — пожалел: связался на разговор, чужую психею принимать, приникать к ней — опасно и раздражительно. Так бы тих провел день, дождался своих, а вечером в гости по соседству зашли бы. А н нет: дернул чорт за язык!.. Эх!

Вот пример антигрузинского рассуждения! «Гость — от Бога», а я отсылаю его по ведомству чорта и соблазна. Так что перестройся на грузинский лад — и будь добр и гостеприимен. Пойди приготовь нам с ним обед, выпивон и закусон.

7.IV.80. И так воистину оказалось: «от Бога гость» мне на вечер был послан — на беседу чудную, тихую, глубокую. С обеда до вечера, до приезда моих, мы сидели, ели, пили, потом гуляли — и все думали вместе и говорили.

Но, имея грузинскую уже шкалу в уме, вижу, что не по-грузински у нас общение протекало: не ритуально, не индивидуаль-

но. Мы вслушивались в мысль друг друга, не торопясь, вникая. Постепенное проникновение во *внутрь* друг друга и тайное тайных, опрозрачивание себя и откровение другого. Искренность и открытость. Ну да, это было именно *общение*, встреча лица с душой, тогда как грузинское гостеприимство есть не общение, а исполнение обоими ритуальных ролей: Гость и Хозяин.

Кстати, как раз это подтверждает и поэма Пшавелы такого же названия: Хозяин не вслушивается в пришельца как в человека, личность и судьбу: это его не касается; тот — Гость, и все тут! Имя нарицательное, функция бытия; собственное же имя, личность означающее, тут не важно, без знамения. Хозяину (он тоже ролью означен) и не интересна эмпирия жизни и взгляды и чем жив ЭТОТ человек,— не об этом разговор, но отвлеченно-ролевой: о благе вообще и прочем, как тамадизм велит. Если бы Хозяин Джохола интересовался неповторимостью этого человека, он бы и раскусил его пораньше и не влип бы так,— но и не стал бы трагическим героем в защите Абсолюта от людских относительностей.

И то, что он не видит ЭТОГО человека: его нрава, лукавства и проч.— делает ему честь: возвышенном он обитает, им жив и не замечает важных на мелком уровне деталей. Так, в дзен-буддизме есть притча про ученика, который перестал отличать жеребца от кобылы; узнав об этом, его Учитель восхитился: так вот какой ступени совершенства, значит, достиг его ученик! Перестав воспринимать то очевидное и ближайшее, что бросается в глаза всем людям здравого смысла, тот, жертвой этого, обрел зрение веющей и идей, тем всем не видимых, и среди них живет...

Да, не было у меня гостеприимства в том смысле, как говорят: «надо уметь принять гостя!» — явить себя и ритуал исполнить пышный: устроить ему ПРИЕМ — как дипломатический... Не ПРИнимал, а Понимал я гостя — и ему на понятие открывал себя, отдавался, так что это он прием мне устроил, гость **принимал хозяина** — в беседе умной, душевной, при застолье бедном: картошки я сварил в мундире (что на днях из деревни привез, из погреба своего); зато — хорошая, рассыпчатая. Четвертинку открыл, огурцов — своих же, грибков — своих же: все из натурального хозяйства моего, трудового... И подумал, кстати: надо предстоящим летом к хозяйству серьезно отнестись — корм за-

готовить; если картошки и грибов наготовим — не пропадем на следующий год-зиму, даже если не будет еды в магазинах или попрут меня из Института.

Так вот: это был племянник моего друга Ю., Слава. 26 лет ему. Духа взыскиует, читает, пописывает. Бежать из семьи к духу или в семью к духу? — об этом начали толковать. Пожалуй, в наших условиях, скорее, в семью надо за духом тонким идти. Это в прошлые времена, когда семьи были мощные незыблемости и крепости животноплотского, бездуховного существования, человеку духовной жизни повелевалось: «да оставит человек отца и мать, жену и детей и идет за Мной», — учил Христос. Семья тогда была сильней государства и была первым врагом чистой жизни во духе, как ныне корыстное производство и потребление. В наше же время семья несчастна, как и дети, — и именно там возможно возрождение духа Любви, которая есть Бог, и излияние его оттуда на общество. В семье живое первообщество можно на новых началах создать живую церковь: тут душевная работа всех над собой и другими, и уступчивость, и понимание, и любовь именно к личности друг друга и ее развитие. Тут — область духовного творчества, канал облаготворения мира. Так что надо очажок этот и свечечку растепливать, растапливать усердием чувства и внимания и понимания душоночек трепетных, с кем живешь, ангелочеков-детушек, да и бедных взрослых и старых, кто тоже дети были... А сейчас они — дети у Бога, хоть и старенькие, на человечий век...

В духовной жизни важнее всего не чтение, а собственный опыт дум,исканий, ошибок, страданий — его наживать.

— Вот я слушаю Мамардашвили,— рассказываю ему,— и студентики 20-ти лет слушают. Но мне текст льется — как родной и из меня как будто, ибо перемучился я сам проблемами философскими и в тупики заходил, из которых этот мне помогает выйти; и я рад и узнаю, и лижу: вот это да! Вот это воистину выход из тупика проблемы! А они — просто записывают, им тут тупик и не виден, пропасть не ощущима, которую он только что осторожно по карнизу прошел...

Так что духовный опыт каждого, путь восшествия к уразумению Истины важен, и его надо заносить-писать. Это я ему

советую. Он ждет, пока установится его жизнь: тогда станет читать-писать-мыслить. А я ему говорю: не надо дело Абсолюта ставить в зависимость от условий, но прямо сразу, сегодня начинай. Вооружись бумажкой и ручкой, как щитом и мечом, и с ними будешь как воин-рыцарь, сражающийся с жизнью. Так я себя чувствую. И тогда ты — всегда при себе и своем труде: в вагоне, на нарах, в бессоннице... И не надо спешить разрешать ситуации сложные: чем дольше в них сумеешь выстоять, не разрубая,— тем для духа и ума плодотворнее.

— Трудно это: хочется скорее устояться.

— Устоишься — успокоишься — и мыслить-писать перестанет тянуть. Мысли, слова — из страдания рождаются, как наше подручное средство их преодоления.

Еще идея у него интересная:

— А если промыслить жизнь человека как завершенную, путь пройденный,— много из этого, наверное, себе извлечешь?..

— Это можно: Толстого, например, дневники, путь... Это читайте.

— Нет, не то: человека нынешнего, живого...

— А кто ж откроется?

— Да даже мать мою хочу так промыслить: она вот уехала за границу — и, значит, завершилась ее жизнь-путь-облик для меня. Вот и промыслить это...

— О, это — прямо как художественная задача! Живое, текущее еще — взвидеть как завершенное, под его модусом-соусом!..

Перед выходом погулять я подозвал его к машинке и показал конец вчерашней записи: «Это про Вас...» Хотя колебался: показать ли? А потом решил: надо ему этим образчик мышления на ходу, без отрыва от производства существования,— дать. И говорю:

— Вот видите, воистину Вас — гостя Бог послал: и мне хорошо-интересно, и Вам, наверное.

— Хорошо, если и Вам...

А потом, на улице уже, он сказал:

— Была у меня идея: вот если бы магнитофон-запись подключить к мозгу и душе и ловить все мысли, шевеления чувств?..

— О, над этим я и бьюсь всю жизнь: как на месте «преступления», на корню свою мысль-чувство схватывать?.. Но потонешь —

в каше: такое множество, дурная бесконечность... И трудно как: погонишься за фиксацией чувств, ситуаций — уловишь сор, тину. А погонишься поймать золотую рыбку: выразить мысль-квинтэссенцию этой ситуации — потеряешь искренность...

А про себя подумал, что тут я уж некое «мастерство» выработал: опытный вояка-охотник, за 20 лет уж...

Еще у него замысел: перечитать Достоевского, хотя бы роман один, и составить анкету: кто кому что сказал? — а то все спуталось.

— Ну что ж! По канве такой и смысл какой сможет расшириться-родиться...

И опять ко грузинству отсюда взлетела мысль: там эти отношения: КТО, КОМУ, ЧТО — в одной форме глагола выразимы.

Продолжение сказки

Однако влипаю я в здешне-жизненное и личное — и предаю размышление о Грузии. Откинем наваждение, засос мелочных эмпирико-сituационных соображений, верчений жизненных помыслов,— и в *высь* воспарим, где идеи и архетипы народные обитают.

Итак, мы прервали сказку о юноше, пошедшем искать место, где смерти нет. Приходит в поле, там видит — Олень; когда драстут рога мои до неба, тогда умру,— говорит. Потом видит далее — Ворон над ущельем перья свои щиплет: когда заполню ущелье пером своим — тогда умру. И все предлагают остаться с ними. Но это не то все: не долголетия, но бессмертия взыскиует душа. И вот приходит в замок, там красавица, он к ней — на вид ей 15 лет. «Нет, я создана в первый день творения мира. Меня зовут «Красой», и я никогда не буду старой и никогда не умру. (Прямо Платон будто тут помог сказать! Она — не «красавица», а «Красота» сама, идея-сущность всех красот. И таковая не вянет, не стареет, не умрет. Как красиво толкует А.Ф. Лосев, понятие платоновской ИДЕИ: вода замерзает и кипит, а ИДЕЯ Воды — не замерзает и не кипит.— Г.Г.). Ты бы мог остаться со мной навсегда, но ты сам не захочешь — земля позовет тебя».

Вслушаемся: тут же две противоположные причины спарены! «Ты сам не захочешь быть бессмертным» — это из Свободы,

тогда как «Земля позовет тебя, возьмет свое» — это из Необходимости, из природы моей вещественной: прах я и в прах возвращуся... И вот для грузинского Логоса характерно, возможно это спаривание рассуждения по Природе-Необходимости (сфера «чистого, теоретического Разума», по Канту) и по Личности-Свободе (сфера «практического Разума», а они — несходимы, неисповедимы взаимно, по Канту): через запятую тут: «Земля возьмет свое, ты сам не захочешь быть бессмертным».

Приходит на ум и другая сказка: «Да, нет, никогда» — такое повелел царь отыскать охотнику. Девица-оборотень-птица его научила: на венике в царство умерших перенесла, потом через море, через огонь, все стихии нанизав (земля, вода, огонь и воздух на веник = птица крылатая). Он встретил палку и принес. Палка стала царя бить, и охотник его спрашивает: «Хватит с тебя?» — «Да». — «Может, еще хочешь?» — «Нет». — «Будешь еще отнимать от меня жену?» — «Никогда».

Какая гносеологическая сказка! Немыслимый клубок противоречия и взаимоисключения (что задан в заглавии) развила-разрешила, но как!? Представив вещи и слова — не как тверди и самосущности, но как ответы на пустоты-проблемы-вопросы под ними; тогда горы = на дырах недр кожа. Это же целая возможная философская система!.. Только эту полость во всем надо иметь в виду и твердям не придавать конечного значения, а лишь ситуационный свод ответов на вопросы в них усматривать...

Философический, игровой Логос у грузин!.. Когда меня армянка одна спросила, кто способнее к философии: грузины или армяне? — я ответил: грузины. У армян не хватает легко-мыслия, игры, игрового отношения к Бытию, что необходимо для философствующего ума. Они слишком прагматичны и корыстно смотрят на все. А философия — это в той же степени глубина (чем гордятся справедливо армяне в себе), как и легкость-летучесть, парение, что присуще грузинам. Глубина философии — высотна... Без щита игры не подступишься к Абсолюту. Платон и Сократ дурачат и морочат — в самом глубокомыслии.

Да ведь и тот же самый ответ женщины-Красы в сказке, что Кантов рассудок во мне протрактовал как противоречие, может

быть понят как гармония: Свободы и Природы, личности и Целого, что и характерно для Психо-Логоса Грузии...

А раз гармония — то совершенство-совершение-завершение: ушедший — возвращается к исходному месту, где родился: на круги своя. Модель Шара тут (образ Целого). Замыкаемость Бытия, а не разомкнутость-разорванность, как в России: открытость принципиальная. (У Бахтина — идея о принципиальной незавершенности всего: человека, слова, произведения культуры и его смысла и т. д. Все — в пути).

Юноша клянется, что никогда не уйдет от девы-Красы, и «стали они жить вместе. Годы пролетели, как мгновенье. Многое изменилось на земле. Многие умерли, обратились в прах, многие народились, земля меняла лицо, но юноша не замечал, как летело время. Женщина была все так же прекрасна, а он все так же молод. Пролетели тысячи лет. СОСКУЧИЛСЯ юноша по родине, захотелось ему навестить своих».

Вот: человек на Олимпе существовал, ко блаженству бессмертных приобщился, и мог бы так кайфовать до конца... Но тут открылось: блаженство не есть любовь. Любовь мощнее и глубже: она — к индивидуальности неповторимой: ко «своим». Но она сопряжена со Смертью, с конечностью: есть именно ей при данный способ — ее преодолевать: конечность и смерть.

Вот в чем человек оказывается возвышеннее и глубже богов: ценой смерти и конечности — он любит! А любовь — жертва. И в этом он, человек, — не олимпийский бог-наслажденец-скотина, но как Христос: сам выбирает смерть — за Любовь: готовую платить...

И наш юноша попросился домой; дала ему женщина три яблока, чтобы съел, когда затоскует; а яблоки эти — Смерти, как окажется, а не с дерева Жизни. «Попрощался юноша с ней и пошел. Шел, шел, видит — скала, на которой сидел ворон. Посмотрел юноша: все ущелье засыпано пухом и ворон сам тут же весь высохший лежит. Потемнело в глазах у юноши, хотел он вернуться назад, но не пускает его уже земля, тянет вперед. (Раз уж выбрал свободно возврат под власть земли — подвержен стал вновь силе всемирного тяготения, перестал быть невесомым-блаженным олимпийцем.— Г.Г.) Пошел дальше, видит — в поле олень стоит, рога доросли до неба, а сам олень умирает».

«Модели» эти характерны для грузинского горного космоса: время измеряется рогами до неба и пухом до земли = по вертикали, заполнением пустот: пока заполнится бытие — исполняются сроки. (Космос Полноты и завершения в этом). Причем пух = это воздух, птичность, что присуще Небу; и вот пух — вниз, в ущелье-долину: это значит — Небо в Землю взойдет пока. А рога в небо = это Земля взойдет на Небо: Вавилонский столп, по-грузински. РОГИ ведь — ГОРЫ! (Переставьте буквы!). Да и два живых существа тут взяты основные для Грузии: олень — первоживотное Кавказа (варианты: тур, коза, лань), это мать-земля кормящая и рогами = горами в небо упирающаяся. Жизнь — вверх. А ворон — это Смерть вниз: чернь с неба. Олень = благо снизу, а ворон = зло с неба. Так что не выступает Небо в Грузии абсолютным обличком Блага, и потому возможен народный богобоец против Неба: Амиран-Прометей... Но о нем мы попозже промыслим...

Уточню: везде, конечно, ворон — символ смерти и с неба он. Но тут важно, что он именно в паре с оленем, кто есть «Да!» Земли в нашем существовании, а ворон есть как бы «Нет!» Неба — как великий отказ-наказ от Бога: отворот его лика, изгнание из рая; там, в библейском мифе, — херувим с мечом-лучом солнечным, а тут он во чернокрылье ворона нам облекается, луч этот и меч: Логос-сказ Смерти...

И возвратился юноша наш в родные места, «но не нашел ни родных, ни знакомых. Спрашивает людей о матери, но никто даже не слышал о ней... Бродит юноша один. (Вот — одиночество и личность когда появляются, а с ними — мука рефлексии и самосознания себя ничтожной частицей-пылинкой в мире. Паскалево мироощущение — Г.Г.). Заскучал он. (Обычное на Руси состояние, даже на правах болезни душевной. «Душа скорбит!» — исповедуется Борис Годунов. «Тоска, тоска!» — Евгений Онегин. «И скучно и грустно, и некому руку подать». Такого вынести грузин не может: состояния одинокой, как перст, личности. А ведь туда, на Кавказ, забросил Лермонтов одинокого и бессмертного Демона — как Эдэва, «но с русскою душой...» — Г.Г.). Пришел на то место, где стоял когда-то его дом, и нашел только развалины, что поросли порыжелым уже мхом. Вспом-

нил юноша свою мать, детство, товарищей (Дружба! — Г.Г.) и загрустил. Решил он съесть яблоко, съел его, и вмиг выросла у него длинная седая борода. Съел другое яблоко — подкосились у него колени, согнулась поясница и без сил упал он на землю. Лежит, не может двинуть ни рукой, ни ногой. Позвал он прохожего мальчика: «Подойди ко мне, мальчик, достань из моего кармана яблоко, подай мне». Достал мальчик яблоко, подал ему, надкусил он его и тут же умер. Похоронила его деревня всем миром»³². И это — как примирение его, мятежной личности переселенца-подвижника, — с местным статуарным космосом.

Чудная сказка, дивный текст — так бы и переписал ее всю! Не хочется торопиться уходить от нее.

Что же здесь? Тут — самоубийство! Грех великий, по христианству-то: своеолие, не упование на милость-прощение... Но тут не от грешности чувства, не от ужасания себе самоубиваются человек (как Свидригайлова или Ставрогина, например), но просто исполняет волю Космоса к самозавершенности. Потому так много самоубийств в грузинской истории и культуре, и они не осуждаются, напротив: в христианстве грузинском словно нет на этот акт запрета. И самоубиваются тут эффектно, артистически — как вон Паоло Яшвили (мне рассказывали) прямо в доме литераторов, над проходившим тогда, в 1937 году, очередным собранием, единодушным растерзанием...

На Руси же, во космосе принципиально не завершенного бытия, самоубийство = ересь и самоуправство, гордыня: ведь человек тут — открыт, и суть его — не при нем, так что он, не имея о себе полного ведения, не может и распоряжаться собой...

В этой сказке еще и любезный сердцу моей жены — Федоровский мотив.³³ Человек получил бессмертие: живет, как олимпиец, сам, но это его не устраивает: срабатывает реле тоски, а через него — та высокая истина, что мое, наше бессмертие без

³² Грузинские народные сказки. Тбилиси. С. 154.

³³ См. Светлана Семенова. «В усилии к будущему времени...» (Философия Андрея Платонова). — Литературная Грузия, 1979, № 11. Что мать Н.Ф. Федорова, философа воскрешения, — грузинка, — сказано в воспоминаниях Г.П. Георгиевского, ученика Федорова. Последующие исследования С. Семеновой выяснили, что его мать — Елизавета Иванова. — 6.VII.86.

воскрешения всех умерших — невыносимо, ибо это эгоизм и грех человеку Любви. И вот «Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам», по слову Пушкина (правда, у грузин — к материнским: это на Руси «отечество», и отец важнее), пересиливает на ценностных весах даже и личное бессмертие.

И вот так видны мне возможные слагаемые Федорова, его учения о воскрешении отцов. Отцы — это из России идея и слово. Но там странно звучит самочинное воскрешение: как некое завершение своевольное — при том, что Космос здесь открытого Бытия, и нет чувства ни начал, ни концов, ни сводов каких и итогов... В грузинской же Психее, в ее настрое,— по этой нашей сказке даже видно, что альтернатива самоубийству лично бессмертного, совершающему ради встречи с любимыми,— это всеобщее воскрешение умерших, присоединение их к бессмертию ныне живущих. Тогда терпимо, выносимо станет и мое бессмертие, не будет оно безнравственным: на костях и трупах отцов, как на перегне.

...Тут о национальных болезнях промелькнуло соображение. Значит, у русских — болезнь души: тоска, тихое помешательство, алкоголизм, чахотка — в Петербурге: тоже она душу среди сырости огнем сжигает, как и водка тоску заливает: огневода — воду черную, черную холеру меланхолии.

В тропиках Аравии и Персии — помешательство: миджнуранизм, страстное безумие, «бхактия» в Индии.

В Грузии — болезни желудка и сердца; душа — здорова. Тут пьют — а не пьяницы.

...Еще — о зависти: анекдот припомнился, что Георгий Очиаури рассказал: «Армянское радио спрашивает: почему не запускают в космос армянина? Отвечаем: если запустить в космос армянина, все армяне умрут от разрыва сердца в радости, а все грузины — от зависти. Что ж, Кавказ — азербайджанцам оставим?». Но тут проекция армянам присущего чувства зависти — на грузин: о них по себе судят.

...Поют ли женщины в Грузии? Есть ли женские хоры? Иль они без слов и песен мудры тайно — как девы в сказках: ум в мужа влагают? А он — лишь их язык и видимость? И слышимость?..

7 ч. веч. Хоть и нет здоровья в теле, в космосе плотяном, да и в наружном хмаръ, уныние,— зато в Психее благодать: любовь меж нас с Маммушкой-домушкой свирепствует! Мы относимся друг ко дружке резко — положительно!

И это, наверное, закон общий: недаром и в христианстве требуется умерщвлять плоть — тогда в душе умиление. Да и по себе это знаю: когда я был гиперздоров, как зимою этой,— каким я аспидом был к бедной жене и к Насте! А теперь сам вот квельй — и жалеем друг дружку, и на душе мед и лад. А тогда — лед и хлад был и, значит, в целом толку не было от моего здоровья космического.

...И я жалею: вот ее в Голицыно — от детей отдохнуть да поработать посылаю.

— Как же мне рубить сук,— говорю ей, балуясь,— или, точнее, суку, на которой сижу я, точнее,— и лежу?

Кобель — кобылы я.

Давно вот не озоровал словами: засупонил себяшибко уж объективное промышлять — с этой Грузией!..

Что-то к американству у меня отвращение: лица их рекламно-улыбчатые на журналах, что Боб (американский студент, к нам тогда в гости ходивший.— 6.VII.86) принес; краски эти вызывающие и улыбки дежурные — веселье обязательное!..

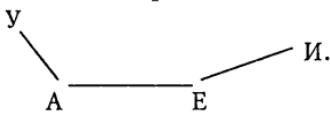
Сколь душевнее наши лица на улицах — серые, геморроидальные, унылые, кислые... Но — искренние, не притворные, родные, метафизические...

Иду по дорожке асфальтовой, на выбоины гляжу и думаю: владелец машины должен, вперясь в *низ*, в ямы, полжизни проводить: кошмар покрытия дорог в глазах и снится, наверное... А я, слава Богу, могу вверх смотреть, по сторонам глязеть.

«Руставели»

8.IV.80. Заклинаю себя звуками: «Пшавела!» (как «чавелла!» цыганское), чтоб возвратить ум в Грузию — из шастаний московско-жителейких. «Руставели!» — вслушался: а тут ведь основной абрис грузинского космоса в наборе гласных имени этого явлен:

У—А—Е—И³⁴. Из ущелья-теснины глубокой «У» внезапный прорыв водопадом и каскадом, обвал в ослепительную вертикаль «А» — как из гор вдруг с перевала вид на простор неба и земли, на долину новую: «А» — звук высокого и открытого пространства. (Недаром «аканье» в русско-московском говоре...). И затем уже голос и Логос плавно осваивает простор «А» более мирными и милыми, долинными звуками: «Е» — ширь долины являет в переводе на звук и слух. А «И» — уже и даль уводящая: к морю ли, к странам иным... — но и подъем некий плавный вверх; по сравнению с ровной ширью «Е», «И» выше: подъем долины снова вверх, вползает по склону — еще не на горы, но уже «на холмы Грузии». Даже графически это имя изобразить можно:



Да и согласные тут симптоматично и символично располагаются: «Р» — звук «я», личности, мужской, звук деятеля в космосе, звук Бога-Творца. «С» и «Т» — уже звуки Природы: «С» — это свист сквозь теснины и препоны, стихию ВОЗ-ДУХа и ветер представляет; а «Т» — глухой смычный переднего ряда = звук сухой ЗЕМЛИ, теснины, гор, камня. И вот уже у нас три из четырех стихий налицо: «Р» = стихия ОГНЯ, язык пламени, дрожит-трепещет во рту: «бьется в тесной печурке огонь...»; «С» = ВОЗ-ДУХ; «Т» = ЗЕМЛЯ. И словно в продолжение этому ряду следующим согласным выступает звонкий «В», фрикативный и тоже слегка свистящий; но воздух тут явно увлажняется, оседает, переходит в туман как бы: тут путь к стихии ВОДЫ явно намечен. И вот уж она в полном своем адеquate выступает в «Л» = звуке сонорном, мокром, что влажно трепещет на кончике языка и представляет женское начало в мире звуков и среди сонор-

³⁴ Здесь я пользуюсь методом анализа звукосмыслов языка, разработанным в моем исследовании 1966 года, которое удалось частично опубликовать под названием «Фонетика стихий. (Платонизм в языкоизнании)» в материалах конференции «Балканы в контексте Средиземноморья», проходившейся в Институте славяноведения и балканистики Академии наук СССР.— М., Наука, 1986. С. 182–186. А целиком — в моей книге «Национальные образы мира». М., 1988, глава «Язык как голос национальной природы — и звукопись в слове».— 17.XII.92.

ных, в частности, тогда как «Р» знаменует тут начало мужское. Так что имя «РУСТАВЕЛИ», начавшись с мужского сонорного «Р», приходит-склоняется рыцарски перед женским «Л» — ему передает бразды существования... Да, воистину универсально слово-имя это: весь космос Грузии как универсум представляет божественное Слово это, что «было в начале у Бога» — творца Грузии: как ей Глагол-Логос-прообраз.

Тот же силуэт Космоса послышался мне в мелодии романса Римского-Корсакова на стихи Пушкина:

На хол-мах Гру-зи-и ле-жит но-чна-я мгла.

Мелодия начинается с «вершины-источника» и ниспадает каскадом (= от «У» — к «А», если по схеме имени «Руставели»), а затем плавно расширяется на этом раскрытом уровне и слегка восходит (от «Е» — к «И» как бы).

Кстати: «И» — звук того же уровня, что и «У», так что космос тут симметрии и завершенности, исполненности, присебейности: весь динамизм и драматизм поглощен и освоен внутри себя, не исходит во *вне*, — как это я уже по грузинским танцам почувствовал и по истории Грузии. Это, так сказать, «щадящий» драматизм и динамизм: ибо свое же есть — и нельзя до конца: надо и на «развод» оставить, подобно тому, как и войны междуусобные в Грузии шли — яростные, но не на истребление, не на экстерминацию.

Горная социология

Некая ВОЗОБРАЗОВАННОСТЬ, обратная связь как принцип Грузии (в отличие от России) послышалась мне в том, что я прочитал вчера у Акакия Церетели о его детстве: он, княжич, не просто кормилице крестьянской на грудь положен был, но и в семью ее отдан — до 6 лет рости там и воспитываться. И вот что он сам по этому поводу рассуждает-соображает: «Обычай отдавать детей на воспитание в семью крестьянки-кормилицы издавна повелся в Грузии: царские дети и дети владетельных князей росли и воспитывались в семьях эриставов, эриставы и князья отдавали своих детей дворянам, дворяне — крестьянам (= такой каскад тут — как потока жизни с гор в долину.— Г.Г.),

впрочем, даже княжеские дети чаще всего росли в крестьянских семьях... Связи, возникавшие между питомцем и семьей его кормилицы, объединяли, сближали разные сословия... Даже кровное родство не всегда связывало людей так крепко, как связывали «молочные» узы. (Вот тоже путь к тому, чтобы принцип: «друг» стал выше, чем «род», «кровь» и «любовь» в Грузии — Г.Г.). Не только молочные братья и сестры, и ближайшая родня и даже дальние родственники и свойственники кормилицы готовы были в случае надобности сложить головы за своего питомца, последний в свою очередь являлся их неизменным защитником»³⁵.

Молоко — не семя и не кровь. Связь молоком — более легкая, небесная, белая, не страстная, чем связь генитальной белизной семени и, тем более, темной красной кровью. Хотя они, по Логосу Природы, образуют более мощные низовые узы между существами, но вот в Грузии они превосходят узами уровня более воздушного: связями по небу и духу, по Психо-Логосу, а не по Психо-Космосу тела и натуры.

Если семя — семью образует, кровь — род, то молоко — народ сплачивает и в смысл приводит: концентрическое тут расширение. Недаром молочному братству поступает на службу и родство кровное как более узкое: родственники кормилицы и молочного брата причитаются ко мне, побратиму: молоком круги крови склеиваются, а кровью — круги семени. Так и образуется мощно склеенное народно-национальное Целое. «Вот почему у нас,— продолжает Церетели,— в отношениях между высшими и низшими сословиями вплоть до последнего времени сохранились известная простота и мягкость».

Тут мне видится именно закон-Логос обратной связи: гора (князь) добровольно идет вниз на поклон в долину: склоняется на смирение и отождествление, поравнение с ней, с народом простым — тем, что самое дорогое: наследника доверяет долине-народу, женщине-кормилице = матери-земле: на наполнение скаками и смыслами вещими. Потом вздымается вверх княжич и властителем становится, но он уже никогда не будет жесток к

³⁵ Грузинская проза. Т. II. М., ГИХЛ, 1955. С. 176.

народу, ибо там его молочные братья и сестры, побратимы, другие, а узы эти сильнее и родственных в Грузии. И плюс к тому: там, внизу, в долине — самые сладкие воспоминания золотого детства пребывают, вся Психея князя и царя ими пропитана, вся душевность его и сердечность — да как же ему после этого против крестьян своих идти, мучить их? Ведь до того, как он узнал, что они ему — «крестьяне» = работники и слуги, что такова их внешняя функция в социуме,— он знал их же как братьев и товарищей игр, равных себе и любимых; и эта память залегает глубже и основательнее, как «память» именно «сердца», что «сильней рассудка памяти печальной», есть сокровенное ведение в человеке и субстанцию его образует, есть именно вкорененное тождество бытия и мышления, что опять к идеи о гармонии существования в Грузии приводит нас.

В России же и на Западе все усилия социума и истории именно к ужесточению границ-барьеров неперходимых между сословиями направлены были; чтобы не было перепускных клапанов вниз, обратной связи; чтобы не слышали вверху жизни и стонов и слов-Логоса низового, народа, а чтобы лишь в своем кругу, в «свете» и салоне, общались бы и умнели аристократы, а чиновники — среди своих, службистов; интеллигенты же в свою чопорность людей «образованных» замыкались в крепь — не хуже крепостного права, добровольного, правда, как казалось, руководясь снобизмом и тягой к обособлению и тем — приданию себе дополнительного веса в социуме, что, именно разделяя, устроен властвовать...

В Грузии же, в ее «феодализме», видим как раз спасительное для народа, который уж самими естественными условиями хребтов и долин партикуляризован,— противовесное Космосу движение на склеивание сословий в общей жизни, в Психее и Логосе общем: в любви и обычаях, в преданиях, в языке. (Русские же аристократы, например, даже добровольно чужеземное иго французского языка приняли для разговоров в свете — лишь бы от народа своего отсоединиться!)

Да, в России, при естественной тяге ее космоса равнины к поравнению, нивелировке, к смесительному упрощению,— для творчества культуры, цивилизации и истории как раз нужно

было искусственным усилием воздвигать барьеры и каскады, горы социально-духовные, чтоб разность потенциалов образовалась и энергия и перепад и движение творческое, надо было искусственно динамизм вызвать — страстью, яростей, что утепляет космос сыроземный, животворит его, иначе энтропийный. И роль государства и его аппарата была именно такова: устанавливать везде клапана, заставы богатырские — и в пространстве, и во времени, и в иерархии социально-культурной... Накапливалось это, нарастила многоэтажность державы, гнет структуры — и вот высвобождающий разлив половодья революции разровнял почву, на которой новый мир новым зданием и структурой стал воздвигаться, одолевая тягу местного космоса к аморфности. У физика-атомщика Ферми есть теория об уровнях энергетических состояний. Так их истории на Руси пришлось искусственно воздвигать, чтоб цивилизация тут затянулась — на равнине-то, где «ровнем-гладнем» страна протянулась...

В Грузии же, где сам космос гор перегородок настроил от природы, еще и обществу этим заниматься? — совсем противоянтropосно было бы это тут задание. Вот почему забота национального Космо-Психо-Логоса — об удержании первичного «патриархального» демократизма между разных сословий по происхождению людьми и между разной образованности (научения внешнего) индивидами: все встречаются и сливаются друг с другом в застолье и соблюдении народных обычаев и в возврате в село и края-горы родные: в Имеретию, Хевсуретию, Картли и т. д. — важно очень, каковым по хребту-долине (как по роду-крови) чувствует себя и памятует грузин.

Однако важный закон всеобщей истории мы тут нашупали: вектор Социума, его строительства и склада, — направлен дополнительно к строю и складу Природы местной, к складу Космоса. А Психея уж и Логос образуются в поле этом: меж Космосом и Социумом, как между Пространством и Временем. Ибо Космос живет вне времени, в Пространстве, а Социум живет в Истории = в обители Времени.

Итак, чего не дано стране от природы, народ призван за историю трудом создать-восполнить Культурою.

Отступление о методе

И вот тут о методе моего исследования национальных образов мира отступление учиним. Сейчас только я пришел к важнейшему различию, которое бы положить надо в основу всех этих исследований-описаний, и оно бы многие противоречия в моих утверждениях разрешить могло. А я прихожу к нему — на 17-м году работы над этой проблемой, в конце уж, почитай, ее. Да и пришел — не через анализ и дедукцию понятий и категорий своих строительных и рабочих, а случайно: наткнулся при частном описании одной загвоздки в грузинском космосе, что образует его особенность в сравнении с русским... Стыд какой и позор — для мыслителя!..

Для мыслителя — да. А вот для умозрителя — нет. Тут опять разность меж Кантом и Платоном просвечивает как разными принципами и способами понимания мира. Аналитик («Кант» некий условный) через логическое исследование понятий, роясь в них буром закона противоречия, априорно все возможные между своими понятиями отношения и перипетии выясняет-налаживает — и, собственно, дальше уж и не двигается, ибо вся работа и интенсивность ума на это пошла, как Кант так и не вышел к строительству здания «Метафизики», а все на уровне «Прологемен», «Критик», в преддвериях так и остался, хотя туда он своим методом перенес и передумал заранее все возможное содержание: что может быть промыслено-исследовано в будущих, когда примутся их строить,— метафизиках: нравов (это уж попробовал сделать), природы и проч...

А другой путь — наполеонов-платонов: *on s'engage et puis on voit* = «сначала надо ввязаться в дело, а там видно будет» — вот именно: по ходу дела непредполагаемые горизонты и ситуации уму открываются и разные видения возникнут. Надо только, сломя голову, не боясь, в духовном Эросе любознания и угадывания, ринуться навстречу жизни и бытию, в их трагедии и комедии,— и там, в схватках геракловых с неожидаемыми чудищами, и умнеть будешь и прозревать и видения добывать — в том числе и высшего света — идей и первопонятий: они в пути и в итоге станут прозреваться-открываться, а не в *начале*, как бы это хо-

телось философу (особенно кенигсбергскому): не сходя с места, все понять, без риска опытов-экспериментов погубительных жизни. А Платон — из тех философов, что не манкировал жизнью и ее трагическими опытами (особенно его философский герой — Сократ): ввязывался — и в аферу с Дионисием (установить идеальную республику в Сицилии) и проч.

Так вот: не «возмущенный» = критический «разум», как у Канта, но «восхищенный разум», как у Платона, любящий, разум-любовь, Логос-Эрос — такой мне присущ, и им я работаю. И тут уж дети (= уразумения разные и понятия-понимания, категории) рождаются не сразу все в *начале*, а по ходу внимания и опытов с предметностью разной, в путешествиях в проблемы и страны разные, не априори, а апостериори.

Важно сохранять свободу — и к предпосылкам своим, к «началам»-принципам: быть не принципиальным, а целесообразным, телеологическим, скорее: Истину я в конце увижу, а не в *начале* она мне дастся — с таким верованием трудиться умом. Да и то: не я ее увижу сам, а прочитавший всю сумму писаний моих, в итоге их движения. Я ж в каждый данный момент тружусь-строю по частям и обозрения всего здания со стороны не имею (хотя и ношу его образ и память о промысленном внутри: как метод и вектор дальнейшей стройки).

Предзнание, дедуктивно-аналитическое: когда логикой все выводится,— знание безлюбовное, брезгливое, самолюбивое, гордынное, мужское, германское; для него не имеют смысла и толка все существа и образы, натворенные и нарожденные: из них я смысла и подсказа себе на ум не извлеку, но все — во мне изначала. Тут, конечно,— величайшее усилие внимания-внимания в себя и в то, что во мне содержится: бездна, универсум, микрокосм — ВСЁ Бытия...

Послезнание, после акта Любви-соития со встреченным предметом и образом, пытаясь понять его, из него себе урок и смысл всеобщий извлечь,— ценит не себя и свой ум и его брезгливо-брюзгливую непротиворечивость, верность себе и раз принятым предпосылкам, но ожидает от каждой вещи — наущения, откровения божественного смысла, ибо недаром она Бытием сотворена: значит, светится его сиянием; только я должен настро-

иться на нее медиуматически максимально, проникнуться, и тогда через нее универсальные мне идеи и категории раскроются. Тут надо быть «всегда готовым» — к тому, что рухнет все твоё прежнее построение, ибо новая бездна смыслов тебе на выходе в данный этаж Бытия (или при провале туда) раскроется... Ну и черт с нею, с прежней моей стройностью (моей системы)! Именно: черт с ней, а Бог — со мной, вперед восхищенно и в упование и чаяния Смысла идущим, как «очарованный странник» по миру вещей и идей и космосов национальных, в том числе. И как не знаешь часа, когда придет..., так что надо бодрствовать умом этическим и сердцем,— так и не ведаешь мига и объекта, через который тебе случится к уразумению радикальному придти — через вникание-умозрение-медитацию его. И весь смысл и радость уму — в этом: в очарованиях прозрений неожиданных и чтобы в красоте и истине взять вещь явимую (и ситуацию) и ореол ее и нимб священный через сказ о ней восхищенным разумом воссоздать (именно: воссоздать ее «образ Божий», «идею» ее, с какой она была первично затеяна-задумана-создана Богом — как узлом и проекцией всесмыслов и всесил...).

Итак, для каждого Космо-Психо-Логоса мы ищем некий Инвариант. Сегодня я его нашупываю для Грузии в разных планах бытия и в разных вещественных обличиях: в слове архетипическом тут «Руставели», и складе-силуэте Космоса меж гор и долин; в типе мелодики («вершина-источник») настроенной в лад с ними музыки, и в бытово-историческом обычай: детей аристократов растить в семьях крестьян — везде аналогичную «схему» улавливаю...

Между прочим, как князь тут народен, так и крестьянин от этого в Грузии аристократичен — все это отмечают: нет униженности, забитости и холопства в грузине, из которого бы он сословия «низкого» ни происходил, но всем присущее чувство чести, преданности и вассальной, и суверенной. Суверенен человек в распоряжении собой, своей жизнью — вплоть до самоубийства, так что и перед Богом он суверенен тут!

На это, с другой стороны, и сетуют грузинские интеллигенты. В «Человек ли он?» Ильи Чавчавадзе персонаж — князь Луарсаб, а отличишь ли его не то, что от крестьянина его, а и от

свиньи?.. Вот и обратная сторона демократизма и единства с Природой, гармонии с Жизнью...

Но снова думаю про разные формы мышления: *диалектика* и *умозрение*. И такую тут закономерность прозреваю: логистический анализ может упражняем быть результативно лишь в больших социумах, с разветвленной иерархией и структурой, что, отражаясь в аппарате логики, и на природу и на жизнь шествовать может (Мальбрук логики — Гегель — в поход собрался...) с методом, общим меж логикой и властью: разделай и властвуй! Такое мы имеем в Греции времен Александра Македонского, где Аристотель = аналог его империи; и в Пруссии рубежа XVIII–XIX вв., где немецкая классическая философия, что методом критики-аналитики-диалектики преимущественно построена.

А вот в более малых или неустоявшихся социальных организациях не эшелонированная стратегия логики, а маневренная тактика умозрения работящего: подлаживаясь во вникании и внимании ко встреченной ситуации и вещи, оно с ходу интуитивно ее истиной и сутью проникается и сообразно с нею действует и мыслит, в каждой вещи видя больше, чем она есть, но и подсказ на общий смысл, т. е. как идею и символ, как притчу и урок, — всякое бытие видит и мыслит-толкует. Таково мышление эллинов-досократиков, и Платона даже. Таково сердечное умозрение Достоевского — в неустоявшемся, в пути-дороге все, космосе России. Так мыслится и в Болгарии, и в Грузии — в народах горных, с малыми социумами и их традициями. Тут мысль на свой страх и риск отправляется, как «на гурбет» болгарин = на промысел — именно! Самоопорна и лукава она и гибка: хочешь жить — умей вертеться, в том числе, и в мышлении-познании...

Ну да: в малой стране Логос не может чувствовать себя так самоуверенно-самоопорно, чтоб резать Истину, опираясь только на себя, как это в Социумах-Государствах крупных, а должен более доверять тому, что встретит, что Бытие на подсказ подаст — во встреченных вещах Природы иль во человеке: Логос тут более Космо- и антропо-угодлив, их любит и подлаживается, платоник... И в Грузии наиболее распространенное философское течение — неоплатонизм, который методом умозрения-видения работает, обрабатывая затем эти «идеи» аналитически. Но первоакт тут все же — сердечно-умное видение.

Итак, формулирую: в России, где Космос — равнина, там Социум — горы: таким должен быть, в противовес Природе. А в Грузии, где космос — горы, социум должен быть прост, «равнинен», слажен — и так слажен...

— А где же «О»? — задумался я, прогуливаясь в перерыве и додумывая про имя «Руставели»... И в самом деле, мало этого гласного в грузинском языке: значит, идея и субстанция, им выражаемая, вторична здесь, не из первых чистых (как «А», «И», «У», «Е») координат национального континуума, что в любом языке гласные означают.

«О» — звук Центра, средоточия, сердца, индивида: срединное царство антропоса означает. Много «о» в греческом языке, где индивид самоопорен и где МЕРА и «средний термин» (силлогизма), и медиация-опосредование во всем. «О» — это человек как мера всех вещей (Протагоров принцип), звук индивидуализма. Недаром и в Италии его много. Недаром в индоевропейских языках «ос» — это окончание Номинатива, имени, одиночного атома в языке.

Но и вологодчина российская «о»-кает, в отличие от московского «а»-канья. Недаром тут столица Государства-царства: «а» — звук царственный, пространственно-вертикальный, а «о» — ему противовес, природно-утробный, на-родный. И не случайно в том месте, где естественно на Руси было столице царства-государства образоваться, в Москве, «а» начало съедать «о», как социум — личность и индивида, его сердечность, душевность и самость начал тут крушить: все безударные «о», что без подачи силы природы и крови остались, — всех их «а» съело, как опричнина — земщину. Все — ап-па-рат.

Домашняя интермедия

9.IV.80.7 ч. утра.— Но как работает метод фонетики стихии! Сколько смыслов при его помощи извлекается! А смысл «О» выявляя, как же это я забыл про слово «Бог», что и в прочих языках односложно на «о» строится: «Год», «Готт», «Дью», «Тхеос»! Именно как сердце Бытия представляется, знаменует это слово некую центральность и сущеннуюсть Бытия в мощную

форму-атом, в точку, в Единое. И, как правило, одним слогом выражено это, как и «Ом» индийское.

10.30. Нет, не удалось мне до отъезда жены поработать: в 8.30 снарядились, и повез ее на Белорусский вокзал — в Малеевку в писательский дом творчества: от детей и нас всех отдохнуть в уединении, поработать свое, сердечко подкрепить и психеюшку хрупкую-чуткую, отчего она горит-полыхает (ужасно переживая мелочи всякие душевных несогласий и давлений — от детей, от меня, от матери моей...) — не от материальных вещей и бедности нашей в этом плане: на это — закалена... Да и как бы мог я сидеть-умозреть, зная, что она одна с чемоданами, задыхаясь сердцем, тащится по улицам и переходам метро, сгорая в тревоге: успеет или нет?.. А так я пожертвовал утренним сеансом умозрения: все равно оно пропало бы — от угрывзений,— и принял на себя весь груз физический и тревоги, и ответственность за опоздание или нет; и от ее сердечка отлегло, она обмякла, прижалась — и только взгляды нежные, благодарные посылает. И я к ней.

— Папина вся! Никто я — в обществе: никакой позиции не занимаю, как ушла из института. Вон и тут в путевке пишут: кто я? «Жена Гачева». Ты — все мое оправдание. Трепещу...

— Зато любовь безграничную обрела жертвой этой: раньше цапались мы с тобой, а как предалась — и я предался и всю ответственность на себя взял за жену, за семью. Вот и сейчас — кто сам тебя посылает в дом творчества? И ты чувствуешь себя там на самой главной работе: сердце семьи нашей укреплять тебе поручено. Ибо что семья без Маммушки-домушки, женушки? Нет ее. Сердце ты ее...

— Да, а все равно душонка, как овечий хвостик, трепещет в страхе у женщины, зарплату не получающей, без социального положения...

Настя в последние дни, видя, как мы все с мамой обнимаемся, отметила в нас возрастание любви.

— Третья любовь нас друг ко другу, — Светлане говорю.

— Сотая, папочка! — она отвечает.

— А это потому, — Насте говорю, — что мы с тобой в поездке в Грузию наладились, понимать друг друга стали; вот и с мамой

теперь не ссоримся: ведь ссоры-то у нас — из-за детей, из-за тебя с Лариской. Ты уж отпала как предмет ссор, теперь Лариска одна...

(Хотя обидно дитяти отпасть как предмет родительских ссор: они поднимают его самочувствие, так что и она нам, Настя, еще задаст! Но не высказал тогда я этого опасения...)

И вчера днем Насте я, ликуя:

— Есть ли на свете более счастливый человек, чем я?! Прости, Судьба, не слушай... Слава тебе, Господи! Вот утром сел — и опьянял: в мыслях вольных. Потом — с Маммушкой и тобой встреча за обедом. Время — свое все: делаю — что хочу, в семье — Любимость! (Как в церкви диакон перед чтением Евангелия возглашает: «Премудрость!» — так и я время от времени у нас вопию: «Любимость!»).

Вчера Маммушке под конец сеанса утреннего показал последние полстранички — про «о» и говорю:

— Вот диво: сажусь утром — ни мысли в голове, ни сил даже, здоровья нет... И только разверз уста-слова глаголати, как вдруг откуда-то подалось воспомоществование на мысль — и повело все выше и лучше и вольнее!.. И что же, чем я воистину по утрам в умозрении занимаюсь? Стяжанием Святаго Духа — и Он любовнику Своему и подает Себя, отдается бхакту...

— Но текст, конечно, возникает безумный в веке сем,— Светлана.— Вот и П., прочитав статьи мои в «Севере» и «Литературной Грузии» про Федорова, поморщился: «Но стиль какой! Вы сами у себя отбиваете читателя!» Но у меня что по сравнению с тобой!.. А интересно, зачем вся массовая убогая литература пишется?

— Антихристова работа. Засрать-загадить Слово: чтоб посередь говна потонули и чистые слова, и мысли.

— Но все равно сгинет вся эта макулатура — как наваждение бесовско-историческое.

Да, изольюсь в чувствиях, радостно взятыенных жизненкою нашей славной,— и поспокойнее в отвлеченнное воспарю. Но пока еще пэан восхищенный допою — Бытию, что нам такое давало, да и себе: чую себя праведным служителем — стараюсь, по крайней мере: вон в семье все устрою, на себя ответствен-

ность беру... Правда, другим, ближним никому ничего не делаю: сух и далек от них... Но когда это при И.Б. как-то высказал, она: «Почему? Ты много делаешь...» — имея в виду, наверно, мою мысль и путь особый, что я прокладываю в жизни — другим на пример свободы и творчества: что можно — все!...

Да и эти вот писания национальных образов мира! Никакой от них не имею корысти, кроме радости любознания и понимания. А ведь тоже служение это — народам, каждому: помочь ему в самопонимании. Вот: не человек отдельный, а народ и народы — мои ближние, кому служу. И будет это каждому народу некое эзотерическое ведание своего смысла и предназначения.

Позвонил вчера знакомым грузинам спросить: как по-грузински «Бог»? Подошел муж, но отвечать на вопрос подозгал жену... И вот уже характерное для грузинства: рассудочность жены, в отличие от более фантастически живущего мужчины. Так это и в «Витязе...». Да и в «Пережитом» Акакия Церетели разность отца и матери в семье как раз по этой линии идет: она — правильна, а он — чудак... Да и то, что чемпионки мира по шахматам — грузинки, а среди мужчин нет ни одного первоклассного,— за эту способность трезвого рассудка в женщинах Грузии говорит. Они — «кантианки», а мужчины — «платоники» тут. Женщины — этики, а мужчины — эстетики здесь. У мужчин — умозрение-воображение, в женщинах — логика-аналитика. Ну и воля: решения принимают женщины (и в «Витязе...», и в сказках, и в бытовых ситуациях семей), а мужчины их исполняют.

Образ С.Л., знакомого грузина, возбудил рой соображений. Он — сын грузина и еврейки, как я — болгарина и еврейки: коминстерновская смесь!.. Слетелись Русь клевать-переделывать, идеалом высоким, конечно, одержимые... Но и простая отмстительность была тут — у инородцев особенно: в частности, у грузин — к России царской. Недаром много политиков как раз в то время родилось в Грузии всяческого толка: Церетели, Чхеидзе, Джугашвили, Орджоникидзе... С периферий на центр Руси слетелись — и латыши еще. Инородцы преобладали у власти над русскими вначале...

Эх! Не могу преодолеть соблазна — писать самоубийственный текст! Была — не была! Эй, ух-нем! (Кстати, вы-у-слышал я

ушами своими: что в звучности возгласа этого — «х..» наоборот = «йух»: «Э-йух-нем!» — еще и поэтому так по сердцу пришелся этот припев русскому слуху. Здесь, как говорят музыковеды, тема проходит в обращении, ракоходно; так что «йух» — это «х..» в обращении: он проходит так в контрапункте, а не как-нибудь!..).

Славно поюродствовал! Разгуляться на пажитях словесных белолистных, привольных — как по степи!

Как Стенька Разин я себя сейчас чувствую! Пей-гуляй, одна-ва живем! Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец!.. А то уж так себя стянул-засупонил: только отвлеченное про-мышлять в последнее время, на про грузинство ум-слова тра-тить,— что аж душно-сперто мне жить-дышать стало. «Куда ты, удаль прежняя, девалась...». И сейчас вот еще сказану-резану такое, что уж совсем мне отступу не будет: посягну на имена людей нынешних... Трепещу!

Так вот: как евреи и инородцы в *начале* революции субстан-цию России уничтожали, так и ныне она, возрождаясь, выпрям-ляется — через расщепление инородцев. Вон Кожинов статью написал, в которой поссорил абхазцев с грузинами. В Тбилиси очень возмущены (Отар Нодиа говорил об этом), а сам Вадим ба-хвалился провокаторской игрой этой, что поджег: «Абхазия хочет к России присоединиться, отколовшись от Грузии...». (А ведь прозорливо глядел.— 23.XII.92).

Все это политиканство тошно, конечно; но русские, увы! — иначе не могут. Даже Достоевский не мог чистой метафизике предаваться, а вышел на славословие своему «народу-богонос-цу!» — за счет умаления других, малых: величие идеала им навя-зать Христова — хоть инквизиторскою силою... (не Достоев-ский, а его герой.— 2.I.02). Но и эти, грузины у власти в России, лукавую изворотливость и сатанинство проявили, как Великий Моурави, Георгий Саакадзе, при шахе Аббасе: цинизм, изменения, кинжалы — совсем не рыцарство — то, что осуществляет гру-зин в самой Грузии.

Да, это важнейшее различие: грузин и его поведение и ло-гос — в самой Грузии и вне ее, как Сталин — в политике, Мамар-дашвили — в философии. Становятся они титанические свобод-

ные личности и мыслители, не ангажированные, не связанные субстанцией и моралью. Таковы и мамелюки были...

...И все же, хоть и напанствовал-напанствовал я на этих странничках писания сегодняшнего,— все это ниже и хуже, нежели чистое умозрение, что вчера во мне текло... Облегчив душу, теперь к нему возвернусь-воспарю. Но душу, ее смуту все ж облегчить-рассосать нужно было...

Тут как раз та разность между ДУШОЙ и РАЗУМОМ, что грузинский неоплатоник XI века Иоанэ Петрици точно выразил: «дианойя» = размышление души — сложно и шаг за шагом, по частям, среди множественности шествует, постигает, барахтаясь, как вон я среди наплывающих впечатлений. А «ноэма» = постижение разумом вершится просто и сразу все и чисто: так солнце, выйдя из-за гор, лучами мгновенно и сразу все озаряет... И сейчас вот начну восходить из душевного размышления-переживания — к отвлеченному видению, умозрению.

Бог и царь. Князь и крестьянин

И начну, где кончил вчера: с «О», в его звукосмысле вникая. Итак, «Бог» — в индоевропейских языках вокруг этого гласного его имени строится. А «царь» — и это характерно было для звучности русского космо-психо-логоса, — через «а» и «р» инструментован: «а» — вертикаль, звук-гора, папа и аппарат, царь-БАТЮШКА; а «р» — звук -ургии, деятеля, силы, власти, истории, труда, гордыни, мужеский... В сравнении с этим показательно, что «бог» — «волог»: влажен = приближен к стихии ВОДЫ — Волги, к Матери-сырой земле, к Вологде, к люду. «Бох» — исстаивает звучность в *далъ*, выдохом, как *воз-дух* и *светер*: мягко, кротко — не то, что «рь», что дрожит (как струна волевая и страх) в слове «царь». В мягкости этого «р» — «рь» звучало и юродство царское, грозное: «а, может, я тебя и помилую!..» И благодать-то себе, не только закон, узурпировал царь тут. Вон и Петр Первый (тоже весь на «р» — так инструментировано его имя!): погнал монахов с лопатами окопы под Новгородом рыть, а грех весь списал с них: на себя беру! — случайно мне из Алексея Толстого сегодня с утра странничка попалась про это.

Да, до Бога — высоко, до царя — далеко на Руси... Так это — словам. Но по чувству, как мне кажется, тут иное соотношение: место свято тут не Высь (Небо здесь низко...), а Даль: там и Бог, туда и народ, и люд тянет тут — в странничество. А место царя — здесь и высь: стол-престол в столице. Так что обратно перефразировать надо: «до Бога далеко, до царя высоко». Так что русский Бог — не в небе, а в *дали*, в пути-дороге, по горизонтали рас простерся, тогда как Социум тут, царство-государство выстраивается в *высь*: градится Град (Петроград) и аппарат — в виде горы: табель о рангах многостепенная, Вавилон гордыни и рабства.

Но служба на Руси — свята, а раболепие жертвенно даже. Космосом, расползающимся глиной и гнилью, болотным космосом Матери-сырой земли именно изыскиуется крепь и сушь: крепить состояния и сословия, границы-рубежи между нами и чужими странами: как уровни энергетические, как каскады электростанций психейных; учредив в душах россиян эти уровни и ориентиры, с них урожай энергий и творчества собирать история стала, как щетки — с ротора = «колеса истории».

Так что если грузины гордятся у себя слабостью крепостного права (см. у Церетели в «Пережитом»), то в космосе гор-тврдей и крепей естественных дополнительное крепление психей вело бы к омертвению, окаменению полному; так что наоборот: души тут надо разжигать — вином и весельем, и простодушием в отношениях между сословиями воодушевлять, вдохновлять на свободные акты и движения.

«Крепостная зависимость,— пишет А. Церетели,— у нас, в отличие от других стран, была условной, ограниченной. Крепостные знали, каковы их повинности, господа — что они могут требовать от своих крепостных, и обе стороны нерушимо соблюдали свои обязательства (не ради них, а, поскольку критерий здесь — честь и самоуважение, то ради себя: чтобы уважать себя было можно и барину, и крестьянину.— Г.Г.). Отдельные крестьянские семьи, а то и крестьяне разных деревень облагались по-разному. (Как космос горячит неистощимое разнообразие ре льефов и условий, так и в хозяйствовании и в дани на его плоды — разнотребовательность: социум тут прилагается к космосу, к природе: свою перед ними, очевидно величественными, вторич-

ность признает. А на Руси природа ничего в себе величественного не предлагает очам, так что и начинает тут город и престол, на природу плюя, самовеличателься: не считаться с местными условиями и различиями и всех под одну гребенку стричь, и одну дань — кукурузой хотя бы — с северян и южан собирать.— Г.Г.). Одни платили меньше, другие больше; иные, выплатив полностью свой оброк, получали вольную. Так, например, оброк одного из наших крестьян равнялся половине яйца: крестьянин этот приходил во дворец в начале масленой, испекал на кухне яйцо, снимал скорлупу, разрезал конским волосом на две равные половины и одну из них преподносил господину в качестве оброка. Оброк в пол-яйца до того тяготил этого крестьянина, что он не раз просил своего господина: «Сними с меня оброк, приведу тебе корову». Но господин возражал: «Оброк установили наши деды. Не стану я его отменять ради коровы, я не жадный».

Тут видны внутренние перегородки в грузинской Психее: как в горах хребты разделяют ущелье, так и тут щели возможного сделать и невозможного — четко распределены. «Каждый дворовый исполнял только свою собственную, строго определенную и от века установленную обязанность, ни к какой другой работе не прикасался и в чужие дела не вмешивался. В пекарне хозяйствничали пекари: дважды в день топили тонэ, пекли все, что полагалось, затем уже не занимались никакими делами, даже в случае крайней нужды в рабочих руках. Кухней ведали повара; и вели они себя примерно так же, как пекари». «Каждый... знал лишь то, к чему был приставлен, и, само собой разумеется, не нуждался ни в чьей указке»³⁶ = в дополнительном руководстве, как на Руси, когда каждый раз надо барину или начальнику приказывать, что делать, ибо никто, хоть кол на голове теши! — не памятует своих обязанностей (потому-то и «памятки» тут все пишут — жанр такой напоминания письменного: монтеру или ученику...): словно в топь болотную и хлябь засасывает тут память дел наружных и расчленений, — хоть «память сердца» тут «сильней рассудка памяти печальной»...

³⁶ Грузинская проза. Т. II. М., ГИХЛ, 1955. С. 203, 202.

На Руси постоянное смешение ремесел: пироги начинает печь сапожник, и горожан-шефов руководители сгоняют на картошку в деревню, откуда в это же время колхозники едут в город на трудовые совещания и многоглаголание по принятию обязательств, каждый раз новых... Обязательства — вместо обязанностей. Обязательства — каждый раз заново и беспамятно, из свободы, на СВЕТЕР слова пускают. А обязанность = долг, крепь старая, горная.

На Руси и в этом — космос открытости, а в Грузии — космос завершенности и исполнения. Вон даже в предисловии к отрывкам из Руставели в Антологии мировой философии именно эти слова употреблены: «Основа природного единства неба и земли — Бог, понимаемый как полнота всего сущего» («Антология мировой философии». Т. I., М., Мысль, 1969, с. 669). Единство и гармония Духа и Природы тут: Бог не трансцендентен Природе и Жизни. Отсюда: не нужен аскетизм, и космос здесь — радости...

Насколько важно исполнение заведенного не нами, но дедами (древность и крепь тем самым своего народа и рода и страны я уважу, если соблюду, — и значит, честь свою, субстанцию духовную), видно из случая, рассказанного Церетели, когда даже благотворение князя деревне, как прецедент нарушения сферы его действия и сферы общины, — приводит к бунту. «В одной из крестьянских семей, принадлежавших Сико Церетели, перемерили все взрослые и осталась одна только бесприютная дочь. Сико взял ее в прислуги. Деревня возмутилась и послала князю сказать: «Земля ваша, дымом вы можете распоряжаться, как вам угодно, но сирота не в вашей воле. Верните ее нам, мы сами о ней позаботимся, выдадим ее замуж». Господин, разумеется, пренебрег этой просьбой... «И тогда крестьяне осадили господский дом, воткнули колья в фундамент, и под страхом, что дом опрокинется и завалит всех, князь согласился и выдал девушку. Но тут взыграли другие Церетели, собрали своих дворян и бросились в погоню за крестьянами. Догнали. Крестьяне — снова за колья. Старики челом бьют: покончим миром, чтобы кровь не пролилась. Но деву оставили у крестьян. Тогда посоветовали князю прибегнуть к помощи русской власти. И «удивительно, что народ, не отступивший перед хорошо вооруженным конным

отрядом дворян, не оказал ни малейшего сопротивления «заседателю» с двумя казаками. «Что поделаешь! — говорили крестьяне. — Кто силен, тот и прав. Пусть враг делает с нами, что хочет, но у себя, среди своих, мы и сами не станем ломать наш обычай и другим не позволим».

Тут та же установка сознания (термин Узнадзе-психолога применяя), как и в поэме Пшавелы «Гость и Хозяин»: пространство Дома (здесь — Села, Общины) одному закону подчинено — самочинности, а пространство снаружи правится другим: Община-Род-Село в поэме Пшавелы, а тут — Государство российское, с его отчужденным правом и законом.

Эта трансцендентность внутреннего и внешнего пространства существования напоминает германское разделение на Haus и Raum, на «дом» и «жизненное пространство», на «Я» и «Не-Я» Фихте, на Шопенгауэр-Канто разделять мира как Воли, разума практического, свободы, — и мира как Представления, явления...

Нечто подобное этому чудится мне и в половом разделении работ мужских и женских, так что когда ребенок Церетели стал сучить пряжу, мамка в ужасе крикнула: «Горе мне, горе! Что вы натворили? Это же грех, большой грех! Разве можно вам браться за женскую работу?» Женский Логос тут рассудочен, на уровне «мира как представления» работает, мужской же — интуитивен, умозрит идеи, ноумены, и в зоне чести, мира как свободы и воли — работает. К Богу ближе, к Абсолюту.

Кстати, и фонетика стихий являет нам различие между грузинскими и русскими наименованиями высших понятий. «Бог», по-грузински, — «Хмэрти», почти как «Смерть» — в языке русском. Еще «Упхали» = «упали» — вниз: падение, грех обозначается подобной звучностью на Руси. «Царь» же по-грузински — «Мэтэ», почти как «Мати» — Матерь, что есть нежное, как любовь. Так что «Царь есть Любовь» (перефразируя новозаветное «Бог есть Любовь»), по-грузински, а не грозность, как на Руси. Родственная же слову «царь» звучность — в «каци» = человек, мужчина (откуда в звательном падеже известное всем обращение «кацо»). Человек тут — царь: честь и чувство достоинства. Нет смирения перед властями. И Церетели вспоминает, какой

ужас обуял его, когда в школе русской розги применяли и готовились к нему применить! — он готов был с собой покончить от бесчестья. А родители, уж смиренные русским законом, так его успокаивали: «Иди, что поделаешь! Пусть посекут. Не тебя одного, всех секут. (Уже вполне по нормам русского Логоса аргументация: от всеобщего, которое правомочно утоплять единичное, права меньшинства, «я»). А так ли рассуждал Хозяин Джохола перед лицом большинства его деревни? В своем «я» он чуял высший закон, бога. — Г.Г.). Потерпи, примирись, привыкнешь — и выйдет из тебя настоящий человек. Так уж у них (опять: в чужом пространстве, вне Грузии. — Г.Г.) заведено; без этого, видно, не обойтись...»

Разность грузинского и русского психо-логосов проступает и в следующем рассказе Церетели: «Сын Григора Церетели, отец Нестора Церетели, Димитрий, воспитывался в России. Вскоре после возвращения он женился на богатой наследнице Нижаргадзе из деревни Опшиквити. Нижаргадзе призятили Димитрия, и он принял у них хождничать. Однажды ночью кто-то застремил его во время сна. В убийстве заподозрили родственников жены, как ближайших наследников; их арестовали, многих осудили, иных сгноили в тюрьме, иных выслали в Сибирь.

Прошло пятьдесят лет. И вот какой-то старый крестьянин из той же деревни перед смертью покаялся всенародно: «Я был дворовым Димитрия Церетели. Однажды наши буйволы остались на ночь на воле, и господин приказал поставить их в загон. Мы, конечно, отказались: не наше, мол, дело, мы не пастухи. Господин разгневался и крикнул: «Знать ничего не хочу! Делайте, что приказано!» Обидным показалось нам такое обращение, и мы сговорились его убить. Кинули жребий, жребий достался мне. В ту же ночь я подкрался к окошку, увидел, что князь спит, и выстрелил...»

Русский воспитанник князь Димитрий, во-первых, уж сам не по грузинским правилам стал жизнь свою играть: женился из корысти, орать-приказывать-начальствовать начал... Соответственно, и закон русский, разбирая это дело, предположил, как самоочевидный, мотив корысти (а не чести), и на его основе упек невинных... На самом же деле тут мотив чести и высшего, Бо-

жеского права действовал: крестьяне чувствовали себя, каражая князя, исполнителями древлего благочестия, как и Хозяин Джохола, охраняя от разумных доводов села и корысти их, безрас- судно защищая врага народа, ибо в Дому он! Так и князь вторично нарушил грузинский принцип: учинив вселенскую русскую смазь из должностей и работ, и заставив дворовых исполнять чужую работу — пастухов. Хоть и из интересов хозяйства и корысти его и имело бы смысл объявить аврал и свистать всех на- верх: «навались, братцы!» — но устои этические для крестьян важнее экономических стимулов: на субстанцию Грузии поку- сился князь Димитрий, на четкое разделение между горой и долиной, решив засыпать их разность в душах людей как не знача- щую: невидима ведь! Все — люди! И пекари имеют руки и ноги — как и пастухи! Ну, бегите, работайте!.. Все внизу — равны! Все — равно. Логос равнин... И сверху руководить надо — безразличными... Приказывать им, своего смысла не имеющим...

А всенародное покаяние этого крестьянина напомнило мне покаяние убийцы Ильи Чавчавадзе: прошло с 1907 года уже по- чти 30 лет, и объявился, сам признался. И хотя Илья Чавчавадзе — всенародная гордость Грузии, а этот, по трудам его перед народом, — ничтожество, преступник даже, — оценен был сам акт покаяния: как акт нравственной свободы; и он не был казнен, а, напротив, почтен. И вспоминаю снова, как в семье Алико Ге- гечкори мне, когда узнали, что отец мой — из Болгарии, как дра- гоценную семейную реликвию показали фотокарточку 30-х годов, где они, дети тогда, сняты рядом с Георгием Димитровым в Боржоми, только с Лейпцигского процесса, и, показывая, кто есть кто, объясняли: «вот это — мы с братом, это — сын Берии, вот Димитров, а рядом старик — убийца Ильи Чавчавадзе...». Как знаменитость, гордость... Потом, говорят, в 41-м году, Сталин его уокошит — по отчужденным законам, но народная этика этого не требовала.

Русская розга... В Грузии побоев не знали. «Взросому дво- ровому дадут коленкой под зад или дернут за ус». Разность-то тоже какая космическая! Розга = растение, отчужденное ору- дие. Коленка под зад — это тело к телу (иль рукой за ус). При- том — стоя: оба сохраняют достойное человека и плюс — соот-

ветствующее горному космосу вертикальное положение: лишь скрючат провинного чуть в полушир — и в даль, в горизонтальное движение погонят. А розга требует распластать человека — как мать-сыру землю, как равнину, как небытие и непрепятствие, как ничто некое. И сверху его, с вертикали, где власть-царь располагается,— унижать, сплющивать, пахать. Розга = нивелировка: забить гору, сравнять — в долину.

Линия поведения

10.IV.80. Когда утром ужасный скандал у девочек: какие рейтузы Лариске надевать? — я, пытаясь успокоить их, говорил: все равно, какие! Жаль мне нервишек ваших бедненьких, хрупеньких: прогорают, вспыхивают ни за что...

И воистину понял: ни одна вещь не стоит того, чтобы за нее душу полагать: не соизмеримые это ценности. О благодати в психее заботиться лишь. А вещи и слова и дела — какие и как придутся, по случаю...

Вот и мне сейчас прогорание одного дела пришлось пережить: позвонили из «Знания», что не подойдет им моя книжка про «Мышление и Воображение», на сочинение которой я февральмесяц потратил, в иллюзию впав, что социальный заказ на свое творчество получил... Жена смеялась, читая тексты, выходившие из-под меня, уверенная, что никак не пройдет это в молодежную серию издательства... А я себе строчил!..

Ну и ладно. Игрикую вещь написал — опять же для себя...

И вообще — лишь под дулом пистолета в издательства иди.

В Институте (истории естествознания и техники АН СССР.—
9.VII.86.) решил подобной линии придерживаться: не предлагать своих вещей на Ученый совет или в план издательства «Наука» (как, идя в сектор к Кедрову-академику, первоначально намеревался), а опять затаиться на сколько можно и не доказывать себя. И лишь когда уж в недоумение введу начальство: что же это, уж 10 лет в Институте и более и никакой продукции! — когда сами погонят меня с рукописями на Мученый совет (нет, лучше так: «на мУченый совет»).— **9.VII.86.**), тогда, и то — упираясь, попрусь понуро, ибо на муку: рецензентов, редакторов и проч.

Еще из Болгарии зам. директора Федоров приехал и передавал приветы оттуда: видно, произвело впечатление тамошнее уважение ко мне — и это может поспособствовать моей неприкасаемости тут в Институте. А мне только того и надоть.

Так держа курс свой, я буду наиболее верен пути и дхарме, что именно я открыл как возможную колею проложить в мире нашем, современном,— и веди ее до конца, не сбиваясь вбок, как при соблазнах выйти в свет тебя колебать-мандражить начало.

Вон сегодня Мамарда говорила (продолжал я тогда посещать лекции Мамардашвили по философии в Институте кинематографии.— 9.VII.86.), сивилла-пифия Мамарда: что Лютер, как и Сократ, образуют ЖИЗНЬ-ИДЕИ, совершенные формы пути, что вечно моделирующей и объясняющей силой обладают. Если претерпишь до конца и не сбьешься, и тебе есть шанс уникальный борозду в модусах существования и жанрах мышления проложить, возможных человеку.

В соответствии с этой линией поведения я в Институте сегодня промелькнул, как тень,— и через 20 минут «присутствия» исчез: 0 (ноль)-бытие упражнив, тенью имматериальной в учреждении (ono же — от корня «через», т. е. «между», промежуток, а претендует на «при-СУГ-ствие»: быть «сутью»!— 9.VII.86.), не оплотняясь там, не отяжеляясь, не зацепляясь на отношения (какие там отношения с призраком? с одуванчиком!) с начальством и сослуживцами,— преимущественно таковое существование!

Скользнул тенью. Наилучше, чтоб забыли вообще о существовании тебя, не замечали б: тут ты, нет ли?.. С начальством даже легче, чем с сослуживцами, эту мою линию гнуть. Начальство далеко, ему до фени я; а эти близко и видят, и раскусят игру мою: она может показаться им унизительной, как это в ИМЛИ (Институт мировой литературы, где я дотоле работал.— 9.VII.86.) назревло в ожесточении «друзей» на меня.

А вообще-то люди ходят в Институт — просто как в среду обитания, а не на работу. И в связи с этим вспомнилось, как Славка, гость, в пасхальное воскресенье у меня сидевший, рассказывал забавно, как он брату своему, который заболел и на третий день бюллетеня уж собирался выписываться на завод, вдруг подбросил мысль: а куда ты торопишься? Продли... И вот тот на неделю продлил еще, на вторую — и затосковал: не знает, чем

заняться, как на свободе жить. И говорит: у меня ж кореша там, и мясная лавка, и любовница — вся жизнь, жизненное гнездо там. А что мне дома-то делать?..

И вот феномен, характерный для наших условий: работа превращается в «универжизнь»: там и пайки-заказы продуктовые, что немаловажно сейчас, когда мало что купишь в вольных магазинах. Там и дружества, и адьюльтеры, и политические клубы, и новости, и чаек-кофеек... И меньше всего — чистой работы, службы отчужденной. То есть, тут симбиоз работы и жизни, благодаря которому снимается характер отчуждения с места и пространства-времени работы: там устанавливаются полудомашние, полусемейные человеческие отношения — как и в доме, и в полисе малом, как в общине; тут и политические страсти испытываются людьми: свалить кого на собрании и проч. И «свет» тут: заговоры, интриги...

И неясно, кому это более выгодно: советчина ли приспособит жизнь, привьет ее, живую кровь ее вольет в себя и тем подольше просуществует, — или жизнь тем размывает жесткость советской структуры и, обволакивая, потопит?..

В общем-то, конечно, Жизнь натуральная возьмет свое: всосет и рассосет со временем советчину. Но и то показательно, что советчина оказалась настолько мягкой и отзывчивой и подходящей на встречу с Жизнью структурой на Руси.

Тут Мамардовы слова вспоминаются: если плохая система, плохой закон исполняется плохо, то тут еще жить можно. Такова советчина. А вот если плохой закон исполняется хорошо — там погибель. Таков фашизм в Германии, который был злым законом-системой, что исполнялись хорошо. Оттого и прогорел он быстро.

А Славка целую фантасмагорию из жизненслужбы спроектировал себе написать: например, как в стенгазете обмен опытом «опасных связей» между сослуживцем и сослуживкой...

Мысли об истории Грузии

11.IV.80. Грузии и не обязательна национальная независимость — в государственной форме. Она тут достаточно хранится — в горной форме: Кавказ ей — царь и хранитель: естественные рубежи и формы предлагает, где ее субстанция при себе

может жить и сохраняться и расцветать — быт, обычай, язык, культуру развивать.

Лишь единожды в своей истории Грузия имела государство полноценное «по мировым стандартам» — при царице Тамар в XII веке. Но она, государственность полноценная, тут вспыхнула на миг, на век, словно ради того, чтобы произвести национальную Библию — поэму Руставели; чтобы затем уже Грузия имела свои скрижали и свой оплот не досягаемый для полчищ пришельцев; ибо и царя можно казнить, и столицу Тбилиси взять, и народа вырезать, но шари Руставели — не вырезать, как не сравнять и Кавказ — по образцу Иранского плоскогорья...

Как красиво рассудила Мамарда про Элладу: у греков древних не было единого государства: все в своих микрополисах существовали, и единственное «место», где они все встречались, — была «Илиада»! Все остальное — их разъединяло... Но «Илиады» было достаточно, чтобы субстанция и идея Греции как мировой целостности — жила и продуцировала культуру и смысл, «лица необщье выраженье» эллинов, сплачивала бы их в отличие от «варваров» — других народов.

Подобное же положение — и в Грузии. 800 лет уже она крепится как целостность — не единым государством (которого она в эти века не имела), и не столицей (которая — проходной торговый двор для всех наций), и не четким антропосом (ибо нет «грузина» как этнического типа, но есть: сван, кахетинец, абхаз, хевсур, гуриец и проч.), нет и языка даже единого разговорного (диалекты дробят его), нет даже четких естественных границ: Кавказ в своем лоне содержит не только грузин, но и осетин, и лезгин, и черкесов, и армян...

Но есть единящая всех Библия, Книга народа, общий храм, что именно и только их, в отличие от религии христианства, которая тоже не специфически грузинская, но — всехняя. К таким размышлению пришел я, читая историческую повесть Акакия Церетели «Баши-Ачук» о восстании грузин против персидского владычества шаха Аббаса в середине XVII века. Когда разноплеменные князья тайно сходятся на совет, каждый аргументирует свою позицию стихом-афоризмом из «Витязя...» — добро там на все случаи жизни мудрость припасена. И по этому поводу

автор замечает: «Недаром духовенство жаловалось в старину, что народу «Витязь в тигровой шкуре» милее Евангелия. В течение веков все от мала до велика зачитывались этой книгой: мужчины подражали Тариэлу и Автандилу, девушки стремились уподобиться Нестан и Тинатин, царь и придворные мнили себя Ростеванами и Согратами, слуги следовали примеру Шермадина, а служанки восхищались Асмат».

Изгнав персов из Кахетии, грузины, однако, посылают разъяренному шаху героев восстания: вельмож-руководителей — на жертву; причем они сами решают идти к дракону в пасть, следуя моделирующему примеру Димитрия Самопожертвователя еще в конце XIII века, — лишь бы не обрушились отмстительные орды на народ и долину Кахетии. И шах был удовлетворен, срезав верхушку нации, и оставил тело народа, землю, субстанцию Грузии — в покое.

Невозможно и не нужно такое поведение властителей — в России. Здесь территория страны — равнина — в высшей степени беззащитна сама по себе (в отличие от хребтов-стражей Кавказа), и субстанция страны не сохранится без горы государства. Усилием власти Россия хранится в рубежах своих («заставы богатырские» прежде и пограничники ныне). И тут скорее князь или царь полнарода на тот свет отправит, нежели собой пожертвует и уступит и пойдет на поклон; не этической славы самопожертвователя добивается тут правитель стяжевать (такие, «рохли», вроде Федора Иоанновича, презираются здесь народом и историей), но славы победителя, как воины в «Слове о полку Игореве» идут в бой искать «себе чести, а князю — славы». Но и народ тут на такое не ропщет и считает справедливым «за царя, за отечество» — не щадить себя; а царь его не пощадит и с его жертвами считаться не будет, это там точно знают: и в войнах, и в стройках — Петербурга иль иных; тут с затратами человеков и жизней их не считаются. Есть такая версия, что Сергей Радонежский, в отличие от установившейся легенды, не благословлял князя Димитрия, будущего «Донского», на сражение с татарами, полагая, что ханство уже само настолько ослабло, что его гнет сойдет на нет сам собой, и лучше принести требуемую ханом дань в 5 млн. (чего-то), чем губить лучший сок-цвет мужей

Руси. Но князь не послушался — и совершилось Куликово побоище, где из 400 тысяч русских воинов в живых осталось лишь 40 тысяч; да и выиграна битва была счастливым случаем: переменой ветра да полком, оставленным в засаде. Да и после победы все равно эти 5 млн. пришлось уплатить хану...

Но зато появилось, чем гордиться: во славу отечества и государства Российского, в скрижали и летописи Истории (а о ней тут особенно заботятся, и миф о «колесе Истории» движущий в XX столетии) новая запись. И строится из кирпичиков этих Монблан-Казбек России, которая не просто географическое, народное, природное и культурное понятие, но обязательно царство-государство, власть, Социум, а не Космос просто иль Психея (душа народная и национальный характер человека) иль Логос (язык и литература).

В Грузии — не та пропорция в ценностях между властью и народом, языком-литературой, бытом-обычаем, нежели в России. На Кавказе власть смиреннее: перед превосходящими вершинами гор что такое высоты человечьей иерархии! Воочию урок смирения преподается Космосом Социуму. Последний чувствует себя подсобным, не самоцелью, а средством уберегания субстанции страны. Или — для создания ее культуры, как при царице Тамар власть себя под Руставели подложила (не сознательно, конечно, но в итоге, «объективно» — так вышло...).

Кавказ — цитат-делъ. (Хорошая опечатка: «цитат-делъ» — про цитаты из поэмы напоминает). Грузия в естественной крепости заключена, с внутренними отсеками-комнатами, где разнообразие народов и условий дает ей энергетический заряд: разность потенциалов и обогащение в общении, благодаря чему сама своей субстанцией питаться может, аккумулятор, — и не нуждается в подзарядке извне: в Эросе-Вражде самоотличения от других стран и народов (как у Гоголя в «Руси-тройке»), что есть проявление «комплекса неполноценности»: когда человек-страна хорохорится.

Но для России, в ее космосе мало энергийном, где толь и тьмать-сыра земля и серо небо, — искусственный нужен подогрев-воспламенение: огонь добывать трением о зарубеж. Это динамизирует страну и бодрит народ — как коня сонного, мери-

на ленивого надо кнутиком подбадривать. Так что прав Полежаев: «России нужен царь и кнут». И это не для похояхатыванья интеллигентского стих, а есть верная констатация соотношения между Космосом и Социумом на Руси. И тут время от времени нужно народу показывать «лицо врага» — для энергетического ожесточения-отвердения (а то больно мягок и жидок); и если его нет, то, как Бога по Вольтеру, Врага надо выдумать.

В Грузии Врага выдумывать не надо: всегда он налицо был — в виде турок и персов... Но и Друг налицо: Кавказ-защитник. Так что уменьшены этими возможные функции государства: раздуваться ему в гору не к чему — нет тут на то космических оснований. Более того: даже не вижу, чем бы тут самостоятельному государству заниматься, коли бы оно возникло... Быт-обычай, завет предков нравственный — тут держится сам собой. Подстегивать в хозяйстве-экономике тоже не нужно (а как в России важна эта функция у государства: Петр и Советская власть!), — меру труда тут горы и роды долин определяют: больше не возьмешь, чем соблаговолят, но и меньше нельзя, ибо помрешь... Да и знают свои дела люди тут от века... Культура разве что лишь — на это нужна централизация и средства общие... Но для этого не нужна особая, именно политическая власть, а можно внутри другой большой системы (России, например) эту свою бытовую, метафизически-бытийственную и духовно-сущностную автономию Жизни и Бытия осуществлять, не распыляя силы на политико-физический уровень ценностей, преходящих.

Но для России действительно «политика — жизненная (= энергетическая) основа нашего строя» (ждановская, кажется, формула.— 23.XII.92.): тот самый бич (кнут иль пряник) для манипулирования народом-дитятей, недорослем вечным, туда-сюда, для воспитания его извне и сверху. Недаром Христос в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского поцеловал своего мучителя: оценил его великую жертву, что тот на себя принял. Ведь он весь возможный грех с людей, с народа на себя взвалил: как Агнец Божий — он, сатанище! И проклятущий всеми аспид; зато народ в безгрешное состояние вечных детей погрузил, счастливых, беззаботных, ни за что не несущих вины ответственности, а все с них — как с гуся вода, и можно все беды

и причины взвалить на очередного Кесаря, его анафеме подвергнув и категории неупоминаемости. Так что самопожертвование Царя перед Народом по-русски — это аспидом ему проклятым стать, так чтобы перед извергом таким сверхъестественным всякий, даже большой мерзавец, мог бы себя чувствовать хорошим человеком и богоугодным,— как ныне все перед меркой страшилища Сталина.

И потому когда князья — герои кахетинского восстания сами решили поехать на жертву в стан к шаху, тут сразу несколько зайцев убивалися. И миф великолепный — из сферы деяний совести, чем крепится Этос Грузии,— вкладывается в субстанцию ее; и в то же время срезается верхушка политическая — операция, что не столько политике и физике шаха Аббаса тогда требовалась, но именно сущности Грузии, как это ни парадоксально, была нужна. Представьте, что князья бы не поехали к шаху и остались в Грузии. Следующим актом их должно было бы стать учреждение самоуправления в Грузии. И тут бы они естественно и необходимо разодрались и стали бы перегрызать друг другу глотки, и вся красота их подвига была бы заменена мерзостью кровавой бессмысленной... Как раз вовремя их убрал Бог Грузии: чтобы они в чистую славу облеклись и так в ней бессмертно бы существовали и ею питали бы дух Грузии, души и идеалы следующих поколений: воспроизводя ее *этическую сущность*, присущую ей именно взамен сущности политической, что сильнее у других народов, которые скорее простят властителю грех крови и грязи в ходе правления (прощая это как неизбежные издержки производства политического), нежели поражение в войне.

Тут вспоминается ответ Солона (кажется, Ксерксу) на вопрос: кто всех счастливее? (Мамарда опять же в этот пример влюблен и часто его поминает). Всех счастливее — юноши, что, победив на Олимпиаде, умерли, забраны были богами: ибо на вершине славы, и в память народа взойдут в максимуме своем благом. А если бы остались жить — неизвестно, каких бы бедствий сподобились и агентами какого зла могли бы еще в дальнейшем стать...

В Грузии такое понимают: успех смерти вовремя, а не успех жить во что бы то ни стало и победить внешне (как в Америке, например,— в бизнесе успешность ценится). Вон и Пушкин

как об Александре — вообще-то смиренном правителе России и либеральном (недаром Сперанского привлек-разглядел...): «Властитель слабый и лукавый, Нечаянно пригретый славой...». А надо — чтобы как Петр: силу явил и ею славу сам добыл. А тут народ и Кутузов — славу царю добыли... И, кстати, что была бы Отечественная война 1812 года без Бородина? А ведь вполне могла бы она без этого сражения обойтись и быть выигранной воиною. Но умный Кутузов, понимая бессмысленность сражения с военно-стратегической точки зрения, понял его — русским умом! — метафизическую надобность: чтобы напитать субстанцию России пищею славы и на последующее многое Слово об этом: и «Бородино» Лермонтова, что стало солдатскою песнею, и «Война и мир» Толстого — национальная «Илиада» России и т. д. Даже «Москва, спаленная пожаром», что есть более мощное гораздо, по сути-то метафизическое зрелище и питание,— тут не так помнится, как Бородинская битва. А потому что само-сожжение Москвы есть образ жертвы, самопожертвования, а не славы и победы. Подобно этому и в войне Отечественной середины XX века народом не так помнится блокада Ленинграда (что как раз иностранцев более впечатляет), а Сталинградская битва, взятие Берлина, успехи русского оружия.

Диапазон расхождения между «боговым» и «кесаревым» измерениями Бытия в Грузии невелик, друг другу он ближе, «домашнее», и князья-кесари поступают по-христиански прямо сами, а не опосредуют своим грехом и преступлениями жертвенную святость, чистоту и невинность своего народа (как это исследовано Пушкиным в феномене Бориса Годунова). История у нас не памятует Бориса и Глеба, закланцев свободовольных и непротивленцев, князей-христиан. Памятуем Грозного, Петра...

Снова вслушаемся в звучности: «царь» и «бог». «Бог» = Ох! И приговорка такая: «Голенький: «Бох!» А голенькому — «Бох!» — как в селе Житниково в лето 1972 мне старушка одна сказала. А «царь» — «шпарь!», звучит яростно: «царь» — «ярь»: Ярило огненно-жгучее, начало-стихия ОГНЯ им выражено в Космосе Матери-сырой земли, средь холодов и дождей, и упрятывалось от народа-Светра на престоле, как кащеева смерть — в яйце упакована: от ветров и морозов. «Бог» же тут, по звучности

слова, скорее, сопряжен, из стихий-то, не с огнем, а с влагою, с Природою, с Волгою, с равниною, которую, по слову Тютчева, «Всю тебя, земля родная / В рабском виде Царь небесный исходил, благословляя». Недаром Богоматерь (что есть женская стихия: вода, Ольга-Волга) из ипостасей божества тут народом наиболее интимно принималася. Божеское начало тут, значит,— в стихиях воды, воз-духа и света, а «кесарево» — в стихии огня как жара (не света).

Ну а в Грузии как с этим? Припоминается один из первых зафиксированных эпизодов из истории грузинской философии: как Абибос Некресели (VI век), представ перед судом марзпана, персидского правителя Восточной Грузии, пролил воду на огонь, считавшийся священным, и потушил его, опровергнув тем самым актом верование огнепоклонников персов, зороастрейцев, что огонь тождественен Богу. И так он сказал при этом: «(Огонь) не Бог, а другой он природы. Огонь — одна из малых частей вещества, из которых бог воздвиг сей мир. Равно порождены влажное, холодное, сухое и огонь, каждое из которых связано с другими под небесным сводом. (Вспомним взаимоориентированность грузинского глагола-Логоса.—Г.Г.). Существуют они равнозначными частями (сущего), и если какое-нибудь из них приобретает превосходство над другими, то оно рассеивается. (Значит, Бог трактуется как мера всего, суд Единого над частями своими. В Элладе, у Гераклита, этот суд осуществляется через Огонь.—Г.Г.). Огонь, признаваемый вами (богом), лишь частица общей огненной природы (подобно сухому и холодному), постоянно восстанавливающейся пожиранием дров. (Тут вспоминается Миндия из поэмы Пшавелы «Змееед», кто возжалел растения и отказался рубить их на огонь: тут тот же бунт грузинской субстанции против персидской, отказ служить всепожирающему дракону огня и вносить дань ему грузинскими дриадами-девами, в гарем-костер его, как и кахетинцы в восстании, описанном Церетели, не повезли в гарем шаху 12 дев.—Г.Г.). Вода, которую я пролил на огонь, оказалася сильнее и уничтожила его. И удивляюсь вашему безумию — считать его богом»³⁷.

³⁷ Антология мировой философии. Т. I, М., «Мысль», 1969. С. 660–661.

Таким образом, оборотившись на юг, к Логосу персидскому, грузинский Ум подтверждает свою северность, «российскость», условно говоря. Если в иудаизме и семитизме, в том числе и арабо-исламском, Бог ассоциируется со стихией Огня (в этом образе символизируется он в Ветхом завете и Моисею является в неопалимой купине), то христианские символы божества — это вода, свет и воз-дух.

И действительно, Грузия, на горах Кавказа, где снег и хлад, и климат резко холоднее, нежели в недальнем тут плоскогорье Армении иль Ирана,— являет собою Север на юге, на уровне субтропиков. Ведь что вверх по горе, что к северу по равнине — равный эффект в природе: похолодание, «ороссиянивание» человека, природы. И потому именно тоже естественно было Грузии в итоге примкнуть к России, а не к Турции иль Персии, которые близки географически, но дальше субстанциально, космически и метафизически, нежели далекая Россия...

Однако, в самоотличие уже от России, Грузия стихией Огня себя подтверждает: солнечностью гордится (в отличие от сырости-болотистости нашей); а из ипостасей огня — жаром, а не светом, который как раз роднее на Руси — «святой», где и мир — «белый свет», и человек — «свет ты мой...». Пылкость Тариэла, вспыльчивость грузинского темперамента — вспомним тот психейный костер, что комически описан Фазилем Искандером: как друг друга и подогревают, и тушат одновременно: горя и заливая, причем каждый = огонь-дерево для себя — и вода в отношении другого; и в итоге, покипятившись энергично, божественную литургиюправляя меж огненностью и водяностью, мудрую МЕРУ соблюли, и никакого действия фактического произведено не было; но метафизика тут грузинская вполне бытийствовала, покормилась человеками, а больше ей и не надо: в *шифръ* да в мир за свои пределы изливаться...

И «человек» тут не мокрым-шипящим «я» начат, а есть «кацхи»: с пылкого сухого «к» начато и еще более пылкою аффрикатою «цх» продолжено слово это: смычные-взрывные — как горы-горло прорывающие звуки, из недр гор идущие, как дэвы и каджи — демоны...

Есть, правда, и другое обозначение «человеку»: «адамиани». Но он явно из семитского «Адама», а по звучанию, скорее, человека-женщину обозначает, тогда как «кацхи» — человека-мужчину; согласные — мягкие, мокрые, сонорные, звонкие, носовые — в этом слове «адамиани». Однако, и то для обоих слов симптоматично, что оствомом их является «а — и»: вертикаль «а» (= гора) и ширь «и» (= долина) — основные координаты грузинского континуума: спад (взлет?) «а» и умерение через «и». Если предположить «а» как спад, каскад, то «и» есть некоторый подъем на середину высот языка (= космоса); а если истолковать «а» как взлет в небо, то «и» есть приспуск, опять же выполаживание некоторое, умерение: от дэвов — к Богу...

«Кацхи» звучит почти как «царь» на Руси. Царственен, аристократичен, огненен сам по себе человек-грузин: слово-кресало, слово-огниво: вспышка — из резко-стремительного трения... Но потому-то так велика в грузинской истории, быте и Логосе роль женского начала: как ВОДЫ Рассудка. Вон и в повести «Башиачун» Церетели именно княгиня, принеся икону, разрешает зашедший в тупик многоаргументированный с помощью цитат из Руставели спор мужей-князей и подвигает их на дело. Воля и решение — ее дело, вектор Воды: она знает, куда ей течь-струиться-стремиться; чутье естественного склонения у воды-реки Арагвы (что — символ Грузии в *начале* повести) имеется, тогда как Огонь — бестолков, вектора-направления-компаса не имеет: сдуваются туда-сюда, и вверх, и вбок, и на своих — поджогом в самолюбивом междуусобье подвигнуться может. Река всегда найдет выход, а огонь — себя пожжет и угаснет... Да, если в Элладе, у Гераклита, Огонь — символ Логоса-ума, то в Грузии символ Логоса — Вода: женщины тут рассудительнее, а мужчины близки к исламской пылкости безумия: меджнуны! Безумные во Эросе, ошалевшие, но не в вертикаль, к женщине (как это в субтропиках ислама, Тариэл), а как Автандил — вбок, ко Другу.

И в религиозном плане: не случайно зороастрыйский Ариман, начало зла и демонизма, тьмы, мрака, в Грузии возвышен в Амирани — Прометея, что победил дэвов и покаран богом: прилепан на вершину Кавказа и проклеван орлом. И звучностью он родной — на «а — и», тогда как светлый бог зороастризма Ормузд не

созвучен грузинству: национальный слух не имеет отзыва на имя такое — как означающее некую положительную ценность.

...Да, Грузия — это Россия при субтропиках: чтобы природе России очутиться в мановение ока на юге, ей надо возвыситься: горами Кавказа к небу-свету-хладу чистому приблизиться. Так что Картли — это скала Севера в объятиях Дракона юга, ислама...

Субстанция братства России и Грузии

12.IV.80. О, как словно среди ошалевшего от воинственно-политических страстей мира сего, с отвращением отшвырнув газеты, ринуться в чистый, метафизический и эстетический космос Грузии — как в поток горный, весь в белых брызгах, ослепительных на солнце! Тут — всякие скрежетания: «стратегия канонерок» и все такое прочее, а «на холмах Грузии лежит ночная мгла...» — и это тысячуекрат важнее, ибо — бытийственнее.

Итак, вчера кончил я недовыраженным видением: если бы космосу Севера, России перенестись на юг, под солнце субтропиков, то ему, чтобы сохраниться в сути своей, пришлось бы претерпеть инвариантно-топологическое преобразование: сузиться и подняться кверху, так что в итоге из пространного ровного щита русско-балтийского и сибирского сморщился бы пояс складчатых гор: от Алтая через Тянь-Шань-Памир до Кавказа. А собственно европейская равнина России (как если ту же ладонь в щепотку сложить) перевоплотится, как оборотень,— Кавказом. Та же бель снегов и ледовитости, так что ледники Кавказа — это Северный Ледовитый океан, осевший на плечах гор, приподнятый ими повыше к небу. И там тоже Мороз-воевода дозором обходит владения свои, и Кащеево царство тоже имеет свое место.

Помню: когда я в жарчайшем июле 1953 года участвовал в восхождении на Западную вершину Эльбруса, внизу была жара сверх 30 градусов, а взошли мы на вершину при минус 15, и ночью свирепствовала выюга на ледовых полях-грудях Чуда-Горы...

И вот новые смыслы начинают вычитываться в высях Грузии: Небо — это не просто солнце, свет и жар, как для равнин Аравии и Иудеи. На Кавказе (как и на Гималаях и в Тибете буд-

дистском) огонь-жар неба-солнца опосредован льдом и белым свето-снегом. Знают здесь об этом противоречии неба и выси, тогда как невдомек оно ни в равнинном космосе России, ни в равнинном космосе Аравии, в зоне ислама, или в Африке иль Индии подгорной. На Руси знается так: если повыше подняться на пригород = к солнышку ближе: теплее, значит. Так же подобно и в Бенгалии: если повыше — то жжение страшнее Агни-бога...

Кавказ же — космос парадоксов, и это должно как нечто фундаментальное залечь в основании здешнего Логоса. Противоречие в понятии — то, что так всегда смущает линейных, равнинных, так что они в своих выкладках всячески стараются его избежать,— тут должно само собой разуметься. Неоднозначность Истины и всякого высказывания должна не смущать, а именно как показатель близости к правде — восприниматься.

Да, недаром влекся русский Психо-Логос к Кавказу — «свое другое» в нем чувствовали; по русской литературе это видно: Пушкин, Лермонтов, Толстой... «Влеченье — род недуга» испытывали северяне к Грузии. И не диво: если бы Кто-либо, сильный, как Бог, взял в ладонь русскую европейскую равнину, стянув-отслоив ее от Земли, скжал бы ее и шмякнул снова о Землю — то она сморчком Кавказа предстала бы: вся в старческих морщинах хребтов и ущелий изрытая, а кровь и лимфа и сперма ее горными бы потоками потекла. Сперма зимы. А кровь вином... И обратно: если бы такой же Сильный Крепкий Некто взял бы да распластал Кавказ и выровнял бы все его складки и приkleил бы к глобусу шара земного — то понадобилась бы как раз примерно территория европейской части России...

То, что на Руси молодо-зелено, недоросло (по гладкости-то кожи равнинной на лице), там — жестко и вековечно-старческо и резко выявлено: страсти и конфликты и характеры людей. За этим и влеклись писатели русские на Кавказ: тут все рельефно и завершено — то, что на Руси аморфно, тянется, не начинается и не кончается, не имея силы разрешиться в ту или иную сторону, проставить точку-вершину: камень могильный или пик-острие на сход в небо, в жизнь вечную,— но все «тянется и тянется и тянется» (как у Толстого-Прокофьева бред-смерть князя Андрея) и может опять тянуться без конца и разрешения... Так что в

конце концов приходится такую максиму принимать, как правило поведения: «Поцелуй — без разрешенья!..»³⁸

По склонам кавказских хребтов климатические пояса и народы Руси с севера на юг как бы разместились: сваны, хевсурьи и пшавы = суровы как северяне Архангельской и Вологодской зоны; недаром и там и сям наиболее сохранилось древних песен: в Олонецком kraю и в Пшавии, куда Лука Разикашвили обрабатывать легенды отправился и там псевдоним принял: Важа Пшавела («Муж Пшавский»)...

Пониже — уже Средне-русская полоса: Московия = Картлия — сходны они. И недаром обе зоны стали в своих странах центрами объединения, и в них престол государств: люди достаточно северны и суровы, мужественны, чтобы быть хорошими воинами и покорить другие племена (по закону, открытому Монтескье в «Духе законов»: в каждой стране ее северная часть становится началом объединения, и там, соответственно, располагается столица: Рим, Париж, Берлин, Москва, Пекин, Тбилиси-Мцхет и т. д. А у слишком северных, напротив, юг: Лондон, Осло, Стокгольм, Хельсинки... — добавим...); и в то же время они достаточно гибки, «женственны», чтобы понимать разное и другое и суметь в себя, приспособить(ся).

А еще ниже, по склону глобуса Земли (от «высоких широт» к «низким», если следовать взором) = по склонам гор Кавказско-Гималайского пояса,— уже более мягкие и разнеженные народы-племена: жизнелюбивые, как малороссы-украинцы, иль

³⁸ Это я поминаю песню довоенных детских лет «По росистой луговой...», что на стихи Исаковского в музыке Захарова хор Пятницкого пел. Там парень подходит к колодцу, просит у девушки напиться и, напившись, говорит: «Я бы Вас поцеловал, если б это было можно». (Не имея под рукой текста, перелагаю неточно, как помнится). Девушка спервоначала — в амбицию девичьей гордости: «Такого никогда, никому не разрешаю!» Парень тут же приуныл, стал прощаться: «Дескать, значит, я не мил, стало быть, лучше не встречаться». Тут уж девушке стало жалко его терять — и вот какой нашла парадоксально-гениальный выход: «Раз такое положение — ну уж ладно, говорю: поцелуй — без разрешенья!» Вот формула, которой и придерживаюсь в жизни и мышлении. Безнадежно тут спрашивать позволеня: никто тебе ничего разрешить не может, так что разрешай себе — сам: целуй — без разрешенья! Не стой в остолбенении пред «девюре», а совершай — «де-факто». На это сначала сквозь пальцы посмотрят, а потом и примут... — 13.VII.86.

кахетинцы и мегрелы, абхазцы, лазы... Да, Имеретия = Украина Грузии: тоже самостоятельное государство было тут...

В уравнении этом я просто продолжал созерцание Пушкина: «Кавказ подо мною...» — и принял Кавказ за «тело отсчета», за школу идей-понятий классификационную. Гора ведь таким же моделирующими потенциями обладает, как и Мировое Древо иль Здание-Дом: все можно по ветвям-этажам-уровням расположить-различить...

И вот все это разнствie Бытия предстает грузину воочию и в совмещении: в одном месте и времени, в одном «здесь и теперь», а не отстоит где-то за порогом восприятия чувств и ума, как в средней Европе иль России, так что различиями и деталями и оттенками, кажется, можно пренебречь, — как малыми членами разложения в математических рядах Ньютона, Фурье и пр. В Грузии же Разуму приходится считаться с разными и малыми, с меньшинствами и их правами — и в социуме, и в понятии, и в психике. Не может тут быть закона подчинения меньшинства большинству, что так естественно кажется и вроде само собой разумеется в космосе равнине, где все — равно и все — равны, по природе... Нет, тут-то как раз по природе все разны, как породы деревьев и животных. И именно меньшинству сподручно расположиться жить в Сванетии, например: у самой кромки ледников, и туда силой не загонишь жить кахетинца, так что ему как раз не надо и неохота принимать на себя володение и распоряжение сванской землею и начать, по праву и долгу господствующего народа, учить тамошних жителей, как им хозяйствовать и что выращивать и когда, — имея себе за модель, конечно, условия Кахетии, долины Алазани, где закон большинства сего установился и опыт. Но и рад кахетинец, что сван=эскимос сам собой в диких своих (на ощупь-оторопь кахетинца) условиях управляемся и прижился — и пускай себе: мне такого и даром не надо!..

Русский же, несчастный, по логике равнинного Логоса априорно полагает, что все — равны и одинаковы, как я; так что обязан я всех и своему уму-разуму-понятию научить; и как жить, выправить всех по своему образу и подобию (= божественно-му!). Русский именно жертвенен и несчастен в этом своем, навязанном ему волей и логикой равнинного Космо-Психо-Логоса априоризме долга в отношении всех других народов и стран. И со-

Кавказ

бой жертвует при этом, запускает хозяйство средней русской полосы, вотчины своей, и пускается во все тяжкие, в даль и ширь, на сторону, на отхожий промысел русководства (хорошая опечаточка: «руСководство» = руководство + обрусение! — 23.XII.92.) миром и выправки его.

Русский Логос естественно единодушия и единомыслия взывает: чтобы все одним умом и душой и сердцем жили-любили, одни цели преследовали; а если этого согласья нет — то и пропадай все пропадом и ничего не надо, и катись все в тартарары и к гребене матери! Подобно так и жена моя бескомпромиссна и тоталитарна в любви семейной и в идеале своем Федоровском — единого Общего Дела всех людей по преодолению Смерти, как последнего врага...

Кавказ воочию урок дает разномыслия и разнодушия — не как несчастья и бедствия какофонии и взаимонепонимания, но как именно блага и искусства Природы и Бытия в устроении людей-народов-пород жить на разных уровнях и разными ценностями и целями и пониманиями, так что они могут в одном пространстве и времени, рядом жить — и не мешать друг другу (так пчела не мешает ромашке, а сорока — лосю), а, напротив, помогают друг другу — в разделении труда и блага, в освоении целей-частей Целого.

Итак, разноплановость должна быть в Логосе Грузии учтена — прямо в любом едином суждении и силлогизме.

Отсюда — и разнопонятливость грузин, кавказцев: вырастая в созерцании различия условий жизни и быта и песен и мыслей народностей по склонам гор, имея это на правах «врожденных идей» в уме-душе своей, грузин может экстраполировать этот подход-принцип и на прочие целостности и явления: стран, теорий, учений... И это свойство в них реальнее, нежели в русских, что кичатся своим «всепониманием» (Жуковский, Пушкин, Достоевский, Блок) других народов, душ и образов их мыслей. Но это их иллюзия о себе: и тот же Достоевский весьма ригористичен и тоталитарен — в уразумении Запада — и Польши, еврейства и Балкан... Пушкин же мог (по закваске нерусской, южной крови-семени в себе) все понять. Так что тот, кто лежит в нем под чинарой и льет кахетинское «на узорные шальвары», но и видит, как прямо над ним курится Казбек в белоснежности на плечной,— имеет обзор-обстрел такой, что и нега эпикурейс-

кая, и страх и трепет эскимосский совмещены в нем... Начала и концы Бытия и Духа тут возможно созерцать-мыслить, что и видим мы в мудрецах Тибета и Гималаев. И это — потенциал для обитателей Кавказа. А вот реал ли? — на это еще история и дальнейшее существование их должно дать ответ. Но призвание к такому миропониманию им от космоса Кавказа брошено, дано... Да уж и реализовано — в совершенной мудрости шаири Руставели, что речены на все случаи и ситуации жизни.

Мировоззрение Языка

Да и Логос языка их — мудрого, «яфетидского», т. е. древнейшего и индоевропейской группы (по классификации кавказца же Марра Н.) — такое одновременное учтение разного в уме, формулирующем высказывание, выражать приспособлен. Вон что о глаголе грузинском мне рассказывали с восторгом женщины в редколлегии в Тбилиси:

Глагол — предмет гордости их языка: эластичен, подвижен, гибок. Одним словом тут выражают то, что по-русски, например, приходится переводить целым предложением. Вот: «Поцелуй ты за меня несколько раз того-то» = «дамикоцнэ», где «коцнэ» — поцелуй, «ми» — для меня (префикс I лица для объективного строя глагола), «да» — множество раз, «э» — императив. «Момиквда» = «он у меня умер»: горе не просто вообщем, но мое — это я без него осталась. «Моуковда» = «у него умер», «Моквда» = «умер» (просто). Проклятие: «(Шен) моуквиди деда» = «чтоб ты сдох у своей матери!» (Напоминаю: архетип матери и сына важнее отца в Грузии).

Личные местоимения не употребляются, так как все в глаголе видно. Это — как в латыни: экономия и лапидарность... В русском языке хотя и выражается лицо глаголом, все равно и местоимение поминается. Не боятся тут «избыточной информации» и не экономят, щедры на слова (как и я вот...). Подменяют одно другим, подстраховывают: как в работе артельной (где все друг друга подменить могут, одно и то же делать: «все — за одного») — так и в языковом выражении мысли. Как бы не надеются, что данная морфема (работник) свое дело на своем месте четко и совершенно исполнит, и на всякий случай и другие вмешиваются его делать,

коллективом. И в стиле правления здесь: не устают издавать указы-циркуляры, одно и то же бубнить-долдонить много раз, учить ученого, бросаться делать чужое дело, что, как мы видели еще по воспоминаниям Церетели, оскорбительно воспринималось самостным и знающим свое дело грузинским крестьянином.

«Шемомечама» = «у меня проелось»: в смысле, не хотел, но само собой, помимо воли... «Шемомехарджа» = «растратилось» — так муж жене оправдывается, с оттенком: я не хотел, но само так сделалось. «Шеминварда» = «полюбилось» — как наитие, он (она) мне полюбился: «нашло».

Четкая дифференцированность направлений в пространстве (а в космосе гор это так важно!) выражается префиксами глагола:

«а» = направление снизу вверх. (Верно угадал я интуитивно — выражение этим гласным вертикальной координаты пространства. Однако я это «а» чувствовал, наверное, по-русски: как спад, сверху вниз).

«ча» = вектор сверху вниз (тоже на «а», кстати): «чаведи» = спустился.

«га» = вектор наружу: «гаведи» = вышел наружу.

«щэ» = вектор во *внутрь*.

Горный априоризм тут — в мышлении пространственном! Верх-низ — это во-первых. И второе важнейшее отличие: Дом, где я хозяин и где один закон,— и наружу, где правомочен другой закон. (Вспомним снова поэму Пшавелы «Гость и Хозяин»).

Сложными префиксами выражаются такие оттенки отношений:

«А-мо-веди» = «я пошел туда, где сейчас вот нахожусь»: поднялся вот сюда, где находится первое лицо.

«Миведи» = «я пошел ко 2-му лицу, к кому-то».

«Гадаведи» = «я перешел (улицу) наружу.

Слова: «туда», «сюда» не нужны здесь.

«Мо» — направление к 1-му лицу, а «ми» — ко 2-му указывает. (Верна, значит, моя интуиция: что «о» — координата личности, «я», центра и сердца; а «и» — уже плоскость и «ширь»: выход в мир и наружу, уровень действований и отношений).

Страдательные формы: их показатели ставятся после префикса направления: «интеба» = зажигается; «шендеба» = строится; «теба» = согревается (без приставки).

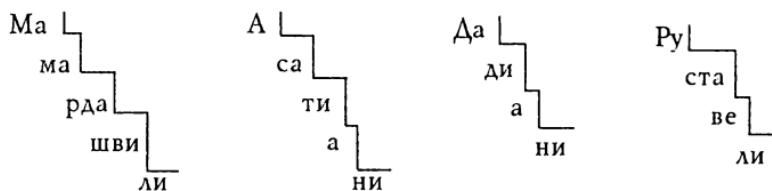
«Гамозапхулда» = «пришла весна» — не просто констатация, а обновление кругом: одновременно обозначает и состояние человека — новое внутреннее. То-есть: нет субъект-объектной разделенности, как в Европе, в мире отчуждения и аналитических языков.

«Запхули» — лето. «Газапхули» — весна. Лето, значит, как первосущность в Грузии берется из сезонов, а весна уж — «пред-лето». Так и в Болгарии, кстати: весна тут — «пролет» = про-лето...

Что касается Времени, то тут его выражение (и мышление о нем, значит) сходно с русским глаголом.

Силуэты имен

13.IV.80. Вдумываюсь в силуэты грузинских фамилий:



Сплошные каскады из «а» — и выполаживания чрез «и».

Космос ниспадания. Ослабление напряжения к концу слова, имени: женские рифмы, с ударением на втором слоге от конца тут слова, тогда как для исламских имен: Тенгиз, Чингиз, Рустам, Зохраб, Асмат, Махмуд... — характерен накат напряжения и силы к концу слова: разгон и штурм, закрытый слог, мужская рифма-клаузула...

Русский язык и стих и ритм ударений в словах сходен с грузинским: открытость слога: Ваня, Шура, Сеня, корова — и ослабление напряжения к концу, так что рифма женская тут характернее мужской. Но и разгон есть на слово, как и в ритме слова ислама: ямб для стиха характерен, тогда как для грузинского — хорей («Витязь...» так написан), так что Заболоцкому пришлось даже оправдывать кого-то из переводчиков, кто «грузинские шаири перевел ямбами», — ибо это более соответствует духу русского языка.³⁹

³⁹ Н. Заболоцкий. Избранные произведения. М., 1972. Т. II. С. 311.

Теперь обобщим: о чём говорят таковые строения имен и стиха? Во-первых, получаю себе критику прежнего своего вывода о космосе Грузии — как космосе завершенности, закрытости, совершенности: слог-то открытый типичен для окончаний имен, что разверзает: от сосредоточения на себе — на выход...

Или совершенство понимать — как мерность? Как саморазрешение внутренних напряжений, что и происходит в таком строении слова, где огненно-земельности согласного тут же отвечает водо-воздушность гласного: «ко-ро-ва», «Да-ди-а-ни» — здесь даже избыток гласности и воздушности: «зияние» — это и сочетание гласного с гласным: «-и-а-и», и пропасть (космосу гор соответствие)... Гашеная известь... Энергийность согласного, его динамизм разрешается-растворяется в просторе и легкости гласного, женского, мягкого звука. В этом смысле русский Космо-Логос мягок, кроток и смиренен, расслабляются тут напряжения и уходят в даль: «красные» — два гласных в конце слова, истаевание. И в грузинских именах на «а-и» (Асатиани, Дадиани) — выход в даль. Да и верно: Грузия же проход образует между Востоком Персии и Западом Эллады; меж Югом Турции и Севером России — на сквозняке как бы нация. Лишь Кавказ бледет пределы и затрудняет ветры и проходы... Так что открытость, отворёность есть в космосе Грузии: впускает в себя иное и к влияниям открыта, любознательна и восприимчива к Востоку и Западу, к Югу и Северу. Вбирает — но не выходит за себя, из себя: нет динамизма и взрывчатости, напора и разгона, как в исламе и тюрко-арабских именах, где слово разгоняется и, упираясь в пределы — закрытость слова согласным, заставляет его дрожать, как струну: Рус-там-м-м, Чин-гиз-з-з, Фар-хад-д-д... Недаром звонкие, а не глухие согласные чаще оканчивают исламские имена.

Сущен ислам: жаждет — воды и крови; не хватает орошения — и повисший мужской согласный жаждет, куда бы упасть — приткнуться, где бы себе гласный сдобить?.. Вот и кочует народ в поисках утоления и разрешения динамизму своему спретому — в пределах слогов закрытых; имена ислама — из двух закрытых слогов, как бы нагнетая внутреннюю энергетику, тогда как грузинские и русские имена тут же себе расслабление и погашение получают: ср. Чин-гиз и Ва-ня, Гу-ра.

Также и индийские имена самоудовлетворенны, и гармонично совмещены-разрешены в них напряжения: Га-у-та-ма, Шанка-ра, На-гар-дна, Виш-ну, Бра-ма и т. д. И не агрессивен народ индийский: самодостаточен в своих пределах: вся динамика тут и разрешается. Здесь полнота — и разрешение. Имена Китая тоже уравновешены и разрешены, но все же более энергетичны и струнно-звонки, как бы переходя от Индии к исламу: Кун-фуцзы, Мао-Дунь и т. д. Однако тоже воздержаны в своих пределах (за китайскою стеной).

Немецкие имена сходны с исламскими: закрыто-сложны и динамичны: Курт, Ганс, Фриц — без разрешения, мужски — без женщин (кого и рыщут-находят в соседней Франции, где, напротив, ударения — на последнем слоге, открытом, и избыток гласных; или в Польше да России). Сперты тут имена: недостаток словно воз духа и «жизненного пространства», так что выход им — или вверх (готика, стрельчатость), в дух, или внутрь себя: в свой Дом и слог закрытый = на работу рефлексии философии и музыки... Изыскать внутренние резервы самоорошения (и есть они: душа то, по немецки, Seele = «водяная», буквально): из скалы — источник чтоб забил...

В русских именах есть резкая разница в двух формах: казенно-официальной, государственной: Сергей, Александр, Ярослав, — и домашней, народной, материнской: Сережка, Шура, Саня, Слава, где все напряжения сняты, все гармонично, тогда как в казенной форме имя — во фронт стоит, грудь выпята в некоей неестественности — и динамизм искусственный через закрытосложность обретает: Сер Гей! Алек сандр! — исламу подстать: воинственно-скифски звучание звенит, накатно-разгонно на завершающий согласный.

Имена чреваты историософией: некие свои фантастические объяснения и истории могут предложить. Например, две формы имени: Петр и Петя = Государство и Народ — между ними сюжет русской истории. И то, что Русь все расширялась, — это не от Народа, что прирос, как растения и деревья, к местам-селам своим (вегетативен мужик, не животно-хищен), но от Социума: раз залегся в нем избыточный энергетизм, ничего не стоит ему сдвинуть по равнине некрепко приросшие к земле тела-души (а для иной

цели — их пришпиливать, легко съемных в бега, целым правом крепостным государству выпадало), — и вот они покатились, перекати-поле, голь перекатная, как по инерции: равномерно (ибо равнина) и прямолинейно (ибо путь-дорога в *далъ*), пока нет достаточных оснований остановиться тут, а не там, — пока не упрется в пояс гор: от Алтая до Кавказа, иль на упругость ответную других народов (на Западе). Так что русские расширяются и движутся реактивно: «от самой от себя у-бе-гу» (как поется в песне), т. е. от некоторой своей неполноты, несамодовольства, от своего все-отсутствия, тогда как арабы и тюрки-монголы (в зоне ислама) движутся — от своей переполноты, переогненности (тропики ведь!). Индийцы же и грузины — открыты, вбирают, впускают, но сами не активны наружу себя: в них мера, совершенство и гармония, «при себе-йность», Бытие при сути, сердечность и центральность.

Народы ислама, пояса этого плоскогорно-субтропического, жгучего, распространяются — как извержения вулканов или землятресения, что в космосе этой полосы чаще всего случаются на земле: близка тут и низовая, внутренняя магма-огненность Земли (а не только жар верха, Солнца, Ормузда), и в шариках-тельцах кочевников она пылко лютует — Аrimаний! — темный, генитально-страстный, низовой, половой. ...Семенники тут человечества, рода людского: недаром отсюда шло заселение Европы — великие переселения народов.

Раскат их — сверху вниз, с гор — в долины-равнины. А у русских — накат: разогнавшись на космодроме равнины балто-сибирского щита в разливе, по модели рек могучих российско-сибирских, наплескиваются волны на отроги гор азиатских...

...Да, велика в немецких и исламских именах жажды согласных = огненно-земельных, мужских звуков, когда в стыке они (как, еще острее, в армянском «мкртчян»: на 5 мужиков одна баба, гласная, поневоле и мужиков станешь в баб превращать тут = слоговыми делать согласные; армяне — «исламитяне», по космосу: плоскогорны, но без выхода их в разгон смертельно-эросный, и потому придавлены сущью своей и угнетены плотностью земли во *внутрь* себя...), — женщиной-гласным ороситься; так что у горластых-то, согласных, — туда тяга исторически-политического движения: в пространства, где Эрос к ним: «влече-

ные — род недуга...» гласных и звонких звуков избыток. Выходит: в именах и политику, и историю стран и народов предпрочитать можно — метод фонетики стихий используя...

«Иван» и «Ваня» — вслушаемся в разницу. В «Иван» — те же два гласных, что и в «Ваня», но как построено официальное имя? Взят гласный с разрешающего женского места в конце слова — и поставлен в *начало*, где уже играет совсем другую роль: наката, разгона, ямб образуя лютый и динамичный; и вот уже то же имя не кончается нежно-ласково, а дрожит-звенит воинственной струной: «н-н» — как в «Рус-там-м-м!» — тетива.

А уж «Петр» = совсем сухое, выжженное слово-имя: так и слышно в нем, как оно влаги-крови жаждет, задыхается в избытке огненности своей. Потому-то и потянуло его — на воды: на Неву, к корабельному делу и ко граду на воде; в нем — Эрос к наводнению: избыток суши, вулкан-землетрясение в имени (стык «тр!») наводнениями перманентными, как возмущениями воды, — отразиться должен был роковым образом...

Ну а еврейские имена? Тут внутренний избыток гласных: Исаак, Авраам — и, хотя закрыт слог (как и в исламских именах), но нет жажды и динамиза во *вне*, ибо согласный конечный притягивается ко внутри избыточной паре гласных, подсушивая их зияние; да, притянут внутрь, а не на выход во *вне* горит и рвется. Сравним: «Авраам», где «м» конечное глядит внутрь, притянуто предыдущим «а» после «а» же, — с «Рустам», где это «м» обращено наружу и рыщет-ищет себе недостающего гласного: хищное это «м», в отличие от кроткого в «Авраам», где «м» — агнец, скорее, жертвенный... Или «м» в «Гу-ра-ми»; оно погашено и совершенно спокойно, удовлетворены тут и гласные, и согласные: и волки сыты, и овцы целы. Вектор же евреиства — во *внутрь* себя: недаром самопоедание рефлексии в их психике развито; и замкнуто на себя существовала диаспора, не смешиваясь с другими народами.

А «Курт», «Франц»! Какая жесткость, огнеземельность, динамизм: имя — взрыв! Какая жажда в именах этих — по гласному тоска и Streben германский, и Sehnsucht!⁴⁰ Так что Эрос яро-

⁴⁰ Стремление и томление (нем.).

стный у германства к иудейству — это за избыточным у них гласным погоня: к нему зависть, к иудейской самодостаточности и завернутости во *внутрь* сèбя, так что им никакого «жизненного пространства» не нужно (в отличие от тевтонства, на него жадного), и живут себе в *Психо-Логосе минус Космос*: в принципе не нуждаясь в Природе, земле, территории. «Тора» — их «территория» была.

Сравним «Иаков», «Моисей», «Иуда», «Иисус», где в полтора-два раза больше гласных, чем согласных,— с «Ганс», «Вольфганг», «Рихард», где явная недостача-нехватка гласного элемента на душу согласного населения в слове,— и нам понятнее станет всплывчивость германства во иудейство иль в российство, иль в Галлию, где, как и на Руси, равномерно и упокоенно себя чувствуют согласные, достаточно обслуженные и ухоженные гласными: «Анастасия», «Светлана», «Лариса» (моего ми-лого женства: жены и дочерей провожу имена парадом-алле.— 17.VII.86.). Также в Галлии: «Жюли», «Сесиль», «Золя», «Юго» и т. д.

Воистину судьбы народов и человеков написаны в их именах, и недаром древние чувствовали мистерию в имени бога иль вещи, в названии мысли и души, так что знание его и упоминание чревато властью над существованием, этим именем обозначенным.

Причем звучность имен не обязательно соответствует природе, космосу обитания данного народа: меж ними диалог и дополнительность быть могут; так в германстве Космос — достаточно сыр, а в Логосе — сушь и жажда. Имена там очень заряженные, тогда как в России и Грузии имена — разряженные, упокоенные, гармоничные: моногамия между согласными и гласными, тогда как в именах ислама и германства — недостаток жён и отсюда динамизм к обладанию-завоеванию их...

Но — в Грузию! В Грузию! От выкладок опасных, кровавых, современных и чреватых,— подальше, чур меня! Обереги, грузинский Космо-Психо-Логос! И, ей-богу, заниматься им приятнее и плодотворнее — даже для уразумения всеобщих и всемирных проблем духа и культуры, нежели, например, американством и современностью пошлой. А тут, в архаизме,— благородства больше.

17.VII.86. Перепечатывая сейчас сию рискованную (ибо рискованную слишком) историософскую фантазию про имена, вспомнил я заповедь новозаветного Учителя своим апостолам: о том, что радейте, чтобы имена ваши писаны были на небесах,— и подумал: значит, они не в «Книге судеб», по несвободе космоса земли нам повеленные необходимостию окружной и вашей собственной природы, но некие обновленные, как бы небесные, что будут в «Книге животней»... Те имена, что мы получаем (и что я анализировал),— в них двоякость: и причина нам, пророчество и судьба, и зов-цель: одолеть судьбу и необходимость! Недаром при инициации — посвящении (таков обряд и крещения), при пострижении в монахи,— брали себе свободно новое имя, как бы с неба...

Но так и в соотношении Природы и Общества: знание рока своей натуры позволяет человеку в работе над собой осилить его; а знание, к чему тянет нас национального Космоса устройство, позволяет вырастающему на нем Обществу, в ходе Истории и Труда, высвобождаться от предопределения природы, совершив, по слову Маркса, прыжок из царства необходимости в царство свободы.

Мечтаний смерть: от сына...

12.IV.80. Вечер. Еду из библиотеки. Вспоминаю телефонный разговор днем с матерью: сказал, что хочу подать заявление в кооператив, чтобы квартиру переписать на имя жены, потом разведемся, потом мать меня пропишет — и ее квартира, в случае кончины, достанется нам. Сама она готова Настю прописать, да нельзя: мала.

Но она — ахнула: бурю вызвал я.

— В гроб загонишь! Это, конечно, все Светлана придумала! А ты — как кролик: согласился! Она оттяпает у тебя квартиру и оставит тебя на улице...

И я подумал: человек старый хочет, мечтает быть убитым, принять смерть — от сына, дочери; тогда смерть будет осмысленной: передача вины эстафетой совершиится.

Не просто случай и судьба окончат дни мои, но будет жизнь моя продолжена — в вечном угрызении чада моего.

Я его породил(а), а он меня — убил!

Замкнулась цепь — в кольцо, в совершенную фигуру.

Разговор с музыковедом

14.IV.80. Вчера с музыкантшей-грузинкой у мамы встречался: ее дипломница некогдашняя, сейчас вышла замуж за хохоляха (и сама-то уж — *грузская*: отец — грузин, мать — русская), а живет в Калининграде под Москвой и преподает в муз. училище.

Ламара Петараиа — так пишутся-звукуют имена-фамилии мегрельские, откуда род ее. Вона сколько гласных!

Кстати, и эстонцы-финны с избытком гласных: Сааремаа... — и мирный народ, невоинственный, чужого не жаждущий. Даже избыточно влажный, до сонности даже, как и вологодские русские, северяне берложки-спячие... Огненно-сухие германцы на этих мирных, сонных и влажных вожделеют в космо-историческом Эросе и бередят... Франц контра Яана...

Спросил я Ламару: а не смущает ли грузин перспектива асимиляции их народа? Ведь уже меньше 50% грузин в Грузии...

— Раньше у нас никогда никакого фанатизма национального не было, и мирно принимали другие народы, и странны нам слухи о погромах евреев или резне армян... Тбилиси вообще — интернациональный город, проходной двор, так что Пушкин, едучи в Эрзерум и остановясь в Тифлисе, его за армянский город счел. Но теперь — побаиваться начинаем. Вон армяне: у них более 90% армян в республике, и смешанных браков мало допускают, а у нас — беспечны на этот счет.

— Это от того, что самочувствие у грузин — «присебейности», удовлетворенности, нет тревоги (как у евреев и армян): Богом хранимость (Кавказом = Богом) чувствуют, словно в раю еще, до грехопадения. Как ни резали нашельцы долинных грузин — в горы не рисковали забираться. Да и ленивы даже на экстерминацию — персы да тюрки, в отличие от монголов и германцев: первые — самум и смерч, вторые — машина-автомат уничтожения были...

В музыке сейчас грузины падки перенять модерн: сонористику и додекафонию,— не пройдя фазы классического симфонизма; как и в живописи ныне — всякие кубизмы и абстракционизмы, не пройдя классического портрета, взглядывания в личность, в глаза, в душу... То есть, процессы, типичные для ускоренно развивающихся народов и культур. Хотя и древняя нация и культура...

Собственно музыкальные фазы их такие. Сперва и всегда — народное пение, древнее, хоровое. Потом византийско-христианский пришел мелос в литургию, но он быстро ассимилировался с народным пением, ибо антифонность (солист-хор, попеременно, что требовалось в литургии) как раз натурально присуща народному пению, так что христианство впиталось естественно — еще и в похоронный обряд, очень важный и разработанный в Грузии...

В XVIII веке поэт Бесики: восточно-персидское влияние и мелос, романно-городской стиль. В XIX веке профессиональная композиция началась — в жанре романсов (как вывески Пирсмани). Потом — оперы влияние итальянской, что уже с 50-х гг. XIX в. была в Тбилиси.

— Да! — включился я. — В «Даиси» Пуччини слышится «Мадам Баттерфляй», весьма...

— В XX веке — симфонические поэмы на народные и литературные сюжеты. Но симфонизма настоящего — нет...

— Слышал я 5-ю симфонию Гии Канчелли: потрясен был... Но вообще-то там — не развитие, а контрастные сопоставления, нездешняя звучность, сонорные эффекты... А из европейских музыкальных традиций какая роднее всего воспринимается грузинами?

— Итальянская, конечно...

— Потом — французская, наверное: красочность, вариационность. Затем — русская. И чуже всего, наверное, — немецкая?..

— Да, именно так.

Да, симфонизм — от страдания, из личности: самоопорно развивает она из себя целый универсум. В Грузии же такого самочувствия нет — одиночества, так что симфонизму нет психейной почвы. Симфонизм — это отрицательность, стремление — от

недостаточности и «зависти» к тому, что вне меня... К идеалу — достичь его. А тут — все Бытие здесь и теперь, при себе. Космос довольства. Не развивать, а перебрать разные сочленения Бытия тут присуще, статически любуясь или переживая (смерть, память...).

Но к середине XX века уже достаточно накоплено опыта страданий личностных — и вот камерная музыка: квартеты Цинцадзе... Да и симфонии опять же Канчелли. Там, в Пятой, помню: начинается с детской наивной попевки у одинокого инструмента, струнно-щипкового, иль у арфы... И вдруг стремительно, лавиной-камнепадом, в «гадавардна» (= очертя голову) обрушивается смерч Смерти — в тутти оркестра; пролетело молниеносно — и опять тишина, вслушивание... Потом — хоралы, память средневековая... И снова скрежеты Смерти, или вообще XX века... Но нет взаимопревращения мотивов, разработки, отождествления противоположностей... Чужое так и остается чужим, свое — своим: нет «своего другого» германской диалектики и симфонизма... Симфонизм — аналитика, «кантовость». А тут — синтетика (как и в языке), «платоновость», умозрение, разновидение...

Спросил: поют ли женщины и как и что?

— Мало поют. Лишь колыбельные и причитания на похоронах. А так, хоровых и сольных женских пений нету. И притом — низкие голоса почитаются, а не сопрано-птичка...

Ну да: женщина тут — сивилла, вещунья, мистерия матери-земли; сдавленность-сдержанность обычно в ней, каменность. И лишь при смерти — ее зона, ее право голоса. Именно это — и в философа задало. Мамардашвили так рассказывал-мыслил: «Дело происходит в грузинской горной деревне, где родился отец и где я часто бывал, там на похоронах плачут профессиональные плакальщицы, как ударами кнута взбивая чувствительность и приводя человека в психически ненормальное состояние, близкое к экстатическому. Они — профессионалы и, естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения. Юношей я не мог понять: зачем это? Ведь они притворяются! А позже, как мне показалось, понял: ведь психические состояния как таковые («искренние чувства», «горе» и т. п.) не

могут сохраняться в одной и той же интенсивности, рассеиваются, сменяются в дурной бесконечности, уходят в песок и не могут сами по себе, своим сиюминутным дискретным конкретным содержанием служить основанием для явлений памяти, продуктивного переживания, человеческой связи, общения. (А в Грузии оно и по горизонтали: хор друзей-мужей,— и по вертикали: склепы предков, родно-кровность земли, ее притяжение. И вот женщины именно взбивают эту память — как кнутами: себе на лоно — слез орошение и питание; тут «наша сила, наша воля, наша власть!» — могут сказать.— Г.Г.). Почему, собственно, и как можно помнить умершего, переживать человеческое чувство?— Всплакнул, а потом рассеялось, забыл... Дело в том, что естественно забыть, а помнить — искусственно. Искусственно в смысле культуры и самих основ нашей сознательной жизни... Реактивность нашей психики — это одно, а ее проработка человеком в преднаходимых им общественных культурных предметах — другое».⁴¹

Тут и ко грузинскому Логосу нам подступ: «Обязательность формы» — так означил идею своего выступления Мамардашвили. И это — воспитанность, этикетность грузина, ритуальность его поведения, то, что он не может ценить естественность и искренность: они дурно пахнут и прятят его аристократизму. Все это от чуткого ощущения своей исполненности — родом, на-родом, одним словом — не самости своей, но обязанности. Причем она — благая, не чувствуется насильственной и давящей. Ибо — гармония тут меж индивидом и общиной в малом-то полисе, в обозримом Целом...

Это и в народном хоровом пении сказывается: именно потому что четко заданы и на слуху у всех априорные возможные тут ходы и лады и интервалы,— каждый может лично и бас держать, и импровизировать в «криманчули» высокогорным голосом...

Дорога — вперед = Вспять...

17.VII.86. Приводя в порядок свое Грузинское путешествие 1980 года, захотел еще раз прикоснуться к современной прозе и освежить в себе облик Грузии. «Дорога в детство» — назвал свой

⁴¹ «Вопросы литературы», 1976, № 11. С. 77.

роман-раздумье Тенгиз Буачидзе («Литературная Грузия», 1985, №№ 4, 5, 6). И мне интересно: посмотреть да посравнить, как грузинство, сущность которого я пытался доселе уловить на материале классической литературы, обитает в нынешних писателях и трансформируется?.. И роман Буачидзе мне доставляет тут материал хороший.

Жили — и — куда девались: родители, предки? Но и я вот — жив, и они так же, мои отец и мать: самочувствовались остро и невыносимо волновались, ожидая свидания или в очереди, как и я в сей миг... — зачем? куда?..

Но вот идет История, и стоят недвижно страна Грузия и город Тбилиси. Они как: поверх нас, независимо движутся и бытуют? Или — нами питаются, и мы им необходимы? Значит, есть смысл в нашем существовании: мы им годимся, вливаемся, как кирпичики строительные? — Да, наверное, это так. Но все равно: сознание такой пользы не утоляет душу. Нет: куда вот эта улыбка отца иль трепет любви, что в слове письма пульсирует, — ужли безотзыvны они и ничем более не достоверны?

Они — в СЛЕЗАХ — моих, нынешних, всевечных, какие должны и над нами некогда проливать(ся)... «В полузаубтой связке бумаг я случайно наткнулся на старые письма, и глаза мои невольно наполнились слезами. Ничего не поделаешь — годы. Эти пожелтевшие от времени листки могли вызвать грусть, сожаление, печаль, но... слезы?» (№ 4, с. 24). = «Откуда эти слезы? Зачем оне?» — как Лиза в «Пиковой даме» Чайковского... Вековечный вопрос и всестранный и всенародный.

И все же грузин недаром вдумывается в эти слезы: для него они не просто некая физиология чувствительности, но — метафизика души бытия. Напоминаю, что и в «Витязе...» очень много плачут — и не женщины, а мужи, рыцари; на это обратила внимание моя дочь...

Вот и современный человек (автор): уж в таких тиглях привычной жестокости мира сего и бездушности истории выварен, что удивляться и плакать — нечего, бессмысленно! Войны, лагеря, «массакры», «экстерминации» народов и миллионов!.. Где уж тут над мелочишкой связки писем плакать? Это некогда чувствительные барышни благополучного XIX века могли ахать-сле-

зиться, видя, как «Цветок засохший, безуханный» выпал из книги; а нам-то — стыдно уж так рассиропливаться!

И все же внутренний сюжет романа — в диалоге прав на слезы! Ведут между собою словно тяжбу — разноплановые сущности бытия: кто больше имеет право на наши слезы? С первых страниц трубно вступает в действие и подает свой непрекаемый голос великая Война: письма с фронта, роковой день 22 июня 1941. И все главное внешнее действие — в годы войны совершается: фронт, танк, а дома — госпиталь, кровь и смерти. Там, на фронте,— Он, юный, 18–20-летний. Здесь — Она, навечно 18-летняя сестра милосердия, любовь и поэзия...

Но и вглубь, за войну прорезывается память — и там пропступают очертания столь же могучей, как и Война, субстанции Бытия: это История, ее шествие и колесо — тоже давящее и сминающее жизни и тех, кто мужественно ускоряют ее качение, как коммунисты-революционеры: поколение родителей, что тоже вечно юны остались, ибо гибли или в Революции, или на «Гражданке», или уж потом — исчезали иные по доносам таких «товарищей», как Симон Габгабия. И тут тоже свое право на слезы. И шествие романа словно нацелено к припоминанию еще одного рокового дня: дня ареста отца — и этот день равномощен в праве на слезы, как и всенародный скорби день — 22 июня.

Но и далее в глубь себя и субстанции Грузии вбирается душа и мысль и чувство: убийство Ильи Чавчавадзе потрясающе проходит перед очами души — в замедленной словно съемке: как совершилось это тяжкое и уму не постижимое бедствие?! И протокольные записи об этих минутах равномощны хронике годов войны, что ведет в своем дневнике юная Марина; но, как это ни парадоксально, слез вызывают они — больше.

Значит, трагедия Культуры и преемственность ее творцов (еще и о Бараташвили щемящие душу страницы: восстановление облика мгновений и живых страданий поэта; сюда же и записи о чтениях стихов Симоном Чиковани и Галактионом Табидзе в годы войны...) своим голосом в полифонии деятелей Бытия глаголет и право на слезы нашего сердца оспаривает... Но тут уже слезы какие-то прочищенные, умиленные, восхищенные («над вымыс-

лом слезами обольюсь» — Пушкин): без ужаса, как при столкновении с голой смертью Войны и предательством Истории.

Еще пласт — это Род: родные жившие и любимые человечки: Дед, бабушки, мать, сестра, брат, друг. Уклад Рода — в диалоге и споре за душу и сердце наше — с Идеями нового мира, который это все «разрушит до основания»: только что вот сумеет построить? — вопрос. Лучше ли? И тут мудрый Дед, честный рыцарь прежней Грузии, гениальное «рационализаторское предложение» подает: «Дедушка говорил, что собрания и митинги следует проводить на кладбищах, чтобы все позабыли дрязги, склоки, все проходящее и бренное и пред лицом таинственной вечности справедливо решали бы свои земные дела». (№ 4, с. 51). И верно: тогда не будет и словоблудия: стыдно балаболить перед душами предков, что незримо присутствуют и собеседуют и судят нас.

И вот роман Буачидзе есть словно исповедь — на кладбище: припоминание человеком жизни своей и общей, и близких и любимых — дума в присутствии всей толщи предков Грузии, включая и героев «Вепхисткаосани» (Какое слово божественное! Жаль, что не разобрал его раньше методом фонетики стихий: в нем весь Космос Грузии и ее Логос!) = «Витязя в тигровой (барсовой) шкуре», что тут даже в ирои-комическом варианте проступают: незадачливый миджнур доктор Дмитрий Джишакриани пишет любовное послание Елене Мизандари (как пишут таковые послания персонажи «Витязя...»), матери юного Дато, где уподобляет ее тигрице: «Вы стремительно вышли в другую комнату, сильными и гибкими движениями напомнив тигрицу, и прижавшийся к вам мальчик был как тигренок... Я тогда впервые понял..., почему в Грузии развит культ женщины, почему боготворят Тамар...» (№ 6, с. 51). Но и Руставели в запеве к поэме упоминает некую:

Мне она дороже жизни, беспощадная тигрица.
Пусть, не названная мною, здесь она отобразится!

(Пер. Н. Заболоцкого)

И предполагают легендарно, что это сама Тамар-царица. Но и Нестан-Дареджан имеет своим символом тигрицу, шкуру которой носит миджнур Тариэл...

Любимые люди, милые мелочи, что помнятся и щемят душу — и тоже источают слезы, и благодаря ближайшей сердцу конкретности этих существ и ощущений тут слезы льются щедрее, неудержимее...

Можно даже вывести закон — обратной пропорциональности: чем общезначимее скорбь (ее предмет — большой: История, Народ, Война) и вроде бы массированнее фундировано право на слезы твои, тем их более... — нету. Да и в песне поется о проводах на подвиг: «Я тебя провожала, / Но слезы сдержала, / И были сухими глаза». А вот простой домашний снимок девочки и мальчика под ивой на солнце, ловящих рыбку,— вот это может истортгнуть слезы непрошеные... Вот именно: там, при великих событиях, они очень уж прощенные и обязательные — и принудительные тем самым. А слезы — дело свободное, личное, спонтанное: им не прикажешь, как и сердцу.

Да и то правда: ведь История отпечатлевается в летописях-«анналах»; а герои, павшие на Войне,— в годовщинах общественным поминовением отмечаются: им и памятники, и ордена, и скрижали... То есть, много форм запечатления и бессмертия им отряжено. А вот застенчивой улыбке на милом лице уже отлетевшего в небытие существа — какая еще может тут быть поминальная обитель?— Только моя слеза! Никому более не понятная и не сообщимая...

Потому-то именно она и льется!

Кажется, я вывел рациональный ответ на вопрос автора, с которого начинается роман. Это роман — задумчивый: он как бы уравнение это трудное решает нашего существования, удельный вес его сил-потоков, со многими неизвестными. В авторе, в сем современном и даже «модерном» человеке, словно новый Тарийэл объявился-прорезался, сидящий на камне, миджнур Жизни, липший слезы об этой вечной возлюбленной... Он ущемлен ее стрелою в самое сердце и парализован — делать что-то, двигаться, желать, судить... Как можно и к чему, коли и пока не разрешена загадка смысла существования?..

Да, вот это: грузинства толща, Истории и Культуры веков и тысячелетий присутствие (не как фона во *вне*, а именно в душе, в психее каждого грузина: и юной девочки-поэтессы Марины, и в

самом авторе) — смягчает боль от, кажется, невыносимых страданий текущего момента истории, что запечатлен: Война, 30-е годы... Но нет потрясания кулаками и вопияния: «За что?! Какая нелепость!» — как это бывает в трагедии, для которой нужна некоторая наивность сознания у народа и человека, полагающего, что все может быть разрешимо и именно сейчас, разумно и идеально...

Нет: школа тысячелетий и десятки поколений предков — их опыт неотторжимо в существе каждого грузина пребывает⁴² — и смягчает ужасы нынешнего живота и его нелепости. А к ним — меланхолическая улыбка и светлая печаль, но не собственно меланхолия (что черна: «черная желчь», по-гречески) гневной сатиры или мировой скорби, допустим...

И потому роман — в лирической дымке и в звуках тихой музыки, обволокнут ими,— как лейтмотив. Лунная дорожка, движение по ней друг другу на встречу меня нынешнего и меня же, дитяти и отрока,— и встреча «на далеком меридиане»... 40 лет назад. И вот мы входим друг во друга, перекрещиваемся, заходим уж за спины друг друга — и это, наверное, и конец, истаивание нас...

⁴² Весьма кстати попалось мне в этих же номерах «Литературной Грузии» (№ 6 за 1985) стихотворение Ушанги Рижинашвили на тему этой же мысли — «Корни». Себя грузин зрит как толщу, в коей — залежь предков, самоходное кладбище. «Предки мои проросли в каждой клеточке тела: Скажем, эта рука с родинкой у плеча, Вы думаете, она только моя? Но как бы тогда я смог Дом сложить из плоских речных валунов, Ведь рука моя никогда не училась такому. Да это ж прапрадед мой Руку воздел с мастерком деревянным И ловко кладет камень на камень. Скрепляя кладку яичным белком...

А эти вот ноги — Вы думаете, они только мои? Но как бы тогда я ходил босиком По колючей стерне? Да, это ж прадед мой выдубленными подошвами Ступает легко, подбирая колосья...

А эти вот уши?.. А эти глаза?.. Вы думаете, они только мои?..

Я не хожу на кладбище С цветами полуувядшими, Чтобы, вздохнув, положить их На хладные камни. Предки мои — не там Под плитами и надгробьями. Они — во мне. И суть моя Подвластна их зову...» (с. 8–10).

Таким образом, я — это и я, и интеграл предков, и всё их некогдашнее существование живо в моей душевности: «Тогда отчего, скажите, Вам кажется иногда, Будто нечто с вами уже случалось когда-то, Но где и когда — не вспомнить никак. И отчего взгрустнется вам вдруг В разгар застолья шального?..» Вопросы — как младенец, чуткий к метафизике бытия, задает Отцу в «Лесном царстве» Гете. И, как Отец, я хочу ответить: «То их прошлые жизни в тебе говорят» (= «То ветлы седые стоят в стороне»,— как отвечает Отец сыну, зрящему Лесного Царя). Но этот ответ — им самим себе уж сказан...

Те определения Космо-Психо-Логоса Грузии, что я добыл в предыдущих исканиях, вполне нахожу их в романе Буачидзе. Космос свершения, при-существо, при-бытия, движения, что пребывает,— вот он:

«Если все же верно, что дорога в детство начинается тогда, когда кончается дорога из детства, значит, действительно, мы жаждем оглянуться назад именно на пороге вечного безмолвия.

И удивителен непостижимый закон круговорота времени — приближаясь к концу, мы неизбежно оказываемся в *начале* прошедшего пути». (№ 4, с. 27).

Русский образ ДОРОГИ — безоглядно вперед, в незнаемую бесконечность и незавершенность — никак не кругооборот. А здесь... И дорога — куда? Не вперед, параллельно жизни, но — вспять. И они сходятся: радиус с рождения до 18–20 лет и радиус от меня 50–60-летнего вспять, встречь — где-то около Центра Бытия (моего, да и вообще...)

Кстати, и роман Отара Чиладзе «Шел по дороге человек» — о Медее и аргонавтах! То есть, дорога — вспять, в память, дорога Истории: к тому, что было, = к тому, что ЕСТЬ сейчас в нас, как в колодце многослойном из культурных пластов, что археология и психоанализ раскапывают...

«Первое слово — рекам... Ведь и мы, люди, подобны рекам. Всегда одни и те же и в то же время другие. То взволнованы, то спокойны, то спешим, то еле тащимся. Куда?!. Вливаемся в этот извечный бег и, кружась в бесконечном круге от условного начала до условного конца, вечно стремимся и стремимся куда-то...»

Но таков же — и Тбилиси, символ грузинства: «И все же, что бы ни случилось, Тбилиси все равно останется Тбилиси. Изменится его облик, расположение, форма, высота, изменится его население, но та закваска, основа, тот корень (вспомним «Корни» Рижинашвили, что я, человек, как «все мое — ношу с собой», в себе.— Г.Г.), который не описать и не выразить словами, то, что зовется просто Тбилиси, вечно и неизменно: он все переплавит в своем горниле, все переделает на свой лад и всех, кто будет здесь жить, превратит в истинных тбилисцев...

Еще и над законом «равновесия» задумываются в романе: «Дедушка говорил, что в конце концов все приходит к равнове-

сию. Что это значит? Как это происходит и что приходит в равновесие? Подлость и честность?..»

Вот пример грузинского Логоса: Равновесие — утверждается. Равновесие — ставится под вопрос. И оба имеют смысл. (Так и река: она та же — и не та). Равновесие ставится под сомнение, но все же о НЕМ речь, и оно не отвергается, а лишь уточняется (его толща и субстанция) обогащающим его — вопросом. Так: вместе с вопросом своим пусть и существует это понятие, но именно ОНО, а не другое какое; и это характерно для миропонимания грузинского.

Для раздумий найдена адекватная форма — дневник отроковицы (думающая женщина — это характерно для Грузии), а в нем — стихи и вопросы. И это два основных модуса существования грузинского Логоса: он не холодно рассудочен, но образен и поэтичен, во-первых; а, во-вторых, твердая тезисность горы-камня тут же овеяется изгибчатым вопросом, как рекою. Так что и тут диалог: Горы и Долины и Реки. Гора и долина — поэзии твердь, что есть тезис-утверждение некоей мысли, мужское начало. И — размыт тверди рекою, водою = тезиса — вопросом.

Вот Марина толкует «Мерани» — гениальное стихотворение Николоза Бараташвили: «Мерани»... Смысл человеческого бытия — в борьбе, в борьбе и стремлении к недостижимой цели (эта идея стала мне настолько близкой, я так внутренне перестрадала ее, что она будто вышла из сокровенных глубин моей души!) (Душа = как толща Горы! — Г.Г.), каждый должен прокладывать к ней дорогу для других, идущий вслед продолжит ее дальше, и так бесконечно...»

Вот — тезис, решение, утверждение. Но следующий абзац — из сплошных вопросов: «А, может, это идея самопознания, стремление к самому себе? Или острыя жажды познания того, кого иные зовут богом, а другие природой? А черный ворон, «каркающий вслед черный ворон», не есть ли он воплощение сомнения, неверия в свои силы, которое и вправду постоянно гложет сердце человека и с безграничных высот безжалостно бросает его оземь?

Не знаю».

Однако в этой опояси вопросов и негаций прорезалась и основная авторская позитивная идея, которой можно держаться

человеку, в итоге всех опытов, борений и отчаяний жизни: стремление к недостижимой цели, прокладывай эту дорогу сам — и ее продолжат! Тут уже нет круга и возврата, но только вперед и ввысь — таков вектор дороги духовного усилия ко благу, нашего превозможения — и немощи своей натуры, и злободневия времени, и всех препятствующих обстояний нас. Тут труд одного поколения плюсуется к другому (а не расточает капитал отцов, или уравновешивает попятным движением или в иную сторону), эта дорога не поддается негации, а накопления не подвержены банкротству.

Разочарование в «жизнemyсли»

18.VII.86. Бессонная ночь: перетомил мозг свой, значит, в последние месяцы... Надо действительно расслабиться — и с охотой ехать с семьей в Болгарию, на море: плавать, курортничать... В ночи уже созрел для этого; возмечтал и представлял. Можно и там себе задать нагрузку: плавание, прогулки — и отключить ум.

А ведь ЖИЗНЬ — надоела: в нее вглядываться и добывать слова ей и выражение. Приятнее даже с нею — на уровне МЫСЛИ чужой — собеседовать: в сублимации уже.

Вон вчера роман Тенгиза Буачидзе толковал и там задумывался над сверх-идеями и на их развитие выходил: СЛЕЗЫ промыслил, их метафизику воскресительно-памятную.

А что извлеку из жизни своей сего дня? Неохота и взглянуться в тутошнее, бездиапазонное: здесь тебе и жизнь, тут и мысль — волочится, как сволочь, низко... Нет! Подале бы Мыслию взлететь — в нездешнее куда, в эмпиреи, а оттуда уже можно и на текущесть и свое ныне ощущеньице взглянуть и посравнить. Будет диапазон и дыхание и полет.

А ЖИЗНЕМЫСЛЬ моя — поднадоедает: бескрылостию начинает тошнить, придавливать. На нее я вышел четверть века назад, когда трепетал-боялся Жизнь не прожить: что минуют меня ее опыты, страсти... Но вот уж — прожил жизнь и устал баражаться в ее опытах и сотрясениях страстей. Забыться — и отлететь — в высокое и отвлеченное! Сейчас вот — в шаири Руставели окунусь! В вечную мудрость.

Аккорд «шаири»

3

аканчивая путешествие ума в Грузинский Космос, припасть иду к святыне — к Руставели. Давно прикасался, брал оттуда соображения, контролировал «Витязем...» свои идеи о разном и прочем, но в плотную на сие Солнце не подходил лицезреть. Да и сейчас — не смею кинуть прямой взгляд: исследовать, анализировать поэму, а лишь некие себе проверочные штрихи оттуда возьму. Прислоню свое понимание к колоннам сего храма — как к духовнику на исповедь взойду.

И вот с ходу раскрываю многократно читанное — и попадаю на главу «Отъезд Автандила к Фридону...», где записан космический плач героя: взыывает к семи классическим светилам за сочувствием; а в конце:

Звери, слыша Автандила, шли толпою из дубрав,
Из реки на берег камни выходили, зарыдав,
И внимали, и дивились на его сердечный нрав,
И свои точили слезы, орошая листья трав.⁴³

КОСМОС СОСТРАДАНЬЯ — вот Грузинский! Хоровое вслушивание друг во друга. Община светил — как Род-ня индивиду, а также звери и травы. Хотя и одиноко и холодно одному, но все — потенциальные братья, и потому взыывает к ним.

Солнечность! У поэмы — золотистый цвет. Обращенность лицом к милому свету и небу во Любви возвышенной. И одновременно: жгучий жар Солнца умирел и умерен — слезами, влагою, что дождем струят души, сердца, глаза. Источник слез — сердце человека.

Но оно и есть Солнце в солнечной системе нашего существа и его органов (другие = планеты: Желудок = Сатурн, Печень = Юпитер иль Марс, Легкие = Венера, к примеру,— и т. д.). Так что диалог: Солнце и Слезы = это диалог двух солнц: мирового, космического — и человечье-гуманно-земного.

Они — навстречу друг другу: два сердца бытия. И одно лиет свет, другое струит слезы-капли. Лучи в каплях — как бывает

⁴³ Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого. Т. I, Тбилиси, 1958. С. 163.

дождь при солнце («грибной» его называют на Руси): когда искоса глядит-надзирает солнце, а над нами вблизи впрямую — туча беды, страдание. Но так как и солнце все же очевидно, присутствует,— то нет и трагедии, абсолютизма страдания, а есть надежда, что все выровняется в равновесии-гармонии бытия...

Так что, если Гоголь свой принцип во русском космосе назвал: «смех сквозь слезы», то тут СВЕТ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ — вот принцип устроения Грузинской Психеи= Мировой души во грузинском варианте. Похоже это на русское понятие «светлая печаль», что Пушкин применительно к Жуковскому высказывал... Да и — о Боже!— как раз и ко Грузии:

...Шумит Арагва предо мною,
Печаль моя светла...

Навеян термин, слово: как не поверить в некую индукцию Космоса — в чуткую Психею поэта?..

Но на Руси слезы — не в почете: мало эстетичны они в космосе Мати-сырой земли, где сама природа непрерывно сочится влагою, лиет-мочит. Слезы тут — как моча бытия, недержание души. Потому их тут стыдливо придерживают («И были сухими глаза» — гордость в печали выражается как бесслезность); не давать воли своему естественно жидкому порыву сочиться — ну, как детей воспитывают удерживать позыв мочиться... «Москва слезам не верит», и даже Гоголь свои слезы чувствительного малоросса шифрует — смехом.

В твердо-каменном космосе Кавказа, однако, слеза, источенная из скалы-кремня человека и земли не сырой, есть драгоценность, лал-кристалл — камень драгоценный: агат, сердолик, яшма... И потому добыча слез в «Витязе...» = что ловля жемчужин в океане Жизни, как горняцкая работа в шахте Психеи: самоцветную руду на гора выносить из штолни поэтического вручения-забоя кайлом шаири. (Подобно в жестоковыйном космосе пустыни иудейской: не стыдно Давиду слезы лить в псалмах своих, и пророки не стесняются вопиять: жезл — в скалу души — и зацвела она — слезами.)

Слезы сквозь Свет

Похоже, что здесь мы уловили полюса некоего фундаментального для грузинства силового поля: сердце и Солнце, или Солнце сквозь сердце,— припáрив друг другу явление Космоса (Солнце) и средоточие Психеи (сердце). А между ними, этими первоисточными полюсами,— поприще Логоса: мудрость ума. Но она тут СО-образована, а не самостна: удерж уму — при сердце, с одной стороны, а с другой — при Солнце: вглядываясь в устройение мира, Бытия. Но нет сухого и холодного рационализма, как в Рассудке западной цивилизации, что освободился от чувства в математической науке Чистого разума. Но нет и волюнтаристского Практического разума Свободы (опять же Кант, Фихте, Ницше...), что провозглашает экзистенциалистски свое правомочие, не сообразуясь с внешним устроением мира, объективной реальности.

Эта же главка поэмы, на которую я чудесно напал сейчас думать,— сие и подтверждает. Автандил в тоске сначала обращает взгляд духа своего к небу и ведет разговор с Солнцем и прочим светилами, а потом поворачивается внутрь себя и заклинает другой полюс Бытия, равномощный во грузинстве:

И тогда сказал я сердцу: «Для чего твои стенанья?
Сатана в тебя вселяет столь великие терзанья!»

Ахиллес в «Илиаде» в ситуации гнева, колеблясь меж двумя выборами ума: или вынуть меч и вонзить в оскорбителя своего, Агамемнона, или смирить себя, обуздать разгневанное сердце?— получает решающую все волю божества: слетает Афина и помогает удержаться:

...И, довольствуя гневное сердце,
Злыми словами язви, но рукою меча не касайся!

— советует-наущает богиня сам по себе слабый решить человечий рассудок. Подобно и Автандил: сначала возвзвал к небесным силам, как бы в молитве, а потом обратился к слепому сердцу в тьме-пещере нутри, в колодце-шахте моей натуры-фигуры таящемуся, и поучает его, вносит свет разума-понимания. Как истый платоник: пришел со светом в свою пещеру. (Вспомним притчу в *начале* 7-й книги «Государства»).

Применительно к «Илиаде» таковое именуют «принципом двойной мотивировки»: Ахилл-человек и сам решил, в противоречиях-борениях рассудка выйдя к выводу,— и бог помог; а поэт эпический может тут и не решать, кто ж именно все-таки. Не обязан склоняться к монизму. Потом в культуре Запада возобладает монизм: решение личности, «я»... Но грузинство — мягче, не категорично, и при двойной мотивировке согласно оставаться и ныне (как мы по роману Буачидзе выясняли). И даже более того: мы, каждое «я» мечется-волнуется во абсолютной всегда, жизне-смертной ситуации: «или-или!» — и несет всю полноту ответственности за то или иное решение... (Многоточие почувствовал я себя понужденным в конец этого утверждения, слишком категоричного, не по-грузински,— расслабляющее поставить...). И в то же время сквозь нас, нами деет-живет-дышиит и Небо Грузии, и Горы, и Свет, и Поэзия, и вся толща поколений и судеб... (Вот и Ушанги Рижинашвили склонен при «двойной мотивировке» оставаться: «А эти вот ноги — Вы думаете, они только мои?» — Значит: не только мои-прадедовы, но и мои). И музыка, и дымка улыбки, и лунная дорожка...

Каждый из нас, каждая жизнь — что капля-слеза в лучах светящего сквозь нас Солнца. И сие преломление, радугу-спектр чудо-любо глядеть-описывать в нескончаемом платоническом созерцании («тхеорео!») от Руставели до наших дней.

В обращении Автандила к своему сердцу знаменательно объяснение его терзаний — сатаною. Отсюда, от противного (именно!) выводим, что Бог Грузии ощущается как бог Радости, кротости и любви. И таков общий колорит и «Витязя...», и всех там страданий и борений. В интонации стиха мудрая улыбка — как основной тон: органный пункт на Радости бытия все время слышится...

Сама сказочная схема сюжета, внутри которого все свершается, уже заранее задает благое разрешение и солнечность в конце. Нет, кстати, этого, в «Илиаде»: хмуро-трагично ее представление — гибель Гектора, Ахилла... «Нет великого Патрокла — жив презрительный Терсит,» — как итог «Илиады» формулирует где-то Блок...

Но в «Одиссее» все же благой конец есть. И наш «Витязь...» — как бы контаминация «Илиады» и «Одиссеи»: и битвы, и путе-

шествия-приключения, задержки и пленения (как Одиссея на острове Калипсо, так и Автандила — в увлечении Фатьмой), и острова, и пещеры, и чудесные клады и оружья... — это уже в стиле арабских сказок «Тысячи и одной ночи» — близкий же ареал!.. Как Синдбад-мореход, и Автандил купечествует в поисках Нестан...

Таким образом, сюжет поэмы — универсальная схема бытия и прекрасный каркас для нанизывания туда всевозможных ситуаций-узоров существования и, соответственно, для речений мудрости, которые там — воистину на все случаи жизни на века грузинства предусмотрены.

На шаг-стих сюжета два шага-стиха афоризмов приходится.

И отправились герои повидать сестру свою...
 Автандил промолвил другу: «Мне служить тебе —
 отрада,
 Но и ты забудь о ранах и не пей напрасно яда.
 Бесполезна нам наука, коль творим не то, что
 надо,—
 Посуди, какая польза от закопанного клада?
 Мало толку, если горе несчастливого снедает:
 До назначенного срока человек не умирает.
 Роза, солнца ожидая, по три дня не увядает.
 Смелость, счастье и победа — вот что смертным
 подобает.

Что ни стих — то афоризм. Это я наугад ткнул пальцем. Но и везде такая пропорция. Не столь озабочен поэт, чтобы картинно описать-изобразить событие, битву, приключение, случай, — сколько тем, чтобы отточить ювелирно драгоценный камень афоризма при этом и навесить на фабулу, как колье на красавицу... И из-под украшений этих великолепно бряцающих не столь видится и ценится также прекрасное пропступающее тело.

Но что есть АФОРИЗМ — как жанр во Логосе?

Это — сведение концов с концами, уравновешенная и самодержащаяся мысль, закрытая, самодостаточная, присебейная, не нуждающаяся в продолжении и развитии, как мысль, кричащая гласом вопиющего в пустыне и алчущего разрешения.

Афоризм — как прекрасная мелодия, законченная в себе, отполированная, что можно без конца одну и ту же напевать.

А иной тип мысли — как тема сонаты иль симфонии: она — не прекрасна, даже безобразна быть может в своей динамике, торчит во все стороны заусеницами, выступами-ущербами, заявочна, хочет жить-мыслить-страдать-развиваться.

Афоризм = мысль-шар, свернутая, мысль-споря, могущая существовать нераскупоренною бесконечное время, мысль-улитка.

Мысль-тезис иль вопрос — нечто иное: она и сказывается сразу беззащитно, навлекая на себя каскад возражений-противоречий и в себе, и снаружи,— и так начинает дышать, набухать, разрастаться...

Любопытно, что афоризмы и максимы — жанр мышления, развитый во Франции, с коей мы не раз отмечали у грузинства сходство. А для германского и русского Логосов — это чуждая форма мысли: здесь любят мысль, открытую на разработку, в бесконечность-незавершенность. Отсюда и симфонизм в обеих этих странах мощный — и в музыке, и в литературе.

Также и в поэзии исламского региона, в арабо-персидской, афоризм — в чести преимущественной. Жара!.. Где тут разгортаться на мысль долгую, как роман?.. Свиться под чинару — и смаковать сложившийся во рту стих, как шлифовать камень...

Сначала я думал пройтись по «Витязю...» и подобрать речения, подкрепляющие мои основные тезисы о грузинстве, что выдвинуты на предыдущих страницах. Это — совершенно возможно. Но — не нужно. Ибо так же возможно подобрать там и опровергающие афоризмы. Ибо, раз на все случаи жизни, то тут, как и в народных пословицах: «каждой можно найти противоположную — в этом и состоит народная мудрость», — как кто-то остроумно и красivo заметил.

Тогда — надо считать, статистику привлекать: чего больше? на чем акценты?.. Это тоже возможно — у кого есть вкус к этому. У меня его нет. Я доверяюсь интуиции умозрения. Его постройка — мой образ грузинского образа мира уж достаточно прорисовался, и потому — закончим!

КОСМОС ОГНЕ-ВОДЫ

Азербайджан

20.V.87. Предстоит — путешествие. Трудное и даже опасное, ибо постоянно не туда может заносить мысль; предстоят и блуждания, и заблуждения... И тем не менее сам путь-дорога познавания, проникновение в чужеродный тебе образ мира — дело увлекающее... А ошибочные утверждения, будучи высказанны, становятся энергетическим импульсом, требующим самоправки, что и случается в последующем продвижении мысли — порой, как бумерангом, себя же поражая... И в целом все это способствует более глубокому проникновению.

Также следует иметь в виду, что я пишу свой образ об образе мира (Азербайджанском) — как художник-портретист может отдаваться своему видению натуры, причем искажения фотографического правдоподобия тут никого не волнуют, а даже интересны особо, ибо вдруг на такие стороны объекта обращают внимание, такие качества выявляют, что и невдомек бывали...

Так что построение мое — это и плод художественного мышления, конструирования, хотя одновременно я усиливаюсь научно точно улавливать и фиксировать объект наблюдения, как он попадает в прибор, что ведет эксперимент, — в меня самого.

Путешествие совершалось в несколько заходов-присестов с перерывами на чтение и обдумывание. Здесь будут и записи разговоров. Собеседников — благодарю сердечно. А за возможные неточности в передаче их мыслей и слов прошу извинения: за них — в ответе я, чего-то недопонявшай...

Сад и Рок

26.II.87. Рискую еще один образ мира взять в свой дух — и страшно, оторопь охватывает перед наваливающейся машиной: история более чем тысячелетняя, культура огромная, литература еще древняя и средневековая... Но — пословицу российскую мастеровую воспамятуем: «глаза страшатся, а руки — делают». То есть: помалу да полегоньку — глядь! — что-то и получится.

Сразу в главной трудности исповедуюсь: как вычленить собственно азербайджанское — из общей арабо-персидской традиции древней и средневековой литературы? Национальную об разность как уловить?.. Тут с конца начинать придется: из анализа новой литературы. И как безусловную фигуру, продумаем Мирзу Фатали Ахундова. И, в частности, его стихотворение «На смерть Пушкина», написанное в начале 1837 года в потрясении гибелью поэта.

Это текст — перекресток: и географический, и стилистический. В нем жаркий Дух Востока (Закавказья) обращен в скорбном братстве на Север: к трагедии во Русской равнине, на берегах Невы. Недаром А.А. Бестужев (Марлинский), с кем на Кавказе знался Ахундов, переведя стихотворение, назвал его «Восточная поэма на смерть А.С. Пушкина».

Но здесь истык литературных традиций: образность арабо-персидской, а затем и собственно азербайджанской поэзии работает в жанре романтической элегии, современно-европейском и русском. Однако так же естественно в элегию переливается — впадает свой древний жанр касыды — сей большой формы, пред назначеннай для восторженных (как ода) и меланхолических (как элегия) медитаций.

Каким же видится-предстает Космос в этом стихотворении? Это, во-первых, — сад: наш, возделанный и обжитой мир-дом, где так все исполнено радости и красоты и носит следы нашего труда.

В саду — весна: все набухает радостью и красотой:

Смотри, пришла весна. В полях и на ложбинах
Цветы, как девушки, под солнцем горячи.
Бутоны алых роз пылают сладострастно.

Кавказ

Фиалки ждут любви. Запенились ручьи.
Вселенная полна желаньями до края.
На самоцветы гор ударили лучи.⁴⁴

(пер. П. Антокольского)

Просто — земной рай, прообраз небесного, где гурии и сады и ручьи... Но «Зачем твой соловей умолк в саду весеннем?». Итак, вполне в традиции «Гюлистана» Саади: мир = сад...

Но в том-то и дело, что это — не весь Космос: за оазисом нашего сада и города и времени жизни человечьей и истории — пространство, не нами организованное, нам не подвластное: там Рок, Судьба, Вихрь, подобно тому, как за оазисами — пустыни и суховеи, как за ухоженными городами и малыми государствами — воинственные орды кочевников (арабы, тюрки, монголы, Тимур...), что вмиг все сжигают и прекращают... Так и соловья = Пушкина Вихрь вырвал...

Нельзя это пространство бытия за городом и садом назвать «Хаосом» (как эллины то обозначили). Хаос — беззаконен, не организован... Такого понятия в мировоззрении исламского региона — нет: все Бытие стройно в воле Аллаха, и Ему понятно; и потому и нам железно исповедим закон смены радости на горе, смены времен года (что за весной осень придет неизбежно), так что нечего и допытываться...

Потому как странную ересь, индийскую по происхождению, излагает Ахундов в статье «О Моллайи-Руми и его произведении» суфийские идеи персо-таджика Джалаад-эд-Дина Руми, поэта XIII века: «Этот свет он предполагает в виде моря, в сравнении с которым все мироздание (= наш «сад» — Г.Г.) и все видимое представляют из себя в отношении этого моря лишь капли и волны.

Это море будто есть «целое бытие», а все прочие творения и все видимое составляют лишь частицы этого целого, которые, отделяясь на некоторое время от этого моря в виде капель и волн, вновь возвращаются к этому морю и соединяются с этим «целым бытием» (с. 273).

Сам образ Моря-Океана для сухо-плоскогорного и степного исламского региона — запределен — именно: на кромке ислам-

⁴⁴ Ахундов, Мирза Фатали. Избранное. М. ГИХЛ, 1956. С. 17.

ского мира — великие воды, как таинства и трансцендентности. Они же — будничны для Эллады, и там Хаос так же домашен, как и Космос. Также и в Индии, где мир то образуется, то рассыпается — в тактах дыхания живого Бытия: в мерах «кальп», «юг» и «криатаюг».

Вот этот «гилозоизм»: одушевленность органическая Бытия — неприемлемы Ахундову: «Но ошибка его (Руми — Г.Г.) заключается в том, что он приписывает этому «целому» волю и желания. Вот один из аргументов его по этому поводу: «не спадет ни одного листика, чтобы он того не знал». Будто это «целое бытие» по своему желанию и воле наделило частицы количеством и назначением. Итак, эти частицы должны заботиться о том, чтобы после некоторого странствования опять вернуться к этому «целому» и слиться с ним, и будто основным средством этого соединения является «фена», то есть уничтожение, ибо вечное существование будет происходить через это уничтожение» (с. 273).

Строгий ислам скорее видит мир как Космос камня: Аллах — гравер по камню (см. гл. I «Кабус-намэ»). Поэтому легко принял Ахундов и современное ему научно-европейское механистическое понимание «души»:

«Еще одна ошибка Моллаи-Руми в том, что он верит в душу в том смысле, будто душа после разлуки с телом вечна и будет сливаться в «целым бытием».

Но европейские философы не признают душу самостоятель- но существующей: убеждение их таково, что душа — одна из функций тела и существует вместе с телом, подобно тому, как телеграфическая сила появляется от соединения некоторых химических составов и исчезает при их разъединении.

То же самое и душа, появляется при формировании тела и исчезает с его расстройством, но никто не может знать, что такое душа, или что такое телеграфическая сила» (с. 274).

Итак: не заглядывать за «сад» — «город» (каков соблазн европеизма и индуизма) — достаточно нам тут дел понятных. Запредельное ж предоставим самому себе. Меж Садом-оазисом и Пустыней прочего Бытия — внешние отношения, как между разделенными в пространстве атомами существования: оттуда налетают вихри смерти — и косят, и гасят...

Мистик же Руми ищет внутреннего единства меж «садом» и «пустыней», меж «городом» и «морем», меж «Я» и «Не-Я» (как бы мы выразили на языке немецкой философии — Фихте), и именно живой исповедимости: претендует на основе своего опыта заключать умом о «целом бытия» и в себе ощущать живою волю последнего...

Во всяком случае, в отталкивании Ахундова от Руми нащупывается некий более сухой, рационалистический поворот бытия, образ мира тут, в Азербайджане, отличающий себя от южного ему, иранского, соседствующего с индийским — более «влажным», «взаимопроникающим», «живоприродным»...

Но подобно и в касыдах Гатрана Тебризи (середина XI века) «О Тебризском землетрясении» и Хакани (поэт XII века) «Развалины Медиана», что принимаются в азербайджанскую литературную традицию,— ошеломляет контраст цветущего города-сада-жизни и ОТКУДА НИ ВОЗЬМИСЬ — вдруг погибели, что налетела извне (а не содержится в самом принципе Жизни, внутри сего сада и человека):

Спокоен был Тебриз, богат и многолюден,
Тускнели рядом с ним другие города.
Слуга или эмир,— согласно распорядку,
Все знали благодать любимого труда.
Служили ближнему и славили аллаха.
Здесь слава и почет, там изгнана нужда.

Идиллия. Утопия. Золотой век. Город солнца. Земной рай.
И вдруг (именно — неисповедимо):

И некий день пришел — земля заколебалась,
Низина вспутилась, как горная гряда,
И почва треснула, и скорчились деревья,
И всюду хлынула свирепая вода.
И те, что выжили, в рыданьях убежали,
В подкову согнуты от страха навсегда.
Аллах вселенную лишил ее величья,
Земная красота исчезла без следа.⁴⁵

(Пер. П. Антокольского)

Отсюда мораль: не планируй:

⁴⁵ Поэты Азербайджана. Советский писатель. Л., 1970. С. 64–65.

Ты будущего ждешь, заботишься о мелком —
А рок настороже, и близится беда (с. 64).

Но это — не *тебе* кара за что-то: за грех иль вину; а иль просто Ритм Бытия (как по эллинам), иль смена его волн и фаз (как по индусам). Ведь Ритм — уже некая исповедимость, познаваемость и Мера и Форма, и Идея-истина.

Хакани же размышляет над развалинами некогдашней столицы иранских шахов Сасанидов Ктесифона — Медаина:

Мой дух, глазами размышлений на преходящий мир взирая,
В глухих руинах Медаина судьбу как в зеркале читай!

Город был разрушен при завоевании арабами в 637 г. И по руинам Тибр (Деджле) течет...

Смотри, как вздулись воды Деджле. Кипящий вал бежит, спеша,
Бушует, пенится, как будто в стенаньях мучится душа.
Какая скорбь, какое пламя в ее бушующей волне!
Слыхал ли прежде ты, что реки сгорают в медленном огне?
И если будут вздохи скорби и искренни и глубоки,
То полреки во льду застынет и лавиной хлынет полреки.

Лед (твердь, стихия земли, камень) и пламень: каменный огонь лав — вот что встает на место скандала воды-стихии, которая смущает тут, не своя...

Нуман был шахом, но однажды мат получил он от слона (из рукodelия искусного шахмат образ-орнамент...).

Рыдающие песни смолкли в саду увядшем бытия.
Сова преследует и гонит певца ночного — соловья.⁴⁶

(Пер. В. Державина)

И вот ареал Космоса тут: нет живой Природы, Леса, неорганизованного мира Растения. А есть — сад и город. Сад вместо Леса (России и Европы символ...) и Город вместо Природы (живой, органической). Вместо нее — чистые стихии: земля (горы, степи-пустыни), вода, воздух, огонь — неорганические, их царствие, но без посредства Природы как самой Жизни, что есть модель смыслов для человека и общества и труда.

⁴⁶ Там же. С. 80–83.

Тут — больше рукотворности, нежели в России и Европе; иль в Индии, где — буйная живая природа (джунгли и животных кишение).

Космос -ургии, трудом сотворенности — в большей степени, нежели -гонии, естеством порождения. Сад есть рукотворный Лес, как Город = рукотворная Гора.

Но вот у Хакани место, напоминающее то у Шекспира, где Гамлет рассуждает о кругообороте всего — с могильщиками: как можно пообедать рыбой, пойманной на червя, что откушал от Цезаря:

Земля равно владык вселенной и нищих тащит на обед.
Вседневно за столом ужасным пирует жадный людоед.
...Дервиш у шахского порога сегодня жалкой доли ждет.
А в некий день — султан к дервишу за подаянием придет.

(с. 85)

Но тут и разница видна: восточный поэт при Логосе Двоицы остается, придерживается антитетики весов: колебательное, а не вращательное движение (как в схеме кругооборота взаимосвязанного всего: Эмпедокл, Ницше...), что на Западе так мощно моделирующее (центробежная и центростремительная силы), — тут ближе. А если Единое — то всеупоязывающее, абстрактно нивелирующее (как всепожирающий людоед Смерти).

Модель же Троицы, триады: жизнь, смерть, воскресение — или: зерно — стебель — колос (= много зерен), как образ внутренне расчлененного Единого, как некоей САМОСТИ, — тут странна бы...

И в стихотворении Фатали Ахундова «На смерть Пушкина» мир — сад, но в нем умолк соловей в самую пору весны. И вот — диалог меня с сердцем.

Я сердцу говорил, глаз не сомкнув в ночи:
— Хранитель тайников, свой жемчуг растопчи!
Зачем твой соловей умолк в саду весеннем,
Не разлагольствуют, как прежде, турачи?..
— Мой друг единственный,— мне сердце
отвечало,—
Оставь меня в тоске, не говори со мной!
О, если бы забыть, как мотыльки забыли
Что зимний ураган не медлит за весной...

Диалог — мышление, что соответствует Двоице первоначал. И здесь «я» глупое, а сердце — умное.

Навешиваются гирлянды сравнений, и чрез них набор основных тут понятий и ценностей просвечивает. «Поэт-наездник», «крыл павлиньих синева», «любимый первенец», «кровь огненная»...

Как дорог мирный серп для путников Востока,
Так дорог лик его для северных равнин.

Вот сравнение: Луна Юго-Востока равна Солнцу Севера (Пушкин = солнце русской поэзии). Недаром полумесяц в исламе — сакральный символ того же порядка, что в христианстве крест = сокращенный знак солнца в лучах.

Своим кривым ножом садовник старый срезал
Побеги мощные под корень у земли.
И в череп, в дивную сокровищницу мысли,
Как в черное гнездо, ехидны заползли.

Черное гнездо — как Черное солнце (манихейства)...

Кура и Дорога

14.V.87. Вчера читал роман Исмаила Шихлы «Буйная Кура» — и вот чему удивлялся.

Как избыточно страстны тут люди: всегда готов внезапный прилив жизненной силы, ослепляющей разум даже! Будто Буйная Кура — в крови у них, как Тихий Дон — у более плавных, трудно раскачиваемых россиян.

Как стремительно действуют телом, руками, кинжалом и выстрелом — опережая соображение рассудка. Вспыхивает ярость — и вот сын набрасывается на отца, и оба чуть не убивают друг друга, пока женщина, жертвуя собою, не вклиниится и не переймет в своей беспредельной кротости на себя удары, и электричество мужское на ней заземлится... Как потоку — дать иное русло. Как арык она, вторая жена Мелек, — в междоусобной ярости отца Джакандар-аги и сына его Шамхала.

Но так же подобно — и уже совершенно бессмысленно — набрасываются друг на друга Шамхал и друг его Черкез, у которого Шамхал умыкнул сестру Гюльясер — по их взаимной люб-

ви-склонности, и бедняку Черкезу радоваться бы в итоге, по трезвом разумении, надо: что и друг, и сестра его вместе зажили полюбовно. Но нет: он хватается за винтовку, а тот — за кинжал, и готовы убить друг друга, если бы случившаяся тут тетушка Шамхала Шахнияр не выстрелила в воздух, отчего они опешили — и отшатнулись на миг друг от друга. А там и отрезвление начало свою работу.

То есть, натура: руки, ноги (и их энергия — кровь) бросаются решать задачи, что подлежат логосу: рассуждению, мысли и слову...

Вообще-то так это и везде есть, но тут — в какой-то особо сильной степени и градусе и доходя до абсурда: такой тут раскат расходившихся жизненных сил во человеке. Будто каждый только и ждет повода-оправдания, чтобы дать себе спуск — разгневаться, разрешить себе разъяриться и воспамятовать в себе хищного животного (не травоядного, как у народов равнин, лесов и растительной пищи по преимуществу) и дать ему волю, и наслаждаться свободой, и упиться кровью.

Тут сдавленность в горах, в теснинах их — кого? Тюрков, огузов, народов, что исконно и примордиально — степны, привыкли к простору, не сжиматься, но спокойно рассыпаться и джигитовать по просторам среднеазиатских степей, пустынь, плоскогорий... Тут же: будто море — рекой обречено стать. Потому оно теперь — Кура, буйная, норовистая...

И в этом, похоже, — отличие азербайджанцев от других крупных народов Кавказа и Закавказья: от грузин, армян... Грузины в крови и субстанции и в гене своем не имеют памяти о некогдашнем раздольном житьи-бытии на просторах, так что существование среди горных складчатостей для них первично и естественно и не так напряженно стискивает натуру и Психею. Армяне тоже — среди плоскогорий и гор сразу... А для этих — словно произошло на их веку вздыбливание равнины и образование гор и стискивание субстанции в напряженность постоянную, что в готовности пружинно распрямиться — в каждом азербайджанце.

И даже символичен переход с персидского языка в культуре — на азербайджанский: персидский — разделен на Иранском плоскогорье, и общая тогда цивилизация ирано-азербайджанс-

кая, где последняя — еще в протоядре. А отпочкование ее когда свершилось — тогда одновременно и втисненность в горы Закавказья: тогда стиснутыми себя тут ощутили и самостью, и целостностью, и отличностью — как от Ирана-Персии с юга, так и от России с севера: тюркско-язычная культура стала тут и литература формироваться.

15.V.87. Итак, собираюсь в Азербайджан. Зачем? Отдать себе отчет полезно, чтоб установить штатив объектива = своей точки зрения на предстоящий уму предмет.

Более года назад в подвальном кафе в ЦДЛ познакомили меня за столиком с азербайджанскими литераторами. Среди них — поэт Сабир Рустамханлы, кто оказался главным редактором издательства «Язычи». Возникла идея: пристроить там книгу «О национальном понимании мира» и включить туда те из моих «космосов», что — на восточном материале.

Подал заявку. Через некоторое время Сабир ответил: книгу включают в план редподготовки 1988 года, но предлагают дать азербайджанский материал. С тем и занялся я Азербайджанским образом мира. С моей стороны затея — несколько корыстная: использовать главу об Азербайджанском Космосе, которую собираюсь писать, как проводник машины прочих моих писаний...

Но, собственно, Культуре-то от этого не вред, а польза. Да и Азербайджан, к которому я пока подхожу как к предтексту, может преоборотиться и из предлога-подлога зажить и завалить и увлечь меня в истинно-серъезное путешествие ума.

Ведь — если еще далее уточнять ставить мой штатив и определять исходную позицию и точку зрения — я, только вернувшись из Германии и пропитавшись ее Космо-Психо-Логосам, могу на примере-материале Азербайджана продумывать вообще Исламский регион, облучая его германским... Тут на ум приходит и «Западно-восточный диван» Гете — и перспектива богатых сравнений и сопоставлений маняще прорисовывается спереди... Даже боюсь увлечься-втянуться в очередную нескончаемую затею, в коей увязнуть. Уж сколько у меня таковых позади, которые надо не заваливать еще новым слоем, а выкачивать и выводить на свет, печатать...

Теперь моя задача предстает в двух взаимоисключающих аспектах: узком и широком. Сначала я поставил себе задачу: понять-отличить Азербайджанский образ мира — как локальный в окружении Грузинского, Армянского, Русского и прочих, пытаться уловить его специфическое ядро-идею. И, отсюда исходя, предстало, что отличительная особенность Азербайджанства — то, что они тюрки и входят в Космос Ислама. То есть, Этнос, Язык и Вера — важнейшие критерии — затронуты при подходе с той стороны.

Но когда приступаешь ЭТИ «параметры» исследовать и ими характеризовать Азербайджанство, то оно оказывается заливом огромных регионов: тюркского и исламского,— и я рискую описывать не специфику Азербайджанского образа мира, а Логос тюркоязычных народов вообще и образ мира исламитянина. Недаром в том же романе «Буйная Кура» Исмаила Шихлы русский ямщик севшего в фаэтон азербайджанца именует «татарином»: для русских все таковые одним миром мазаны — «татары»...

Так что, взяв эти широкие координаты: Ислам и Тюркость — расставив их по бокам, начнем уточнять и суживать, чтобы очертить специфический каркас Азербайджанства.

Вчера это я проделывал — в беседе с Валехом Рзаевым, референтом по азербайджанской литературе в Союзе писателей СССР, и потом в Ленинской библиотеке, читая книги по истории и этнографии Азербайджана.

Валех резко отверг ту концепцию — грубую, которая у меня вчера прицельно начала складываться: что Азербайджанство в собственном смысле с привхождения тюрок-огузов формируется — к XIII веку нашей эры, а до того — общеарабская и общеперсидская тут культура...

— Никому не скажите так,— предупредил Валех.— Обидите. И неверно. Азербайджанцы — не кочевники, а исконно на тех землях. И, напротив, армяне — не только исконны, а и прешельцы — из Месопотамии. Конечно, есть некий диалог между оседлыми и кочевыми частями народа — в Азербайджанстве, и это придает ему специфику, одну из... Тут были государства: Мидия, потом Албания. С Византией торговля шла южным путем, через Персию; и христианство готовы были принять. Но

тут — арабское завоевание, затем персы, тюрки-сельджуки, монголы... Так что большой здесь этноязыковый котел.

— Ну, а литература на азербайджанском языке — это с XV века, с Физули, который поднял родной азербайджанский язык, бывший до того низовым, разговорным, — в высокую литературу?..

— Не скажите и так. По сути и «Авеста» уже входит в нашу традицию: ведь она сохранилась не прямо, а в переводах... А уж писавшие на арабском и на фарси великие классики, как Хакани, Низами,— они нашего космоса обитатели и выразители.

— Хорошо. Но коль скоро цель моя — выявить константное в национальном образе мира, я должен взять его живую цветущую пору как, например, сейчас: тоже ведь должно все присущее проявляться, в современном азербайджанстве?..

— Не совсем так. Цветущая пора Азербайджана стала сходить в XVII–XVIII веках, потом снова подниматься...

— Уже в контексте диалога с русскостью (как Ахундов и другие...)?

— Да, так. Но и богаче там тенденции...

— Еще такой вопрос: в психике азербайджанца меня при чтении «Буйной Куры» поразила вспыльчивость — прежде разумения. Хватаются за грудки и за кинжал-винтовку, а потом рассудок начинает действовать. Это избыточной животно-жизненной силой объясняю...

— Так это на плебейском уровне человеков. В аристократах и развитых интеллигентах — не так.

— Но ведь советская литература именно первичного человека — из народа берет во предметы. Дайте мне, назовите произведение, где во персонажах самосознающий, рефлектирующий герой...

— Мирза Фатали Ахундов уже — утонченный дух...

— Но во персонажи-то берет людей примитивных... Да, вспомнил: у Чингиза Гусейнова, нынешнего интеллигентного писателя, и персонажи рефлектирующие — в романах «Магомед, Мамед, Мамиш» и «Фатальный Фатали»... Надо будет там проникнуть и разобраться.

— Куда ж уходит животно-жизненная вспыльчивость первичного азербайджанца — в человеке воспитанном? Не в хитрость ли, уклончивость, коварство и лицемерие — на первых

порах культуры, когда духовно-нравственные ценности не ви-
дятся самоцельно, а как способ поймать для себя материальные
блага?..

Тут припоминается и второй вчера разговор — с поэтом Лео-
нидом Латыниным, который связан с Азербайджаном и жил там,
и переводил поэтов, и знается с людьми. Так он мне говорил:

— Там все — на тонких человеческих отношениях. Не дай
тебе Бог чем-то задеть, обидеть... Отшатываются сразу — и тут
же во враги готовы перейти. И насчет обещаний издать тебе кни-
гу — не обольщайся. Ты ведь — не начальник какой, и с тебя им
корысти нет... И народ — необязательный, шаткий на слово: не
помнит, что обещал, и не чувствует себя словом связанным...

— Да, это не германцы, что педантичны в исполнении дан-
ного слова, твердо держат, серьезно относятся к духовной
скрепе...

— Вот и эта твоя выкладка тебе опасна: обидятся, ибо слиш-
ком прямолинейно и всерьез и наивно все принимают: шутки
Разума не внедряют... Вот у меня были такие хорошие отношения
с одним поэтом, дружили, переводил его — и вдруг приезжает в
Москву, даже не объявляется. И с чего произошел распад — ума
не приложу: чем я его задеть мог?.. Так что очень дипломатом
надо там быть. Не откровенничай так уж, не простодушничай,
не поймут...

Да, тут мне уже важные уразумения напрашиваются: значит,
«естественный человек», наивный человек, как Кандид и Пьер
Безухов, что красив именно тем, что не воспитан и правду-матку
режет, не должен быть понят и ценен в их бытии и культуре...
Ну да: такой персонаж — уже есть «отрицание отрицания»: ког-
да первобытная неотесанность сменилась воспитанием и даже лос-
ком многовековой и многоэтажной сословной цивилизованности,
тогда эстетичен становится *enfant terrible*, человек наивного здра-
вого смысла, простодушный (персонаж Вольтера и Руссо и Льва
Толстого...). Тут, значит, в Азербайджане, проходится еще, заво-
евывается первый этаж цивилизации, и в чести — воспитан-
ность, «политесс», так что твоя расхристанность и бесхитрост-
ность тут могут быть неверно истолкованы: как грубость,
глупость и невоспитанность. Тут — будь этикетен и церемонен...

Но в этом и историческое, прошлое скрывается. В «Буйной Куре» так самопонятно: «Горе нашей нации в том, что нас все, кому не лень, били по голове, и мы сделались недоверчивыми. Это наше большое несчастье»⁴⁷.

Оттого и шуток не понимают. Когда переходный персонаж Рүс-Ахмед сталкивается на охоте с юным Ашрафом, «Ахмед все шутил, Ашраф же воспринимал его слова с полной серьезностью. У него засветились глаза и покраснели щеки, как у капризного ребенка, которого обзывают»⁴⁸.

Так что национальный юмор на других путях тут должен развиваться, и надо к нему приглядеться...

Еще мне так привиделось прехождение животно-жизненной энергии первично-стихийного азербайджанца из народа — в воспитанность образованного: как горообразование из равнины; появляется складчатость — горы, впадины, завороты, теснины, ущелья хитрости и задней мысли: иное на уме, чем на языке... Затаивается сущность человека, втиснутая и притесненная формою цивилизованности извне. Так что глубинно-поддонны становятся и глаза, и неясно, что выражают...

Конечно, всегда многослойен и складчат становится человек воспитания в сравнении с первичным, естественным (каковы персонажи «Буйной Куры»: органы своих первичных позывов и импульсов они поначалу — и отец Джахандар-ага, и его жена Зарнигяр-ханум, и сын Шамхал... Но они постепенно, сталкиваясь с усложнившимся миром, переламываются, складываются, так что это и роман воспитания...). Но при ровном темпераменте человека равнины, земледельца, человека-растения, переход в горожанина и цивилизованного-образованного не столь лют и крут... А тут — буйная Кура в крови, она ведь никуда не денется, а кипит затаенно: жизненно-животная хватка хищная остается во человеке, только принимает более обходительные формы; и об этом Чингиз Гусейнов в романе «Семейные тайны», где высокие посты, получаемые в результате революции и образования, начинают служить той же самой хищной схватке людей за матери-

⁴⁷ Шихлы Исмаил. Буйная Кура. Перевод с азербайджанского В. Соловьева. М., Советский писатель. С. 133.

⁴⁸ Там же. С. 113.

альные блага, но уже не через телесную борьбу, кинжал и выстрел, а через бумажку и приписку и проч...

Итак, горообразование во Психее, в складе души... Кавказ не «подо мною», а Кавказ — во мне! — так тут.

А что такое горы? Горы — это каменный костер, остановившийся и увековеченный. И тут мне припоминается из истории, что самоназвание «Азербайджан» восходит к слову «Антропатена», что в варианте — «Адер-багадан», а у арабов «Адербайджан» или «Азербайджан», и означает «страну огня», что было связано с широким распространением огнепоклонничества⁴⁹.

О, это многозначно! Недаром и первоначально там был из мировых религий распространен зороастризм, с его культом Солнца и огня, и Двоица божеств: Ормузд и Ариман = Добро и Зло. Затем оттуда отпочковалось манихейство — тоже с Двойцей первоначал... То есть, начало метафизического Зла тут сильнее и весомее володеет миром и духом, и осознаннее силы тьмы, темного огня, что кипит в существе бытия и человека.

Недаром и первой достопримечательностью Природы и Духа, что мне рекомендовано смотреть возле Баку и Латыниным, и Валехом, это Храм огнепоклонников зороастрыйский: там огонь из-под земли выходит, как из геенны... И это — «святилище» = язык недр, Ад наружу выходящий и лижущий...

Да и «Буйная Кура» — река не плавная, а кипящая: ведь это же ОГНЕННАЯ вода! Стихия ОГНЕ-ВОДЫ! Из четырех стихий-первоначал Бытия во азербайджанстве, значит, ОГОНЬ первопочтен...

А «огневода» — это же пылкость, кровь, семя. Эрос... В романе «Буйная Кура» я поразился тому, что страсть мужчины и женщины друг ко другу так чувственно сногшибающе дана, и ее перипетии тут занимают львиную долю повествования... Вездеси Лютерия, конечно, в литературе и искусстве — первосюжет. Но в иных литературах она более игриво сублинирована, затенен первично-животный напор. А тут он прям. Но это и не «секс» — похотливо-бессильное облизыванье, а именно Эрос — могучая жизнь природной силы, что кипит во сосудах людей. Не

⁴⁹ Народы Кавказа. Т. II. М., 1960. С. 43.

люди, а — кипятильники, по реакциям-то вспыльчивым мгновенно. Даже женщина такова — первая жена, Зарнигар-ханум...

Недаром и «про таких удачных детей говорят, что они появились на землю при вспышке молнии» («Буйная Кура», с. 38) — тоже ипостась стихии Огня...

А вот как буйная Кура Эроса разлилась по Джахандар-аге: «Может быть, нужно было думать не теперь, а два дня назад, когда он возвращался из города и увидел на берегу реки эту молодую, красивую, крепкотелую Мелек. Но тогда он как раз ни о чем не думал совсем, да и не мог ни о чем думать. Как только увидел ее, какая-то темная горячая волна разлилась по телу, затуманила мозг, застлала глаза, наполняя каждую мышцу сладкой тяжестью» (с. 21).

Красавица Мелек на берегу реки — да это же и есть сочетание Огня и Воды. Совокупно и составляют они тот же образ Огне-Воды, что и в Буйной Куре.

В приведенной выдержке из текста уже прорезался основной волнующий меня сюжет: а каков здесь Логос? То есть, склад и тип мышления, особенность Ума и думания?.. И вот Логос тут — в сюжете с Эросом, со стихией Огня и Воды. Логос же везде = Свет, этой стихией символизируется. Но как в горах Свет не постоянен, а капризом гор, облаков то открывается, то заститится, так и в Духе человека здесь напоры понизовых стихий: огня из недр мира и существа своего, воды и крепчайшей каменной земли («крепкотела» и красавица Мелек), из коей субстанция гор, — тут сильно володеют человеком, «хомо сапиенсом».

Свету же помощник и выводитель Бытия в Разум — это Воздух. Стихия его тут мало чувствуется: Ветер в горах — не то, что на равнине, где он СВЕТЕР (мой неологизм: Свет+Ветер), бог русских равнин...

В Логосе же азербайджанском, то есть в том, как действует Разум и Слово,— обращает на себя внимание стиль приветствий и Логос проклятий:

«— Что ты здесь делаешь, да стану я жертвой твоей тети?» (с. 6). «Чтобы тебе опозориться на всю округу,— проклинала она своего мужа,— чтобы ты никогда не мог посмотреть детям прямо в глаза» (с. 39). Большая изобретательность на прокля-

тия: что плохого может с человеком случиться... Но и что хорошего — в приветствиях.

Во всяком случае — некая избыточность сверх нужной деловой «информации» и в высказываниях такого типа. Тут тоже кипит и клокочет субстанция человека — и в Духе Буйная Кура, огневода заливает сознание... Огне-Дух тут — во Логосе действует, а не Свято-Дух...

Отнедышащий Логос

16.V.87. Что ж делать? Жизнь — избыточна. Хорошее дело наваливается на хорошее дело — и ты задыхаешься, не успевая... Вчера пришлось в клуб театральных «интеллектуалов» идти, толковать... и отложить проникновение в Азербайджанство, впустить шумы и помехи... Но — возврнемся и будем дожимать-доделывать...

Сегодня просто доанализирую «Буйную Кур» — как произведение, не претендуя выходить через это на утверждения про Азербайджанский Космос вообще...

Хотя — тогда зачем тебе и вникать в эту книгу?.. Так что все равно умозаключать об общем станешь, но — осторожнее, с оговоркою: может, то, что ты замечаешь как характерное,— для этого произведения и писателя специфично, а не для Азербайджанства вообще...

Итак, Огонь как первостихия в Азербайджанском Космосе — в следующих моментах романа сказывается.

Новруз байрам, общемусульманский праздник, здесь отмечается возжжением костров — и общего, и у каждого дома, и на крышах. «Парни зажгли факелы, приготовленные заранее, а потом стали кидать в воздух горящую паклю, соревнуясь, кто выше кинет. Вся деревня замелькала огнями. Пакизе как зачарованная глядела на эту пляску огней. Она увидела, что и над другими деревнями возникли зарева. Порозовели даже воды Куры (= подача огня самой святыне: и субстанция тут — огневода в итоге: «розовые воды»). — Г.Г.».

От обилия огня деревенские псы забеспокоились и залаяли, как во время землетрясения или затмения солнца. (Вот: на пра-

вах стихийного события космического масштаба — этот народно-социальный праздник огней, прокаливание бытия и неба.— Г.Г.)... Парни, взявшись за руки, начали танцевать вокруг костров...» (с. 206).

Но ОГОНЬ не только вне, во Космосе, но и внутри каждого человека — всесубстанция Гераклита («Темного», недаром). Он должен быть из греческих первофилософов тут более внятен, тогда как грузинам (как я выявил в предыдущих исследованиях), роднее Платон и неоплатоники, с их «в-идеями» и культом Света.

Вот Рус-Ахмед так поясняет свою мечту о просвещении народа: «Если мы в сердцах этих ребят зажжем по маленьку огоньку, а эти огни рассыплются повсюду, разве наша страна не озарится светом?» (с. 306). Тут уже, во обращенности на Север, где не Огонь, а Свет и Ветер — первостикии, и откуда, из Руси, идет просвещение,— транскрибирует Ахмед Огонь в Свет, эту ипостась огня читит.

Но в празднике Новруз байрам другую ипостась Огня чутут: Жар. Темный жар — как жизненная сила-энергия, что в крови, в жилах и в семени рода... Кстати, и Солнце и его пейзажи если есть в романе,— то закатные, где от солнца — огонь, а свет = желтый жар, тогда как если бы Утро бралось, то оно знаменательно Светом⁵⁰, а не жаром: такая ипостась Солнца — в Авроре, в Эос...

О мюридах и их радении — «мейхане рассказывали удивительные вещи. Будто мюриды приходят в такой экстаз, что могут браться руками за раскаленное железо или дотрагиваться до раскаленной печи и не только не обжигают руки, но даже не чувствуют жара. Они даже могут пить залпом кипяток. При этом они, с пеной у рта, выполняя немыслимые телодвижения, на время покидают этот мир, удаляясь на тот свет, и там встречаются с духами» (с. 164).

Но и вся жизнь видится — как сгорание: Сын Ашраф наблюдает за дымом папиросы, что вздымается от отца, который задумался и не замечал «и пепла, ссыпающегося на плечо. Ашраф

⁵⁰ Кстати, псевдоним Фатали Ахундова, каким подписано стихотворение «На смерть Пушкина»,— Сабухи, что значит: «Утренний». И в этом склонение Ахундова на Север проступает...

же, увидевший этот пепел, заметил вдруг, что на висках отца появилось много седых волос. В прошлые каникулы их еще не было» (с. 219). Пепел сгоревшей папиросы = седина сгорающей жизни. Единосущие Огня...

И такая немыслимая в поэтике других народов метафора: «глаза у нее словно кипят» — ревниво думает Салатын о возлюбленной брата (с. 245).

Но Огонь — модель и для Логоса местного. «Джахандар-ага хотел поговорить с сыном, но не знал, как и с чего начать. Его мысли были такими же зыбкими и колеблющимися, как струящийся папиресный дым» (с. 219). Дым — а не свет! Мысли тут не доходят до выражения в слове, которое — воздух и свет, световоздух. А Дым = это чад воздуха, тление, темное горение-негорание = невыговаривание...

И вот в фактуре романа так мало диалогов, а преобладают описания событий или жестов и телодвижений персонажей и пересказ их внутренних монологов — т. е. операций мышления, что затаены, ущельно-неприступны для другого, и что каждый в себе скрывает. Но без воспаменения и просияния — в выговаренное слово и свет разговора.

Разговоры — у русских персонажей романа, или у Ашрафа и Ахмеда, уже просвещенных; а эпический персонаж-батыр Джаждар-ага мучается в усложнившейся жизни невысказываемостью, как полуживотное существо, как конь, олень, пес (с кем он интимно сращен), что смотрят говорящие-понимающими глазами, но еще нечленораздельны и могут проявлять себя лишь в решительных телодвижениях, — как и наш трагический персонаж свое понимание смысла бытия проявляет в непрерывных убийствах — за свою честь и достоинство, выступая как решающий и режущий Судия, а не аналитик и мыслитель.

Когда он ведет казнить свою сестру — просто по подозрению в согрешении, оба идут и думают, и эта прекрасная сцена передана через молчание: как идут, как наступает конь и ее по колючкам гонит, как она думает: что нет, не может же он ее так, не спросясь, убить; думает и он... — и все же выстрел...

Тут-то и возопило мое эстетическое чувство, воспитанное на европейско-русской литературной традиции: да вот же шанс

объясниться, ситуация для какого богатейшего диалога! Но нет — все передано и разрешено через описание шествия на казнь и двух внутренних монологов: «Джахандар-ага глядел на сестру и сам едва не плакал. Дважды с большими усилиями он проглотил слезы и, боясь, что больше не выдержит, отвернулся. Больше всего его поразил безмолвный плач сестры. И раньше в детстве она плакала так, без голоса, закусив губу» (с. 177). Какая наблюдательность и тонкость в передаче внешних проявлений внутренней жизни, ее событий — через шевеления частей тела разнообразные! И какая скудость речений, словесных взаимообщений! Представляю, какую бы тут элоквенцию развел французский автор: красноречиво-чувствительные выражения сердечных нюансов и малейших движений мысли и мотивов, доводов в слове! Или Достоевский и Томас Манн: какую диалектику тут можно бы выявить-развить!..

Но здесь персонаж — судия, а не аналитик: ни вкуса, ни умения к сему делу не имеет...

Скажут: это же эпический патриархальный персонаж!..

Но вот современный писатель Чингиз Гусейнов и его роман из современной жизни «Магомед, Мамед, Мамиш», где уже больше диалогов и объяснений, и персонажи городские и словесно-грамотные и членораздельные. Но недаром уже в названии автор предупреждает читателя: «роман со сновидениями, их разгадкой, с наивными символами, сказочным гротеском, сентиментальными отступлениями...». Это не просто прием модерной литературы или только индивидуальный стиль автора. Тут, я предполагаю, есть соответствие и национальному Логосу: азербайджанец, недоверчиво-скрытный, по традиции опасностей вокруг, — привык личностно-интимное проговаривать внутри себя и в снах переживать-видывать. Снаружи же диалоги-разговоры с другими — не столь личностно-интимны и доверительны, сколь ритуально-этикетны. Ибо традиция предлагает для этого набор сложившихся штампов и притч, — и весь юмор запрограммирован: анекдоты, шутки — и можно прекрасно и долго общаться с друзьями (хорошо предпочитают, несколько сразу, а не «тет-а-тет», что требует исповедальности, чего тут избегают) — и не раскрыть, чем ты лично жив и мучим и болен и проч. — в слове...

Так и в повествовании Исмаила Шихлы. Идет описание — и притча, символ — из таких блоков слагается текст. Так, казнив сестру, «Джахандар-аге показалось, что перед ним лежит не Шахнияр, а его, их общая мать. А он раньше и не замечал, что сестра так похожа на нее, никогда не замечал, за все эти годы» (с. 178). Возникает сильное метафизическое уравнение: сестра = мать. И вот убил мать — за честь! Небывалое нечто! Преступление Ореста (если эллинские прообразы вспомнить). Или вот Ашраф готовится прийти спать к отцу и вслушивается в лес, темноту, голоса птиц. В его душе многое теснится: и ужас от подозрения, что тетя не покончила с собой, а отец убил ее; и напряжение: как и о чем говорить с отцом? Прислонясь к дубу, он вслушивается в голоса птиц. «Ашраф знал, что птицы анадиль поют только ночью, причем будто бы висят в это время на ветках вниз головой. (Подобно и душа азербайджанца разговорчива только во тьме, не на свету диалога, — и так противоестественна и таких усилий требует личная исповедь, что переворачивается космос для этого должен! — Г.Г.).

По преданию, они были когда-то людьми, пастухами. Они пасли теленка, принадлежавшего пророку. Однажды пастухи не уследили, и теленок потерялся в лесу. Сколько ни искали его, не могли найти. В темноте, под моросящим дождем пастухи разошлись в разные стороны. «Нашел?» — спрашивал один. «Нет», — отвечал другой. От страха перед пророком они превратились в птиц. И вот до сих пор по ночам раздается в лесу: «Нашел? Нет. Нашел? Нет».

Ашраф словно проверял, справедливо ли это предание и похожи ли голоса птиц на перекличку несчастных пастухов...» (с. 190). На эти тонкости и анализы у автора хватает интереса и слов, и аналитика-разматывание ощущений идет... Но когда входит Ашраф к отцу, тут несколько слов не значащего диалога — и снова лежат и думают каждый про себя...

Нет, тут не неумение, а — ненадобность. А почему? Потому что если все в порядке и никто не нарушает ритуала, и делает как положено, — тогда все можно молча, и не о чем разговаривать. А если нечто не так и пошло наперекосяк (как в том переходном состоянии мира, в котором действие романа разворачивается),

то для этих новых ситуаций нет слов, и непонятно, как о них говорить, так что по инерции вступают всеразрешающие скоростные телодвижения: кинжал, выстрел...

В этой притче о птицах анадиль СТРАХ — как принцип Ислама выражен. Аллах — не Бог-Отец и не Бог-Творец, но Судия; и оттого глава рода себя правомочным распоряжаться жизнями родных чует; блюдет порядок и шариат, не предполагая личностей и особых случаев. Мыслит абстрактно, а не конкретно. Такой — родовой, патриархальный Логос. Ветхозаветный...

В отличие от этого христианский Логос за основу берет милосердие и внимание к частному случаю, к личности человека, требует внимания к конкретности истины, а не к исполнению общего закона. «Не суди!» — отнято это дело от человека и отдано Богу, Судие Страшному — для того, чтобы мы перестали страшиться друг друга, а прощали, миловали, любили, не считая себя вправе судить и казнить...

Отчуждение? Да. Но — Зла! Для того, чтобы дать тягу-вакуум Добру, которым бы мы единственno распоряжались и чуяли ближайше к сердцу...

При христианской установке в познании — опыт, эксперимент, наблюдение над частными случаями и особенностями. В литературе — роман: эпос частной жизни и описание личного пути — траектории и особых мотивов поступков в каждой коллизии (диалоги в трагедии и в романе). В философии — танцуют от «я»: Сократ, Декарт, Кант, Фихте, Гегель...

Исламский Логос, напротив, интересуется общими правилами и теориями, а в литературе — изречения стихов, мудрость и поучительность. В анекдотах, сказках и занимательных историях интерес не к психологии, а к действиям — внешним, телесным — персонажей.

Например, пословица: «мать осторожного сына не будет плакать» (с. 232) — чем интересно ее строение? Не из «я» — не из человека, не ему предписывается осторожность («береженого Бог бережет» — прямо наедине с Истиной), но он, человек, выражается не как «я», а как «он» = через мать, кому он — сын.

В искусстве так витиевато, обиняком представить ситуацию и истину — эстетика исламского способа мыслить.

Тут — как орнамент: такою траекториею, не прямою, а извилистою, мысль и дух вьется... И орнаментами славно восточное искусство.

Вот и мера Пространства и Времени: «Девицы растут очень быстро. Пока ты закроешь и откроешь глаза, они успевают вырасти на длину плетки» (с.200), которою их усмирять,— имеет-ся в виду?

Миг и плеть — вот меры счета: телесные, прирученные...

И вот Новый завет и Логос, что нисходит в Азербайджанский Космос с русского Севера. Первым делом поражает Джакхандар-агу тут разглагольность: «А кто такой Ахмед? Безродный бродяга (это минусовые характеристики с точки зрения Ветхого завета Ислама и рода патриархального. Выломанный — зато сам, опора на себя, на «я», вынужден стать личностью.— Г.Г.), перекати-поле (это уже русской равнины-степи атрибутика, а не гор Кавказа, инокосмос — Г.Г.). Может быть, он даже ни разу не стрелял из винтовки (опять минус: не джигит, кровь не проливал, трус!..— Г.Г.). Но зато ловко он разговаривал с приставом. Ничего не боялся. И Ашраф изменился. Проходит время гарцевать на коне да играть винтовкой. Умные слова оказываются сильнее пули и кинжала» (с. 238).

Более широкий мир и кругозор — и оттуда мягкость и уступчивость. Ашраф Рус-Ахмеду:

«— Я говорю: отдай мою перепелку!

— Ну а что будет, если не отдам?

Парень поднял ружье:

— Убью.

— Разве человек может драться из-за такой пичужки? Хочешь, я подарю тебе ее?» (с. 113).

А вот итоговый диалог между двумя братьями. Ашраф, русский выученик, обладает рефлексией и может на себя посмотреть со стороны и на поведение отца и брата — и видит, что и они виноваты и не должны осуждать других людей, что все — личности и равны. Шамхал же, человек старого закала, противится его логике:

«— Как это кто виноват? Что ты говоришь? До сих пор никто не остановился у нас на дороге, никто и не посмеет встать!

— Посмеет. Когда отец привел чужую жену, разве не знал, что после пира бывает похмелье? Если бы с тобой так поступили, как с Аллахяром, ты бы терпел? (Вот основной аргумент терпимости: поступай с близким и дальним так, как хочешь, чтобы он поступал с тобою,— это и в иудаизме, и в христианстве, и в категорическом императиве Канта. Ветхий же завет и патриархальный закон рода не знает справедливости, а резко делит мир на «мы» и «они», «наши», мой «род» — и все другие. И что хорошо «нам» — то и нравственно. Другие — не люди и не субъекты права.— Г.Г.).

— Замолчи! (Вот бессилие старого Логоса — и ответ силою окрика.— Г.Г.).

Они пошли молча. «Этот парень совсем ошалел,— думал про себя Шамхал.— Каждую собаку он хочет поставить с нами рядом. На всех смотрит одними глазами. Между отцом и Годжой не видит разницы. Ну что же, что я взял его дочь. Разве он ровня моему отцу? У сокола свое место, а у вороны другое. (Аргумент — из природного порядка существования.— Г.Г.)... Нет, видно, учение лишило его последнего ума... Совсем сбился с толку, совсем забыл, что такое честь» (с. 257).

Вот два, кажется, близких, но противоположных понятия: *честь* — и *совесть*. Род знает честь — и совершенно бессовестен может быть: ибо не глядит внутрь себя и не видит бревна в своем глазу. И лишь видит внешний себе укор: если кто посмеет — то уничтожить! «Для него всегда самым главным было прожить с незапятнанной честью... Сестра запятнала его имя. Втоптала его папаху в грязь» (с. 176).

Тут — что скажут, как говорят: сплетни, молва — т. е. слова, что вне меня говорят. А сам себе я слов не говорю укорных. Закон тут — лишь вне меня расположен. Имя, а не душу тут берегут в чистоте; да и не знают о существовании души и внутреннего мира, «я».

Вот и поруганный муж Аллахяр, у кого отняли жену:

«— Джахандар-ага запятнал честь моего рода, он растоптал мою папаху. Я не могу и поднять головы и смотреть людям в глаза, не могу появиться среди сельчан. У меня обрезан язык» (с. 197).

И как о наихудшем думает Джахандар-ага:

«— А вдруг со мной что случится? Что же будет? Остынет мой очаг? Опустошится мой дом? Прекратится род? (с. 342). Все это — внешне материальные потери... И, как хирург рода, обретает все порочащее его: сестру убивает, коня даже любимого, когда ему обрезали хвост и гриву — и тем опозорили хозяина...

Честь — это Смерть, и она — ее орудие.

Совесть же — это Любовь и милосердие, внутренне нравственный закон: может, никто меня не осуждает, но я сам себя... Эта шишка не работает у великолепного эпического героя Джахандар-аги. Также и личностное чувство — еле пробивается. Вот он ловит себя на том, что ему хочется что-то особо нежное и личное сказать жене — Меле, но осаживает себя. «Джахандар-ага был твердо убежден, что муж не должен никогда в жизни показывать жене, что он ее любит. (Вот ролевое мышление: «муж», «жена», а не «я» и «ты».— Г.Г.). Жена должна жить в постоянной тревоге, не зная, как муж отнесется к ней сегодня...» (с. 161).

Но какой же Космос соответствует этим преобразованиям во Логосе? Тут ясно высвечиваются две матки: Кура — и Дорога. Кура — субстанция-субъект прежнего непотревоженного состояния мира гор и ущелий и теснин, и рода и джигита...

Но вот с Севера движется символ России: Путь-Дорога — агент и орган наступления равнины (и равенства с тем вместе). Причем дорога строится из тела Куры, за ее счет: «Некоторые сами участвовали в работах, возили гравий из старого, высохшего русла Куры. Камни привозили и сваливали. Поднимались и опускались молотки. Из-под молотков высекались искры. Казалось, камни противоборствуют, противостоят человеку, не хотят быть раздробленными и уложенными в дорогу вместо того, чтобы в живописном порядке валяться там, где им указала сама природа» (с. 108–110).

Тут все — символично. Ибо эти самоформные камни — что характеры эпические, рода. Не терпят уравниловки. Каждый горец — что камень: налит плотию, сбит. И, как жилы-прожилки в породе,— чувства, страсти, что грозят, сдавленные, взорвать...

«Молла понял, что Джахандар-ага виноват в смерти сестры, что его гнут и мучают гнев, злоба, ненависть и раскаяние (вот как много натяжений и кровей-субстанций душевных!— Г.Г.), потому и молчит. Джахандар-ага походил на человека, удерживавшего на плечах большую скалу, когда глаза от непомерной тяжести наливаются кровью» (с. 193). Кура же и есть сия взрывчатая кровь Кавказа... Она волит и велит, диктует ритмы бытия и дела. Лейтмотив Куры и Дороги повторен и в заключительных строках романа в диалоге братьев:

«— А ты... Ты сам почему не хочешь вернуться?

— У меня другая дорога.

Братья замолчали. Снова пошел дождь. Ничего не было слышно вокруг, весь мир завоевал и наполнил устойчивый и все нарастающий шум Куры» (с. 350).

Человек — функция Куры: «Он представлялся самому себе ненужным куском дерева, выброшенным бурными волнами судьбы на чужой, холодный, пустынный берег» (с. 115), — так думает о себе Рус-Ахмед. Кура же — сила жизни, что наполняет жилы и натягивает человека, как тетиву лука: «Джахандар-ага почувствовал, что жилы у него на лбу вздуваются, а руки дрожат. Еще немного, и он поколотит этого зазнайку» (с. 221).

Но и устройство мира, что идет с Севера, — двояко. С одной стороны, оттуда свет учения и школа, и русские правдолюбцы и просветители. А с другой — казаки и офицеры, царское и губернаторское насилие и несправедливость: оттяпали по какому-то приказу лес и угодья у села — и объявили «заповедником»... Причем осилить эти силы Зла — не то, что отомстить соседу: далеко и не подступишься!

Сами русские страдают — под этим, уже не природным и не патриархальным, а цивилизованным гнетом отчуждения. Всё два друга, русские просветители горцев беседуют. «Один губернатор сидит в Баку, а другой в Тифлисе. Чтобы на окраине открыть маленькую деревенскую школу, надо писать самому царю. Без его разрешения не двинется даже камень» (с. 305). Но эта ситуация продолжится и затем: в Москву придется писать по малейшему поводу местной жизни... Люди отчудили свою волю...

И в этом контексте старый закон обнаруживает свою красоту и свободу. При законе чести каждый, будь ты беден или богат, мог постоять за себя — и отомстить, убить обидчика, и потому осторегались задевать личное достоинство. Оказывается, у человека рода оно выше, чем у личности-гражданина нового времени, который сам за себя постоять не может, не вправе, а должен прибегать к суду других, с челобитными...

Выходит, при равенстве дороги и переходе на правовой порядок — фактическое неравенство между людьми растет. А в старом порядке у всех равное право на имя и честь — и человек, не спросясь никого, может отстаивать себя.

Первые наблюдения

12.V.87. 9 веч. В самолете на Баку. Первые впечатления — физиognомические. Смуглые, налитые соками тела, осолнечные и солнценосящие. Аж пышут жаром: подступишься — теплом обдаст.

Но именно жар, а не свет — от солнечности — в них. Пугают тайнами темноты, что в себе содержат: слышащие ее, напор темной реки жизни, — и умеющие с ним обращаться...

Черные выпуклые глаза на белках с красноватыми прожилками. Из глаз смотрит нечто угнетенное — и напирающее вырваться — и не могущее... Застыло это усилие...

Глаза, выпирающие из орбит, а не вбирающие в себя бытие, как светлые, озерные глаза северян, более плоские и как бы со вмятиною, вагинальные.

Понял, в чем страхолюдие черных глаз: в них не прочитываются индивидуальная душа, в человеке заключенная: не являются они собой ей выход и глазок и сказ себя в мир.

Однородные черные дыры у всех: в них светит... нет, именно не светит, а проступает, родовое, безличное начало — Жизни вообще, ее темной воли жить.

Но воля эта чувствуется сильно; жизненная сила не в пример крепче нашей светлоглазой.

Зато глаза светлые — вбирают Небо, получают от него подачу, диалогичны с пространством и светом, взаимное существование означают.

Глаза черные неба не предполагают. И света. Кажется, они так бы и без света могли быть, ибо являют собою выстрелы-дула некоей черной магмы, того поддонного огня, что кипит в материи, в недрах Земли.

В женщинах — усики, пугающая страсть, но подавленная, насупленная. Проявляется ли? Или так забитою и невыявленною мужчиной-варваром и остается?

Но мужчина здесь, похоже, знает толк в неге, в чувственном наслаждении — длительном. Ибо торопиться — некуда: работать (как немец) или в даль (как русский)... Присебейны тут. На своем месте в Бытии — извека.

Надо будет насчет национальных болезней спросить: за что их Космос ужучивает?

Загривки плотные — короткошеие; брахицефалы, круглоголовые = животно-приземистая стать; не устремлены по вертикали в небо, как долихоцефалы.

Губы полные, сочные, как плоды там, и чтобы их сок адекватною поверхностию впитывать.

...А свет солнца тут и стихия воз-духа, ветер — не для духа, а чтобы тело рельефнее, скульптурнее выставлять. «Если же шла она в этом платье против ветра, видел ее Джалил-муаллим и когда налетал норд, ложилось оно на ее теле ровным тонким слоем, облегая все линии, подчеркивая и выделяя все, что есть главного в теле молодой женщины. А когда вдруг вышла она, откинув назад голову, с распустившимися на ветру волосами, прикрыв ладонями глаза, из тени на солнце,— показалось ему на миг, что идет она навстречу в ярком солнечном свете, насквозь пронзившем тонкую ткань платья, обнаженная, улыбаясь ему своей обычной улыбкой».⁵¹

Также и в «Буйной Куре» лучи заходящего солнца приводятся к распущенными косам купающихся девушек — т. е. вотесливаются, отемняются и служат телу женскому. Не то, что та меланхolia, которую вызывают «косые лучи заходящего солнца» у персонажей Достоевского.

⁵¹ Ибрагимбеков Максуд. И не было лучше брата. М., Роман-газета, 1982. С. 46.

Прилетели. В автобусе смотрю: крепкие, приземистые. Не надо им ни славы, ни истории. Ну да: нет амбиций быть великим государством иль цивилизацией, как это есть у Грузии, Армении. Тут главное — жить натурально, вземно...

Ну вот — начинаются нравы: в гостинице «Апшерон», в коей мне сообщил Валех, что забронировали номер,— никакой записи нет, и слыхом не слыхали...

Идет 3-й час ночи по-ихнему, жду: может, что найдут переночевать...

Предупреждали тебя: не обязательные люди, не верь...

Покойны тут люди. Не взволнованны и не суеверины. Мужчины молчаливы. Думаю: на что мне это познание — с такими мучениями?

17.V.87. 6 веч. Взлупил мне черепушку Азербайджанский Космос: лопается она — от... всяческого привхождения.

Неожиданность уже в гостинице: оказывается, я попал в туристскую гостиницу, где сутки стоят 9 р.— хошь не хошь, а ешь три раза тут и участвуй в экскурсиях. Ну, сегодня воскресенье, и даже удачно — съездил в два места: наскальные рисунки и доисторические стоянки в Гобустане и храм огнепоклонников в Саруханах.

Но какая безжизненная земля у моря! И только тукаются тупыми носами железные кузнецы нефтяных вышек: качают-сосут черную кровь. Ну да: недаром нефть тут. На нефти лежит Азербайджан; она — его тайна и кровь, что и проступает в черных глазах: огненно-вспыльчивая жижа.

Огневода, а не просто Огонь — тут первостихия. Ее ипостаси: при Каспии, в городе — нефть, а в глубинке — буйная Кура. В человеке же — «либидо».

Читал вчера в самолете повесть Максуда Ибрагимбекова «И не было лучше брата» — и там порядочный мальчик снаружи, и потом семьянин, а внутри мучим сладчайшими и грозными видениями. И когда уличная девчонка, которую он вожделел, выходит замуж за любимого им прежде брата,— им овладевает зло, он становится отвратителен и себе, и всем — и умирает, просветлившись в последний момент, простив и снова став любящим.

Вся уныло-мирная жизнь «как положено» не имеет значения в сравнении с таящейся вулканической взрывчатостью.

Глазю на набережной

8.30 веч.... Но очень чадолюбивы! Прохаживаюсь по набережной Центра Баку и удивляюсь, как не только мамаши, но папаши стойко стоят в очередях с детишками на аттракционы — и так радуются вместе с ними! Вон идет большой толстый молодой отец — и так подкидывает и целует младенчика, как у нас лишь мать...

Очень важно это: нет в этом отношении мужского гонора, как у русских, грузин, немцев и прочих исторических наций, что считают это мелочное якшание с детьми ниже своего исторического достоинства: себя там мужи чувствуют призванными к высшей деятельности: то ли в воинстве, то ли в труде, то ли в духе, а уж это женщинам предоставляют: три «К»: Kirche, Kinder, Küche...

Азербайджанцы же, как и болгары,— нации бытовой жизни, вне великих исторических амбиций, и тут мужи — любящие отцы, занимающиеся, играющие и нежащиеся с детьми. Даже суровый Джахандар-ага в «Буйной Куре» вспоминает милые картины нежных отношений с сыном. И не условно мужественные, «джигитские» припоминает сцены, а чувственные касания: как тыкается носом младенец и проч.

Снова из гостиницы на ту же набережную вышел: чайхана раскинута в аллейке прямо: столики, самовары, чайнички... Люди сидят ненапряженно — есть где посидеть, не то что бедным русакам и москвичам, где не предусмотрено = не положено (значит)!

Народ — a son aise = в свое удовольствие, при себе.

Вот и я сел за пустующий столик среди дерев, напротив заходящего солнца. Столик с десятком стульев вокруг, в приятном тенистом месте. Но никто меня не гонит, не дышат злобно в спину — нет очереди!

О очередь! Явление нашей жизни! В затылок. Унизительно: зад, спину и затылок ближнего созерцая, и хоть и рядом он, а не «ближний» — дальнейший тебе, ибо конкурент, априорная злоба к нему...

А тут — врассыпную — и лицезрят друг друга. Нет! Уважаю Просто Жизнь! И ей мастеровые — азербайджанцы. И не кичась Историей и Духом. А то — ишь! Логосом начал их презрительно

забивать в первоначальном своем, книжном анализе (на схоластическом прочтении романов лишь оснуясь).

Слева десяток простых биллиардов — и мужчины, и ребята увлеченно сшибаются. Не надо в рожу, когда можно через посредство кия о шар драться. Не надобны тут драки, куда отливается беспредметное, неустроенное напряжение русской молодежи...

О культура быта, которою так пренебрегли на строгой казенке нашего жизнеустройства! Зато устроили в избытке собрания, заседания, агитпункты да занятия в политпросвещении...

О, как хорошо мне! — и я среди них себя не напрягаю: не стал устраивать на вечер встречу с кем или мероприятия оперы или концерта. Но сел поразгести впечатления, чтоб не завалили меня — до бессловесности: когда под спудом столь многих впечатлений уже не будет достаточного основания ни у одного, чтобы прорезаться в слово, выговориться.

А так — утешен я: при своем деле, творю химическую реакцию сию мою любимую.

О, хорошо одному! Никому не сказался, не назвался еще, что я здесь. А то сидел бы или ходил со мною рядом кто и показывал, и рассказывал, утомляя мою и угнетая воспринимательную способность.

А так хожу себе сам, наблюдаю, сижу — записываю.

Звучит музыка — народная. Не децибеллы рока, как в гостинице, наглая, глушащая...

Выпить, что ли, чайничек? Смотрит на меня самоварник в белом халате вопрошающе... Нет, зачем подлаживаться под чужую дхарму? Напрягаться... Ведь скоро ночь и сон, и пробудит меня позыв... не засну потом...

Вслушиваюсь в музыку. Как и бодрящи, и успокоительны эти мелкоритмические нисходящие секвенции! При каждом музыкальном предложении так это естественно, что берется на полном вдохе сразу самая высокая нота мелодии. А потом, как ослабевает пружина дыхания, в течение выдоха, на снижение идут фразы и мотивы...

Нет героического усилия и превозможения, как это в германской музыке, где преобладают восходящие темы — как кирхи: острием в верх.

Тут же мелодия — как купола мечетей: космос опускания мирного неба на землю.

И то понятно: в мглистом космосе Германии туманной или туманного Альбиона люди снаряжают выкованный на земле, трудом из недр земли, меч-шпиль = луч рукотворный: чтобы пробить облачную смуту и выйти к брату-лучу солнечному.

Тут же солнце дано, избыток даже его. Вот крыши нависают — в сторону солнца, как у нас — в оборону от дождя.

Еще вслушиваюсь: интервалы небольшие, короткоходные: на секунду, на терцию; скачков на кварту (основной энергийный интервал европейской музыки, ход: D — T — SD по квартам) тут нет.

Подобно и в плясках — семенящий перебор шажками...

Кстати, в наскальных рисунках Гобустана танцующие человечки плечиками однородно составлены: на небольшом пространстве малой горной площадки не раскидаешься вприсядку, не размашешься! И — как пояснял экскурсовод умный Леонид — в горах за плечи друг друга мужчины поддерживают, чтоб не упасть. Таков же и нынешний народный танец — «аялы» («ялла»).

Да, не забыть: слово «Баку» производится от Огня и Ветра — такие варианты названия...

Уж вечернеет, темновато. Отвлекся, задумался, подперев подбородок. Можно. Никому нет дела. Откинулся. Понааблюдаю. Хотя для этого — лучше походить. Что и сделаю.

9.30. О, весело мне становится жить! И легко! Вышел поглядеть на карусели, на веселые горки: как и взрослые, и дети летают! И заулыбался, на них глядючи. Раззадорился — и взял билет — и сам на колесе возносился над морем. Рядом женщина с ребенком — будто семьею мы! Переговорили на лету — о чадолюбии кавказцев.

— У нас очень любят детей — и мужчины!

Присел вот за столик под лампой на бульваре.

— Мороженое есть? — ко мне мальчик подбегает, приняв меня в белой ветровке — за продавца. Видно, за этими белыми столиками и стульями мороженое кушали.

О, южный вечер! Теплота и раскрытость. Еще и хорошо — без жены, без ее мощного поля, что перекрыло для меня всю

Германию и на 80% уменьшило мое внимание в поездке, так как все время приходилось выяснять отношения.

Боже! Опоражниваюсь!

Саннъясин я! Выполнивший ашраму «домохозяина». Об этом напомнил экскурсовод в храме огня, куда стекались индусы на последний этап жизни: на аскезу, очищение молчанием и лицезрением огня и потом сжиганием...

О, дышу! Не уныл...

Уже за это спасибо поездке в Азербайджан: веселость натуральной простой жизни в тебя вдохнулась...

И — нет милиционеров! Ни одного за день не видел — и здесь за вечер на многолюдной набережной. Не то, что в Москве, где они косяками ходят, назойливо и подозрительно за каждым нестандартным шагом следят. Вот то, что я присел за мороженый столик и что-то пишу,— уже возбудило бы подозрение, подошли бы: «Ваши документы!» «Пройдемте!» — и доказывай... Испорчен вечер. И душа унижена... Видно, и не идут здесь ребята в милиционеры. Что за корысть-охота, когда вон двое в аллее шашлыки резво на углях жарят! Как ловко один берет шампур, накладывает на лепешку, заворачивает, протягивает рывком мясо, шампур в корзину, мясо блином в трубочку скатывает, щепотку острых трав еще предварительно присыпав. Любо смотреть. И все-то удовольствие — за рубль за двадцать. А в Москве ради переселения-прописки лимитчики из русской разоренной провинции идут в милиционеры — и вот мордастые ребята гоняют бабок с цветами иль яблоками — семечками: не положено! Этих женщин труд не полезен народу, а их — полезен! Сейчас, слава Богу, очухиваемся от этого идеологического идиотизма...

Чу́сь неспеши́ности

18.V.87. О, знойно! Еще и курит сокамерник курянин: из Курска человек. Вышел на улицу, за столиком кафе малюю себе...

Тоже неведомое русскому состояние: разве что на редкой лавочке можно прибиться. Когда сидишь на скамейке — чувство, что в приемной ждешь, в очереди, проситель вечный.

Когда же вот за столом расположился — уже хозяин ты, столоначальник. Вот и я за столик на улице, перед ихней Красной площадью сел, наблюдаю — и свободен и возвышаюсь.

Закон Природы (Юг, Космос Тепла) тут превыше, берет верх над законами Социума Кесаревыми. На Севере не посидишь так: снег, дождь сгоняет. Космос с Кесарем в союзе: бедного индивида подавлять, не дать расковаться ни его чувственности, ни духу!..

Вчера перед сном с соседом в номере разговорился. В командировке из Курска. Сердит на азербайджанцев:

— Не работают тяжелую работу. Вон в магазинах, в кафе — здоровые лбы, мужчины. И детей много: рожают женщины, а отчего? Не работают, дома сидят. За них русский человек вкалывает в шахте за 150 руб...

— А почему ж мы у себя не можем жизнерадостный порядок навести, а не убиваться так?..

Иду по улице. Балконы широкие, нависающие: чтоб жить и сидеть дышать и смотреть.

Но куда? На кого? По улицам снуют-ревут разбойники, караваны машин. От улицы с ужасом отвернуться бы теперь надо, глухою стеной отгородиться, как в старых сельских постройках исламских, а не как в некогда модерных городах начала века... Рассчитаны они были, почтенные здания, на иное состояние мира: на людей-граждан, без машин. А теперь полноправными гражданами в городе стали машины, а люди загнаны: в дома, в подземные переходы... Это машины дышат воздухом, кислородом и видят небо и свет. А люди?

...Рано похвалил: вот пришел к Союзу писателей: еще не пришли на работу, посидеть бы в садочке напротив. Но — ни одной скамьи... Да, понял: тут памятник 26 бакинским комиссарам. Важный сюжет, как и 28 гвардейцев-панфиловцев. Интересны числа... Значительный факт истории. Но чьей? Большевизма, Союза ССР — да. Но Азербайджана ли? Баку предоставило лишь место этому событию и имя. А сами комиссары, по нациальному составу — кто? Степан Шаумян — армянин. Джапаридзе — грузин. И т. д. Еще русские есть, наверняка, евреи. Фиолетов, Нариманов... Но есть ли азербайджанцы? Проверить...

Еще в исторических анналах революции и гражданской войны гордятся Кировым тут, Серго Орджоникидзе...

Но где же азербайджанцы сами?!⁵²

И это я не в укор, а в понимание особой сути местной, которая, как предполагаю, не так уж честолюбиво влагает себя в историю и политику, но — в жизнь натуральную и в творчество красоты: в быту, в ковре, в поэзии... Создать прекрасный бейт (двустиние) тут дороже и славнее, нежели создать дату в истории, в хронологии отметиться...

Что ж ты зря-то? Вот тебе и скамеечка — старенькая, возле старенького и дома, где Союз писателей. Уж как эта доска ни иссижена!.. Сколько в ней народных задов («заде» всяких) и газов за времена скопилось! Уважаю — и присоединяюсь... И, привившись задом своим уже к толще традиции, медитирую, мысли и слова черпаю...

Ну что ж? Все время — мое. Если не торопятся в Союзе писателей начинать в понедельник, то и ты не торопись суетиться, а продолжай кейфовать в медитации. Ты же — в путешествии, в ослабе долгов и усилий.

Уселся в кресле перед столиком в старинном аристократическом особняке, где Союз писателей помещается. Полукруги, овалы...

Зачувствуй и себя ханом и беком, владетельным хозяином жизни, а не снова просителем.

Ведь пришел-то ты сюда как челобитчик униженный: тем, что гостиницу тебе не заказали; а теперь тебя устраивать надо, до 12 часов успеть перейти из «Апшерона» куда-то, а то еще за сутки 9 р. платить придется...

...Да и куда я побегу? Вон в Бакинскую крепость собрался — глазеть. Успею. Мое же дело — сидячее, медитативное. В кресле на колесиках у окна устроился в зале особняка — чего же лучше?

Ветерок веет, нежит клетки и молекулы тела. Этому отдавайся — по закону местного стиля жизни. А ведь ты слух потерял на то, что удобно, а что неудобно телу, и мучаешь его, слушая лишь то, чего хочет дух и его воля! Вот и гонят тебя дурные

⁵² Нариманов, Азизбеков... — потом уточнил.— 14.VI.87.

дух и мысль и воля, не сообразующиеся с хотью и законом плоти, умучивая ноги из-за дурной головы.

Но как сомкнут Космос перед пришельцем! Опаздывает секретарша, она звонит, что придет, я прошу трубку; улыбаясь, вешают.

Ну и молодцы! Так-то и можно просуществовать под казенным государством пришельцев: не раскрываться ему под расстрел, а свивать свой круг жизни, стенку клетки показывать...

Спросил секретаршу и шофера черной «Волги»:

— Есть ли среди 26 комиссаров азербайджанцы?

— Азизбеков! Там всякой нации: и русские, и евреи, интернационал...

Ну вот, есть, спасена историческая честь Азербайджанства...

Но — сомкнутость внутри себя народа! Своих не выдадут — никакому самому справедливому закону. На это-то и лютует русский из Курска:

— Они на нас наживаются. Я тут с женой: заходим в магазин, просит платить болгарское, цена указана — 75 руб.

— Давай 95 и бери! — говорит продавец, спокойно так...

Русский шахтер вкалывает за 150 р., да еще в выходные! А этот не пойдет: и тяжело, и денег ему мало. Наслать на них проверку из Москвы! Купил клубнику за 3 р. 50 к.: выглядела свежей, а глянь — вся погнила. Водой, что ли, накачал?

— Пусть и торгуют и тянут, но ведь создают что-то. А проворяльщики, стражи порядка — чистые нахлебники...

Но это — опасная материя. Оставим ее. Ты, во всяком случае, во всем старайся прозревать положительную сторону. Вот и в этом махинаторстве — чадолюбие: для дома, для семьи стяжение. Мирные средства хитрости, а не путь военного насилия.

Хитрость ведь тоже работа, игровая, веселая! Недаром и в литературе много юмора: анекдоты... Читал вчера на ночь Джалила Мамед-кули-заде, кто писал под псевдонимом: Молла Насреддин, рассказ «Почтовый ящик»: как наивный азербайджанец, посланный ханом опустить письмо в почтовый ящик, увидел, что какой-то гяур подошел и выгреб все письма оттуда, набросился на «вора» и стал бить...

Вот Логос близкодействия: суждение по очевидности — вступил в трагикомический конфликт с Логосом дальнодействия:

отчуждения, цивилизации, и искры юмора отсюда высеклись, а азербайджанский писатель это огниво на свой очаг использует...

Они тебя, нетерпеливо-суетливого, воспитывают. 11 часов. Снова спустился в приемную к Первому секретарю — секретарша еще не пришла.

— Посидите спокойно,— советует русская женщина из канцелярии...

И в самом деле... Правда, скоро 12 часов, и придется тебе еще 9 р. на сегодня выложить за гостиницу... Ну что ж? Платиться придется за незнание, за игнорирование местного Психо-Логоса...

Так на что же тебя воспитывают? А — на миг настоящего: в нем, в любом, есть солнышко, ветерок, ты сам жив еще, люди рядом — так наслаждайся же! Не будь рабом своего схематизма, что ты выстроил насчет дня предстоящего... Отдавайся течению существования...

— Вы меня ждете? — Люда-девушка подошла.— А Вы телеграмму послали?

— А как же? Еще в четверг...

— Гм. Не знаю... (Видно, в пятницу ее не было, а почта — у другого человека).

Похоже, что тут патриархальный порядок человеческих отношений действует, а формы отчужденного порядка цивилизации тут буксируют. Вот и я между ними попался. Терпи — и познавай...

Вот звонит, ищет мне гостиницу... Благодущие! Будь благодушен: и тебе, и окружающим от этого лучше...

Но Время тут не значит — из категорий Бытия. Нет смертной дрожки экзистенции, как у германца. Восток! Ориент! Приникай и кейфуй! Даже смерть родного человека тут повод для кайфа поминок, где смыкается круг дружеств и родств — во забвение адовой дыры, куда все проваливается. И раз все, то уже не нужна скорбь по личности...

Ну вот я провинен оказался перед секретаршей: что не предупредил обо всем заранее, а нагрянул... Но Порядок тут тоже предмет исхитрения: с него тоже можно что-то иметь. Как земля и огород он и сад,— порядок...

Чувствую неловкость: заставляю на себя работать секретаршу...

Но хоть пишу: видит — при деле человек, а не смотрит просяще голодными глазами...

Значит, прямо в гостиницу нельзя, а надо — письмо в Трест...

...Но и сам ты человек восточный: вне Времени, неловкий в зубчатой колеснице его часов, размалываешься в шестеренках...

Сколько помех, однако,— тело свое устраивать! Его перемещения по Москве, в Баку и назад; его ночлеги в гостиницах... Приходится на людей давить — нажимать...

Сколь лучше — книжки читать и по ним умозаключать! И сам ты чище, истина духовная просказывается. А на что тебе эти телесные глазения и метания? Только раздражения душе и уму. И на что тебе это еще познавание — на исходе жизни-то?

Сам путаник — и людей путаешь...

Разговор с азербайджанским интеллигентом

Когда я его спросил (поэта Сабира Рустамханлы): верно ли я уловил отсутствие исторических амбиций у Азербайджана? — он:

— Не совсем так. В истории Ирана многие шахи — азербайджанцы, и Шах Аббас, вплоть до династии Пехлеви... И турки потому не трогали Иран, что там Азербайджан был, свои — Персию покрывали.

И государственные, и военные деятели Ирана — из Азербайджана многие. Но поскольку все внутри ислама, большой цивилизации, азербайджанцы влагали себя туда, не особо о присвоении славы заботясь!

— Значит, точнее это назвать исторической скромностью. И такое впечатление, что азербайджанцы — извека на этой же территории; к ним приходили, вливались — те же тюрки-огузы и сельджуки, но не перемещались основные по-роды, а впитывали пришельцев.

— Да, тюркский элемент в нас и до прихода сельджуков и огузов. То прототюрки...

Еще важное говорил:

— Я удивляюсь мудрости деда. Мне трудно с ним говорить. У него на все есть ответ. Какая-то интеллигентность. Может, от того это, что каждое село жило как крепость, как самогосударство, и в нем люди, главы родов должны были все вопросы бытия самостоятельно решать, все сложные человеческие отношения. И развивался собственный ум. И крепостного права не было, не знали тут. Личное достоинство и ум не унижались.

Мой дед, когда умирал, призвал друга исповедоваться и так говорил: «Грехов за собой не знаю, кроме одного — когда-то один из наших своровал барашка у соседа, тот пришел ругаться, но я промолчал... Найди его и покайся от меня...»

— Ну,— я развел руками,— раз это величайший грех, то Ваш дед — святой.

— У нас, у моей матери, нас 8 братьев и 5 сестер, мать-героиня она. И вот мы норовим собраться, с детьми, быть в курсе дел друг друга...

— О, это большая подкрепа в существовании: не одинок ты, помогут, выручат...

— А отец, хоть кто далеко уехал, племянники или кто,— обо всех старается знать и несет ответственность; если кто: дочь его иль внучка иль племянница нехорошо себя повела,— могут ему укор в лицо: «Что ж ты так воспитал?» — и он чует вину...

— Но в этом не слишком ли много берет на себя старейшина: судить другого? Не допускает в нем свободную личность?

— У нас личность — это род и его имя и репутация.

— Это-то и неправо и есть насилие. Вон я поразился, как в «Буйной Куре» Джакандар-ага убивает сестру — так легко! Откуда право взял? Так легко — убить человека!

— Еще в зороастризме за обман убивали, а если кто человека убил и покаялся — прощали...

— Но как же так? И что есть «обман»? Когда жизнь усложнилась, исчезла и однозначность «да» и «нет». Вот про того же Джакандар-агу, если спросить: кто он? Хороший человек или злодей-преступник? Можно ответить утвердительно или отрицательно на оба варианта. Где же я совру — в таком случае?

Род как личность — это опасно и грубо и неверно. Сестра Шахнияр имеет прямые отношения с Аллахом (или не так тут?..).

Почему брат берет на себя посредничество? Будто он должен и может все знать, понимать и судить?

Об азербайджанском языке он:

— Когда идут у нас совещания, люди стараются говорить на русском языке, а то смотрят косо: национализм. Лишь доярку какую выпустят на родном языке.

— Но это тем опасно, что атрофируется язык в выражении высоких и тонких вещей. Вон в Болгарии — 8 млн., как почти тут — 6 млн., а все обучение: и по физике, и математике, и медицине — идет на родном языке. Он вытягивается и развивает свои возможности.

— Нет, у нас тоже все обучение на родном языке — и в вузах.

— Ну, тогда вы на коне, спасены...

Гуляли по городу. В какой степени этот модерный супергород — азербайджанск? Вспомнил, как в предисловии к «Избранным сочинениям» Моллы Насреддина Азиз Шариф приводит слова Сталина: «Баку вырос не с недр Азербайджана, а надстроен сверху усилениями Нобеля, Ротшильда, Вишау и др. Что касается самого Азербайджана, то он является страной самых отсталых патриархально-феодальных отношений. Поэтому Азербайджан в целом я отношу к той группе стран, которые не прошли капитализма»⁵³.

Это красиво сказано, живописно. Но ведь благодаря именно нефти, которая — сокровище недр Азербайджана, его тайная суть,— и надстройка оказалась сверху, с неба, вышка города Баку. Так что общую суть Азербайджана можно представить как диалог города Баку с народным горно-равнинным Азербайджаном, чья наклонная плоскость как бы стекает — стремится заостриться в мыс-нос Апшерона и останавливается с разгону вышкой — вертикалью Баку; и тут Буйная Кура перекачивает свою энергию в ритм жизни сего модерного мирового супергорода.

И вот мне тоже предстоит: найти как единое, константу, что роднит современного интеллигентного азербайджанца с патриархальным крестьянином,— так и метафизическое тождество между Баку и прочим Азербайджаном.

⁵³ Цит. По кн. Джалил Мамед-кули-заде (Молла Насреддин). Избранные сочинения, Тифлис, 1936. С. 10–11.

И вот его я вижу — во всепронизывающей стихии огневоды, которая и нефть, и буйная Кура, и страстный кровоток в азербайджанском человеке...

Анар и Тогрул

19.V.87. Вчера вечер проводил в застолье с писателем и философом Анаром и художником Тогрулом Нариманбековым. Мы расположились во внутреннем дворике караван-сарай (в Старом городе), что был древней гостиницей индийских огнепоклонников на пути сюда ко храму огня.

— Но индийское ли это только? — спросил я. — Не соответствует ли это огнепоклонничество некоей внутренней сути Азербайджанства? Нет лиrudиментов?

— Есть. Например, в весенний праздник Новруз-байрам зажигают костры и прыгают через них, веря, что этим достигается очищение тела от хворей, а души от грехов.

Спросил я про смысл проклятия: «Да стану я жертвой... твоей тети!»; они улыбнулись:

— Это у нас уже не рассыпывается буквально. Имеется в виду обычай жертвоприношения — барана, и вот я в знак преданностилагаю себя тебе в жертвенного курбана.

— Вообще проклятия у нас живописны. Например: «Да будет земля выше твоей головы!»

— То есть: да окажешься ты в могиле?

— Да. Еще в «Книге моего деда Коркута» вы найдете много характерно азербайджанского.

— Но ведь это огузский, общетюркский эпос?

— Не совсем так. Топонимика там азербайджанская: Дербент, Гянджа, так что наши там и быт, и душевность, и юмор выражались.

— Еще меня волнует, — спрашивал я, — в какой степени традиция Хагани, Низами и всей древней поэзии на арабском и фарси — звучит, актуальна в современном азербайджанстве?

— Видите ли, Низами общеиранск, общемусульманск. Он для нас — ну, как Шекспир. Но собственно наш, первый — это Физули. Низами был нам спущен Сталиным...

— Как по разнарядке величий, выделяемых на народ? Чтобы был один главный?

— Наши — это Физули, Вагиф, Сабир, Ахундов и литература рубежа веков.

Спросил еще о национальной музыке, о мугамах.

— Узеир Гаджибеков напал на гениальный синтез мугамов с европейской, итальянской оперой и создал в 1908 г. «Лейли и Меджнун», что и доселе самая популярная опера. Потом он как бы застыдился этой народности и пошел в последующих произведениях более по европеизированному пути. Но они не отменяют друг друга, а параллельны.

— А послушать нельзя?

— Сгорел наш оперный театр... Вот завтра во дворце — «Тысяча и одна ночь», балет, с декорациями как раз Нариманбекова.

Мои собеседники — из элиты азербайджанской. Дед Нариманбекова был мэром Баку, а когда возвращались, прошли мимо дома, где мемориальная таблица родителей Анара: «Здесь жили поэт Расул Рза и поэтесса ... Нигяр».

Вот ведь какой корень у Анара. Интеллигент в каком поколении! Да и имя его — не имя, а музыка! И оказывается: такого имени не было, оно изобретено и первовведено родителями Анара. А теперь уже многим дают это имя.

О национальных болезнях спрашивал:

— За что ужучивает человека местный Космос?

Затруднились с ответом.

— Малярия — на юге, в Ленкорани особенно...

— О, это характерно: значит дурной воздух (*Mal Aria*). Стихия воздуха тут уязвлена миазмами — испарениями огневоды, чадом адовым...

— Верно, и в Баку бы нечем дышать было, кабы не Северный ветер, очиститель.

Да, духовность и воздымание над первичной жизнью потребностей и чувственного кайфа тут — с Севера, из России этот аспект. Совестность; идеальность — световая категория (идея = видея).

Поинтересовался национальным Эросом:

— Испытывает ли азербайджанка ту же чувственную страсть, как и мужчина тут? Знает ли оргазм?

— Наша знакомая, поэтесса, умная, говорила про свою бабушку, которая знала всю жизнь только одного мужчину, своего мужа: что нет в сфере секса таинства, ощущения, которого бы она не испытала...

И это должно быть так: ведь все парны друг другу — мужчина и женщина, в каждом народе. И если тут ислам допускает многоженство и гарем, где женщины только для чувственной утехи содержатся,— значит, тут пик их жизненности и острейший нерв и высший миг.

Говорили, что бесконечно разнообразна любовная жизнь с одним человеком может быть (в чем с ними совершенно согласен) и что ни одно соитие не похоже на другое в брачной жизни.

— Дон Жуан остается на поверхности: знает одно и то же с разными женщинами, тогда как безденно углубляться и разнообразиться можно лишь с одной...

— Бурить, как скважину вышку, и обливаться семенем, как нефтью...

12 ч. Страшные законники — навстречу чужаку, как я. Вот выселили из гостиницы.

Ну что ж, и правы они: закон-то извне пришел, так что чужому — чужое, а своему — свое... Как Богу — богово...

Это я подумал, натыкаясь на квадратное лицо с усиками и строгим выражением лица: тип бюрократа-чиновника, со строгими челюстями...

Но представляю, как они, насильственно стянутые и нахмуренные, могут естественно улыбнуться — своему навстречу — и окажется добрый и веселый человек...

И это — законное различие. На него ропщет курянин: что своим тут один закон, а русским — другой.

Да ведь не потребуешь от матери справедливости: чтобы к чужим детям на работе в саду относились так же, как к своим дома...

Закон любви и предпочтения... Тем более он необходим малому народу, погруженному в большое пространство, в хладный Космос северных просторов, что имеет тенденцию растопить всякую особность, органическое образование, влечет его к энтропии, тепловому рассеянию...

Тем важнее оградить свой источник тепла, свой родник огневоды живительной.

Пришел покантоваться в родное пространство — Литературный музей. Один похожу, помедитирую, попишу.

Вот Бабек. Вспомнил: вчера про него мне сказали, что он был огнепоклонником-зороастройцем, и этот еще смысл имело его многолетнее сопротивление исламу.

Лежат предметы из раскопок. Вспомнил: в Историческом музее, в разделе о предметах культа древней Албании, статуэтки женских фигур преобладают, с мощно подчеркнутым низом, бедрами, и солнечная розетка — на пупке или на лоне. Страшно-священное влечение женщины тем отмечено.

И из рассказов Моллы Насреддина обычай «сийга» обратил мое внимание; временный брак хоть на несколько дней могут заключить свободные люди (он — со вдовой, например), он освящается моллой; потом расходятся свободные от обязательств.

Очень удачный способ чистого гетеризма.

Зардушт (Заратустра) родился в Азербайджане. Огнепоклонники отдают трупы небу, воздуху: не зарывают в землю, а кладут в башни молчания («дахма»), где их расклевывают птицы.

Песни «Саячи». «Сая» по-персидски означает тень; в переносном значении «сая» выражает понятия: покровительство, защита (= антисолнце! — Г.Г.). Закавказские татары это слово употребляют в смысле блага, добра; отсюда «Саячи» — приносящий благо, благодатный. Саячи — это не то странствующий певец «ашиг», не то дервиш.

Задохнулся (воздух сперт), и захлопнулась дверца приемки впечатлений в дом моей души. (Ишь, как восточно-витиевато начал выражаться!)

Еще день ушел на устроение: билетов на возврат нет. Еле выс-кreb на воскресенье 24-е в 6 утра.

Теперь с письмом Союза писателей пришел в гостиницу «Южная» — не принимают: надо было за сутки...

Недоразумение

20.V.87. Утро. Мне страшно повезло: в номере на 3-х человек моими близкими оказались милые молодые продолговатые литовцы, белоголовые и светлоглазые. И тихие. Вот они уже ушли

по своим инженерным делам на работу — и я один за столом у окна: могу отмысливаться.

Какой контраст северянина с южанином! Замедленная вдумчивая речь, прохлада во всей стати. Я сам, черноголовый и среднерослый, сбитый, чувствуя себя азербайджанцем рядом с ними.

Вчераший вечер вышел *qui pro quo* — недоразумением. Я, скрепя сердце, отказался идти на балет Амирова «Тысяча и одна ночь» — а так хотелось и музыки, и национальных танцев, и декорации Нариманбекова посмотреть: впустить художественные впечатления, а то все — разговоры да чтение... Сухота! Но пригласил знакомый литературовед, сказал, что и других позвал на встречу, так что неудобно было отказаться. Я пришел к условленному месту, предполагая, что введет меня в дом, и там национальный стол, и люди, и поговорим, может, и пластинки мугамов там послушаем...

Но оказалось: никто не пришел, и повел меня в подвал. Где духота и гремит оркестрик, дуя децибеллы, да еще Аллу Пугачеву слушай вместо национального. И говорить невозможно...

Мой коллега, чувствуя долг гостеприимства: оказатьуважение гостю, назаказал многий стол, и водки бутылку. Наливает мне, а себе — чуть. «Я не пью» — и так весь вечер лишь символически пригублял... А на стол навалили салатов, колбас; кабан, люля, курица — кому есть? Я — чуть, он — чуть... Ужас. В духоте и шуме несколько рюмок я выпил, чтоб не пропадало... И пытался что-то беседовать.

Он сейчас в цейтноте, докторскую диссертацию чуть ли не назавтра ему сдавать, так что наше сидение ему совершенно не вовремя...

Так зачем же все это? Ни ему, ни мне так не нужно. Ну — если бы за чаем в чайхане на воздухе и поговорили мирно... Спокойно и за дешево. А тут он — гляжу — рублей 60 выложил. О, Боже!..

Что значит ритуальность — не личностность — даже в угощении! Не спросясь: что я ем не ем, пью не пью, назаказал... — традиционный набор для гяура из России... Сам-то вел себя личностно: строго ничего не пил и ел мало, а меня предложил родовым существом.

Промучившись за столом, мы, наконец, вышли на воздух. Еще светло. 9 часов. Вечер только начался. Он в растерянности, как длить, предлагает зайти к нему домой. Я стараюсь освободить его от себя: у Вас же диссертация! Он виновато прощается, договариваясь на завтра...

Куда теперь? Поехать на второе отделение балета? Не знаю, куда, да и поздно. Мог бы договориться на вечер к художнику зайти... После водки сердце давит: и читать не могу... Потом и ночь была испорчена, и на утро я полужилец... На хрена попу гармонь? И так мало дней мне тут, да так их губить, да еще и разрушаться при этом!..

Какой контраст — этот вечер и тот, что накануне, с Анаром и Нариманбековым, во дворе караван-сарай, в дивном древнем окружении и под звездным небом, в тишине и беседе, за мирным вином!.. Что значит — аристократизм! Умеренность и личность! Слух на именно этого человека (вот меня). А вчерашний вечер — для отписки встречи: обоим не нужен и тягостен...

Извлекать уразумение — о двух слоях азербайджанской интеллигенции. Одни — из народа, интеллигенты в первом поколении. Так, у моего вчерашнего коллеги родители в деревне, и много братьев и сестер. По антропосу он — приземист, крепыш. Такие «сельчане» в городе не совсем уверенно себя чувствуют, напряжены, и по инерции к родовым обычаям склоняются.

А другие, как Анар, Нариманбеков, — уже утонченно-отточены поколениями вершинного бытия. Рядом с ними я и себя чувствую маловоспитанным плебеем. Кстати, и глаза у Анара, кажется, светлые...

Коран и Духовность

О тпыхтевшись на вчерашнее недоразумение, воздадим теперь должное моему хозяину. Он оказался незаурядной личностью. Во-первых, твердая несоблазненность на водку в нем не только принципиальна: исламска, — но и неприятна она ему... Я стал допытываться: как это так удалось Магомету отвратить от вина жителей самого винного региона планеты, где виноград так естественно и хорошо растет?

— Но тогда какие они были бы воины? — ответил мой собеседник. — Именно единый монолит ислама мог покорить мир...

— Но зачем же это личности? Меня вот всегда удивляло: как могли, какую пищу находили в исламе такие богатые души, как Авиценна, Низами?.. Значит, было, есть в Коране и высокое питание...

— Коран вдохновенно поэтичен. И мудр.

— Да, я читал некоторые суры «Корана», например... Но если мужчина как личность находит здесь духовную подкрепу, то каково же женщине?

— Если внимательно читать, то законы шариата как раз во ограждение женщин установлены...

— Но как могут знать азербайджанцы Коран? Он же по-арабски... Есть ли перевод его на свой язык.

— Нет. У меня 10 Коранов: на русском, турецком, английском...

— А как же отправляются моллами требы: рождение, брак, смерть?

— Заучивают, зазубривают нужные молитвы.

— И что же: народ не понимает смысла слов?..

Да, какая разница с лютеранством, где священные тексты понятны, на родном языке, и все глядят в книгу и ноты и поют, сознательно вдумываясь в Слово!..

Переходы к Востоку православие и католицизм, где тексты и богослужение — на полупонятных языках: латинском и церковно-славянском...

Но зато Слово тогда божественнее воспринимается: как глагол, звук с неба, а не как «человеческое, слишком человеческое», — прозаически понятное...

И все же: конечно, массами ислам имеет способность овладевать (вон фанатизм какой в Иране Хомейни!). Но каково личностному началу проявлять себя в мире ислама?

— То-то Физули и другие считались «розовыми», не совсем правоверными: слишком мягки, гуманны...

Припомнился и наканунный, с Анаром и Нариманбековым, разговор о верах.

— Буддизм и христианство — самые тонкие религии, — сказал Анар.

— В буддизме тоже нет места личности, она — «майя».

— Так что христианство в этом плане питательнее.

Они оба были в Индии и увлеченно рассказывали о жестокости каст... Стоит только там расслабиться, дать нищим или слугам — как пропал! Один из них, белорус, давал деньги слугам — так они перестали чистить его туфли в гостинице: «он не брахман» (раз «унизился» им навстречу, «пожалел»...).

Мой вчерашний собеседник — и лингвист, и литературовед, и эссеист. Кстати, жанр эссе тут естественен и в почете: и Анар, и Сабир пишут эссе; а вот в Москве он никак не может пробиться: чиновно строгое «разделение труда» между наукой о литературе и самою литературою — не допускает этого жанра. А здесь, при не так далеко зашедшем отчуждении в культуре, этот человеческий жанр, где воля личному голосу дана и мысли артистической,— вполне приемлем.

Это — к Логосу национальному наблюдение.

О фонетике языка азербайджанского он интересно говорил:

— У нас 9 гласных, и большинство — переднего ряда. Один русский лингвист так шутил о тюркских языках, которые в основном — переднеязычны: «Они, в жаре, лентяи: им лень пошевелить языком и артикулировать звуки задних и средних рядов, и потому жмутся вперед, где полегче выговаривать...»

Кейф! Линия наименьшего сопротивления. Не то что ургийные народы германства, что вспахивают недра и в природе, и в ротовой полости!..

Азербайджанствую!..

1 ч. дня. Расслабляюсь у журчащего фонтана после труда осмотра музея искусств.

Тенисто, деревья в плюще, витые... Кейф! Начинаю взвидывать красоту. Для этого нужно расслабиться и отдаваться мгновению сему.

Восток оттого миниатюрист (и Персия, и Япония...), что умеют целиком вмединироваться в сей миг и место, точку и вид: в камень, облачко, листик (японцы). А здесь — изделия орнаментальные, украшения быта (ковры и проч.).

Кстати, такое почтение в Баку к деревьям, что каждое на тротуаре имеет свою ямку — как каменную рамку. Я удивился: ведь об это ноги ломать, если особенно спяну передвигаться!.. Да и просто прохожему — обходи! То эти ямы, то окна подвалов — и все это изрезывает сравнительно узкий тротуар. Что значит — народ горцев! Привыкли осторожно переступать в горах — и в городе устроили себе горные дороги!

Но и показатель это косвенный, что пьяных в Баку не бывает...

...Рука обмякает. Голова упадает... Дрема. Убаюкивает звук вод и шелест листов со птицы... (как «со чады»).

Вхожу в азербайджанскую Психею.

Струи фонтана — как белая идея тополя в картине Саттара Бахлулзаде «Мечты земли».

Да, деревья и воду тут чрут. Недаром постоянен сюжет: «Водонос», «Продавец воды» в жанровой живописи XIX века.

...Посидел за мороженым. Пойду доедать в кафе повыше.

А сейчас я — в чайхане под небом, под сенью древес, где на столик падают сережки. Выпил чайничек, а перед тем купил пару беляшей (правда, мошеннических: с чуть — мяса) и питу с прополкой сахара в середине и пообедал. Неважно, что. Важно — как! Приятнейше кайфуя.

Но самое поразительное: что этот мусульманский рай — буквально в 10–15 метрах от станции метро «Баксовет». Невообразимо такое москвичу, где возле станции метро никакой жизни быть не может, а выжженная выхлопными газами пустыня.

— А Вы и здесь работаете? — удивленно вскакиваю: литовец! С кем в номере мы! Как белый стройный ангел!

— Да, пристроился: где мысль посетит — там и запишу. Но какое диво! Какое совпадение! В 2-х миллионном городе — и так встретиться!

— Никакого чуда: здесь центр города, так что вполне вероятна встреча,— заметил весело рационалистический инженер-северянин.

Но мне, энтузиастическому, хочется верить в чудо и специальность, и воскликнуть: Велик Аллах! Заведующий Судьбой!

Нет, нет, это все мне нравится — такое времяпрепровождение! Как многие мужчины застольничают весело в полдень — так и я. Только мой разговор — со бумажкою!

Итак, азербайджанствую я! Преисполнясь духом сего Космо-Психо-Логоса. Не утружаю себя, но — бытийствую в присебейности... Никуда не стремлюсь.

И не гонят меня: есть еще столики. Исчезает-растворяется наша российско-московская запуганность.

Отработаю-ка сразу живописные впечатления от Музея искусств...

Или пьесу «Мертвцы» Джалила Мамедкулизаде, что тут за чаем-столиком дочитал?

Все это — крупные вещи и задания. И требуют особого сосредоточения. Но ведь времени у меня мало, и на особое сосредоточение завтрашнего утра имеет поступить музыка: вечером пойду на концерт в филармонию. А тут — дивный кабинет.

И даже символика некая есть в этом расположении. Сзади ревут машины, слева метро... Но не обращая на это внимания, сидят себе за чайничками и весело треплются азербайджанские мужички...

Не так ли и ты, азербайджанский Космос, раскинул свой тabor посреди безумствующей модерной машинной цивилизации: не дал себя свихнуть, не соблазнился, а настоял на присущих тебе формах быта — Бытия и продолжаешь упражнять их — здоровые, не эфемерные, тебе присущие?

И есть еще одна символика: что иссякла нефть под Баку; значит, переболели тут машинно-фабричностью, когда та была еще в получеловеческих формах, и обрели люди иммунитет некий к соблазнам и заразе нынешней электронно-ядерной цивилизации и обществу потребления под дамокловым мечом атомного апокалипсиса. Не тревожатся они, не психуют, не паникуют. А пьют себе чай!

Это мне напомнило достоевского «дженльмена», который вызывающе цинично про боли мира сказал: пускай все проваливается, а лишь бы мне чай пить!

Но в этом есть и обратная, прекрасная сторона: игнорирование зла и отчаяния. И когда целый народ умеет пить чай посреди мирового психоза — тут уж благо и спасибо такому народу, что — не поддается! Живет себе позитивно и рождает детей — и в нем опора и устой и свая, что не даст человечеству погибнуть;

но сохранено семя и образ и способ натуральной жизни, что таким образом — и продлится, пролонгируется, и наперед...

Ну, пожалуй, можно и сдвинуться: в гостиничку заедем: одна остановочка на метро. Заодно и его, бакинское, посмотрим.

...По лестнице эскалатора не бегают, как я вот побежал, да еще одна белая, русская. А стоят, отдохивают, не торопятся, хоть и пуст путь вниз, а эскалатор глубок...

Устроились так, что и ночной жизни предаются, пристроив рядышком детей. Вчера по набережной перед сном прогуливалась — и на многих скамейках молодые матери прижимаются, целуются, а в легонькой колясочке карапуз раскинулся, сопит. Обе потребности приладились беспомешно осуществлять: и кайф чувственный, и чадолюбие и домашность. Может, и не с мужем так гуляют: может, вдовы «сийгу» (временный брак) так осуществляют... Без натуги — и модерны женщины молодые, и патриархальны тут... Сочетаемо здесь это.

(В метро себе записываю, чтобы не забыть). А что до болезней национальных, вчерашний собеседник сердечные назвал, удары. Ну да: и я вот, крепкого чаю напившись, гнет на сердце ощутил... Еще и запоры тут должны быть: рис да чай, что — Китай!

Вот пожалуйста: выходя из метро, упираюсь в кафе «Метро» — прямо в здании станции: хоть несколько столиков, а — есть! Предусмотрено...

Культуролог Рахман

21.V.87. Вчера хороший день был. Впечатления и идеи накапливаются крещендо. Венцом дня была встреча и разговор с Рахманом Бедаловым, культурологом и философом. (С подачи Анара на него вышел). Он написал книгу об эпосе, читал меня, разговаривать сразу было легко. Он удивился, что я пошел постигать азербайджанский Космос путем музеев...

— Да я и сам хочу прежде всего в дома, в быт, во внутреннюю жизнь и душу людей войти. Да кто ж меня впустит, чужака? Оттого использую музеи, сей эрзац живой жизни. И там через пейзажи и жанр постигаю природу и быт...

— Надо Вам устроить «меджлис» — думающее собрание с моими друзьями. Сейчас мы тоже насчет национального, как Вы говорите, Космоса, думаем...

— Тогда вот, вопрошу. На что опирается азербайджанец в самоотличении и самочувствии себя среди других народов и стран, на какие устои?

— Во-первых, эпос: «Деде Коркут». В последнее время именно интеллигенция: музыканты, художники — из него черпают. Второй эпос «Кер-оглы»: он более народен, крестьянск, им дает пищу и опору.

Что же до исторических реалий и опор — тут хуже. Нет ясной истории у Азербайджана — не то, что у России, Грузии. Когда ученик идет в школу и ему толкуют про древнюю Мидию или Албанию — что ему они? Отзыва им далее не было. И далее: все-то что-то начинается, распадается, история проходит как бы мимо нас. Так что изучение истории питает лишь комплекс неполноценности.

Я бы так выразился: Азербайджанский Космос — у дороги. По ней снуют туда-сюда многие народы-агенты истории: греки, римляне, арабы, тюрки и т. д. — и всем бы только захапать и растворить эту землю и народ. Он же чуть посторонится, уйдет в себя, совьется. Его задача — просто выжить.

Если применить различие культуры и цивилизации, то азербайджанство — это культура без (или с малой) цивилизации. Иное — грузины. У них что ни сделают в культуре (в том числе и сейчас), тут же одновременно имеет статус цивилизации: будто скользнуло все наружу, смотрится в зеркало и охорашивается, хорошо выглядит... У нас не то: с точки зрения культуры мы с ними наравне, но наши создания более для внутреннего употребления.

А раз дело выживания для нас столь существенно, то тут натуральные, а не исторические добродетели важны: дом, семья, дети, род, клан, местничество. Этим крепится азербайджанец. Ему плохо на чужбине, не может там. Он едет кайфовать в Москву — как? Берет с собой нашу пищу и засаживается в гостинице играть с приятелем в нарды. Потом возвращается и с аэропорта звонит своим: как он соскучился и без них не может.

Что же до «Космоса», то вот я был в Средней Азии и нахожу, что тамошние народы более слиты со своей природой, чем мы. Казахи, киргизы... (Менее — узбеки!)..) Там душа и дух народа и человека в некоей гармонии и питающем взаимопроникновении с окружающей средой природы. У нас и с природой некоторое отсоединение, независимость (как и с историей). Ни горцы мы, ни земледельцы, ни кочевники. Но какое ж кочевье у нас, когда мы извека на одной и той же территории?.. И тем не менее...

Гораздо плотнее — Космос Баку, как особого образования в Азербайджане.

— Да, это я тоже уловил, что Азербайджан — это диалог Баку с остальной своей страной.

— Подобно и в Латвии: Рига и прочая земля... Так вот: Баку — это особый мир. Особенно старые бакинцы, что по окраинам... И он у нас — орган истории и цивилизации и смыкание страны в целостность уже на этих уровнях.

Особенно двадцатилетие с начала нашего века динамично в этом отношении: тут во все стороны ускоренно развиваются формы деятельности: и нефтепромышленность, и адвокатура, и пышная жизнь, и меценат-миллионер Тагиев, швыряющий деньги на образование азербайджанцев за границей.

— Меценат, как тогда и в России: Мамонтов, Морозов, Третьяков?..

— А газет сколько и издательств!.. И просветительская деятельность...

— Ренессанс и Просвещение вместе — в бурных условиях XX в. И вкупе с модернизмом...

Кстати, я заметил, что в градостроительстве бакинском рубежа веков в стиле «модерн» такое сочетание разнообразных элементов: и готика, и мавританское, и даже романские колонны — и все это, что раньше унизительно называли «эклектикой», теперь открывается как особое единство и стиль нынешнему эстетическому сознанию и вкусу.

— Я бы сказал, что именно эти двадцать лет основополагающие для становления Азербайджана как некоей органической самости и целостности в истории и цивилизации. Ибо прежние времена и века — лишь отдельные элементы и предпосылки. А в

общем мы были включены и растоплялись в общей жизни и истории исламской цивилизации, или Персии, куда мы давали своих деятелей: династия Севефиды, например...

Вообще азербайджанство — именно в силу установки на живучесть — гибко переструктурируется каждые двадцать лет, приспосабливаясь к новым условиям внешнего существования «у дороги». Вот и сейчас подобные процессы идут... Народ живой, динамичный в самосохранении.

Что же до литературы, первым нашим я считаю даже не Физули, а Вагифа: он первый поднял низовой разговорный азербайджанский язык до высокой литературности. Подача же Низами как классика азербайджанской литературы — даже вредна, по-моему. Читает его школьник, студент — и поеживается: ничего не созвучно его народному слуху, будто чужое берет и притягивает к себе. Так что изучение Низами как будто своего коренного приводит к обратному эффекту: возникает ощущение, что у нас своего коренного и нет...

Другое дело — Вагиф, Ахундов и особенно Сабир.

Про славную нашу культуру и литературу начала нашего века надо сказать, что там сильно стыдящееся себя обличительное направление. Особенно у Мамедкулизаде... Вообще есть это у интеллигентных азербайджанцев — тенденция отмежеваться от народной нецивилизованности и простоты и высмеивать... Нет, и в народе любят над собой потешаться, и весело на меджлисах, но это все — про «мы», «наше». А те — как про «они», про чужеватое...

И в современной литературе — Чингиз Гусейнов. Его последний роман «Семейные тайны» — обличительный: кланов наших жизней вскрывает, но отстраненно, это для него «они».

— Да, и Анар говорил, что тут не чувствуется боли, а холдиновато, объективно, будто уже порвал пуповину, и сам — другой...

— А вот Сабир, хоть и тоже высмеивает, но его смех — юмор, приемлемся, созвучен...

За таким разговором дошли мы до филармонии, где слушали концерт из первых азербайджанских опер: «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибекова и «Шах Исмаил» Муслима Магомаева.

Но о музыке — особый разговор на потом отложим. Возвращались мы старым городом: как живой организм он, отпочковывались тут дома, улицы. Живописно!

На приморском бульваре присели в чайхане и продолжили разговор.

— Какие ж природные ориентиры — символы дороги сердцу азербайджанца?

— Гора, дом-очаг, вода.

— А дерево? И какие животные? Я заметил, что птицы важны в живописи, вон в «Азербайджанских сказках» Бахлулзаде...

— И в орнаментах птичьи фигуры... А дерево у нас очень почтенно. Там часть — «пир»: святилище-капище, куда на поклонение ходят, ленты вешают.

— А Каспий-море — входит в Космос азербайджанства или нет? Например, в Болгарии, хотя четверть страны — берег Черного моря, но оно остается как бы за скобками болгарского образа мира, он к нему спиной повернут, нет к нему отношения, к морю, и не входят оттуда сюжеты и символы в дух народа.

— Да, пожалуй, и у нас Каспий — это нечто трансцендентное, чужое пространство. Мы — до Каспия, но не с ним включительно. Даже прибрежные азербайджанцы не имеют особой охоты купаться и плавать. Да, это на важную Вы навели меня мысль: исключение Каспия из нашего образа мира...

— Еще я заметил по литературе, что есть описания, внутренние монологи, но нет развитого диалога. А это значит: нет откровенности, тяги к исповеданию, как у русских: душа ищет — распахнуться кому навстречу...

— Да, у нас искренность не в почете. Осторожность. Недоверчивость. И мы не знаем дружбы. Любовь — это знаем, это естественно. Знаем приятельство, родство, кланы, компаньонство по делу... Но дружба?.. Это что-то непонятное.

— Интересно! А в грузинском Космосе обратное: акцент на Дружбе — даже за счет любви. Так это и в «Витязе в тигровой шкуре». Здесь же страстнейшие поэмы любви: «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин», но нет воспевания дружбы... Важная очень психокосмологическая черта...

— У нас акцент — на семье, доме, очаге; любовь к жене, детям... Мужчина — это кто каждый день «принесет в дом четыреста грамм мяса» — такое есть выражение-определение. А насчет искренности? У нас ни одно слово не говорится совершенно прямо, а как бы через два борта — в лузу, рикошетом, обinyaком. Такое же ожидается и от собеседника...

— Да, как глухими стенами на улицу дом смотрит, а глазами — во двор = в себя (это тоже, воплощенный уже архитектурно, внутренний монолог), так и в беседе, и в диалоге литературном. А в России как дом глазами на улицу, так и душа тянется на откровенный разговор. Но это предполагает и личность: взывание к «ты» есть следствие развития «я». Как с личностным самосознанием в азербайджанстве? Не с индивидуальным — это есть: себя чувствовать как особь и в инстинкте самосохранения продумывать в себе практические мысли, ходы, варианты решений (таково содержание читанных мною внутренних монологов), а с личностно-нравственным? Мне кажется: род тут более «личностен», чем входящая в него личность человека: с нею он не считается; и она сама с собою не считается, уступая высшему закону — требованию рода.

— Да, так. Но это связано с задачей выживания. Именно разделяя мощные кланы, которые горой защищают своих членов, и выжил народ.

— Так что если мой сородич — подлец, для меня важнее, что он — мой сородич, и я не стану применять к нему абстрактный критерий справедливости и нравственности...

— Да, так у нас в общем. Но в этом и демократизм. Когда какой-то клан приходит ко власти — и ныне, другие ревнуют: мы тоже так можем — подстерегают и опрокидывают. Динамично у нас тут, особо не застоишься... Правда, в последние годы у нас сильно побили клановость, но она — живое дело и способна к быстрой регенерации...

Еще местничество у нас много значит. Например, из Шуши — музыканты традиционно, а из другой местности — иные умения. И вот трудно сходятся и понимают друг друга. И в семьях. Уж в психиках — свои стереотипы. Как если один человек войдет в комнату, прошибив лбом стену, а другой обогнет весь дом сзади, чтоб туда же взойти. Как им понять друг друга? Как сжиться?

Но вообще беззаботно везучи мы. Штаны вот-вот спадут, кажется, ан — не падают! Сами удивляемся...

Спросил я об Эросе, о женщинах...

— Когда девушку выдавали замуж, опытные женщины хорошо наставляли — и в технике даже... Семьи и сейчас у нас крепки. Правда, если азербайджанка сойдет с катушек, она вызывающе, истерически дерзка — интеллектуальная эмансипантка. Такие персонажи есть у Анара. Это от новости, нетрадиции и психической перегрузки. А в деревнях у нас много женских самоубийств: вдовы остаются никчемны, мужчины уходят в город, где, напротив, трудно найти женщину, жениться — проблема... Потом: негде встречаться. В ресторанах, кафе одни мужчины. Обычай разделенности времяпрепровождения полов...

— Ну, а педерастия как, есть?

— Традиционно — не было. Но в нынешней молодежи както стерлись резкие половые признаки, смешались мужчина и женщина в них более; да еще поветрие с Запада, да армия... Появляется это...

— Хотя, как слышал, самая оскорбительная брань для мужчины — «педераст»...

— Ну, а как с социально-политическими интересами тут? Есть «инакомыслящие», «диссиденты»?..

— Нет. Есть, конечно, в «меджлисах» вольные разговоры, но больше — с юмором, а не с озлоблением, анекдоты!.. Если что и задевает более — так это национальное чувство: с этой стороны бывает живая реакция...

— Но не на то, что называют «правами человека»?..

— Да, эта волна нас не так касается... Так что социально-политическая струна у нас опять же родовая: народно-национальная, а не духовно-личностная.

Вообще и в литературе у нас критика не развита. Ну, как так ругать прямо, как это вон в «Литературке» критические статьи читаем? Это и не уважительно, и не артистично. У нас не жанр критики, а жанр эссе развит. Там артистично-орнаментально вышивается своя мысль и мимоходом, изящно, можно и задеть, покритиковать, но не прямолинейно, а тоже логикой, «через два борта — в лузу»...

3 ч. Во вчерашней чайхане при метро. Поработали с Рахманом: на телевидении, с подачи Анара, прекрасная женщина Телли Алиева доставила возможность просмотреть и прослушать народный самодеятельный ансамбль: национальные танцы, пантомима, оркестр, мугамы...

Когда встречались с Рахманом, он подхватил вчерашнюю тему:

— О море я продолжал думать: отчего оно у нас не значит? И жена рассказала: она вчувствовалась и подтвердила, что так. А ведь выросла на побережье. Плавать же не любит.

— Вообще азербайджанец не особо двигательен: зуда стремления в путь-дорогу (как русский) или «Туда! Туда!», как германская Психея гётеvской Миньоны, не испытывает?

— Да, более созерцателен он.

— А каков он в работе?

— Если дело ясное и результат виден: на земле, в дому своем или в артели — очень хорошо и методично; даже монотонно работать, постукивать — такая работа по душе. Но если какое далекое дело, непонятное, гигантское, — увиливать станет.

— Психо-Логос близкодействия, так?

— Потому и Море, как нечто грандиозное и простое, монотонно величественное, образ бесконечности, — не ложится на сетчатку, мемброну души, нечем это улавливать.

— Да и пусто и скучно, и не за что уцепиться различающему глазу — уму: не то, что ковер своей дробно-расчененной местности!

Оттого миниатюра в искусстве у нас и была развита, и сейчас продуктивна: молодые модерные художники к этой традиции склоняются. К нам и импрессионизм, и абстракционизм в последние годы веяниями залетали, но наши молодые и мудрые все равно склоняются к дальневосточной традиции, к японской — и к своей.

Ибо много за века было волн и течений в миниатюризме, и каждый ныне выбирает себе тот вариант, что ему по душе, и не стыдится подражать.

Вообще нет у нас, ну — слабее тщеславная амбиция быть первым и оригинальным, как это в России или на Западе. Достаточно самочувствия, что то и добро делаешь...

Еще я спросил его:

— Приступая к описанию Азербайджанского Космоса, я должен также отдавать себе отчет: в какой контекст-проблематику сегодняшней вашей культуры, в какой круг идей это попадет? Что сейчас, так сказать, очередные задачи в становлении Азербайджанства?

— Об этом Вам не надо заботиться. Ваш труд пробудит мысли, будет стимулом собственных наших раздумий...

— Ну, этого-то там будет достаточно...

— А потом: как раз мы бьемся над поисками той или иной стороны национального, на которую опереться... Так что Ваш труд и этому поможет.

— Но, может, не национальное сейчас — проблема, а личность — духовное развитие человека тут? Если национальная целостность — это круг, шар, необходимость, то личность — это вертикаль между Небом и Землей, прямой выход «я» на Абсолют. И это-то мало знаемо и даже не подозреваемо многими здесь как возможная цель-задача человеческой жизни, развития общества... И, может, чаянию этого мне надо содействовать?

— Да, у нас это не остро и даже неважно и непонятно. Если личность у нас самоотличается, то — в отталкивании от «шара» утверждается, в критике, как Мамедкулизаде и Чингиз Гусейнов.

А утверждать вертикаль в единстве с шаром?.. Нет в нас рефлексивного самокопания...

— Да, это Вы хорошо сказали. Личность может выедать своюю вертикаль — радиус внутри шара — через бурение покаяния и самокритики: что я плохой. На этой почве растет совесть, и она — в единстве с шаром Целого: со-весть, совместное со-знание. А критикующий общество со стороны полагает себя хорошим и умным, мир же — плохим. Тогда его вертикаль — по касательной к шару, отталкивание, индивидуализм. И она — не труба-полость, а глухой сомкнутый стержень — прут, которым обруч колеса-шара подгоняется...

— Вы еще про исповедания спрашивали? Наш человек — созерцателен, и аналитика себя ему видится ненужным усилием...

22.V.87. К 6 вечера вчера Раҳман меня взял с собой на поминки по отцу его друга. Под брезентовым тентом, натянутым на

каркас, были расставлены столы, скамьи, а посреди молла в тюбетейке (потом ее снял и надел папаху), в синей рубашке, в костюме городском выразительно и красиво говорил. Оказывается, проповедовал о том, как снимать тяжесть с сердца (сердце опять — повышенено на него тут давление!), прощать, не гневаться, не грешить, не воровать, приводил стихи из Хагани и Физули, толковал; мужчины со скамей включались в беседу с ним — шел рядовой «меджлис». Зашла речь о том, как в Иране Хомейни азербайджанского шофера хотели судить за выпивку; возник юридический спор, где его судить — на месте преступления и по законам сего места (в Иране, значит) или дома, в Азербайджане? В связи с этим зашла речь об автомашинах, о ГАИ и т. д.

Мне интересна была эта живая смесь из Корана, из ГАИ, из стихов Физули: что просто-естественно, как лютеранский пастор среди своих прихожан, беседовал молла и как «фамильярно» мужчины включались в общий с ним разговор. Нет никакой напряженки, а ведь священное лицо!

Вот ислам в быту: обряд чтится и в среде философов Академии наук. Рассказали мне, что если двадцать-тридцать лет назад невозможно было партийному функционеру участвовать в народно-исламских обрядах, то в последние десять лет переменилось отношение и в верхах, и это рассматривается уже как народность, демократизм руководителя, если он принимает участие в обычаях и обрядах своего народа.

Я спросил: этот павильон постоянно стоит для разного рода треб людей округи, микрорайона? Ведь у каждого то свадьба, то рождение, то поминки... Нет, оказывается, это по телефону-заказу выезжают и специально ставят: мобильно и всем удобно.

Женщин не было. Они собираются лишь на 40-й день, отдельно, после того, как поминальный обрядный цикл будет уже исполнен мужчинами.

Все затем сели по машинам и поехали на кладбище. Там молла прочтет поминальную суру из Корана и вернутся назад за стол.

Мы же отправились к художнику Джаваду Мирджавадову... Да, по пути с одним философом обсуждали: каков Азербайджанский Логос, т. е. склад мышления, схема умозаключения?

И он высказал мысль, что тут опора на авторитет: на Коран, на стих поэта, на цитату, словом...

— Это правдоподобно,— подумал я.— Ведь и в искусстве, как акцентировал Рахман, в миниатюре или ковроткачестве, опора на готовую рамку, прием, традиционную схему... Вон и молла рассказал Предание, как поэт (Хагани или Физули) воспросил одного человека, читавшего стихи: чьи они?— и тот не мог ответить; на что поэту сказал: это же варварство, духовное, и оно ничем не меньше, чем кражи вещи: не знать, кто автор, кому принаследжат эти стихи, изречение, мудрость...

Тут опять будничность высокого (урвнение стиха с ложкой): в быту оно, как и обряды и исламский «междлис», собрание-беседа общины...

Художник Джавад Мирджавадов

Когда вынесли картины — какая-то горючая смесь навалилась на тебя: из солнечности и мощности, из страха и веселья. Веселые страшила, пасти, где зубы — как дрова. И все так пестро, как ковер. И пружинно-волево: постоянен орнаментальный мотив змеящейся волн, сжатой синусоиды, что вот — распрямится. И эти пружины прошивают все ровные плоскости, то тут, то там.

А черты лиц и форм монументально-лапидарные, толстой линией обведенны... Вон лица людей, к святому пришедших, — глаза и брови, как на Фаюмских портретах: застывшее удивление перед открывшейся Истиной... Или чаяние будущего света на них записано...

Когда я это высказал, молчаливый художник подтвердил, что очень любит Фаюмские портреты. Также и маски бенинские, африканские, когда я их подобия на лицах-масках его страшилищ узрел.

Первобытное искусство любит — метафизические, грубые первичные формы и идеи... Но к ним современному художнику надо творчески прорваться — из рафинированности нового искусства.

Он учился, как говорит, в Эрмитаже — сам, в запасниках копировал Матисса и Пикассо и других...

И вот, суммируя впечатление свое на языке четырех стихий, я сказал:

— Это же Космос огневоды! Повышенная жизненность, пружинная плоть, и все бытие полыхает пестротою. Даже темное: черное, фиолетово-лиловое — все пышет жаром, не холодом, чревато пламенем — как нефть, которая тоже = огневода, потенциал зороастрыйский...

— Вы точно угадали! — отозвалась его жена Люба. — Ведь в первый свой период, когда он «абстрактные» вещи делал, — прямо из битума отливал.

И повела на кухню — там плита — барельеф из битума, где нанесена и глазурь, а посреди выпуклость круглая, а в ней щель, как влагалище мировое...

— И пестрота радужная нефтяных разводов тут в фактуре картин, — замечаю.

— Верно, он апшеронец, вырос, любуясь на игру спектра нефти на воде, — подтвердила жена.

Вот ведь, думаю сейчас: северный художник, русский, — спектр зрит в радуге в небе, в стихии воз-духа (как и северное сияние); а южанин-апшеронец-нефтяник пестроту цветов воспринимает из черного, по черному, как адовый спектр, аrimанов... Но, раз спектр и многокрасочность, — он, ад, «Зло», демон-шайтан, то они не могут уже быть абсолютным злом, а веселы, добродушны, карнавальны.

И весь мир тут цирк и карнавал — масок, форм, цветов, свободный, из неожиданных пересчетаний и пресотворений. Этим весело, как бог-дитя-творец мира, и занят живописец...

Он вырос на Апшероне. И так объяснил, почему художники, приезжая сюда, и не двигаются даже в климатически более милые и живописные глубины Азербайджана:

— Здесь, на выжженности, нет теней; все формы оголились, приблизились, проступили-выпятались.

И в картинах его резка как выпуклость (грудей женских бутоны, ноги, руки, клешни...), так и вогнутость: прописанные дыры бытия, спиралевидно вкручивающиеся. То ли глаза, то ли влагалища-лона рождающие... Так в фреске «Сотворение мира» черный громадный demiurge в центре, развернув руки, обнажает в

середине груди огромный овал-мандалу, что вкручена внутрь, пробурена, как скважина...

Когда упомянул я манихейство, он отозвался:

— Люблю я эту идею, религию...

— А что Вам из религиозных систем ближе?

— Да, пожалуй, индуистские.

— И именно индуизм, с его многобожием и избыточной жизненностью, а не буддизм...

— Да, индуизм.

— А христианство, с его спиритуальностью и личностностью, чуждо?

Он возмутился:

— Что Вы!.. Я очень читаю и чту. И вообще нет разных религий, а есть одна...

— Только в разных вариантах, ипостасях...

Человек этот — сам огненно-волканический. Про него рассказывают: когда молодой был, в жару под горячим солнцем выпивал литр водки и стоял бритоголовый на жгучем песке,— и так, зарядившись избыточной огненностью и жаром, приступал писать картину. Любимый его месяц — август; время суток — полдень.

Гордый, высокий творческий дух. Подвижник, как дервиш: в бедности, презрев «пробивание», блага и почести,— работал и работал... Его давили, теснили — и вот вдруг, когда ему за 60 уж и первый инфаркт,— приходит признание. Айтматов купил 15 картин, Артур Миллер и проч... Но «свои», внизу, все равно теснят, жалят, не дают выставки и жилья: в пятиэтажке хрущевской, в трехкомнатной убогой квартирке втроем с женой и сыном — и целым племенем картин, что в одной комнате сдавлены, источающие избыточный жар...

— Отнеопасная у Вас живопись! — говорю.

В его картинах нет глубины, дали, воздуха, пространства, перспективы, а все бытие здесь и теперь — в сей миг надвинуто. Близкодействие! Избыточное настоящее... Без отсылов в даль и в куда-то: на будущее переклад цели и смысла (как это в германстве, в российстве. В христианстве вообще).

И это — черты, присущие азербайджанскому образу мира и психике.

Интересно, что про его предков рассказывала Люба. Его дед — духовное лицо; сын (отец Джавада) — скорняк-мастер, зажиточный, содержал отца, кто — как дервиш, погруженный в духовные медитации. Когда после революции пришли их выселить из дома, дед взял лишь свой толстый Коран, потом вернулся на свое место в доме и стал снова читать... Его опять — выдворять...

Он трогательно любил сына (скорняка) — и его, уже 40-летнего, зарывал в горячий песок на берегу моря, чтобы доставить ему кайф и негу...

Отец тоже был оригинал. Как-то оставил сына однолетнего сидеть на краю очень глубокого, чуть не 100-метрового колодца. А когда ему на это указали, он твердо:

— Мой сын не упадет!

И не упал. Вот эта исламская уверенность в судьбе и предназначении вела, быть может, потом и Джавада в его бескомпромиссном творческом пути...

В его картинах — птицы, много петухов (птиц огня), ослы.

— И что-то осла обижают в других странах? — он буффонно возмутился.— Дурака с ним сравнивают. А такая умная скотина и трудяга. А какой стержень!.. Воля, упорство.

— «Домар!» — говорит Рахман.— Это и стержень, субстанция, селезенка... И характерно это для ашеронцев, для «баки-лы» — обитателей окраинного Баку, из кого и Джавад.

Заговорили о психологических особенностях азербайджанцев иных местностей:

— Карабахцы,— говорит Рахман,— это лицедеи-лицемеры. Актеры оттуда хорошие.

— «Лицемеры» — это же плохо! — удивилась Люба этому сочетанию в словах Рахмана.

— Нет, не плохо это: сердобольны, слышат другого человека, идут ему навстречу. А вот нахичеванцы — это демагоги-правдолюбы! Мир для них важен объективный истина... А из Гянджи — мафиози...

В последнем даже я случайно убедился: у меня в номере два рослых, толстых, грубых азербайджанца, пьют, курят, бабники, шутники. На мой вопрос: «откуда?» — «Из Камчатки», —

ответил один. Потом увидев, что я поверил: «Я пошутил! — рассмеялся. — Мы здешние, из Гянджи».

— Откуда Низами? Старинный сохранился город?

— Да, памятник строят ему большой.

— Так что азербайджанцам из разных местностей, — продолжал Рахман, — трудно очень, даже невозможно сжиться. Вот моей матери покойной и моей жене...

Фонетика и музыка

Давай, плетись, кляча умозрения! Сегодня никуда не пойду: разгребать надо уже наличный завал впечатлений и соображений и намеков на мысль и понимание. А для этого — вонзить вруб-упорство медитации в каждую деталь, пробурить ее, как скважину, в плазму-магму субстанции Азербайджанства.

Вышел из гостиницы, где умозрел с утра, пристроился в чайхане под древесами в Приморском бульваре — и додумывать станем...

Во-первых, позавчерашнее посещение Музея искусств и лицезрение азербайджанской живописи.

...Во эмансипация-то! Сели ко мне за стол две азербайджанки чаевничать — и кудахтают; не стыдятся мужчины (это со старой бы, патриархальной точки зрения), не понимают надобности тишины для пишущего человека (это уже недостаток цивилизованной развитости...).

Вспомнил, что мне говорила секретарша в Союзе писателей про азербайджанцев: никак не освоят цивилизованных форм. В театр идут, опаздывают, едят в зале...

Однако я в этом усматриваю и хорошую черту: домашность с Бытием, фамильярность, свойскость со всем, даже сильно уж «высоким» и официально-казенным, отсутствие отчуждения, чопорности, — то же, что меня вчера приятно удивило на меджлисе с моллой на поминках.

Вот уже и не мешают мне азербайджанки: раздается их гоношение, как птиц чириканье в близвисящих ветвях. Вслушиваюсь в фонетику языка. Вчера еще, в речи моллы поражен я был его звучностью декламационной.

А ведь певуч! Птич! Восходящее ударение. Хорошая прослойность согласных гласными — нет избыточной жесткости, как при стыках многих согласных. (Не то, что в избыточно каменноzemельном армянстве: («мкртчян»- 5, даже 6 согласных на один гласный. Хотя тут — «р», возможно, слогоное?). Значит, стихия земли тут достаточно провоздушнена: ведь гласные — координаты мирового пространства: «а» = высь-низ, вертикаль; «е» = ширь; «и» = даль; «о» = центр; «у» = глубь, недро, утроба.

Действительно, много гласных переднего ряда (= космос близкодействия, приближенности!). И «у» — сдвинуто вперед и вверх, в «ü» — умлаут немецкое, и «о» — тоже в «ö» — умлаут поднято и смягчено... Много разных «э» и «е». Прелестны окончания фраз на гласном с восходящим акутом распевным. Части музыкально-гнусавые, чуть носовые вопрошения: «Эй?»

Напоминает тембр кюманчи или зурны, носовой, гнусавый. Много сонорных, носовых согласных, «н» постоянно звучит.

Есть легкая гортанность, но все звуки ясные, как небеса тут; нет такой каши звуков, что в туманном Альбиона: глубинные гласные: а: э: — недряные, задненебные; «грязное» «р», рокочущее в глуби-утробе, в очаге-доме, а не в ясном чистом пространстве. Еще и приыхательные согласные...

Дробная дискретность речи, произнесения слогов, барабанность,— не то, что волновая плывучесть несущейся французской фразы. Там мир — непрерывность, континуум. Здесь — дискретность, атомарность. Тут свойственнее и строение вещества представлять в здешней физике по модусу дискретности: из частиц-корпускул,— а не из волн, как во Франции, где распространены волновые теории вещества и света (Френель, Де-Бройль).

Дробь речи напоминает игру на таре, где часто-часто трепетание одного звука разноритмично сопровождает мугам-импровизацию певца.

Пожалуй, мне теперь не живопись промышлять, а на национальную музыку естественнее — от фонетики-то речи — перейти, которую я тоже эти дни слушал, думал, впечатления имел...

...Ушли мои птички-певички... Остались те, что в кустах да ветвях... Да у меня на слуху.

Самое особенное и восхитительное тут, конечно, — *мугам*. Экстатическое волшебство — излияние души, что, начавшись с высочайшей ноты, уступами спадает, изукрашено мелизмами-опеваниями = орнаментами каждой ступени, образуя каскад. Как спуск с вершины горы. Как многоэтажный водопад.

Как мне пояснял Раҳман, *мугам* — обычно трагико-драматического содержания: плач от разлуки с возлюбленной, несбыточность надежд выражает и т. д. Лишь один из видов *мугама* — «раст» — героический, бравурный. На его основе арии Кер-оглы в опере Узеира Гаджибекова...

Мугам — высокое, выделанное искусство ритуальной импровизации, где она — и вольна, и традиционна. Весь интерес — в деталях, миниатюрных отклонениях, как и оригинальность в живописной миниатюре...

Мугам — аристократическое искусство, при дворцах персидских многовеково отделялось.

Когда я слушал «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибекова, я заметил, что там в основном диалог двух музыкальных элементов: *мугам*, как импровизация-ариозо, исповедание — монолог личности под просто ритмический (в основном) аккомпанемент струнно-щипкового тара, — и танцевальная песенка, простенькая, четкая по ритму и по мотивам, повторяющимся секвенциями.

В этих танцевально-песенных эпизодах — ритмы и интонации тюркские, знакомые мне и по болгарской народной музыке. Так что диалог двух сущностей, из которых слагается азербайджанство: персидской и тюркской, — осуществляется в операх Гаджибекова и Магомаева через чередование сольных *мугамов* и хорово-оркестровых танцев-песен.

Тюркское — более демократическое начало, простонародное и низово-городское, как в России — городской романс с простенькой мелодико-гармонической схемой и ритмикой.

Мугам же мне раскрыл сферу обитания личностно-духовного начала в азербайджанстве. Тут оно выпевается, как и в газелях арабо-персидских и азербайджанских классиков. Кстати, и пишется *мугам* часто на газель...

Тут вертикаль, пение души, падшей с неба на землю, — и под музыкальными каскадами раздается ее стоны.

Песня же и танец — хоровод множества, площадь и горизонталь; социум ими звучит. Тут круг и квадрат; ковер распластанный. А по нему — уникальная личность и жизнь ходит...

Вчера у Джавада задал вопрос о личности, материи и духе:

— Вот Вы,— в высшей степени самобытная личность, гордый характер, свободный, творческий дух,— так я начал ставить свой трудный вопрос.— Но отчего же в предмете у Вас изображен не он (углубленная личность иль что еще, индивидуализированное), а хор-цирк первичных сущностей, божеств и демонов, масок, не лиц-ликов,— господство материи и ее сил и архетипов, энергий сверхличных? Где тут Дух, его царство? Или в способности так самобытно представить мир, бытие, в невиданных доселе формах, позах и сочетаниях красок,— и проявляется торжество Духа в Бытии — через Вас, художника, что волен-свободен так вот уникально представлять и лепить мир? Или тут «продуховленное» вещество, материя?

— У нас вообще неестественно так отличать — противопоставлять материю и дух,— вмешался Рахман в минуту смущенного молчания, когда Джавад затруднялся ответить, а я чувствовал, что неясно сформулировал вопрос.— Они взаимопроникающи, нет у нас такой отвлеченности...

И я подумал: ну, да, Жизнь — она и есть взаимопроникновение Духа и Материи. И азербайджанец — человек прямой, не-посредственной жизни, и Бытие тут в быте, близкодейственно...

Как свободный, вдохновенный художник и его народное творение, так в музыке различены мугам и песня. Как творец-автор, «я» — и «мы». В мугаме — трагедия существования, нет оптимистических мугамов. В песне-танце же — брутальный оптимизм, народно-животная жизнерадостность: скок-прискок.

Взаимная дополнительность начал. Но и — разведенность и несходимость. Однако и гармония из них вместе...

Рахман сказал, что на его взгляд, мугам — это философия, философствование: рефлексия именно такими средствами и в таком жанре в азербайджанце проявляется, соделывается.

— У нас по радио регулярно с 2-х до 3-х дня час мугама одно время был, и люди замирали, предавались медитации, как очищались...

— Да, мугам,— подхватил и я,— это как крик муэдзина с минарета, призывающий отбросить всякое земное попечение и задуматься о высшем...

Насколько мугам утонченно-личностен, импровизационен, настолько стандартны песнь и танец. Слушал-смотрел народно-танцевальные коллективы и отрывки из опер, и вот хоровое пение — в унисон! Нет даже двухголосия и вторы в народном пении. Единодушие ритуально-шариатное полагается. А в первых операх — разве что в терцию, простейшее двухголосие и некое оркестровое эхо к вокальной мелодии. Но полифонии и контрапункта нет.

А это значит, что нет самостоятельных личностей = голосов внутри общества, не предполагаются они имеющими права своего голоса, как это в граждански-правовом, юридическом социуме. Личность тут изгнана вне общества, в пустыню. Где она — «меджнун» (одержимый, страстный) или дервиш. В соло мугама = в диалоге с Абсолютом (Аллахом или метафизической сущностью Бытия: с Матерью Природой, с Любовью, с Вечно женским началом) обитает личность. В особом своем пространстве, у Бога. Но как только она вступает в общество, она голос свой теряет. Они не состыковываются — эти миры: личность и общество — здесь, на Востоке, в отличие от Запада, где именно как результат их взаимостроения и создались как гражданско-правовое, бургерское общество, так и полифония в музыке.

Читал позавчера, готовясь идти на концерт, подаренную мне Анаром книгу его супруги З. Сафаровой «Музыкально-эстетические взгляды Узеира Гаджибекова». М., Советский композитор, 1973.— И вот что важное для своей цели почерпнул.

Узеиру Гаджибекову приходилось как европейскую новацию вводить-развивать учение о скачках. «Вообще для азербайджанской народной музыки,— пишет исследователь,— характерна поступенность движения, поступенность мелодического развития. Хроматические изменения ступеней лада (т. е. когда субстанциальный опорный звук личностно окрашивается, и мысль-идея становится одновременно обще- и лично-значимыми; когда личностное, субъективное принимается и как общественное.— Г.Г.) не являются характерными: хроматизмы применяются толь-

ко лишь как украшающие (т. е. необязательные, факультативные.— Г.Г.) звуки — мелизмы» (Указ соч., с. 128). Значит, личностное допускается лишь как случайная раскраска готовой формы, правила, понятия, а не творящее все это.

А что есть скачок? Это — свободное дыхание и волеизъявление «я». Скачками, интервалами большими выражается страсть, крик души, строится речитатив и симфонизм и опера в европейской музыке. Скачок — дальнодействие, захват дали, пространства. В азербайджанском же пении поражает долгое повторение одного звука, «репетиция», топтанье на нем (как в ариозо, например, Кер-оглы из первого действия одноименной оперы, в ми-бемоль мажоре: «Где взять силы все стерпеть»...).

Но тут и талант азербайджанства: разнообразить близкое, что рядом, его варьировать, быть довольным малым, миньютурным, т. е. интенсивно бытовать, а не бросаться на захват большого и дальнего, т. е. экстенсивно существовать — мыслить — творить...

Некая сдавленность национальной Психеи слышится и в узости раствора мелодий: как правило — в терцовом диапазоне она вертится: чуть вниз, чуть вверх — и опевая мелизмами взятые звуки.

«Что касается мелодии,— писал Гаджибеков,— то любому человеку, мало-мальски знакомому с музыкой, ясно, что наши мелодии не похожи на европейские мелодии. Причина этого в том, что наши мелодии дестягахов ограничиваются в своем движении в малом круге так называемой tessitura, в то время как европейские мелодии, в особенности арии, свободны, в своем восходящем и нисходящем движении и кажутся странными и непонятными нашему слуху...»

Основу мелодий,— продолжает З. Сафарова,— нередко составляет трихордность, то есть звукоряд из трех звуков в объеме терции. «У нас много народных песен и теснифов, мелодии которых основаны на комбинациях лишь трех тонов... У европейцев подобная мелодия была бы смехотворной. Короче говоря, мы, когда сочиняем мелодии, с большой скрупульностью используем наши тона, в то время как европейцы наоборот, используют их очень щедро» (Указ. Соч., с. 132—133).

Интересно, что в тональном трезвучии терция оказывается в азербайджанской музыке «основнее» тоники. К ней все время воз-

врат и окончание = успокоение. В ней уютно, как у Христа за пазухой. Она внутри стен дома трезвучия, между тоникой и доминантой. Это они выходят наружу, в мир, в Пространство, берут на себя ответственность за устойчивость и самостояние (тоника) и за неустойчивость, диссонанс, страдание — стремление, требующее неудержимо разрешения (доминанта). Терция же — как жизнь и фонтан во внутреннем дворике мусульманского жилища...

Исследователь отмечает: «Очень характерно также опевание терцового звука, секвенционные цепочки на основе терцового мотива или с опеванием терции в ответных построениях, а также терцовость в каденциях, где чаще наблюдается ход от третьей ступени к первой и от нижнего вводного тона к первой ступени и т. д.» (с. 133–134).

С точки же зрения ритма и метра, «характерный для азербайджанской народной музыки размер 6/8 и 3/4 и их разновидность 3/8 составляют метроритмическую основу многих музыкальных номеров опер Гаджибекова, смена двудольного метра на трехдольный вообще типична для его музыки» (с. 142).

Ритм на две и четыре четверти — ритм пешеходного марша и ручного труда, ритм Кесаря и -ургии. Ритм рук и ног. Здесь же эти члены тела будто уступают первенство туловищу, талии, шею — они в танцах, изгибы их, их виения создают-вышивают свой орнамент в пространстве.

Вчера национальные танцы смотрел в народном и профессиональном исполнении. Змеиные виения тел, рук и шей — при стоячих, мелких переступаниях, почти в неподвижности. Также и знаменитый мужской танец «яллы», когда обнявшись за плечи, друг друга поддерживая (будто в горах), осторожно и мельчко переступают ногами,— эту внутриродовость, клановость индивида знаменует: что внутри опояси рода человек лишь защищен и имеет существовать, а не сам по себе, в своих рискованных рывках и скачках своевольных — и самоответственных.

Мелодия и танец начинаются прямо с сильной доли, метр хореический отличителен здесь. Нет затаакта, предъикта, форшлага, что характерны для стопы ямба в стихах и музыке. Что это значит? А — что нет восхождения, разгона, динамического волевого скачка, как нет и хода на кварту (D — T; T — SD), что образует

энергетически волевую канву европейской музыки. Для восточной, азербайджанской характерны ходы на терцию, как, впрочем плагальные обороты в русской музыке, мажорно-минорный лад знаменуя, размывая тут дискретности и ослабляя напряжение.

...Вон снова звучит в чайхане на вольном воздухе восхитительный экстатический клекот мугама, переборы в высях, как птичьи состязания! «Музыка дестяхов,— пишет Гаджибеков,— подчиняется стихотворному размеру, не имеет метра, мелодически неопределенна, предложения в ней неравномерны, и исполнение этой музыки целиком зависит от умения и мастерства певца-ханенде» (с. 136).

Мугам — распев стиха, газели; тут текст и ум слова ведет. Дух. Песня-танец же более снизу определены, хотью ног, суть голос Материи. А тут — меньше свободы. «Мелодия мугамата,— пишет З. Сафирова,— отличается большими возможностями, чем мелодия народных песен... В мугамате мелодия не ограничена частыми метрическими тактами, цезурами, ей не свойственны короткомотивная расчлененность, вариантность, характерные для народных песен. Мелодика мугамата, требующая широкого мелодического дыхания и позволяющая воплощать большие эмоции, в своем восходящем движении как бы завоевывает самый высокий звук, с последующим опеванием этого звука, после чего происходит спад мелодической линии к тоническому устою» (с. 137).

Тут как бы выдох той предельной жизненности, которою налит местный антропос, исток той крово-семенной огневоды, что его распирает. Пение мугама — как эротическое действие, любовный акт: долгое соитие и истаивание, исходящие из тела вон: любовь — как смерть. Недаром на сюжеты любви, что сильнее смерти, слагаются газели, поются мугамы.

Трепет и биения голоса при этом — что ласканье Бытия, души возлюбленной, с нею соединение многообразное, многовариантное, цветистое, как ковровый узор. И слушая мугам, мы, как зачарованные, затаиваем дыхание, соучаствуем в этом прекрасном духовном вожделении. Певец — наш, представительственный за всех, орган любовно-музыкального священнодействия... От имени всех орошают Пространство песнопением... Тут — как электрического заряда сток с острия, звучащая молния, вольтова дуга.

Мугам = скважина народной Психеи. Повтор одного звука и его опевание — это как бурение в одной точке, спиралевидное влагалище, как в картинах Джавада — мотив вогнутых мандал, которые — глаз наоборот: внутрь себя ввергают — затягивают смотреть. Что образ скважины и ее бурение — архетипический во азербайджанском Логосе, демонстрирует композитор Кара Караев, когда он в своем рассуждении о фольклоре и профессиональной музыке прибегает именно к этому уподоблению: «Приято говорить, что фольклор — это неисчерпаемый родник, из которого только и остается, что без конца черпать и черпать. Образ этот поэтичен, но, по моему мнению, не вполне точен. Если уж делать сравнение, то скорее всего народную музыку можно уподобить нефтяным залежам, которые расположены на земле в виде пластов (и в картинах Джавада многогрузные смыслом отверстия многослойны и спиралевидны.— Г.Г.), находящихся от поверхности на различной глубине. Еще каких-нибудь 70–80 лет назад на Апшероне достаточно было выкопать колодец в несколько метров, и он быстро заполнялся нефтью, обогащая счастливого владельца. Несколько позже уже приходилось бурить неглубокие скважины и тянуть нефть желобками. Люди в погоне за обогащением хищнически растрачивали верхние, наиболее доступные пласти. Нефть стала уходить вглубь. Верхние пласти истощились, и теперь уже добывать ее стало возможно только при помощи сложных технических приспособлений. Похоже обстоит дело и с народной музыкой. Давайте призадумаемся, а не слишком ли легко мы ее добывали, не слишком ли безжалостно пользуемся ее верхними, легкодоступными пластами, не пора ли нам подумать о том, что народная музыка действительно неисчерпаема, но главные ее богатства находятся не только на поверхности, а залегают значительно глубже, чем мы предполагаем, и что пора нам до них добраться, вооружившись необходимыми «техническими приспособлениями» (цит. по кн. З. Сафаровой, с. 44).

Певец Алим Касымов, кого я слушал в видеозаписи на телевидении,— классный исполнитель мугамов: как непринужденно перебирал тут всевозможные рулады! Виртуоз — от *virtus* = «добродетель». Этик эстетики.

Два основных инструмента сопровождали пение: тар, что издает трепет, как листва (= представитель древесного царства в азербайджанской музыке) и кяманча — струнно-стонущая, смычковая, что животный голос подает, представляет. Кстати, обычно армяне — исполнители были на этом инструменте (как мне пояснил Рахман).

В народных же песнях и танцах инструменты: зурна (играет) и барабан (тянет звук). Здесь уже все — исполнители, демократичнее... «Если мы рассмотрим отношение азербайджанских тюрков к музыке, то увидим, что, с одной стороны, музыка является обычаем, носящим всеобщий характер, а с другой стороны, профессией отдельных лиц».

Примером первого типа, по Гаджибекову, является своеобразная музыкальная самодеятельность азербайджанского народа на свадьбах, в дни праздников или траура, также музыка, связанная с различными обрядами или ремеслами. Другим типом музыки Гаджибеков считал искусство мастеров: городских музыкантов — хакенде, сазандаров (они — исполнители мугамов, при дворах, среди аристократии.— Г.Г.) и сельских музыкантов — ашугов. Первых он считал представителями «оседлого» искусства, а вторых — искусства кочевников «... Ашуги ушли в деревню, оттесненные профессиональными музыкантами» (с. 46).

Тут две составляющие субстанции азербайджанства: кочевая и оседлая — музыкально означены. Ашуги недаром и у прочих тюркских народов, кочевников в прошлом (казахи, туркмены), а вот мугамисты встречаются еще у таджиков (кто близки к персам) и у узбеков (там мугам называется «макам»), т. е. у оседло-земледельческих, городских народов. У народов вертикали (растения-дерева), города (стена, башня) и структуры-архитектуры социальной.

С водворением ашугов в крестьянстве кочевые звуковое опевается с оседлостью. Тут музыка более народная, простая, низовая. Она образует материал песенно-танцевальных эпизодов в операх Гаджибекова.

Интересно заметил Рахман, что песенные прокладки между мугамами мобильны и по ладу-складу своему способны меняться каждые 20 лет вместе с переменной модного сейчас в городс-

кой цивилизации мелоса. Вкус эпохи наиболее сказывается на этих заставках. А вот мугам, хоть и личен, но древен, горд, родовит, аристократичен, зороастрийск...

...Разглядывая народные одежды, танцы, обратил внимание на то, как сурьмятся и молодые азербайджанки, и из народа: блестки под глазами и прочие украшения. Человек изукрашивается, как азербайджанская миниатюра. Косметика — что пряности в пище: необходимое усиление солнечной знаковости на сыром веществе тела или снеди.

Космос ковра

8 вечера. Что ж: работать — так работать! Идти мне завтра в музей ковров — попробую предварительно сосредоточиться и вникнуть: что есть ковер? Какую философскую притчу о мире мне в нем ожидать?

Ковер на полу — что значит?

Технически — это изолятор человечества от матери-сырой земли, от глиняного пола, от тяги могилы. Как человек между собой, своей жизнью и небом слагает крышу, так ковер — между собой и землей. Ковер = крыша под ногами. И это не совсем глупо: благодарение ковру — узорчатому, прекрасному, на который смотреть да смотреть, расшифровывая заветы его письмен, мы теряем ориентировку верха-низа в Бытии, становимся в доме своем — что антиподы, что свисают вниз головой (на наш взгляд).

Более того: на потолке обычного дома нет ковра, узоров, письмен-знамений (есть в мечетях, в дворцах, там росписи: изречения из Корана и проч... Это дворцы Тагиева верх имеют расписанной и даже интереснее низа, как в будуаре, где верх из осколков венецианского стекла сложен, так что любовники на ложе могут вверху себя калейдоскопически размноженными созерцать...), а вот низ — значим, значительнее, духовнее, логоснее верха. Сказ тут, сказка...

Обратное — в западноевропейской цивилизации: там, в Италии,— росписи на плафонах: фрески Сикстинской капеллы и проч. Расписано, сказуемо Небо: туда задирай голову для разу-

мения, питания смыслами и, соответственно, сваливай шапку, в храм входя. В исламскую же мечеть и дом вступая, разувайся, а шапку снимать не надобно. Ноги приходят в пietетное соприкосновение с шитьем социальным, и голова склонится вниз и в смирении, и в поучении.

Ковер = площадь, место социального общения в городе. И вот это социальное учреждение, место вече, схода мирского, парламента — расстилается в доме: как табло основных законов и правил организации мира как Космоса. Здесь в красоте, в косметике вышивок скрижали эти начертаны.

Да, ковер = как Моисеевы скрижали Завета. В формах-линиях и фигурах тут зrimо всевозможные нормы — меры вещей, существ и идей нанесены. Он изобилует платоновыми идеями, тут чет и нечет, прямая и кривая, квадрат и круг, крест и дуга, животное и растение, птицы и животные, — и все с помощью атомов (простейших элементов, клеточек) составлены дискретно. Тут — Демокрит: все бытие состоит из элементарных частиц, из атомов и пустоты — таково философское первоутверждение Ковра как модели мира.

Джавад Мирджавадов рассказывал, как он, младенцем ползая по ковру, впитывая его формы, идеи, образы, — проходил начальное обучение миру как ряду, наряду, строю: из чего именно он составлен...

Ковер на полу — это также нега... Вот и я в гостинице, когда с улицы прихожу и босой по ворсу и шитью ковра похаживаю, будто ласку бархатистой кожи Бытия ощущаю, любовь снизу получаю, Вечно Женственного...

Ковер на стене — уже не у всех: у бедных этого заведения нет. Повиснув на стене, ковер словно выпрямляет своего человека; повелевает отодрать главу и взгляд с *низу* — и гордо его на уровень своей головы и глаз установить, прямо и вверх смотреть, как на картину и книгу.

Ну, а засим позволю себе начать читать эссе Анара «Мудрость ковра», где я предвижу: встречу много прекрасных и родных мыслей...

Ну вот, так и есть: Анар начинает с проекции ковра — на всю землю Азербайджана, которая с самолета так и видится: в умень-

шении ковром. Будто расслоилась древняя сказочная мифологема «ковер-самолет», и самолет полетел по небу, а ковер конгруэнтно совместился с землей. Ковер строится из элементов, как и в науке всякая видимая вещь и явление не просто берутся «как есть», а собираются—воспроизводятся из условных понятий, формул,—подобно тому и в ковре растение и всякая непосредственная форма: петух, человек... — преформируются и выражаются на априорном языке собственных форм коврового плетения и вышивки — прямо по Канту. Вот элемент ковра, называемый «гель»; он соответствует озеру и оттуда наименование этого элемента. Но на языке Европы этот элемент именуется «медальоном». Великое озеро Гекель с филиалами шести сестер-озер — да вот они, «семь красавиц» Низами!

Мифологему ковра-самолета Анар толкует так: «Может быть, человек мечтал взлететь, не отрываясь от земли, а что, как не ковер, так связано с почвой? Любая мебель отрывает нас от земли — неважно, табуретка это или трон. Ковер — это слиянность с землей, полное и непосредственное соприкосновение с ней».⁵⁴

Да, но и отделяет, как это выше я толковал. Однако, действительно, жизнь азербайджанца понижена, скажем, на полтела в сравнении с теми народами, что дома за столом сидят на стульях и имеют повышенную вертикализацию. Ковровые народы телом прилегают к земле, понижены и оживотнены, округлены: сами свиваются в шар, подбираются ноги, сидя по-турецки. Сидящие же на скамьях и стульях имеют форму более инструментальную, прямоугольный зигзаг собой образуют — как трудовой инструмент, угольник в ремесле строительном. Тут человек уже мыслится как работник — строитель — Bauer: одно слово немецкое и для «крестьянина», и для «строителя» (первично); значит, даже земледелец = строитель, а изделие земли, Baum,— дерево, буквально — «построенность».

Анар развивает иную мифологему: сама Природа и ее существа вышивают себя и собою в ковре. «Первоистоки ковра — на зеленых склонах гор, усеянных, как камнями, белыми и черны-

⁵⁴ Анар. Мудрость ковра.— В кн. Анар. Путь ближе к звездам. Баку, Язычи, 1986. С. 349.

ми баранами. Высококачественная шерсть баранов, пройдя многосложный этап обработки, станет именно тем материалом, из которого ковру предстоит родиться.

Но на тех же склонах гор, в густых девственных лесах или чуть ниже, в зеленых долинах, или, наоборот, еще выше, на альпийских лугах, растут тысячи цветов, трав, деревьев, кустов — их корни, стебли, листья, лепестки, бутоны в соответствующее время года, в соответствующий день и час будут замечены опытным глазом, отобраны бережной рукой и, опять-таки, пройдя замысловатые этапы обработки, станут красками — сотнями красок, благодаря которым пряжа на хане — ткацком станке заиграет всеми цветами радуги, всеми ее оттенками. Ковер — дитя, рождающееся от соприкосновения человека с землей, природой... Пряность красок ковра достигается добавление в раствор не только яичного желтка, но коровьей мочи и болотного ила» (там же, с. 349–350, — подчеркнуто мною.— Г.Г.).

Итак, Земля пишет себя, свой автопортрет, вышивая ковер. Тут — как философская субстанция-субъект, *causa sui* = причина самого себя; самотождество (Шеллинг, Гегель): я творю себя собою; сам себе и творец, и материал, и предмет и умение...

Если европейское сознание трактует архитектуру как засыпвшую музыку, то азербайджанский Логос умом Анара приводит архитектуру — к ковру. «Ковер связан с самыми различными сферами жизни и деятельности людей. Эстетически и функционально он близок к архитектуре. Порой ковер цитирует архитектуру — в число его орнаментов входят арки и порталы, колонны и купола, окна и висячие лампады-гяндили... Маленькие молитвенные коврики — намазлык — в своем рисунке обязательно имеют архитектурную деталь — Михраб — алтарь в мечети. В любом месте, расположившись на молитвенном коврике, молящийся способен ощутить себя в желаемом интерьере — архитектурном пространстве храма» (с. 350).

То есть, ковер = портативный (буквально — «переносный») храм. «Расстеленный на лужайке ковер означал — ограничивал социальное на ней пространство, служил атрибутом музыкальных и поэтических меджлисов» (с. 350).

Но ковер — и школа, и наука: «Испокон веков азербайджанский ковер выражал не только эстетические пристрастия народа, его критерии красоты и соразмерности, но и более отвлеченные философские категории национального образа мышления. (Вот он — национальный Логос! Это — ковер, его модель.— Г.Г.). Борьба добра со злом, изменчивость быстротекущей жизни, в которой цветение чередуется с листопадом, ее круговорот, олицетворенный в караванах верблюдов, бредущих по замкнутому квадратному пространству из одного в другой угол и возвращающихся к исходной точке,— все эти мотивы, по-разному отраженные в наших коврах,— то в виде зримо-сюжетных рисунков, то зашифрованные языком орнаментов и знаков,— были своеобразной формой размышления о жизни и смерти, о мире и смысле бытия» (с. 351).

Таким образом, ковер обнаруживается как всеобщий знаменатель и значитель, к которому приводимы все явления и отрасли бытия, природы, общества и человека — во азербайджанстве.

И Времена года, сезоны — записаны на ковре. «Ранней весной собирали полевые цветы, коренья трав, осенью — пожелтевшие листья тутового дерева — для желтого цвета... Надо было знать и время использования каждого плода, каждого дерева,— от этого зависело, какими получатся краски — светлыми или темными. Осень — была сезоном ореха, барбариса, весна — дуба, ивы, яблони. Шафран, алычу и айву можно было использовать лишь в пору цветения, а некоторые цветы, наоборот, были пригодны лишь после увядания» (с. 354).

Да, действительно: ковер все более проясняется мне как то «конкретно-всеобщее» (термин Гегеля и Маркса) явление Азербайджанского мира, которое существует и как отдельная, частная вещь, и в то же время является образом Целого, стяжением всеобщих закономерностей, их эквивалентом. Таково золото как деньги. Таковы в германском Космо-Психо-Логосе Дом (Haus), и Древо (вселенная = мироздание, Stammbaum — генеалогическое древо); в «Капитале» Маркса таков товар и анализ через него всеобщих отношений капиталистического производства... Таково для эллинства тело человека: согласно философии и эстетике Гегеля, все к нему здесь приводимо и из него объясняемо...

Виды ковров = подразделения Азербайджана на основные этно-природные и культурные области: Ширван, Гянджа, Карабах, Тебриз... «Сине-голубой цвет бакинской зоны навеян морскими пейзажами Каспия» (с. 355).

Понятно мне становится теперь, отчего вдохновенное эссе Анара о ковре разрастается в энциклопедию азербайджанства: основные элементы и факторы, из коих оно состоит, приводит пред очи ума. То, что здесь слились оседлый и кочевой принципы жизни, так сказать, женский, материнский, и отцовский (уравнение Анара), отклинулось и в технике изготовления ковров: ворсовые = оседлые; безворсовые — «легки на подъем», съемны и переносны, украшают не полы и залы дворцов, а образуют «стены», «двери» кибиток и т. д. Аналоги ворсовому ковру — мугам в музыке, газель и касыда в поэзии. Аналог безворсовому ковру (паласу, килиму...) — это искусство ашугов в музыке, а в поэзии — «легкодоступный национальный поэтический размер — хеджа», что «воплощаясь в холаварах, гошма, герайлы, баяты, агы,— переходил из уст в уста, звучал и на сельских свадьбах и на кочевых праздниках, во время трудовых процессов и в часы горя, траура, поминок» (с. 356).

И еще важное уравнение Анара: ковер — это дизайн: искусство прикладно-бытовое, промышленная эстетика.

Но ковер — женское искусство, женская ипостась азербайджанского Логоса. (Или так нельзя сказать? Логос — один, а Истина, и Идея, и Субстанция и на европейских языках — женского рода...) Запрет исламской религии изображать человеческое лицо и закабаленное положение женщины — «парадоксальная диалектика заключается в том, что оба этих исторически негативных фактора стали, косвенным образом, стимулом для развития восточного ковра... Преграды, вставшие на пути figuratивного искусства, направили усилия художников в сторону условности, декоративности, абстрактных форм отражения бытия» (с. 357–358).

Понятные имена

23.V.87. И последний мой день настает в Баку. С утра на рынок поехал: восточный базар — это целый мир, космос, как помню по Бухаре некогда... Однако сейчас упорядочен базар и рас-

классифицирован по овощам и фруктам, и нет дервишей и общественной жизни. Однако, жизнь натулярная — вот она, не запираемым в теснины социума потоком струится: изобилие всего — помидоры, курага, орехи, пряности, кишмиш, цветы. Люди полнокровные и довольные там сидят — и потому странно мне было увидеть возле метро среди кустов на газоне испитого бледного азербайджанца с рюкзаком тощим за спиной и с газетой. Вот — духовный азербайджанец, изгой, как меджнуны Духа и Любви некогда...

Но как непринужденно живет народ! Вчера около 12 ночи вышел прогуляться по Приморскому бульвару, освежить налитую трудом мышления голову — и вижу: чайхана еще работает, сидят люди...

И утром, в 7 — пожалуйста чайничек. Навстречу ведь потребе людей предпримчивы чайханщики, и никто их не гонит, ни один милиционер; нет и расписания часов работы и казенного ответа человеку: «Не положено! Приходите завтра!»

Нет отлагания во Времени и отсыла в *далъ* в Пространстве. Все бытие здесь и теперь и сразу. Снова Психо-Космос близкодействия. И в этом Азербайджан вполне «европейск» — хотел сказать, но также и «восточен»: как в странах-обществах, где люди живут для жизни, а не для отчета руководителям и по воле и ритму бюрократической отписки от жизни и дела, где инструкция и резолюция заслоняют существование и суть...

Просто Жизнь — как буйная Кура — проламывает себе путь и сквозь казематы казенного дома, и выносит и гарантирует пролонгацию и бессмертие народа своего...

А он — молод и продуктивен и животворящ, он и цивилизация Азербайджана. Показатель — имятворчество в нашем веке; оказывается, множество новых живых, осмысленных имен введено в обиход культуры — и кем? Прямо писателями, особенно драматургом Джадаром Джабарли (1899–1937). Севиль = «будь любимой», Айдын = «ясный» (название и пьесы Джабарли), Гюльтекин — «подобная цветку», Эльхан = «хан страны», Яшар = «живой», Солмаз = «не увядаяющая», Горхмаз = «бесстрашный» и др.

Отчего это значимо? Сказано было в древности, что Гомер и Гесиод дали эллинам их богов... Но чем «дали»? Тем, что назва-

ли, дали имена и эпитеты. Продуктивное слово-и-имя-творчество характерно для становящегося общества, период молодости его отмечает собой. И вот эта процедура — наименования как сотворения (ведь и то творение, что в книге Бытия Библии пересказано, — не есть ли раздание имен, ибо «в начале бе Слово!» — тем существам и явлениям, что уже порождены были Природой в операции рождения?) — протекает бурно в Азербайджанской цивилизации с начала нашего века, тем самым вводя ее в ранг становящихся — при древности элементов ее субстрата, составляющих и втекающих в эту целостность. Но вот она бурно зажигла и преформировала свои предпосылки...

Вообще это важный аспект национального Логоса — значимость или незначимость имен для народного слуха. Например, русский человек привык жить, нося совершенно непонятное ему имя: Иван, Мария, Николай, Василий, Виктор, Дуня, Шура и проч. ... Эти имена пришли из древнееврейского, греческого и латинского языков, и там для слуха народов они значили: Мария = «госпожа», Николай = «победитель народов», Василий = «царственный», Виктор = «победитель», Дуня-Евдокия = «благоволение», Шура-Саша-Александр = «защитник мужей» и т. д. Но русскому слуху и духу ничего эти имена не говорят, ибо не из своих, не славянских корней составлены... Лишь Светлана, Людмила да еще два-три имени: Вера, Надежда, Любовь — говорящи, сказуемы русскому разуму.

Но это значит, что, не понимая смысла своего имени, человек вообще к миру Слова привыкает относиться как к чему-то априорно и законно непонятному, неисповедимому, что не моего разума дело — ну так же, как исламитянин-тюрок или перс к богослужению из Корана: на арабском языке.

Иное дело даже болгары: Живка, Здравка, Милка, Божидар, Пламен, Цветан, Огнян, Стоянка — все имена славяноязычные и питают рационализм: что понятие мира и себя и смысла жизни — это и моего ума дело...

Подобно и в азербайджанстве. Наряду с традицией не вполне внятных древних имен арабских и проч., — огромен слой имен сказуемых: Мирза = «умный», Кяマル = «рассудительный», Айгюн = «светлый день», Гюнай = «день луны», Рафига = «подруга

га», Валех = «очарованный», Вагиф = «знаток». (Последние два имени — персидские по происхождению...)

Но если человек знает значение своего имени, оно ему — как призвание: себе соответствовать, подтянуть свою жизнь под идеальную модель, именно тебе присущую. Имя — как индивидуальная платонова идея, заведующая смыслом твоего существования...

Но в таком случае азербайджанец верит своему здравому смыслу, считает, что ему понятно должно быть хотя бы то, что вступает в круг его жизни, близко его касается, затрагивает,— и не отдаст это в ведомство-распоряжение чужого дяди, царя, например, который далеко и высоко...

Это и на меджлисе с моллой на поминках позавчера я ощущал: как это в порядке вещей стих Хагани приводить в связь с законом ГАИ и рассуждать о воровстве, чести и справедливости и вообще, и в круге моих бытовых забот...

И снова — на ковер!

Однако, возвратимся к всемодели Ковра и продолжим над ней медитацию.

Итак, Ковер — изделие Азербайджанской Женщины. Женщина — тайна исламского мира. Она прикрыта чадрою и паанджою от стихии света и воздуха, содержится лишь в дому и под покрывалом... Как будто угнетение. Но — и святыня! Ведь так, бережно и трепетно, прикрывают, содержат скинию завета во Израиле, Каабу в Мекке, имя Божие, что не упоминается всуе...

Женщина — сокровенная тайна и Истина, глубоко в недра общественного бытия запрятана. Никто снаружи не знает, что она думает, как мыслит о бытии. Снаружи треплют себе, балаболят легкомысленные и легкословные мужчины по кафе и чайханам, а женщина — в дому, взаперти, не видима, молчит.

Молчит, но... — вытыкает ковер. И ковер есть ее сказ, вообще мысль Великой Матери-и о Бытии, проявление женского Логоса, их образа мира и его идеала. И уж потом мужичок-мальчик забегает по ковру, как по Природе-Матери бессловесной, наливаясь бессознательно ее заветами и сущностями, смыслами,

считая свою бегучесть и словесный лепет важным и умным, а реку, облака, дерево, птицу, ветер, ковер — досмысленными, дословесными...

Если мугам — излияние мужского Логоса, то ковер — мысль женская о бытии. «Конечно, у ковра, как и у музыки, свой язык,— продолжает Анар свою философему на Ковре. («На ковер» — ристалище мысли — мы с ним вышли: на состязание рассуждения о ковре. Впрочем, заранее полагаю превосходство его в этом деле и лишь образ: «быть вызванным на ковер» — здесь обыгryваю).— В обстоятельных научных трудах исследуется непростой язык ковра, иероглифы и пиктограммы его сокровенного смысла, шифр и код его замысла. Эти замыслы в своей далекой первооснове, по мнению ряда исследователей, восходят к мифам и магии, к борьбе сказочного дракона, олицетворяющего зло, с не менее фантастической птицей Симург, воплощающей идею Добра» (с. 361).

Женский Логос, собственная мысль Материи о мире естественно склоняется к Двоице начал. Единое, нечет, как это по десяти пифагорейским парам,— соответствует мужскому началу. Так что и Троица (как Двоица во Едином) — синтез обоих начал-идей и недаром означает Целое Бытия, образуя его как «Святое семейство».

Итак, Дракон и Симург = Ариман и Ормузд = Тьма и Свет зороастризма и манихейства — все это миросозерцания Великой Матери-и Востока, что была сказуема и во Логосе до прихода монотеистических религий, когда и Бог Един, и Един и великий Аллах угнездился править существованием. И наложил запрет на свою слабость и зависимость. А она — от Женщины, Природы...

И если Коран = Слово, словесный Разум, то она, загнанная в поддон, возговорила дословесными знаками-символами, прямо прото- и — архетипами, выкладывая этой «клинописью» свое письмо в мир, воздуху, небу и свету — Ковер.

«Знак S — обозначающий дракона..., орнамент-буту — абстрагированное изображение пламени..., круги, крестики, лепестки, бутоны, ромбы и пирамиды...» (с. 361). Это — женская математика, геометрия: то, как и чем они разлагают бытие на элементы и вновь собирают, конструируют, их анализ и синтез...

В то же время в жестко заданной, рационалистической схеме-канве индивидуально-эмоциональная жизнь может проявляться. Ковер фиксирует настроение и его передает-пересыпает тебе...

«Есть ковры грустные и веселые, радостные, светлые, мажорные и мрачные, угрюмые, даже трагические! (с. 361).

«Выходя замуж, азербайджанка непременно брала в качестве приданого ковер, сотканный собственноручно ею самой» (с. 363). Это — как удостоверение ее личности, паспорт (буквально: «ход переносный» = *passe porte, франц.*).

А вот ковер — и как почта:

«С ковром связано много сказок. Гюлнар-ханум, героиня одной из таких сказок, оказавшись в безвыходном положении, прибегает к помощи ковра. Каждый день она ткет послание на коврах и, отсылая их на базар, таким образом дает знать своим близким о своих бедствиях. Такая «почтовая связь» действует безотказно — ее находят и спасают» (с. 363).

Более того, сам могущественный великий персидский Шах Аббас (из династии Сефевидов, что азербайджанска по происхождению), оказавшись в заточении на чужбине (как повествует сказка), «ткет ковры и опять же при помощи «ковровой почты» посыпает весть о себе своему визирю Аллахверди-хану, визирь замечает на ковре знак «дарлыг нишаны», обозначавший узкое, замкнутое пространство, попросту говоря — тюрьму, и понимает, что шах попал в беду, что он в темнице; надо полагать, и шах, и его визирь владели тайным шифром ковровых орнаментов» (с. 363–364).

Как на Платоновой Академии в Афинах было написано: «Не-геометр да не войдет», — так и ковроткаческое дело есть такая же рукотворная геометрия и космография...

И что Ковер действительно может приниматься как модель именно Азербайджанского Космо-Психо-Логоса (а не исламо-персидского вообще), подтверждает статистика: «90% ковров, известных в мире как «кавказские», — азербайджанские ковры» (с. 353).

24.V.87. Уже под другими небесами (перелетел с утра в Москву), хотя, скорее, совсем без небес тут (ибо, какие это «небес-

са»? Хмаръ да серъ, заволокнutoе небо...), — все ж попробую продолжить промышление Азербайджанства. Для того снова положу свинцовою пластинку, что мне роль переносного стола повсюду играет, под лист бумаги (хотя мог бы и на машину, дома-то, перейти), дабы заощущать себя вновь за столиком в чайхане на Приморском бульваре в Баку, где я под сению южных древес предавался медитациям про Азербайджан.

Вчера в музей ковра пошли. Какое благополучие миропонимания застыло в ковре! Иное состояние мира и психики: неторопливое, ковер выплелся годами. И какое стройно-четкое перепостроение мира набором своих мотивов! Современный один ковровый мастер и философ выткал ковер как энциклопедию употреблявшихся за века образов — символов — пиктограмм. Их — около 700, не повторяющихся, в его этом ковре. Тут верблюды двугорбые и одногорбые, павлины, фазаны, удоды, олени, собаки, дети, квадраты, ромбы, зигзаги, волны, змеи, крылья, ветки и т. д. Птицы головами навстречу друг другу символизируют соединение влюбленных, а отвернутые в сторону — их разлуку.

Но фундаментален мотив, именуемый «бута». Это — язык пламени и одновременно, по замечанию моего спутника Рахмана Бадалова, имеет форму зародыша в матке (так свит младенец там) или как проросток семядоли (форма фасоли с проклюнувшимся ростком). Бывает часто бута в буте, как матрешки в матрешке... Возвращность, скважинность как археэлемент организации мира.

Но взяв форму стихии огня (язык пламени) за основной образ в ковроделии сквозь века, азербайджанство тем самым подтвердило эту стихию как первую для себя из четырех. Вон и Чингиз Гусейнов в романе «Фатальный Фатали» (который я читал эту ночь и утро перелета) делает разбор названия Азербайджан по элементам: азер — огонь, пламя; бай — богатый, огнем богатый⁵⁵. И еще джан — душа (*араб.*)

Прочитав последнее (про «джан») указание в словарике, приложенном к книге «Литература народов СССР. Хрестоматия.

⁵⁵ Гусейнов Чингиз. Фатальный Фатали. М.: Советский писатель, 1983. С. 36.

Часть вторая. М.: Просвещение, 1971, с. 458, я грешным делом занесся было на следующее, возможно, красивое соображение, что само название «Азербай-джан» заключает в себе тот спектр, те три составных части этноса, логоса и культуры, из которых его целостность сложилась: «бай» — безусловно, тюркское слово; если «джан» — арабское, то, коли «азер» — персидское, вся мозаика-радуга слова красиво бы предстал...»

Но для проверки позвонил Валеху Раеву, тонкому знатоку в этих вопросах; вот как он меня просветил:

— «Джан», это, безусловно, исконно тюркское слово: все это сочетание «дж» — из тюркской фонетики. Но вошло и в персидский, и затем арабский языки, но слегка там переозвучиваемое. Ну, «бай» — это, верно, незамутненно тюркское слово. А «азер» имеет в себе, во-первых, элемент «эр», что означает: мужчина, воин. Вон скандинавское имя «Гунн-ар» = «Гунн-воин» означает. Отсюда и Иран = «Эр-ан». И в «Деде Коркуте» постоянна формула: «Эр — сын Эра», что значит: мужественный, воин во втором поколении, т. е. настоящий мужчина. Элемент «АЗ» или «АС» есть традиция связывать с «Азия», но я не склонен так считать...

— Да, это было бы слишком механично.

— «Азер», действительно, — огонь, пламя. А еще и игра в камешки, судьба...

— О, спасибо Вам за просвещенную консультацию: очень на-доумили и предохранили от скоропалительных построений.

Да, отправился я за одними смыслами (в анализе слова), а получил иные, более точные и богатые. Важна эта еще связь с Судьбой, что затем так характерна и значима в мировоззрении исламских народов.

Возвращаясь к мотиву «бута» в ковре, в нем символику огня и семени, зародыша прочитывая, находим в его яйцевидной форме некий нерасколотый прообраз Целого, равно годное обозначение и мужского (язык, вертикаль, стержень), и женского начала (овальное лоно, сидящая баба, матерь...). Это — и капля, стекающая и в первый миг стока вытягивающаяся своим верхним концом... Так что «бута» — это вполне образ той «огневоды», что я провидел исходно как первоэлемент азербайджанства, если его выразить на языке четырех стихий.

И еще к тому же: если в арабском, семитском языке (как и в древнееврейском) сквозное половое деление: в родах существительных и в глаголах, то в тюркском азербайджанском языке нет деления, группировки предметов и явлений по родам: «меним» — «мой» и «моя»...

На эту особенность сразу обратили внимание русские, давно уже вступившие в соседство с татарами, так что татарин в русских анекдотах и литературе, изъясняясь по-русски, все время путает роды. Например, в таком присловье: «Нам, татарам, одна хрен: что калым, что Колыма. Но лучше маленький калым, чем большая Колыма».

Но это неразличение родов мировоззренчески означает многое и важное и, в частности, — исконное равноправие женского начала и важность женщины. Резкое разделение и подавление женщины пришло с арабами и с исламом.

Из мотивов ковра также постоянен «су» = вода, волна, змеящийся образ. Он заполняет фактуру полотна и у Мирджавада, разбросана эта пружинность то тут, то там...

Опять же недаром один образ прочитываем мы и как волну (женское, мягкое, водяное), и как пружину (мужское, твердое, огнеземельное — металл = чрез горнило проведенная и закаленная «земля», руда = «красное»).

Несколько бордюров, 12 и более: «су» (волна, вода), «башмolla» (голова муллы), верблюды и др.— пока дойдут до центрального поля ковра... Мир в мире. Стихия в стихии. Идея в идее... Тоже вворачиваемость, как в скважине, как в вогнутой спиралевидной мандале-лоне на картинах Джавада.

Снова поразило четкое математико-геометрическое мышление в этих изделиях женского Логоса; и тут Рахман уместно вспомнил мысль Лейбница о музыке: что там душа вычисляет, сама себе в этом не признаваясь...

Мы бродили еще по пространству Бакинской крепости, по двору ширваншахов...

Но я как-то боялся отдавать душу медитации-срастанию с сею древностию, боясь окаменить тем ощущение азербайджанства как жизненно-фонтанирующей сегодняшней целостности...

Последнее подкрепилось в галерее современной миниатюры, куда меня повел Рахман. Действительно: сколь продуктивно нов оказался традиционный жанр азербайджанской (иранской) миниатюры — в элегантных, остроумно-изобретательных произведениях молодых художников!

Все, что я вижу в Азербайджане сейчас, подкрепляет ощущение, что это, при всей древности и богатстве своих составляющих и прежних волн культуры, — ныне молодая целостность, находящаяся в состоянии продуктивного становления, самообразования, и пышет и брызжет живым творчеством из многих пор...

Меджлис культурологов

Это подтвердилось и на «меджлисе» культурологов, что состоялся вчера после обеда у Рахмана.

Кстати, вначале мы были одни с ним, и когда я увидел на столе белоснежную скатерть, я взмолился перед хозяином:

— Уберите, положите kleенку или пленку, пожалуйста. У меня правая рука неловка (из-за шейного остеохондроза), могу разлить, запятнать: неловко буду себя чувствовать.

Хозяин улыбнулся:

— А помните, что у Мирджавада мы говорили об обычаях ашеронцев непременно делать «дошаб» — густой, как мед, виноградный сироп. И когда приходит этому пора, если не сделают этого в своем хозяйстве, то рухнут опоры мироздания, — такое внутреннее повеление чувствуют люди исполнить обряд: не столько для pragmatики, а для самого порядка. Так и здесь: белая скатерть — для гостя вообще! Для самоуважения.

— Ну да, я и стал рассуждать от именно своего случая, по логике конкретно-личной значимости, европо-русской... И сильны в вас эти априорные бытово-религиозные императивы?

— Страшно сильны и, разветвленные, образуют устой и каркас бытия и нерастопляемость народа и культуры нашей: большинство акций предусмотрено ритуалом из века...

Кстати, в семье Рахмана все члены ее носят известно им знающие имена: жена Либерта («Свобода», по-латински); дочь Хейран = «очарованная, восхищенная», сын Эрхан = «муж-боевец»

(опять «Эр»...). Так что я подарил ему свою книгу, пожелав в ней ему, Рахману = Милосердию, счастливой жизни в окружении Свободы, Очарования и Мужества...

Затем собрались несколько человек из его культурного круга. Среди них эстетик Ниязи Мехтиев, который темпераментно излагал свою концепцию азербайджанской культуры, ее элементов и сути.

Если для Рахмана Бедалова очаг образования целостности тут — конец XIX и начало XX в., то Ниязи центр помещает в средневековые: там были заложены основы и характерные особенности. Передам, что уловил-запомнил⁵⁶.

В азербайджанском языке и Логосе Ниязи улавливает геометризм — как и в ковре. Внешние вкрапления арабских и персидских слов — из склонности к украшениям: их, как драгоценные камни, внизывают в свою речь, так что, как разноцветная парча, получается текст.

Но и сейчас азербайджанские ученые страсть как любят орнамент наукообразных иностранных слов вкрапливать в свою речь, стремясь изящно, не запинаясь, исполнить-выткать желанную научную парадигму.

Вообще культ удивительного характерен для нас, со средневековья еще. Забавно: в жизни тогда мало странного было, а в слове — только об удивительном и чудесном повествуется. В наше время — наоборот: в действительности столько чудесного, а литература — прозаична.

— А символ Дороги что в твоей концепции означает, расскажи, — напомнил Рахман.

— Дорога как раз выход на сферу удивительного... Вообще есть два типа связывать вещи: прямая, кратчайшая и экономная — принцип Запада и европейской культуры и типа мышления. На Востоке же, у нас, — принцип обхода, завитушек, из чего и зачинается мотив орнамента. Но вот он далее ведется — и вдруг гармоническое Целое, будто по плану, сложилось; в результате тоже пришли, куда нужно, но по-другому, по-своему.

⁵⁶ Его книга называется «Средневековая азербайджанская эстетическая культура». Баку, 1986.

С этим связан и фатализм в исламской картине мира. Знаменита средневековая притча: как человек увидел во сне Азраила и днем возжаловался господину, что вот ангел Смерти явился к нему во сне, какой-то рассеянный, странный,— и попросил человек перенести его в Индию... Господин сделал это — и затем сам вопросил Азраила: отчего человек тот видел во сне тебя таким рассеянным, будто обескураженным?

— Так этот человек должен был быть в Индии, туда я шел за ним, а он вдруг оказался еще здесь...

Фатальность не скорбно, а эстетически переживается у нас. И когда умрет кто не совсем близкий, главный интерес: выяснить-обсудить цепь-орнамент событий, приведших его к концу,— и эстетически созерцают при этом целесообразность Бытия.. Прямо по Канту: целесообразность без цели...

В религиозном опыте средневекового человека, когда в глубоком состоянии души совершается встреча с Аллахом,— священный ужас от этого сотрясения духа требует затем, как бы в дополнительности к этому, совсем обратного: активного заполнения пустоты: стремятся предельно уничтожить пустое пространство — и вот ткется ковер, создается орнамент с максимальной цветовой насыщенностью, с вкраплением драгоценных камней. Тут отличие от индийско-китайско-японского Востока, который чтит Пустоту, пустое полотно картины — и на нем лишь штрих листа, веточки или крыла птицы.

— Да, это верно,— додумываю я сейчас свое впечатление от виденных мною картин азербайджанских художников: Мирджаавада, Тогрула Нариманбекова, кто, по словам Анара, картину строят как ковер...: предельно насыщают, заполняют пространство картины и все ее «пустоты», возможные чистые поля — чем угодно: лицом, квадратом, серпом, веткой, зигзагом — но лишь бы не пустота, тишина, пауза, задумчивость... Все кричат, крещендо-огненно-солнечно... Потому мне не хватает дыхания, удушает многое лицезрение их. Ну да: стихия воз-духа тут не в почете...

Но, понимаю: это «второй» акт жизни Духа — дополнительный к пустоте Неба и открытого пространства степи и пустыни, где уже совершилась прямая встреча с Абсолютом. Только о

ней — молчание, запрет фиксации, как и запрет изображать человеческое лицо...

— Дух покоится в орнаменте, как и рисуя овал-круг мандалы,— продолжал Ниязи,— после пронзения души молнией встречи с Аллахом. Азербайджанец испытывает страх взгляда; долго в глаза не могут смотреть, отводят, как бы исполняя запрет на изображение — его в себе запечатлевать...

Еще поразительна в азербайджанце способность не замечать противоречий. Скажешь одно — согласится. Через некоторое время скажешь иное, противоположное,— и тоже согласится; и душа никакого дискомфорта не испытывает и конфликтности от этого.

— А это, противоречие, острое ощущение антагонии, боль и крик от нее,— есть завод и динамика германского образа мира (Кант, Гегель: «противоречие ведет!», Бетховен — разработка...).

— И может азербайджанец сразу, как на разных плоскостях-уровнях быть, выражаться, не имея надобности сводить все в Единое...

— И себя — в тождестве личности ощущая, не имея страданий от раздвоения и рефлексии.

— Да, бесконфликтное сознание. Не мучается. В зависимости от ситуации так или эдак скажет и поступит.

— Так что стыд, что в японской цивилизации,— включился Рахман,— вина, что в европейской (первозданный грех),— находят ли эти понятия отклик в азербайджанце?.. И вот каков здесь характер религиозности?..

Тут задумались. Кажется, сам Рахман (или Ниязи? — не помню) так сформулировал:

— Религиозность у нас не идеология, а психология. То есть не сумма внятных уму и слову идей, а опыт организации бытовой и душевной жизни.

— Оттого форма обета распространена очень, и Бога используют постоянно для подлости. Милиционер, например, взятку какую ограбет, но зарок или обет какой исполнит — и отделается... Мучений совести мало ведают... Религиозность не на уровне сознания, а просто привычка, сигнал: здесь, в этом надо быть осторожным...

Что делаю — не так важно.

— Это напоминает мне принцип лютеранства (замечаю я): не делами, а верою — спасение... Однако тут и не вера, а обет, который вроде откупной католическими индульгенциями... Лютер же ополчился на них именно в восценение мук совести, которые — не только страдание, но и ценность, есть привилегированное страдание человека, где он — наиболее сыновен Богу, божественен, чуток к уровню бытия в Духе...

— Еще любит азербайджанец себя ругать. Не чтоб его другой ругал, но сам себя — и тогда добродушно, с юмором.

— О, тогда понимаю,— включился я,— разность между Джалилом Мамедкулизаде и Сабиром: отчего первый уступает в популярности второму, на что мне указывал Рахман. Первый высмеивает азербайджанца сверху и со стороны, отчужденно и холодно, а интонация стихов Сабира — как бы самообличительная: от «я» в роли-образе ханжи, или скряги, или ленивца и т. д.— и от этого сатира не обидна, а весела. Как у Беранже...

Заспорили об эпохах азербайджанской культуры: когда же ее собственный облик сложился? Низами предложил для средневековой культуры модель концентрических кругов. В центре — Коран, Логос, сакральный язык — арабский. Далее — Магомет (хадисы о нем). Далее — Бог. На социальном уровне центр — Мекка. В суфизме, в исламской мистике иная система концентров. В центре — «я». И когда некто собирался в хадж в Мекку, чтобы обойти там семь раз вокруг Каабы, как положено по ритуалу, дервиш ему сказал: зачем так далеко? Обойди семь раз вокруг меня — вот тебе и Кааба...

— Также концентричны зоны языков. Арабский — язык священный, на нем риторика, язык духовенства. Персидский — язык тонкого ума, остроумия, аристократический. Тюркский — здравый смысл на нем, простота и грубость, язык фундаментально-народный, язык жизни и быта.

В эпоху Вагифа произошла перестройка структуры.

— Вагиф поднял низовой тюркский азербайджанский язык до высокой литературы,— свою важную мысль выразил Рахман.

— Но Вагиф — антикнига в отношении Физули,— сказал Низами.— Именно потому, что была так великолепно сложена и от-

работана целостность средневековой культуры, в ориентировке на нее и осмыслен был сдвиг, сделанный Вагифом, его приникание вновь к фольклорным элементам. И к тому же в какой исторической ситуации оказался азербайджанец в его эпоху? Было пространное, величавое свое исламское государство — тюркское, персидское, где Азербайджанство плавало как рыба в воде; а теперь осколок, мизер — маленько Карабахское ханство, где Вагиф — визирь.

(Как Гете — министр в Саксен-Веймарском герцогстве. Ну что ж: маленькое государственное образование ценно тем, что где много разных очагов цивилизации, интенсивнее каждым строится культура... — Г.Г.). Классическая средневековая литература предполагает государственно-бюрократическую структуру, ее имеет своим аналогом в Сочиуме, и подобно сама построена... А ситуация общества в литературе при Вагифе, скажем, уже более лично-предпринимательская, отважная, на свой страх и риск и опыт и творческую изобретательность. Оттого и посмел рушить старые каноны и проложить путь более лично-свободному сочинительству (это я уж сейчас так формулирую их мысль).

Спросили меня: какое я имел представление об азербайджанце до приезда сюда?

— Я не знал, я имел лишь внешнее, несколько страхолюдное, представление об азербайджанцах, как об очень жизненно хватких, прагматичных, мало духовных, ценящих животное существование, очень брутальных, грубоватых, хитрых, кому ничего не стоит обмануть чужака, очень при себе, замкнутых между собой и не открытых во *вне*... Даже писателей — увидишь в ЦДЛ, сидят вместе черные, говорят свое, непонятное, как мафиози и заговорщики... Я утрирую, и это моя вина, от несоприкосновения и незнания (литературу-то я не знал, не читал), но я не высказываю этим утверждения, что таков азербайджанец на самом деле. Вы спросили о стороннем образе — вот я его, пусть и утрированно, но искренне пытался выразить...

— Вот, а о грузинах и армянах у мира, в Европе и России представление ценящее, почтенное, более совпадающее с их внутренним самоощущением,— сказал Рахман.— При этом мы сами, по-моему, во многом виноваты, что в мире о нас такое представление...

— Почему «в мире»? — включился театральный режиссер Вагиф Гасанов. — На юге, в странах исламского региона, Азербайджан знают и ценят по существу...

— Я бы так эту трудность сформулировал, — я снова. — Азербайджанство мало экстравертно; занято собой, такой «междусобойчик» культуры и цивилизации. При этом создаваться могут первоклассные, мирового ранга ценности, но они еще за стеной крепости, не знаемы снаружи — и не самосознаемы. Оттого не имеют рефлексии, самоотражения. (Вон как Мирджавад беспечен насчет «паблисити»: хотят у него из Франции отдельные картины закупить, а ему жаль разрушить серию...).

И роль интеллигенции национальной — интеллектуальную элиту растить, которая бы реализовала это самосознание и самочувствие своей культуры среди прочих цивилизаций, давала бы самосознание, рефлексию и внутреннюю спокойную открытость миру. Такие люди, как Анар, что сделают честь мыслительности любой страны...

— Да, у грузин — что ни сотворят для себя, то тут же кристалл-образование мировой отзывчивости и видимости, — со вздохом Рахман.

— Но подобная же зависть может быть и у России перед Парижем. Там, что кто ни бзднёт, ни пёрнет, что ни мазнет кистью или шепотнет стихом, — сразу на ура громкоговорителями рекламы и сенсации усиливается тысячуекрат выше ценности, может быть, и разносится по всем миру. А тут хоть глубже и ярче творения — Платонов, например, Андрей, архигений, — а кто его на Западе, в мире знает? Да и у нас-то стали допирать до осознания его ценности — как спустя!.. Не двадцать лет...

Еще такое у меня ощущение про вас. В истории азербайджанства было несколько сильных пластов, эпох культуры; но они дискретны пока, не сложились в линию: волны прокатились отдельно, не усилив одна другую. Эпоха Низами, эпоха Физули, эпоха Вагифа, столетие от Ахундова, включая и динамическую культуру начала XX вв. ... Но срезались культурные слои, не наславивались друг на друга, образуя структуру и развитость и утонченность и цветущую сложность.

Но зато это все вам сейчас предстоит делать. Так что для творчества у вас ситуация завидная. Вы — молодая, становящаяся культура. Вам творить синтез из пластов-традиций великих ваших прошлых эпох культуры. Субстанция — в порядке: народ выжил, язык не ассимилировался. Сколько ваша ситуация предпочтительнее белорусской иль украинской, например!..

...Устали мы от культурологических прений. И Вагиф Гасанов предложил почитать стихи из только что вышедшей книги Рамиза Ровшана «Небо камни не держит». Сказали мне: ему 40 лет. Его упрекали в модернизме. А он в новой книге дал такие образцы традиционных форм: гошма, баяты — и так непринужденно, свежо в них свое личное и современное выразил, что те «традиционисты» только позавидовать могут — именно красоте и дыханию вольному традиционных форм в его стихах.

Вагиф читал сначала стих на азербайджанском языке. Слушали — восклицали, смеялись... Потом переводили мне вместе, а я пытался скорописью зафиксировать...

Попробую сейчас нечто склеить из моих обломков и что-то на основе их понять-продумать об азербайджанстве...

А женщины каковы?

25.V.87. Что-то я сегодня никак не приступлю к азербайджанству! Грозна для этой работы Москва и моя «жизнемысль»: оттягивает на себя. Но все же и к этому прицелюсь: отсюда к азербайджанству подступ отыскался.

Спросила меня Светлана:

- Ну а как там — на кого зырил? Каковы там женщины?
- Да что-то не видел.
- Ну а интеллигентки-эмансипантки — неужто не было?
- А и тут мужчины своим кругом собираются. В чайханах — тоже однополовые столы. И в кафе, и ресторанах...
- Что ж, нельзя женщинам?
- Нет, можно: вон и ко мне за столик подсели две и чирикали... Но просто их мало тут очень. Не то, что в Прибалтике, где, напротив, в кафе преобладают женщины, тоже однородно сидят, матерые тетки, и курят. Тоже важное косморазличение — Эрос и

Социум: где смеют Эрос и Женщина из тьмы выступить на горизонтальную плоскость Общества — теряет тут же она свою мистерию и заведованье таинством Ночи и Глубины... Уплощается...

Тоже и разница: КРУЖЕВО И КОВЕР!

Северные женщины — ткут белое кружево: вологодское, бельгийское. Женщины средней полосы вышивают отдельные вещицы: рушники, рубашки, престишки; но все это — мелкие формы, лирические стихотворения, в сравнении с монументальным эпосом ковра, что ткется чуть ли не всю жизнь один — как Фирдоуси «Шах-Намэ» сочинял...

Кружево — белое, представитель Снега и Белого Света — этих стихий. И Воздуха: отверстия дыхательные меж нитей белых и фигур звездчатых, как снежинки...

Ковер же — сбитая и сплошная плоскость, без воздуха, без продыху. Недаром там стихии Воздуха недостаток и непочтение... Плоть ковра — как камень гор Кавказских...

Вышивка: по белоснежному полю = Белому Свету Неба и Духа — цветистая Жизнь, умеренно-скромная в своих притязаниях, но тем более — в мере своей — милая и красавая и чаемая. И Духа тут вдоволь, и Материи воля, и Логос Матьмы присказывается...

Ковер же — Логос Матьмы и ее математика. Ум Великой Матери-и сего региона, Кибелы и Астарты, Иштар...

И — Юг и Огонь тут.

Голова у Ван-Дейка — на белом кружеве — как на блюде подчеркнута, оторочена, вознесена и вознебеснена.

А на Юге вообще головы-лиц нет почти, запрещено изображать. Вместо них — головы птиц, животных, тотемны, заместительны, представительны. И если человечья голова — то в орнаменте цветастом из ветвей, крыл иль арабесок...

Национальный запах

Рассказала Светлана, как ей одна поэтесса в Переделкине, уже пожилая, но переспавшая за свою переводческую деятельность и крепя дружбу, с поэтами всех народов СССР, свое впечатление об азербайджанцах в постели передала:

— Грубые, не внимают женщина в этом деле. Тяжелые и плотные и потные. Запах сильный, сальна кожа — не моются, что ли? Или пища такая...

— Это оттого, что жирную пищу, плов едят, сласти...

Да, на северный, снежно-воздушный, тонкий нюх и переснабженность водами и очистителями — ветрами, цветастый запах тела южного сильно в ноздри должен бить — то, чего не ощущают так остро, а наоборот: как милое нечто — своим там женщины...

— Нет, мне азербайджанцы бы не нравились,— Св.— Вон косоглазенькие, более восточные...

— Они — сухонькие, проветренные...

Да, еще припомнил: как утром, пасяясь любовно по лицу Светланы, прейдя к волосикам ее, вдруг чуть полынный там запах уловил... А у глаз, шеи — свои тонкие легчайшие излучения...

— А как это важно: запахами супругам друг ко другу подходить, внимать, быть милыми!..

Путь — с возвращением

27.V.87. Как общеазербайджанское сживается, сплавляется с нынешне-историческим, всемирным и советским, и как совершается это в тигле личности,— это я мог почувствовать, читая стихи Сабира Рустамханлы. Ключ к мироощущению его поколения — стихотворение «Дети сорок шестого»:

«Мы родились в сорок шестом — то есть в первом мирном году и сразу же наполнили светом пасмурный дом и выселили из него беду»⁵⁷. Вот, сразу объявлен всемирно-исторический смысл жизни его поколения: им продлена жизнь на Земле, продолжена эстафета. И тут же — приметы национального образа жизни:

«Росли, подпрыгивая на материнской спине в гамаках из цветастых платков». Так, образуя горб человека-верблюда, сращенное с телом матери уже не в животе, а на спине, проводят начальное свое время детки в земледельческих семьях среднеазиатского региона. Как кенгуру, сумчатое из аналогичного пояса в Южном

⁵⁷ Сабир Рустамханлы. Жду весточки. Пер. С азербайджанского Владимира Трофименко. М., Советский писатель, 1984. С. 87.

полушарии. Симметричен с ним — верблюд в нашем полушарии... Ну а пестрота гамаков — да это же «хурджины», сумки-торбы, расшитые, как ковры.

«Словно побеги росли и росли в тишине. Слушая сказочную воркотню стариков». Ну, старики, что предание прошлого содержат и сказками, и пением, и через дудочку вливают в нынешних,— возлюбленный сюжет многих стихотворений этого поэта.

«Животворная сила той благословенной весны столъ была велика, что старухи, наши бабушки, были поражены: дочерям — хоть столы бедны — некуда девать молока». Ну да: Земля, не рожавшая, а лишь кровь приемлевшая,— оттого и выплеснула вдруг неслыханное плодородие. Ведь ее лоно тоже было в запоре, в заключении. Так по целине и на поле после пары славно родится... И в то же время крепко жизненные и цепкие и неприхотливые существа:

«Словно муравьи, что живут себе зернышком одним семь лет, мы, первые, кто родились в селе после четырех бесплодных лет, подобно полыни на солончаках (вот примета пространства древнетюркского кочевья, среднеазиатского, откуда огузы, один их этносов, вошедших в азербайджанство.— Г.Г.), подобно мху на каменных валунах (а это уже примета горной природы: так зачинается жизнь на высокогорье Кавказа, под зоной вечных льдов и снегов.— Г.Г.), довольствуясь тем, что есть, не тоскуя о том, чего нет...» А это уже и личностное вероисповедание, принцип отношения к жизни и ее превратностям, дарам и лишениям. Очень здравый и философски-мудрый. Терпеливый — оттого и терпимый. Нет в нем ни капризности, ни жадности, а есть — благодарность... В этих понятиях я обозначил основные тона эмоциональной и нравственной гаммы, в которой сочиняется музыка и других стихов поэта.

«...Разлетелись по свету наши возмужавшие голоса (совершающаяся непременно центробежность из очагов родины — в большой мир планеты — Г.Г.), но мы слышим друг друга и за тысячи верст. По небу Азербайджана наши глаза рассыпались наподобие звезд». А вот и центростремительная, возвратная сила, что и удерживает Психо-Космос Азербайджана от энтропии растворения в просторах Вселенной: души людей, тут

рожденных, где бы ни были, в каких бы далях и землях и профессиях, у станков или в кабинетах,— глаза их в звездах азербайджанского Космоса. Так, при энергии подвижности внутри и при динамике, мир азербайджанства сохраняется ровный Целым, при себе себя чуя и удовлетворенным, а не неуравновешенным и «от самой от себя у-бе-гу», как иные, избыточно центробежные национальные миры... Отсюда идея Возврата — лейтмотив в поэзии Сабира Рустамханлы. И тем важнее и сильнее эта интонация, что многие соблазны современной цивилизации мира сего усиливаются оттянуть некогдаших горцев к себе и удержать и оторвать от родного лона и стиля жизни. И грех и вину в себе зачует поэт, пребывая в городском общежитии во студентах или редактором в кабинете,— перед младшим братом своим, кто в это время пасет в промозглую погоду стадо и поддерживает стариков-родителей (стихотворение «Младший брат»).

«Вот — тропинка судьбы сбегает вниз, к веселой Куре, вот — пройдя по мосту, на заре превратилась в дорогу, чтобы где-нибудь превратиться в жизненный путь...» Тропинка, Дорога, Путь — вот последовательность ухода из азербайджанства в широкий мир в пространстве, возрастания и в смысле жизни. Тропинка — образ детства, малого круга жизни у родного лона. А Путь-Дорога — это уже символ из большого раздолья, архетипы русского Космоса и мирочувствия, где Даль — заместо Выси и есть местопребывание Бога...

В этой раскладке Путь ценнее, значительнее Тропинки. Но вот и обратное восценение: в стихотворении «Дорога в горы» поэт возвращается на родину — и иначе мыслит о том же:

Но будут попутными змейками виться
Река и дорога все выше, пока,
Дорога в тропиночку не превратится,
А речка — в падучую нить родника (с. 18).

Ну да: ведь и Волга — из родника, и равномощен он ей по ценности. Так семя и ген породы — в Природе важнее единичной особи. Так идея и суть важнее отдельной вещи и существа — в философии бытия. И так малый горский народ может себя чувствовать гордо и равным обширным цивилизациям равнин,

что образуются в результате стока родников и спуска тропинок. Потому и ценит азербайджанский ум-Логос не большое пространство, а свитость в малое, в атом, в семя, в дитя, в рисинку плова и крестик вышивки. Атомарно-дискретно, а не континуально его воззрение на строение вещества и строй Космоса.

Родные тропинки! Поклонимся им!
Веками — к рождению, свадьбам, поминкам
Друзья собирались по этим тропинкам,
Враги врассыпную бежали по ним.

Потому тут четко все видится, под яснозвездным горным небом,— не то, что в мареве русской измороси и в петербургском тумане, где все течет и расплывается: и формы вещей, и понятия и ценности — в непрерывность и перетекаемость взаимную, где диалектика друзей и врагов, и понятно прощение... Тут же — кровная месть, четкое членение: друг и враг, свой родич — и чужой. Также и первичные события на уме и высказаны — те, что связанны с выживанием народа: рождения, свадьбы, поминки...

А молнии гору охлещут — она,
В поводьях тропинок, представится в неком
Подобии вздыбленного скакуна,
Чье ржание — гром, умножаемый эхом.

О, как красиво идет развертывание образа Тропинки! Национальный Космос сегодняшних гор и некогдаших степей — приведен к Коню, священному животному, тотему и важнейшему персонажу национальных мифов и сказок. И тут еще Заратустров символ: Свет, молния. И вот уже тройное уподобление: тропинки = поводья = лучи!.. Но образ еще не сыт развитием, а прет дальше и цепляет новое видение:

В дорогу — к бегущей в долине реки —
Сливаются тысячи тропок безвестных.
Но ниточки трасс и земных и небесных
Как если б зажаты у гор в кулаке... (с. 18).

Вот итоговый образ — статуарного Космоса, где есть и энергия стока, ухода — и воля к со-держанию, к устойчивости: кулак гор! В его узле и хватке первоначальной, древней, извечной,— даже авиалиний трассы, шоссе-автобаны, все эти чудеса развив-

шейся техники и цивилизации. Но они — все равно суть лишь произведения от того, что зачинается в малом лоне в окружении гор... Ведь и по истории — народы, населившие Евразию в великом переселении народов,— спустились с гор. И у Платона в «Законах» в мифе о том, как образовалось человечество после всемирного потопа,— острова = горы принимаются за исходное...

Но вернемся к «Детям сорок шестого»: после этой модуляции в иные стихотворения и образы поэта, крепче и богаче раскрывается исповедание смысла жизни сего поколения:

«И мы, родившиеся в сорок шестом, вчерашние малютки с жадным ртом, ищащим материнский сосок, кем стали, кто направник, кто наискосок прия в сегодняшний день? (Внимание! Задается нравственный уже вопрос и уровень: ты жив, но чем жив, человече?— Г.Г.). Без потерь не обошлось. Одного погубила лень. Другого погубила злость... (Безнравственность = безжизненность оказывается: к этому, основному знаменателю — Жизни приводимо тут все!— Г.Г.). Но мы ведь были теми зелеными листьями, которые оживили заглохшее было древо жизни» (= Библейское! Символическое! После всемирного кровавого потопа Войны. И потому ПРОСТО ЖИЗНЬ, даже без особо сильных великих идеалов и целей и дел,— есть уже главный долг и оправдание существованию этого поколения: ВЫЖИТЬ надо роду человеческому — прежде всего! А уж на этой основе Жизни — и могут далее надстройки идеалов высоких, сих гор обществотворных, и прочие тонкости и духовности и нравственности более высокого пошиба возникать и развиваться — уже последующим поколениям очередной долг и работа.— Г.Г.).

«Но мы ведь были теми брызгами радости чистыми, что губы потрескавшиеся освежили». Вот это в них главное: ими доказано, что Есть Жизнь! Жив курилка, Человек!— И это их главное дело. И хотя поэт, выросши, ставит себе, как личности, и нравственные задачи:

«Но мы ведь родились, словно клятва павшим, что родная земля пребудет трудами нашими изобильна и щедра, что мы ниву, оставшуюся без пахаря, вспашем и кинем в нее добрые семена!..

Да пребудет каждый из нас и скромен и самоотвержен, ибо дело в том, что исторический смысл огромен того факта, что

родились мы в сорок шестом», — но сама стилистика этих и последующих строф, где вместо мощно-ярких и густых образов предыдущих — увещевания рассудочные, выдает, что на самом деле не так уж и важно, КАК ты проживешь жизнь с точки зрения высших нравственных и идеологических понятий и критериев, — лишь бы жил и детей народил!.. Сама Жизнь — идеяна в наш век гениальной изобретательности сил зла ко уничтожению рода людского, причем именно во имя Идеи! И Гитлер, и Хомейни, и прочие радикалы, что корень (*«радикс», по латыни*) рода людского во имя маниакальной некоей их «чистоты» расы или духа, убеждений, — выкорчевать готовы.

И потому поэтический дар Сабира Рустамханлы — это редкость и идееность просто жизни; во всех ее состояниях и настроениях обнаруживается красота и ценность, и он перебирает их и медитирует над ними. Все внятно его лирическому герою: и любовь, и разлука, и укоры совести, — но все мягко и кротко. Нет вздергивания души человека за удила на дыбы ко суперподвигам и усилиям; устали мы от такого подхода к жизни и человеку. Идея и нравственность? — Хорошо, да, но не так, чтобы самоубиваться или жертвовать чужою или своею жизнию ради них...

И это, кстати, новая нота и струна и интонация в азербайджанской литературе и вообще мироощущении, в котором прежде, не задумываясь, хватались за кинжал и винтовку — и решали и убивали по малейшему поводу и подозрению (вспомним «Буйную Куру» Исмаила Шихлы и всю эстетику эпосов...) в оскорблении чести... Ну да: человеков рожали, как ягнят в отаре — несчетно, и бесконечным и малоценным представлялось женское лоно: всегда подаст человеческого мяса на пиры доблести и чести!

Но не таково состояние мира XX века, что породил изменения и в азербайджанском образе мира и отношении к человеку. Щадить жизни! И потому такая нежность к сыну и старикам в стихах Рустамханлы — к тем, через кого передается огонек жизни и культуры...

Итак, просто ВЫЖИТЬ! (припоминаю первое мне слово Рахмана Бедалова при встрече и беседе) — что было извека национальной задачей азербайджанства в его существовании возле исторической Дороги прокатывавшихся сквозь и чрез него и

над ним соседних миров и цивилизаций и для чего оно как бы не очень высывалось вверх (во историю и Дух), а слегка пригибало голову,— ныне становится универсальной и актуальной задачей всего человечества второй половины XX века. Вот и единство национального и интернационального! Причем интернациональное, что именно не считалось с жизнями и жертвами людей и племен и родов в своем становлении, кичась Прогрессом, идеалами! — теперь пришло на поклон к более «низовому» принципу, зато более фундаментальному: «Быть живым и только — до конца!» — как свое Кредо сформулировал венценосный духовный человек-личность, в ком высший цвет и культуры, кто Человек в высшем его ныне осуществленном развитии — Борис Пастернак. Конечно, тут не просто телесно-животная, но жизнь Духа Живого имеется в виду; но она недаром сращена с понятием просто Жизни, подтверждая именно идеологичность Жизни как таковой!

28.V.87. Продолжаю вникать в Азербайджанский Космо-Психо-Логос по поэзии Сабира Рустамханлы: какие тут действуют архетипы, символы, модели, образы и ходы мысли — типичные, как мне кажется, для национального миропонимания?

Уход с возвратом, тогда как на Руси уход — без возврата характерен и в жизни, и в психике: возврат лишь в язве воспоминаний и угрозений; а тут — реальный, благодаря чему и содержится, не растекается шар национального бытия: «Пока в тоске неутолимой все новых далей ищет взгляд, тропой, для глаз людских незримой, Душа моя спешит назад» (с. 151).

Даль — русский первосимвол, и она — на взгляд; душа же, ее состав — это память; а «Память крови» — так названо стихотворение, где раскрывается телесная напоенность духа здесь:

«Древней правды миги ожидают вновь.
Что забыли книги — вспоминает кровь».

Кровь, что тут хлестала с башни на гранит, в почве пылью стала, ну а в нем (в мальчишке.— Г.Г.) — шумит.

А ступни босые токи теплоты чуют сквозь земные толстые пласти...» (с. 60) — как нефть! И она ОГНЕВОДА-стихия, и «память крови» — такой же сгусток. И все азербайджанство — такой сгусток, конденсат из прошлого и будущего — в настоящем.

Мой дух — лишь мотылек грядущих дней,
Сгорающий на пламени былого... (с. 155).

так заключается стихотворение «Все впереди». Но оно столько же и позади...

Душевным зрением чутко улавливает поэт просквоженность настоящего живым, сочным прошлым:

Откуда чудный свет, сквозящий в поздних грушах?
Назад полвека был такой же листопад,
И не его ли свет вдруг всыхивает в душах,
Когда в глубины груш вот так, на свет, глядят?
...Мучительное есть в осеннем сочетанье
морщинистой руки и груши золотой...
(«Осенью старики сеяли пшеницу», с. 5).

Старик для «лирического героя» поэзии Рустамханлы — не итог жизни: сухой мудрец, аксакал, — а такой же, как он, мальчик, только еще более наполненный, прыскающий жизнью, как плод осенний. И как-то очень нежно тут любят стариков. Вот «Дедушка играет на камышовой дудочке»:

«Дед садится на ступени с дудочкой из камыша.
Если голос груб для пенья, пусть тогда поет душа!»

...А с небес течет сиянье, арычок в саду журчит... Дед вздыхает — и дыханье грустью в дудочке звучит» (с. 7–8). Значит, состав песни = души — это свет и вода, превращенные в *воздух*. Вот она — эта, четвертая из стихий! Наконец-то уловил ее в азербайджанстве! И она — зороастрийска: огне-водна!

Так вот субстанция мугамов! То арык журчит, то сиянье небес стекает во льды и теплеет в воды, разогревается и полыхает. Мугам — это ниспадание с вершины, с выси света — и оплотнение бытием, жизни, страданием и радостию...

Но весь этот высокий Космос одомашнен в азербайджанстве:
«Вот черною курицей туча раскрылась над выводком звезд» (с.83) — как наседка над цыплятами...

А во сне сына — «дороги и тропки белеют, как корни засушенных трав, что в кухне повесила мать на веревке» (с. 36).

Вот эволюция образа Дороги: Путь, Дорога, Тропинка, Повод коня, Луч с неба, Корень в земле, Травка на столе...

И даже трагическое — мирно вплетается в пестрый узор ковра жизни.

«Нынче сына старушка хоронит... И в поселке гулянье идет».

Площадь — будто цветочная клумба. Не считая пылающих щек, самодеятельность возле клуба сплошь наряжена в огненный шелк».

И вот процесия проходит — как стежка черной нитки в ковре:

«...проходит процесия — черной бороздой через маковый луг.

Чернота пробегает по шелку, гаснет синь. А у песни хмельной — словно черные ножницы, щелкнув, вдруг остригли привес озорной».

Ковроделие — модель жизнедеятельности: по канве ковра видится и осмысляется всякое событие — даже такое, как смерть.

«Но волнение длится недолго. Море красок сомкнулось — и вот. ах, как шариков красочных много, лопнул шарик, а праздник идет...» (с. 98).

Плотное бытие! Как ковер — в отличие от кружева. Оно — легко и воздушно: этот — тяжел и налит весом.

Разглядывая азербайджанские миниатюры XVI века, я обратил внимание на то, что нет почти неба, клочок его, углыек, а все пространство картины густо заполнено фигурами людей, животных, орнаментом растений и условными горами... Также и в новейшей живописи: панно-ковер «Азербайджанские сказки» Саттара Бахлулзаде, его же «Мечта земли», «Базар дюзю» и др....

Пустота, стихия **воз-духа** наименее значима в азербайджанстве.

И если выстроить иерархию четырех стихий по-азербайджански, то она завыглядит, похоже, так: огонь, вода, земля, воздух.

И отвлеченные в других мирах понятия тут стремятся как бы налиться, оплотниться. Та же Память! В русской поэзии:

«О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной!»

Тут же — образ: «память крови».

Свое призвание поэт символизирует так:

«Родился, кто призван из воды добыть огонь?».. (с. 153) —

снова «огневода» — как субстанция и энергия...

...Но нет, неправ я! Вот стихия воз-духа, проникнувшее бытие: «Не надо трогать гнезд пустых», «Старый дом» — душевно-пронзительные стихотворения...

«Между новыми домами кровля ветхая видна.

Меж кудрявыми дымами не дымит труба одна.

...Сквозь глазницы дом впустую от зари и до зари всасывает жизнь живую, не светлея изнутри.

...А сквозняк в дому повеет и озвучит тишину — то ли брат сестру жалеет, то ли муж винит жену...

...Прозвучит в пустотах комнат эхо — словно мертвый дом сердцевиной бревен вспомнит тех, кто жил и вырос в нем...»

(с. 30–31)

«Старый дом» — как выеденная воспоминаниями и угрызениями совести душа — в стихотворении «Тайный суд». То — образы внутренней жизни личности. Приглядимся — вслушаемся...

«Со всех сторон, хоть ночь вокруг, летят воспоминания.

Открылся смысл того, на что не обращал внимания.

Звучит в ушах пчелиный звон, все громче, громче этот звук, Все ярче свет — хоть ночь вокруг и мрак со всех сторон»

То — свет духа, сова Минервы, что вылетает ночью, — мысль. И вот она вонзается пытать напоенное жизнью тело:

«..Кручусь на топчане, сжигаемый виною» (с.100).

Оказывается, для личности — недостаточно просто жить, как это достаточно для народа, где все само собой образуется мудростью Бытия. Нет, жизнь личности — жизнь сознания, а она состоит из пустот = вопросов, а не твердей и полнот живых и природных существ:

«В夜里, сжигаемый виной, вчера еще незнаемой, зачем казнюсь тоской ночной, никем не обвиняемый?»

Вот: фактура вопросов явилась, пронзила умиротворенность. А вопрос есть вотум недоверия бытию. И рождает личную мысль-думу и особое понимание. И вот оно:

«Жизнь, что течет сквозь свет, сквозь тьму и сквозь меня и мимо, необратима — потому в ней все неповторимо»

(с.101).

Сравним с этим образ жизни народа:

«Родной народ в родной моей отчизне как вечный океан воды живой — и сколь ни убавилось в нем жизни, возникло и прибавилось с лихвой...» (с. 153).

Океан — полнота, шар, круг — вот образы жизни народа. Тут все повторимо и восполнимо. А для личности — Путь, линия, прямая, необратимость и неисправимость — вот рок, закон и фатум. Тем более — в регионе исламского фатализма это остро ощущается. В регионе христианства есть покаяние — и с тем исправление вины и греха...

Но это жжение — только начинается в мире Рустамханлы. Оно еще не так остро. Появился еще один вопрос, но не мучат сомненья... Есть душе выход и ясное решение наперед — возврат! И потому, когда поэт просит не разорять покинутых птицами гнезд, не себя ли наперед имеет в виду его душа и жизнь?

«Не надо трогать гнезда пустых, когда питомцы разлетятся.
Представьте, птицы возвратятся, а тут руины встретят их...
Представьте зrimо и остро, сколь бесконечно труден путь их!..
А каждый выдернутый прутик — как выдернутое перо...»

Да это о себе и о тех, кто вылетел из родного гнезда в широкий мир — на труд и муку всепознанья, лишась той ясности, что организует жизнь в узком круге рода.

«Уж что за столько тысяч верст туда-обратно гонит пташек,
Но этот путь безмерно тяжек, и потому — не троньте гнезд!..

(с. 33)

Раз появились вопросы — появятся и восклицания, повеления от личности, ее призывы от себя, с особой своей точки опоры и зрения и миропонимания индивидуального — к народу, «всем! всем! и всем!»... Гражданственность и публицистика, учительность...

Просвещать и учить и образовывать свой народ, чуя себя его умнее. А это — дело Фатали Ахундова, Джалила Мамедкулизаде, другого Сабира — поэта начала XX века...

Интересно: наш Сабир — учится у народа, прислоняет свою жизнь и душу к его красоте и мудрости.

Тогдашний Сабир — учит народ, самоуверен, значит, цивилизаторскую миссию просвещения на плечи свои возлагая.

Как прихотливы волнообразные пути Истории! Нынешний человек — стыдится народа. Тогдашний — стыдит народ! Кто раньше, кто позже? Кто стадиально выше, кто ниже? Кому раскрылась более глубокая правда? Кто художественнее?

Это все фактура вопросов и восклицаний пробудила воспоминание о той, просветительской полосе в азербайджанской истории (рубеж XIX–XX вв.), когда они и сдвиг смеха преобладали над положительным эпическим и лирическим началами...

Кстати, «Не надо трогать гнезд пустых» напомнило мне комедию Моллы Насреддина «Мертвцы», где ныне живущие не желают воскрешать умерших, любимых некогда, родных, ибо их места уже заняты: на них насили жить — новые жены, дом брата — присвоен и т. д.

Вытеснение — опять же при плотности местного бытия, которое — не бесконечный простор, каков космос России, например, ее образ в поэзии и в мироощущении ее народа...

Желтые березы

Раз уж я задел живопись при анализе образности Рустамханлы, потянуло меня в галерею Музея искусств в Баку: вспомнил впечатления, оттуда вынесенные, и почувствовал, что пора доисполнить долг перед живописью Азербайджана.

...Замечаю, что ковровую композицию обретает моя работа: вдруг резко обрываю один мотив (вот — поэзию) и подхватываю уже бывший образ и предмет: живопись — с тем, чтобы снова затем образность литературы продумывать. Орнаментальное видение получается — но с нарастанием ассоциаций и смыслов и с уплотнением ткани общего понятия об азербайджанстве...

Уже при входе на лестнице я был ошарашен громадным полотном Яна Стыка «Цирк Нерона». Художник это второстепенный европейский, но отчего так по вкусу пришлось тут его полотно? На нем изображена аrena, где звери съедают людей: вот на переднем плане белое тело — уже с откусанной львом головой, далее — женское полуутонувшее; где-то рука, кровь, тигры,

львы,— и с амфитеатра Колизея любопытно посматривают матроны... Взгляд вниз — и никакого неба...

Знаем мы картины охоты — у Рубенса и проч. Но тело — закрыто кожей. А тут — кровавые лужи: тайна тела — это кровь, как тайна Земли — это нефть, «огневода»; и вот эстетика здешня выпускает кровь наружу, восприемлюща к ней, ее виду. И львы и тигры на картине Стыка — как моторы-насосы-«кузнечики» нефтяных вышек, качают кровь, отсасывают...

Вообще сцены охоты — преобладающи в азербайджанских средневековых миниатюрах и в росписях дворца Щекинских ханов (XVIII век). Самоуподобление с животным — тут родно человеку (бывшему кочевнику-пастуху) и ближе растения, дерева. Обратное — в России: Дуб, Рябина, Береза и т. д. И в стихах Рамиза Ровшана, что мне читали в Баку: «Может, я был волком в начале начал...», «Как трудно быть бараном», «Ягненок» — такое там проникновенное совмещение!..

Далее: вогнутость и выпуклость мира (но не ровность и плоскость, даль и глубина) — такое впечатление производит большинство картин. Или выпирают, надвигаются, выступают из картины: лани, кони, люди, ветви и проч.— на старых картинах; или наваливаются на тебя архетипы и веселые чудища, как у Джавада Мирджавадова; но никто не оставляет тебя в пустоте наедине с пространством, на диалог с чем-то: деревом, далью, рекой, птицей... За тебя даны ответы — и простодушно предлагаются: тебе усвоить и ими наполниться...

Теперь понимаю смысл романа Гусейнова «Фатальный Фатали»: в опровержение этой привычной в азербайджанстве всепонимаемости и ответности, тут вся фактура — из сплошных вопросов, сомнений, недоумений: рыхлит, как бур скважину,— самодовольную плотность азербайджанского миропонимания... Но об этом — позднее...

Или картины Азима Азим-заде — жанровая живопись: внутренность домов, комнат, помещения все — не пространство. Мир словно бы ввернут в телесное и вещное...

С полотна Керимовой глядят на тебя «Три матери» — не «Три богатыря». Дружб тут нет значительных мировоззренчески. Зато — рождение! И оно — массовидно, не личностно! В евро-

пейской живописи — Три грации, девы или женщины (Суд Парижа), но Мать — одна: Мадонна и т. д. А тут — вместе, массивированно выступают на тебя из-под могучих навесов бровей. Их выпуклость обращает на себя внимание в азербайджанстве: крепкая защищенность света, огня, очага, тогда как в безбровости белобрысых и курносых северян — озерность глаз свету белому навстречу открытее проступает и отдается... Брови — как сакля. Глаз из-под брови = родник из-под скалы.

В парсунах Мирзы Кадым Эривани симметрия ассирийских бород и высоких папах («Фатали-шах» — борода, «Аббас-мирза» — папаха) ритуально очерчивает стандарт лица. Или портрет Бехман-Мирзы (1840) неизвестного художника: в нем шапка — как борода вверх. И вспоминаю: «он растоптал мою папаху» — как выражение оскорблении чести. Папаха — важнее лица, на себя перенимает его представительство перед обществом. И ради папахи полная готовность жертвовать своим лицом (т. е. своим я и его суждением частным) — у народно-эпического Джахандар-аги в «Буйной Куре», что психологию простого, честного, народного азербайджанца выражает.

Эти длинные бороды и высокие папахи имеют форму нефтяных вышек (коих обилие на картинах современных художников): словно им пророчество и один прообраз...

А в традиционных миниатюрах люди, лица, фигуры — как в ковер вписаны, пустоты миру и вопросу к нему в душе не оставляющие места...

Долго вглядывался я в замечательные картины Саттара Бахлулзаде. В них явно проступает некое самосознание азербайджанского Космо-Психо-Логоса. Так какой же там сказ о мире и душе можно прочитать?

Вот «Азербайджанские сказки». Ковер. Вертикальная композиция. Русские панно и фрески, скорее, горизонтальный образ мира дают: с далью и глубиной. Здесь же — высъ и низ, как координаты бытия.

Колорит: розовое, лиловое, сиреневое, зеленоватое — как сон и его видение. Весенний сад в дымке. Воспоминания Психеи, души детской, ее первая любовь... Основной мотив: на переднем плане три овальных то ли сказочных города в крепостных стенах и башнях, то ли торты свадебные со свечами на блюдах. И они

многократно повторяются, рассыпаются на следующих уровнях, мельчая, эхом откликаясь.

Припомнились мне Мельницы прибалта Чюрлениса-литовца-северянина. У него обратные пропорции: внизу на земле на переднем плане — множество маленьких мельничек, а в огромном просторном небе в воздухе парит, плывет одна громадная мельница — как Платонова идея Мельницы вообще... Космос дальнодействия у него: далекое = близкое...

Много лианых виений, орнаментальных элементов: косы дев склоненных, их белые покровы, волны-змеи, птицы...

Панно «Мечта земли»: на переднем плане внизу — желтое поле, где густо красные маки пылают — огнекровь! Посереди — озеро. Выше — пашня, горы. Белые идеи тополей. Слева — виение дороги узкой лентой. И точки птиц повсюду...

«Базар дюзю»: шар Солнца закатный слева заливает все кровавой оранжевостью. Справа горы круто мускулистые. Обрыв — и фиолетовые воды, упругие линии. Воля чувствуется...

Выпуклость бытия. Положительность. Невопросительность. Сказуемость. Однако сон, сновидение — как призма возможная — также подразумевается (в картинах «Азербайджанские сказки», «Каспийская красавица», «Мечта земли»...).

29.V.87. Поразила меня картина А. Аббасова «Березовый лес» — это я разглядываю подаренный мне Анаром каталог выставки «Мир красок» (Частная коллекция Расула Рзы). Баку, 1986. Вот зрение-то, видение нерусское! Плотно-плотно ствол к стволу — никакого просвета и воздуха! Как нити ковра уложены! И нет Неба, а просто толща, ткань бытия из выпирающих змей-волн-червей берез! Да, стволы — как пятнистые удавы прилегают один к другому.

А цвет какой! Зеленовато-желтый! Белая береза, что символ белой Руси, белого света душа-Психея, душа девичья, «невестушка», еще и в белоснежном кружеве зимы (так она у Есенина: «Белая береза под моим окном...»), здесь слишком оживнена: цветом Жизни = зелени и цветом огня-стихии, желтым. Много в ней теперь жизненной силы, и наглости даже — в ней, стыдливой жить, смиренной у нас... Застенчивой.

Ни воз духа, ни свечения, но как трубы волящей Жизни, организмы воли к жизни, о ней трубят эти деревья...

Вспомнил, что и в галерее живописи единственное, где белый цвет я видел, запомнился,— это «Белое золото» Ахвердиева: там хлопок и девы. Но и то характерно, что в названии белое приводится к желтому — золоту, как первосущности тут. А золото — огненность, солнечность, зороастриское... Так что «Белое золото» — это в итоге то же цветовое сочетание, что и в картине «Березовый лес» А. Аббасова: белое отменено желтым. Не видится Белое как самоценность и первосущность (= цвет чистого Бытия самого по себе, незаполненного, потенции миротворения всякого) и значимость, но, как сиротка, приемлемая великолепно в богатый дом и подается ему здешне важный признак — цвет желтый. Белый свет тут — как гадкий утенок в цветастом пространстве коврового миросозерцания, не кружевного... Но ТАМ, в белоснежно-северном, воспризнат он будет как царственная птица — Лебедь белый!..

31.V.87. Вырубил себя на пару дней из инерции мышления-писания, что уж несла вперед,— и так трудно снова набирать разгон. А тем более — яду сомнения в себя подпустил, засев задумчиво и собеседуя читать «Фатального Фатали» Чингиза Гусейнова. И устыдился своих скороспешных (скороспелых + поспешных) обобщений об азербайджанстве, и теперь ум не подымается их делать, а рука — писать...

О, мой задумчивый собрат, размышляющий, как и я, о сверхценностях, обо всем, о высшем!.. Какая книга — вопросов, сомнений, восклицаний, задач и загадок — исторических и психологических — о путях неисповедимых бытия, о народах, странах, людях, умах и путях разного рода! Сгусток нерешенностей, неразрешимостей?..

ОЗАДАЧЕННОСТЬ — так бы душу этой книги я означил. Как задачник она — мыслителю, писателю, народу, жене... Не-прерывно разыгрываются всяческие гамбиты, ситуации, в которых — как поступать? Чего хотеть? Как понимать?.. Неистощим на них автор. Да потому что неистощима на них — знамая нам история и опыты человечества, стран, народов, литератур... И их, как парадом, проводит пред очи духа.

Мирза Фатали Ахундов, азербайджанец, служивший в Тифлисе переводчиком при русском наместнике на Кавказе,— выс-

тупает как точка опоры и тело отсчета для обоюдопознания: в нем Россия, Север познается глазами кавказца, обитателя исламского региона,— и в то же время хладнокровнеет и леденеет его взгляд, будто от ветров оттуда, чтобы предвзято взвидеть и космос исламской цивилизации и уродства родной жизни...

Одухотворение азербайджанства

18.VI.87. Большой уже разрыв между прошлым и сим заходом во Азербайджанство у меня получился. Пришлось по прилете сюда запущенные дела прочие наверстывать — и вот отдалил Баку от души... Теперь снова притяни проблематику Азербайджанства и задумайся...

Вроде бы по порядку мне надо докончить образ Фатали Ахундова — и по его произведениям, и по роману Чингиза Гусейнова... Но как-то грустно продумывать эти сюжеты: взаимоотношения Азербайджана с Севером. Да и с Югом. И вообще всю geopolитическую перекрестность его, при чем уже он — не сам собой, не видится его некое качество, а просто — карта и ставка в игре сверх-его-сил: держав великих — и что из этого тут выходит: хорошего и плохого.

Нет уж, пока горячо впечатление, заберусь-ка я в «Белое ущелье» — только что прочитанную благоуханную повесть Акрама Айлисли⁵⁸.

...Курочка поклевывает травки, не смущаясь, перед столиком моим на лужайке перед крыльцом в деревне. Вглядываюсь: что же она выклевывает? И откуда ведает, молоденькая: какую траву ей хорошо, а какую — худо? Вон лопух клюет, одуванчик, пырей... И некие медицинские оздоровляющие вещества поглощает так. И как, значит, мясо ее должно быть здравомысленно, благоуханно! В нем ромашка и мятة — букет и настой целый!

О, самоорганизованность благая Природы и естественной жизни — до и без вмешательства человека и его узкого рассудка, одну лишь сторону зараз видящего — и всей силой и волей массы на эту сторону наваливающегося, все прочее губя!..

⁵⁸ Дружба народов, 1987, № 5.

И это я не отдаился от смысла повести Айлисли, а его имено и через курочку соседскую перед мою избой — выразил.

Горожане приезжают в деревню, Баку — на поклон Бузбулаку. Покаяние перед лоном и корнем страны. И главная тревога: не забилиль его совсем? Живородит ли? Способно ль к регенерации?

Узловой образ — тонкая плеть, что выращивает, подымает огромные пудовые дыни и арбузы; все в ней и ею держится. И пока она не перервана, космос выдюжит! Ибо плеть кормится не только видимым корнем из земли (что видит наш рассудок) или поливом из арыка, но слухом: «арбузная плеть, плеть дыни... не пьет она сейчас воду, всегда должна слышать ее журчание, иначе плети могут засохнуть от тоски по воде и не будут ни цвести, ни плодоносить» (с. 26).

И вот бывший землемеделец-баштанщик, а ныне ученый инженер-горожанин Рамазан, завядший и закисший там, приезжает в родное село рода своего словно для того, чтобы проверить: «Есть ли еще порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила?» (выражая это хрестоматийными гоголевскими в «Тарасе Бульбе» словами) — и от одной мысли об арбузной плети получает заряд жизнестойкости: «Он сам не понимал, чему изумляться: огромности и великолепию дынь и арбузов, росших когда-то на отцовском баштане и на всю жизнь запавших ему в память, или содрогнуться при мысли о непостижимой силе, таившейся в таких слабых на вид, тоненьких, как бечевки, арбузных плетях?.. Может, это она, почти недоступная для понимания, но реально существующая сила давала ему надежду когда-нибудь обрести и собственную свою силу и жизнестойкость, возродившуюся из небытия? Во всяком случае, между тонкими стеблями, способными взрастить огромные арбузы и дыни лишь потому, что они чувствуют над собой солнце, а рядом воду, между ними и Рамазаном... существовала какая-то сходность» (с. 26).

Солнце + вода = ОГНЕВОДА — вот субстанция местного Космоса. «Вода тут своя, особая, и солнечный свет особый. А плети арбузов и дынь, спокойно зреющие на этой серой земле (тоже важно: земля-стихия тут не цветна, не красна и не черна — «чернозем», но серенькая — как небо и воздух в России.

Она здесь — посредник просто меж солнцем и сочной водой недр, которая — что нефть, густа и питательна.— Г.Г.), такие сочные, такие живые, в самое нутро земли, словно ястребы когти, запустили они свои корни (как скважины — нефть качать-сосать!— Г.Г.): кажется, вспугни их — шевельнутся и взмоют ввысь...» (с. 26).

Птичий образ снова важен (как и у Сабира Рустамханлы: гнездо = дом) и отождествимость верха и низа: когти = корни — и переворачиваемость их, легкая во азербайджанстве.

«Подняв голову, Рамазан стал разглядывать листву черешни; листья были такие сочные, такие зеленые, что, казалось, вот-вот закапает сок (листья черешни = плети дынь; сок = огневода.— Г.Г.). Небо, проглядывавшее сквозь листву, было и не небо вовсе, а что-то другое, будто море перевернули вверх дном и водрузили туда, наверх, только вода была не морская, а родниковая..» (с. 24).

И вот эта отделимость членов тела: корни-когти взлетят, коли вспугнуть... А в стихотворении Рамиза Ровшана «Плач» мать рванулась к сыну, пришедшему с войны,— и оторвались руки и полетели, как крылья; а его невеста так устремилась к нему, что ноги отстали, оставила их на дороге — а сама уже тут!

Вот эта дискретность и членораздельность мира, бытия, космоса, антропоса: будто составляемость, как ковра, из мотивов-узоров отдельных — примечательна тут в мироощущении...

А плети = нити — волны — змеи (прошитость, связанность частей, арбузов-атомов знаменуется этим) — мотив и в ковре, и в живописи Мирджавада, и у других...

Вообще в повести Айлисли приезд горожан — как в зачарованный мир — сказки, легенды, золотого века, и он, оказывается, никуда не делся, вот он, хоть и вырубили сады и снесли баштаны и изувечили стихию земли, но национальный космос откочевал — в воз- дух тут разлился, и пребывает в душах, во Психее народной, в сохраненной этикетности, приличиях, что все бледут и чем жив и держится Азербайджанский мир. Все знают приличия, не нарушают и гордятся их твердостью, и самоуважение люди испытывают от того, что точно придерживаются издревлего порядка. Вот соседка, тетушка Доста, лишь во

второй день позволяет себе навестить приезжих, как ни распирало ее любопытство и хотя «и в радостный, и в черный день тете Досте первой положено отворять дверь этого дома. И, хотя в бузбулакской книге приличий и правил запись по этому вопросу о том, можно ли являться с поздравлениями во время завтрака, сделана достаточно яркими чернилами, никто не осмелился обвинить тетю Досту в неучтивости. Прежде всего потому, что, поскольку в книге бузбулакских приличий запись по данному вопросу сделана четко, тетя Доста еще вчера вечером полностью соблюдала все, что указано по этому пункту: услышав голоса приехавших, она, хотя дом ее в десяти шагах, даже из-за ограды не выглянула: пускай люди отдохнут с дороги, пускай посидят своей семьей, поужинают, выспятся» (с. 10).

Воспитанность! Интеллигентность. И письмена ряда и обряда вписаны в душах, как априорные схемы Пространства и Времени. Как существует в исламском доме мужская и женская половины («гарем»), так же расчленена и временная последовательность перегородками: летом спят на крышах, но утром «сперва проснутся матери и, торопливо поругиваясь, начнут будить старших девочек. (Девочку, если ей исполнилось десять лет, никто не должен видеть в постели ни издали, ни вблизи.) Потом встанут мужчины, они, если не предстоит особо важных дел, поднимаются позже женщин. Самыми последними вскакивают ребятишки» (с. 6).

И этот РЯД, лад и склад обычая, образует плотину, коею национальный космос сопротивляется энтропии нивелировки, что могуче и всесокрушающее вторгается из современной городской цивилизации и ее рассудочных понятий — в поэтический мир Бузбулака, как гнездовья Азербайджана еще живого.

Вот важный элемент сего РЯДа: *имена* черешен!

«Пахло черешней, хотя черешня, единственная из фруктов, что прославили эту деревню, лежавшую сейчас под белесым небом, давно уже отошла... А может, запах исходил не от ягод, а от самих деревьев, истерзанных, измученных, с ободранной листвой и поломанными ветвями; они стонали от боли, наказанные за хрупкость свою и нежность, и запах этот был запахом их беды...» (с. 3) — таков запев повести; и душа Саиды, перезрелой

девы поневоле,— как душа черешни: поруганная красота, которой не дают плодоносить.

«Ведь надо же так случиться: и сад этот, и черешневые деревья, с которыми так жестоко расправились люди (разнарядка пришла, план спустили: вырубить сады, сажать капусту!— Г.Г.), был не просто колхозный сад, он принадлежал еще отцу Бике-арвад (покойная мать Саиды, Рамазана и Хабиба.— Г.Г.), был землей их дедов и прадедов. Каждую из этих старых черешен Бике-арвад называла по имени, знала, какой сколько лет, знала нрав (!) каждой. Вот та, например, с двумя обломанными большими ветвями — ровесница ее сестре Малейке, что без времени ушла из жизни, в великом горе оставив своих родителей; черешню так и звали «Малейка», а известна она была тем, что плакала: каждый год, когда сходила ягода, по стволу текли чистые, прозрачные капли... «Серги», «Жемчужная», «Птичий клюв», «Девичьи соски» — каждое дерево имело свое название соответственно виду и форме ягод. И даже запах у каждой был свой!.. Только запах этот в отличие от запаха других фруктов — яблок, груш, абрикосов, персиков (более общезначимых, вездесущих, как массовые фрукты-свиньи и крысы, не столь тут прихотливые и уникальные.— Г.Г.), — державшегося стойко, возникал лишь на заре, под утро, когда еще не проснулись птицы, не пропели первые петухи; запах черешни вдруг наполнял все кругом и также бесследно исчезал» (с. 9) — как лара и пенат сего дома, как дух, божество-тотем здешнего богоугодья Бузбулака. «А в этой деревне, пока стоит мир... в предутренних сумерках всегда будет пахнуть черешней...» (с. 9).

Кстати, набор имен черешен характерен для азербайджанского Логоса. Что здесь значимо, в чести? Драгоценные камни — ну, это общеисламско: там и «Материя» — философское понятие — от корнеслова, означающего «драгоценный камень». Но вот уже — свое: «Птичий клюв» — как летучая скважина на будущую нефть, прообраз помпы сосущей; и важно, что в воздухе, птицею летает, неуловимо, нецапаемо снизу, землей и дорогой, им неподвластно, значит (хотя, вырубив сад по разнарядке,— корм птицам уничтожили, и до них так дотягиваются шайтановы щупальцы).

И вот «Девичьи соски», что «Девичью башню» (Гыз-галасы) в Баку напоминают сразу. Но сосцы — для кормления, плодоношения-рождания, и это первейшая забота и дума местного космоса: пристроить лоно к делу. «Среди одноклассниц Саиды не было ни одной незамужней» (с. 7).

И весь сюжет повести «Белое ущелье» на эту тему-рану: Рамазан, старший брат, увез свою сестру Саиду из деревни, сняв ее с десятого класса,— и пристроил в няньки к своей Розе, эмансипированной жене-бакинке, и этак загубил девичий и женский век. Теперь уже ей под тридцать, а она не знала брачной ночи, и вот ей тут ищут жениха; но здешний — Валид — груб, и Саида рада вернуться в город — ибо уже деликатною штучкой стала, мимозою...

«А теперь от городской жизни отрастила такие груди, что платье распирают» (с. 10). И тетка Доста справедливо укоряет Рамазана. «От старухиных справедливых слов сердце сразу упало, опять подобрался страх — одна из примет душевной слабости, обретенной за годы городской жизни» (с. 11).

Город отращивает плоть и страх...

О, тема СТРАХа тут разработана серьезно. Вспомним тот священный ужас встречи с Аллахом, что отмечал Ниязи-культуролог в фундаменте исламского мирочувствия. Но тут страшное — снаружи, тогда как европейско-христианская культура открыла страшное внутри человека, в Психее, так что себя и поддона своего и подсознания человеку более всего бояться надо — более, чем кошмаров и страхолюдий космических.

Саида помнит сказку, рассказалую матерью: «Она и теперь жива, эта сказка, она здесь, под этим небом, под этой луной, как запах черешни, как голос матери, тенью слов ее лежащей на земле. (Как насыщен тут воздух-стихия: все в него уходит, сохраняется, как в засоле и настое вековечном...— Г.Г.). Этим голосом и сказала она тогда Саиде: «Не смотри долго на луну. Луна притянуть может...» (А солнце — нет. Луна, полумесяц тут — сакральнее.— Г.Г.).

«Саида зажмурилась. Ей показалось вдруг, что на луне паутина, а из той паутины прямо к ней тянутся тонкие невидимые нити — опутают и утянут. Закрыв глаза, она сразу увидела себя там, в каменистой степи, вдали от деревни, от ярких шатров ее

черешен. И тогда стояла над степью эта вот луна. И под этой луной мать опять говорила ей... — про змей и зловредных насекомых, обитающих тут, в камнях. Самая страшная среди них фаланга — черный большой паучок. Ужалит и сразу — на кладбище. Приползет куда-нибудь на могилу и сидит, ждет, пока ужаленного человека не принесут хоронить,— эта тварь знает силу своего яда. Саида, объятая ужасом, боялась взглянуть под ноги, смотрела вверх, на луну, и ей казалось, что там, как раз посреди луны сидит огромный паук» (с. 6). Как «тот свет» в понятии достоевского Свидригайлова: ничего там нет, а только сидит один паук... Паук-Фаланга — как Шайтан, один из его обликов. Ему антипод, его клешням,— живоносная арбузно-дынная плеть, солнечно-водная, тогда как Паук недаром сопряжен с Луной. Холодное страшило, как и на картинках Мирджавадова: клешни и пасти шайтано-фаланг...

И когда некрасивая девушка из класса Саиды Мансура, по прозвищу Сорока, была уловлена в сухом арыке с тремя парнями,— «ужас, словно плотный туман, окутал деревню; казалось, листья на ветках недвижны не от духоты — от страха, страх был растворен в воде источников, и пища, готовленная из этой воды — даже на вкус! — отдавала в тот вечер страхом» (с. 7). Такая вода — антипод ОГНЕВОДЫ солнечной, черноводье — и не как Нефть ли? Вода фаланги черной...

Да-да, что-то картина антимира, что привиделась мальчику Мехти как ущелье за хребтом ихнего, Белого,— очень смахивает на пейзаж города = ущелья меж небоскребов; серо-лунный там колорит:

«Ущелье, что привиделось в ту ночь Мехти, было глубоко, как бездонный колодец. У подножия мертвенно-серых гор, покрытых колючкой и иссохшей от зноя травой, пиками вершин своих вонзившихся в небо, внизу, далеко внизу вилась чуть заметная речка. Вода в ней не текла, стояла неподвижно (как в городе — не река, а вода, и все замерло и стоит.— Г.Г.)... плотная, густая, недвижная, похожая на смолу» (= нефть! ей-богу, она!— Г.Г.) — (с. 33).

Антимир — оцепенение, статика, и сероватый воздух — как дыхание гадких душ. «То гадкое, темное, что будет сказано (под-

ростками.— Г.Г.) о плечах и спине Лейли, о ее красивых голых ногах, пока что, чернея, витало в пропыленном душном воздухе, а может, эти слова, которые неизбежно будут произнесены, и делали все вокруг таким серым и душным» (с. 32).

«И самой дороги не стало — вдаль тянулось что-то тусклое, неживое. Такая дорога никуда не вела. И, самое странное, с дорогой, ведущей обратно к дому, произошло то же самое — идти было некуда» (с. 33).

И это — реальной состояния, а не миражи и кажимости. Человек впадает в них, в страх,— и тогда выпал из жизни, был в смерти.

«Отрезок времени, никак не отразившийся в его памяти, был смертью, настоящей смертью, и лишь спустя время он родился заново» (с. 33).

Опять — дискретность существования, а не континуум-непрерывность. Жизнь состоит из атомов жизни (когда ты свободен и солнечен, огневоден, напирающ, как буйная Кура) и оцепенений от страха, атомов смерти. Так это, похоже, раскладывает азербайджанский Психо-Логос.

И потому Гнев есть ценность. «Он (Рамазан.— Г.Г.) не хотел, чтобы гнев этот остывал; гнев и ярость нужны были ему — в них была сила и действие... И еще он надеялся, что, может быть, гнев, охвативший его, разгонит привычный страх, засевший в душе с того дождливого лета. Но страх сидел глубоко, очень глубоко...» (с. 29–30).

Гнев — как буйная Кура: поток, движение, живая дорога, арык, баштан, солнечный сок, антисмола вязкая, цепенящая...

Цвет смерти — серый, сероватая пыль. Цвет юношеской влюбленности — сиреневый. Но «может быть, всякий раз, когда рождалась еще одна совершенно новая краска, мир должен был окунаться серой пылью?» (с. 31).

Ковровый Логос азербайджанца и звуки — как разноцветные видит-слышит. А алфавит — как радуга предстает. В повести любопытные приравнивания звуков к краскам: «А» — черный, «Зе» — красный, «Звук «П» — серий цивет,— по-русски ответил Мехти... Оказалось, что даже у звуков одинакового цвета множество всяких оттенков. Вот, например, «Ш» и «Ч» — оба желтого цвета, но у «Ш» желтизна, как у цветущей вербы

или кизила (еще и на вкус — звук! — Г.Г.), а «Ч» — как солнечные лучи... Выяснилось также, что эта солнечная желтизна есть в каждом звонком согласном; «З» и «Ж» — красные, но отдают в желтизну...» (с. 13–14).

Это мне было крайне интересно читать, потому что у меня есть своя теория звуков языка — «Фонетика стихий», где я классифицирую звуки по 4-м стихиям: земля, вода, воздух, огонь. И это — подход из более абстрактного, бесцветного космоса и сознания, где я и обретаюсь. А вот тут спектр цветов (а не стихий) — на правах первоэлементов!

И важна равномерная прослоенность гласных и согласных в здешнем языке. «Мехти только сейчас обнаружил, что от соединения гласного с согласным может возникнуть совсем новый цвет. И еще обнаружил, что если гласные и согласные не соединять, может — не больше, не меньше! — нарушиться равновесие в мире: если в слове будут только согласные, солнце сожжет все живое (верно: согласные = огнеземные, а гласные = водо-воздух, в моей транскрипции стихий. — Г.Г.), если же слова будут состоять из одних гласных, наоборот, наступит холод, день и ночь будут литься дожди (сходная у нас интуиция! — Г.Г.); не станут расpusкаться цветы, не будут петь птицы...» (с. 14).

Поазербайджанивание русских слов как раз идет по линии вставления гласных туда, где у русских скопление согласных: только что был «серий цИвет». Или «гЫражИданка» и т. д.

В русском Космосе, где господствуют Мать-сыра земля и Светер, то есть холодные стихии, стык согласных не опасен, напротив, желателен, греет ибо, в нем избыток солнечности: «искусство»... А в азербайджанском Космосе огнепоклонников, где в самом бытии огня избыточно опасно, жара, — там надо орошать слово: где стык согласных — проводить арык = вставить гласный звук...

О, тут все сопряжены друг с другом: и Логос языка, и Космос, его стиль и склад. И порядок во Логосе — поддерживает и Природу в ладе и ряде. И обратно: когда залетели чужие слова и звуки: циркуляры и разнарядки в здешний Логос, дух, язык, — тогда и поражения и изувечения в Природе и экономике народной начались: перестали люди себе и уму древнему своему верить, а склонились перед приказами...

И в этом — грех Рамазана: сдрейфил с народом своим в тюрьму пойти, сбежал в город — и там душу свою загубил, впустил в нее страх.

Тут даже такое рассуждение есть, что тюрьма — страшнее войны, ибо на последней ты в массе, а в тюрьме — один...

И то роковое лето дождей, что залили пшеницу, так что пришлось раздать колхозное поле — по домам, за что и сели потом председатель и бригадиры,— недаром с северной стихией холодного дождя сопряжено.

Есть в повести Акрама Айлисли рассуждение, что нам прямую даёт почувствовать особенность Азербайджанского Логоса, способа мыслить и оценивать. Рамазан, изменивший любимому делу (баштанщика) и родному селу и ставший нефтяным инженером, к чему душа не лежит, чувствует, что жизнь его скучна, время тянется и тянется. А вот когда делал любимое дело: растил растения — времени не замечал. И вот у него в сознании происходит уравнение трех вещей: Страх, Время, Пустота — и возникает теория про «удельный вес пустоты».

Заметим пока, что «страх пустоты», *horror vacui* — известное в латинской и романской культуре явление и психическое состояние (Декарт, например). Ее, пустоты, не боятся в германском и русском Космо-Психо-Логосах, не говоря уж о Востоке: Индия, Япония, «дзэн», где Пустота — место-и-время-пребывания Абсолюта, атмана-Брахмана и т. д. Еще и культуролог Ниязи отмечал в азербайджанце и вообще в человеке ислама страх остаться наедине с пустотой — и стремление ее заполнить. Ковер и есть, вызван потребностью такого заполнения.

«В мыслях своих Рамазан рыл арыки, выхаживал арбузы и дыни. Он как бы пытался тем самым обмануть время, сбить его с толку. И, как ни удивительно, ему это удавалось, Вода, что текла из речки в арык, словно струилась сквозь него (вода = полнота! — Г.Г.). Каждый цветок, каждая травинка, которую он мысленно вырастил, прибавляла на земле света, рождала совсем новые, небывалые краски. Тот баштан — с его солнцем,— подсолнухами и плетьми арбузов и дынь, заполнял зияющую пустоту в душе Рамазана. Оказывается, УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВРЕМЕНИ, его содержимое соответствуют УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ ПУСТОТЫ, образованной в человеке... «Удельный вес пуст-

тоты измеряется количеством недвижно прошедшего времени,— Рамазан попытался уточнить свою мысль, но уточнение не удовлетворяло его. Недвижно... Недвижно прошедшее время... Нет, время не может проходить недвижно, ибо оно само движение...» И, приходя к уразумению, что «время» связано лишь с человеком, его сознанием, формулирует, наконец: «УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПУСТОТЫ ИЗМЕРЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ СИЛЫ И ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧЕННЫМ НА ДЕЛО, КОТОРОЕ НЕ ПОДУШЕ...» (с. 26–27, подчеркнуто мною) — т. е. впустую...

Счастье же — не замечать тока времени. «В мире по-прежнему был еще один, особый мир: его воздух, свет, цвета по-прежнему с легкостью заполняли пустоту в душе Рамазана» (с. 27). И это — родной космос, очарование его таинства.

Это тоже важная категория в философии повести нашей.

«С каждым из ушедших деревьев (спиленных.— Г.Г.) словно бы навсегда исчезала с лица земли частица великого таинства, и, с ужасом глядя на заброшенные сады, Рамазан начинал, кажется, понимать, чего теперь не хватает здесь человеку: не хватало этого таинства. Те, кто когда-то сажал эти деревья, наверняка понимали, что значит земля, лишенная своей тайны (как женщина без покрова, как человечество Истории без Культуры, что есть тоже покров.— Г.Г.), понимали, что не хлебом единым жив человек, что земля влечет его не только плодами своими. Поколение за поколением люди трудились до кровяных мозолей, заботясь о том, чтобы сохранить таинство мироздания. В созидании великого этого таинства каждый действовал в одиночку (как в одиночку любятся двое, зачиняя чадо, и в одиночку родит мать, и мыслится — мысль, и художник творит образ, и композитор — песнь.— Г.Г.), а разрушали его всем скопом (толпы и массы. И толпяное дело, как правило,— разрушительное: «сила есть — ума не надо!» недаром сказано.— Г.Г.). С исчезновением дерева с лица земли навсегда исчезала и тень под ним... Одно дело, когда, впервые открыв глаза, человек видит, как сажают деревья, и совсем другое дело, когда впервые открыв глаза, он видит, как дерево рубят. Это будут совершенно разные люди — и душой и, если хотите, телом» (с. 40), — размышляет Рамазан о воспитании нового поколения...

Признание ТАИНСТВА как ценности (а не только Истины и Разума — то есть того, что нам понятно и понимаемо) — важнейший ход во Логосе: в нем — смирение человека и благоговение и чуянье Высшего, и непосягательство на то, чего он не понимает, в отличие от надменного западноевропейского Рассудка, что со своим узким произволением посягнул изувечить Природу — своим трудом и индустрией, к примеру, и чего плоды мы пожинаем: не ведая последствий — ринулся делать, преобразовывать! Шибко и больно умный — так, что больно и миру, и природе стало от его ума такого...

И вот азербайджанский мыслитель-писатель изображает печальные плоды этой надменности и руководства со стороны и «сверху», тогда как надо быть при земле, в близкодействии, и чуять запах и дыхание и волнение Таинства всей целокупности национального Космо-Психо-Логоса, что, по крайней мере, — в воздухе тут облаком содергится, вечно пребывает, не изгоняется, — как запах убитых черешен стоит над Бузбулаком...

19.VI.87. Прошло сто лет — и что ж осталось
 От гордых, сильных сих мужей,
 Столь полных волею страстей?

— хочется спросить, сравнивая картину Азербайджанского Космоса в «Буйной Куре» Исмаила Шихлы с тем, как это же предстает в «Белом ущелье» Акрама Айлисли.

Да, помягчили нравы: никто не убивает самосудом, беря на себя право отвечать перед Абсолютом за другого человека, за женщину. Женщины — сами с усами, с личностью, правомочием и голосом: вон как городская девчонка Лейла врезала пощечину деревенскому хулигану! В людях явилась рефлексия: внутрь себя смотрит Рамазан и себя винит, а не другого человека или даже обстоятельства эпохи. Совесть развилась — за счет Чести, которая более — внешний регулятор в нравственности. И Красота: откочевала из внешнего мира (Природа — изувечена, сады срезаны, ущелье — серое надвигается на белое) во внутренний мир, а душевность людей, что стала сложной и тонкой и многогранной — во всех персонажах.

В них, правда, червоточина: и в Рамазане, и в Саиде, что так и обречена засохнуть, не родивши, прекрасная женщина с благоуханно-пригодным лоном... Но ведь — мужчины нет на нее,

перевелся достойный. И вместо некогда сильного эпического Джахандар-аги, тот же мощный сексуальный напор и воля — у воровского начальника Валида, в ком лютпенизирован сбитый с панталыку азербайджанец. И некому его, такого унять, ибо нет уже глав родов, старейшин и авторитетов личных.

И разлитая некогда снаружи красота гармонической жизни человека в единстве с природой ушла в сказку, легенду, в то ТА-ИНСТВО, что, как невидимый град Китеjh, есть, питает еще, но, оскорбленное тупостью и жестокостью людей, поднялось как бы в воздух, оторвалось от зацепления с землей и видимой реальностью — и внятно лишь для имеющего уши слышать и разуметь, а также и ноздри — вдыхать, и вкус — пить: «То ли в воздухе, то ли в нем (Рамазане.— Г.Г.) самое явно недоставало ясности. Тоска по этой непостижимой ясности давно уже жила в Рамазане. Там, в Баку казалось, что ясность эту он найдет тут, в Бузбулаке. Но и в прозрачном бузбулакском небе не было сейчас ясности, по которой он так истосковался... И потом эти цикады... Завели они свою невыносимую трескотню... И ему казалось, что, не будь этого неумолчного стрекота, он, может быть, и достиг бы желанной ясности, и не просто достиг — набрал бы ее полные пригоршни и пил бы, пил, как изжаждавшийся пьет родниковую воду...» (с. 25).

Тут прямо пьют национальную субстанцию, вдыхают Дух — такие, напрямки, в мироощущении Айлисли и его персонажей, контакты и ходы и диалоги с Бытием. И «когда во дворе у Шахсувара засохла верба» (как засохла прекрасная дева Сеида, не став женщиной), она «отдала ослепительную желтизну своей жизни в жертву бузбулакскому солнцу» (с. 14–15) — вот так союзят наши существа милые со сверхбожествами бытия, и переливаются друг во друга — минуя уже как бы устроения и учреждения межлюдские, общества. Ибо Социум повоеван — цикадами: это они привольно себя чувствуют тут и лопочут на собраниях и громкоговорителями трезвонят пустые слова, из-за трескотни которых и не услышать Тайнства и Истины и реальности. И потому омерзение охватывает человека от этого уровня существования...

Однако, все равно радость излучается из повести: всеприсутствие этой разлитой и в воздухе, и в душах благой субстанции

Азербайджанства, кормящей,— так прекрасно и могуче, что верится: регенерируется тут гармоническое бытие, пережив болезнь, и в новом синтезе положительные ценности недавнего развития (а именно: чувство личности, совесть, мягкость, рефлексия и внутренняя жизнь души) срастутся с благой народностью и природой, с их обычаями и красотой и плодородием.

Но — ответа нет, а лишь — вопрошение...

«Тетя, пойдем в деревья!— Лейла сказала это по-азербайджански. Хотела сказать: «Пойдем в сад»,— Саида часто рассказывала ей о здешних садах, о деревьях, которые там растут» (с. 12).

Вот символическая ошибка: городская девочка, воспитанная уже в русской школе, развившаяся в личность, не видит единства САДа, а набор там деревьев-индивидуумов-атомов-личностей. Сельский же мир — живой организм, и его логика делает акцент не на личности, а на РОДе. САД = РОД, и важно племя и семя продлить-сохранить (как и отец Рамазана, баштанщик гениальный, прежде всего заботу имел собрать семена: «Билалкиши будто лишь для того растил все эти арбузы и дыни, чтоб продлить их жизнь, не пресекся их род» — с. 18). А одиночная личность (как Саида и Рамазан, не родившие или мало) — это дефект и пустоцвет, с точки зрения Бузбулака, как микрокосмос азербайджанского. Между тем они обрели слух на ТАИНСТВО и умеют пить Ясность — становятся пифиями и пророками, близкими к национальной субстанции...

Да, так дервиши и «меджнун» слышит зовы Бытия и есть избранник Абсолюта, и скучны ему здешние песни земли. Таков и мальчик поэтический Мехти...

Да ведь Лейли и Меджнун — тоже не послужили РОДу, ушли в «пустоцвет» бесплодный. Зато какое питание от них получил Дух народы!..

И наша Саида — как Лейли: раз не любимому — так никому! Высокое взыскание!.. А тоска и неудовлетворенность Рамазана, снедаемого жаждой Истины, понять, что же такое случилось? — братска взысканию Меджнуна-дервиша...

Так неожиданно узнаются эти субстанциальные для Азербайджанства архетипы — и в персонажах современной повести...

Только тогда, некогда, они мыслились как Богом отмеченные, были изъяты из быта, ненормальные: теперь же таковые, свободно-личностные экземпляры рода людского,— в буднях существования прорастают. И это — прогресс... Духовности. Не Жизненности. Если на языке стихий, то тут Водо-Воздух сменяет Огне-Воду.

И это — ветер с Севера.

Азербайджан и Россия

И тут мне — никуда не денешься! — придется на сюжет выходить, который я доселе обходил: Азербайджан и Россия, диалектика этой исторической встречи. И способнее всего нам будет об этом думать, взяв в фокус ума фигуру Мирзы Фатали Ахундова и роман Чингиза Гусейнова «Фатальный Фатали».

Приступая к их анализу, припоминаю Архимедово: «Дайте мне точку опоры — и я переверну мир!» И — точку зрения. А для этого — особое местоположение. В нем оказался Ахундов, волею судеб вынесенный вне родного Азербайджанского Космоса и проживший свой трудовой и творческий век в Тифлисе, в канцелярии Императорского Наместника на Кавказе. А Гусейнов — бери выше и позже и севернее: уже в Москве, референтом по Азербайджанской культуре при Союзе писателей СССР. Большой обзор-обстрел открывается пытливому уму и сознанию: и свое видно — золотое детство и предания и юношеские иллюзии, и прозаическая реальность как народно-домашнего, так и российского существования. Изнутри понимает — и тех, и других, и видит механизмы, какими общество управляет, и человек и психика его манипулируется и заводится: какими системами ценностей и ориентиров; а относительно друг друга коли их рассмотреть, открывается, какие они все частичные, узкие, далекие от подлинности и сути!..

И можно было бы впасть в холодный скептицизм и цинизм и только высмеивать и то, и другое! Так нет же: живая боль и любовь и понимание: что мечты, надежды, иллюзии, хоть и терпят крах, но образуют богатство внутренней жизни души, питание

духа и личности; и если удалось их отлить в Слово и Мысль — недаром, значит, проболели предки и страдали мы, потомки... И до умопомрачительности сходны эти прежние и нынешние страдания людей, тружеников Духа — особенно. Это и удруча-ет — и утешает, и зовет к терпению и мужеству.

«Фатальный Фатали» — это роман-исповедь: Ахундов — устами Гусейнова. Как удалось такое чудо уподобления? Будто одновременно обе эпохи описываются: и век Девятнадцатый, и век Двадцатый; сюжеты там — до того на наши похожие, нами испытанные в истории и культуре! И в то же время скрупулезно-достоверно, архивно-фактически пишет автор жизнь Фатали на фоне истории России, Востока и Европы XIX века. Значит, некий ИНВАРИАНТ тут находится, отшелушивается: свободная творческая личность — в промежутке: меж молотом и наковаль-ней политически спорящих миров. Желает она блага и тому, и другому, но ставится непрерывно в ситуации выбора чего-то од-ного, что ей нелепо; выглядит «предателем» с любой стороны, а в итоге и не понят, и неудачник... Ибо нет для него «своих» и тех, кому он может сказать «мы». Даже в семье своей не понят. Из-гой. Дервиш, Меджнун Духа.

Да, только с такими же одиноко-духовными, как он: с Бесту-жевым, с Лермонтовым, с Бакихановым, с Чавчавадзе и Абовя-ном — «мы» может быть Ахундовым употреблено. Но не с гра-фом Воронцовым, у кого он на службе, и не с Шамилем, чьей борьбе и трагедии он сочувствовать может, но не благословлять... А «свои», азербайджанцы, кто для него «мы»? Нухинские или Шемахинские беки? Или забитые, суеверные крестьяне?

Взгляд на игры истории

20.VI.87. О, как сладостно в наш путаный идеями век при-никнуть к ясному сознанию просветителя Фатали Ахундова! Как мирно однозначна раскладка ценностей: на азербайджанской стороне, на исламской — отсталые обычаи и суеверия; то, что идет из Европы — просвещение, наука, языки — прекрасно-по-лезно; заседатель и казаки с русского севера — приносят здра-вой закон и порядок, защищают личность и любовь от патриар-

хально-насильственных браков; ну а зона чудес — Юг, Иран: оттуда и звездочеты, и колдуны, и дервиши, и завод веселых всяких небывальщин в его комедиях.

Из стыка разных миров и систем их ценностей высекаются искры смеха: всевидящий эти миры автор, как Бог, сталкивает их резоны (что бараны) лбами и возносит нас, зрителей, на Олимп, в положение всеведущих богов, где, смеясь и над собою, мы, на время спектакля вынесенные из себя на небо, можем не страдать и не приводиться в сознание: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!», итог чего — отрезвление и «О Боже, как грустна наша Россия!» (как Пушкин, смеясь, а потом грустнея, причтении «Мертвых душ»).

Да, грусть-тоска возникает из увязи мира сказки, театра, метафизического,— с текущей реальностью: когда требуют совмещения их, конгруэнтности, а не допускают им быть кантово разделенными друг от друга и своеоправными в своей области, как Богу — Богово, Кесарю — Кесарево = будням — будничное, театрну-празднику — чудесное, мысли — метафизическое... И все это — равноправные измерения и подлинные реальности, а не так, чтобы одна уничтожала другие, одна была — подлинной (наша, рассудочная, видимая, историческая), как нас тянет ту-поглазо понимать, прочее отвергая как выдумки и иллюзии...

На этот крючок попался отчасти и Чингиз Гусейнов в своем прозаико-историческом романе о Фатали, отчего так уныло-грустно его читать, и брызжущее веселье художественного мира Ахундова — остается за скобками, не передается нам. А почему? А потому, что об осуществлении думает маниакально наш современный писатель, о реализации и внедрении в жизнь текущую. А раз ни поставить комедий, ни издать-напечатать многие вещи Фатали не удалось, а жить — мелким приниженным клерком при Наместнике Кавказа (вот она — будто абсолютная реальность и проза!), то и вся его жизнь — зрелище страданий, а нам — грусть-тоска и уныние, и безнадега...

Правда, и Гусейнов, располагаясь с точкой зрения в между-мире (меж Россией и Азербайджаном), тоже в зоне свободы оказывается и приносит оттуда нам раскрепощающее и глаза раскрывающее художественное творение, только элегическое, тогда как Фатали Ахундов — комические...

Но вникнем попристальнее в художественные идеи Фатали. Они ведь всеобщего значения: в них вклад азербайджанства в Логос-Ум мировой цивилизации.

Вот комедия «Повесть о мусье Жордане, ученом ботанике, и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне». Завязка — приезд в Карабах веково-древесного европейского ученого из Парижа: дотянулся им луч Просвещения — и сразу притянул умного юношу. И вот он хочет ехать в Париж — узнать мир и науки.

Но не тут то было: он намечен к женитьбе на дочери Гатамхан-аги, владетеля кочевья; та его любит, и они ищут с матерью, как бы предотвратить отъезд жениха в ужасный Париж, где женщины и девушки ходят с открытыми лицами — вот что они поняли про Европу!

На помощь им — прибывший из потустороннего Азербайджана (что по ту сторону Аракса — в Иране, зоне сакральной, чудес и сказок) знаменитый колдун — мошенник, конечно, на просветительский взгляд. И он за большую сумму денег совершаает на их глазах операцию по разрушению Парижа — выложив его из дощечек. В этот миг стук в дверь — и вопль мусье Жордана: «Париж разрушен! Тюильри разорен! Франция погибла!» — оказывается, пришло известие о Французской революции 1848 года, и он срочно и один, без юного Шахбаз-бека, отправляется в Европу...

Чудно-веселое представление, изобилующее комическими эффектами. Чего стоит, например, соображение мудрого Гатамхан-аги, что он, и не езди в Париж, все про него понимает: «Для меня совершенно явно, что, каковы бы ни были наши обычаи и нравы, у парижан все наоборот. Например, мы красим руки хной, а французы нет; мы бреем головы, а они отпускают волосы; мы сидим дома в шапках, а они с непокрытой головой; мы едим рукой — они ложкой; мы принимаем подношения открыто — они принимают их тайком (вот и критика Европы тут же здравомысленная.— Г.Г.); мы верим всему, а они ничему не верят; у нас в обычай иметь много жен, а в Париже — много мужей...»⁹⁹.

Все весело! Идет Игра Бытия — со своими односторонностями, что воплощены в те или иные сложившиеся миры, традиции,

⁹⁹ Ахундов Мирза Фатали. Избранное. М., ГИХЛ, 1956. С. 90.

с их узколобо-линейной логикой. В том числе и европейский ботаник, ученый педант, добродушно высмеивается — с его амбициями поправить Линнея и перенести травку из шестого класса — в девятый..

Раскованное воображение! И вот оно подвиглось разыграть мысленный эксперимент — с преобразованием Общества! В повести «Обманутые звезды» сказочная социальная утопия разворачивается. Звездочет извещает Шаха Аббаса, что грядет стече-ние звезд, которое грозит ему гибелью. Как избежать? Отречься на время от престола и посадить на эти 15 дней на трон какого-нибудь никудышного... И вот седельник Юсиф становится шахом и проводит здравые реформы, как просвещенный монарх: «По распоряжению шаха были сокращены расходы двора... Затем он исключил из ведения ученых богословов судебные дела... Отменена была выдача пятой части дохода на содержание духовенства и потомков пророка — сеидов... Были также отменены заклады и залоги...» (с. 49–51).

Но народу скучно стало жить: «Жители Кавказа уже не видели изрубленных на части и висящих у городских ворот человеческих тел... Начали спорить, действительно ли он (новый шах.— Г.Г.) так уж добр и милостив, или это объясняется отсутствием у него воли и слабостью характера?..» (с. 52–53). И бывшие властители, отстраненные от постов, подговорили толпу — и поднялся мятеж — и свергнут был благой шах...

Но сама презумпция социальной перемены и игра ума с этими «святынями» — какой воз-Дух накачивается в наши души! Приволье Разума оказывается нашим царством — неотъемлемым! И оно — реальность, а тупорылости наших линейных порядков — мнимости, хоть и утверждают себя весомостями бичей и казней...

И начинаешь постигать ценность геополитического положения Азербайджана, как перекрестка между Россией и Ираном-Персией (линия: Север-Юг) и между Ираном и Тураном (персами и тюрками), и вообще между Востоком — и Европой. Вот он какое свободное зрение порождает на все в своих чадах! Только да поверят себе и воспользуются этим им даром Бытия!

И подобно тому, как Ахундов отстранил нелепости восточно-кавказско-исламских порядков и понятий, через сто лет в

романе о нем Гусейнов устремил взгляд на Север и глазами азербайджанца представил механизм российской империи, этой «тюрьмы народов», — и жизнь заключенного в ней азербайджанского просветителя.

И когда таким стуком бросается вам пред очи буффонада мировой и частной истории (как это в «Обманутых звездах» Ахундова или в «Фатальном Фатали» Гусейнова), мы получаем импульс превозможения и преодоления: возносимся над ограниченностями и нынешних своих понятий и ценностей — в некое пространство духовной свободы.

Но причем здесь Азербайджанство? Не есть ли это всеобщее воздействие искусства, высокой мысли?

Верно! Так! Но каждый раз нас возносит в это измерение Бытия особой мортирой-ракетой и радугой. А в них — букет национального Космо-Психо-Логоса. Так что и в Универсуме мы пуповинны: повинно-благодарны Родимости, откуда мы вышли и чьим вином-соком упоены и духом крепким вознесены.

В этом букете — и Низами, и Ковер, и Мугам, и Аракс... Да, и его ниточка, нелепо пограничная, членораздельная, многозначаща в слагаемых Азербайджанского Космоса: недаром и Фатали усечен в родне — Араксом, и в «Буйной Куре» — контрабанда за Аракс, и даже у современного Айлисли: тетушка Доста замужем за снующим туда-сюда. Ориентировка — и туда. Координата также дум...

...Неужто кончил? Азербайджанский Космос — закруглил (на пока)? Похоже, так; и даже репризно вышло: начал с Фатали Ахундова — им и завершил.

БЕЛЫЙ АРАРАТ И ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

Армения

Еду в Армению — с ТОСКОЙ по РОССИИ
(Полупутешествие в октябре 1973 года)

11.IX.90. Вспоминаю-восстанавливая ситуацию свою, контекст жизни, в котором затеялось тогдашнее путешествие в Армению. Меня выталкивали отгулять отпуск. А уж конец сентября. Куда податься? Где еще тепло? И — идея, эврика! Сколько раз по горному Кавказу ходил, в Грузии был, а вот в Закавказье — не был. Отчего б в Армению не спутешествовать? Ведь за два года перед тем в ходе своих описаний национальных образов мира и посмотрев несколько грузинских и армянских фильмов, я дал эскиз тамошних миропониманий⁶⁰, и читавшие говорили: правдоподобно угадал! Но то — заочно. А что бы не съездить-посмотреть воочию?..

И вот — рюкзак, мешок, билет — еду!

Однако, чуть отъехал — засосало: душа бумерангом потянулась к домашним. Ведь дома — живая семья, молодая жена, дочь-первоклашка и новорожденный младенец. Любовь и умиление! А «ты куда, Одиссей, от жены, от детей?..».

Но, с другой стороны, понимал я, что надо на некоторое время изъять себя из умственной работы, тогда во мне страшно активной. Ведь принялся за азартное дело: мост мостить (или рыть туннель?) из гуманитарности в естествознание, и с этой целью

⁶⁰ См. текст «Грозь и Гранат». — Литературная Грузия, 1979, № 7.

год как перевелся из Института мировой литературы в Институт истории естествознания и техники АН, где принял заново изучать математику, физику, химию, биологию... — и открылась мне работа образного мышления в цитадели «точных» наук... Но чтобы не испортить этот труд выдохшимся своим умом, мне надо было просто подержать себя некоторое время вдали от книг и мышления — и всадить себя в тело и физическую жизнь.

Так что ехал-то я в Армению, но с душой и умом, повернутыми вспять. От этого пострадало мое восприятие Армении: плохо смотрел и мало там увидел, ибо глаза были слишком застланы любовью к домашним, а также — и самоанализом. Еще и в том дело, что за год перед этим, в ноябре 1972 года, мы с семьей приняли крещение, и во мне, как новообращенном, очень остро было тогда воззрение в себя — Божьими глазами. И на это тоже уходили переживания, мысли, слова, что я наносил на бумагу, находясь тот месяц в Армении.

Итак, я описал тот субъект, что смотрел тогда на Армению как объект. Не было во мне охотничье-азартного вглядывания в новый космос с целью познания, как это было при специально поставленной себе таковой цели во время потом поездок в Эстонию, Грузию, Казахстан и Азербайджан... Но все же кое-что я приметил и некоторое понимание добыл (хотя и перекошенное в поле вышеописанной оптики). Вот почему все-таки даю заметки из этого «ПОЛУпутешествия» в Армению, хотя заранее прошу учитывать мою слишком активную тогда субъективность, занятость собой, что и мешало спокойному вглядыванию наружу, на предметы вокруг.

Однако же выудить просто куски, относящиеся к Армении, из всего дневника — невозможно и бессмысленно: непонятно и бессвязно будет. Да и почему личность мыслящего человека почтается у нас таким уж не важным и не интересным сюжетом — в сравнении с тем, о чем он мыслит? Как раз в этой моей «исповеди» очевидно, что всякое ЧТО (видится) есть функция от КТО (видит), а всякое описание есть одновременно и самоописание, следствие от настроения внимавшего и мыслящего, от его миро-и-само-понимания. Всякий портрет есть всегда — и автопортрет.

В вагоне

25.IX.73. «Ну, запьяняствуем свое!» — говорю себе, кладя лист на вагонный столик в поезде «Москва-Батуми». Отправится в 22.05... Хотя нет, не буду: разговоры прекрасны. Народ простой, едет на курорты (колхозник...).

— Вы, наверное, оттуда? — мне говорят. Похож я на кавказца: чернавый. Приятен этот некоторый маскарад.

26.IX.73. Утренняя суетня в вагоне: мытьевая, пищевая. «Пожалуйста, желающие — пиво, колбаса!» Все вонзается в существо — каждый звук, всякий вид. Ибо — раскрылся бытию! Еду на выход — в бытие прямо. Решил не брать ничего об(в)язывающего старым: книг... Лишь взял про Армению — туда ведь еду.

Но и не в Армению: я еду в тот космос, где налипла некая популяция и поименовалась «Арменией» и стянула космос местный под себя. А я, а мне — вытянуть его из-под названий (благо их не знаю), слов — и прямо восчувствовать.

Не об(в)язываться и целью — познать Армению. Я просто открываюсь бытию — где подальше от дома и понепривычнее. Сначала — на союз с морем, потом — с горами и небом.

А пока — на союз с едой, дорогой, с глазением в окно, с соседями-попутчиками...

Правда, не удержался, взял «Алгебру и начала анализа» для 9 класса: вдруг, мол, по делу своему нынешнему затоскую⁶¹? Но, похоже, что наоборот: будет играть роль переносного пугала, чумы, что всегда со мной, и будет сильнее подталкивать от себя на распахивание бытию — жаднее.

Если б еще и вещей не брал лишних — на приличное одевание. Но — надо быть незаметным...

В Гаграх

27.IX.73. 5 вечера. Отзвучивает прежнее, удаляется, — и властно прибирает тебя в полон нега — моря и неба. Вот я в шезлон-

⁶¹ Я тогда писал гуманитарный комментарий к наукам о природе.— 26.VIII.90.

ге на пляже в заливе Гагры против солнца — и все во мне разглашается, отходит и благообразуется.

Господи! Пишу тебе донос блаженства.
А теперь — с Богом! — поплывем!..

Гагры. 30.IX.73

Здравствуй, дорогой Светик-детик,
женушка моя любимая!

Вот уже который день? — четвертый — я в Гаграх и, вчувствуюсь в себя, нахожу, что я — уже не я, не сам, а обломок НАС всех, а сам по себе — невесом. Вот иду на пляж — и распеваю:

Сла-а-а-вные кушки!
Не-е-е-жные бубушки!..⁶²

— как заклинание, и включаю себя в ваш (девочек) — наш спасительный мне жизненный круг. Очень умиляюсь, деток видя, и думаю, что нам всем вместе надо на следующий год к морю.

История моей остановки в Гаграх такова. В поезде — в купе с простыми людьми, из-под Ряжска и Мурманска, ехавшими по профсоюзным путевкам бесплатно отдохнуть в странные на русский слух Гудауты и Кобулети, — я заколебался: связываться ли мне с друзьями-абхазцами? Ведь главное сначала — море, расслабиться. И вспомнил, что в Гаграх есть дом творчества писателей, куда, может, приткнуться удастся, — и сошел.

В доме творчества директор предложил телеграфировать в Москву насчет разрешения на курсовку на несколько дней; тогда я понял, что ради сомнительного удовольствия жрать за одним столом с радянскими письменниками затевать такую каникуль не стоит, попросил у него лишь пропуск на пляж их (он тут же дал), пошел снял коечку на веранде за 1 руб., на горном склоне, оставил вещи, продлил на вокзале билет на Ереван до 6 октября — и пошел на пляж.

Море — парное, жара, в шортах, отмариваюсь. О кликнул меня человек — состудент моих лет по Университету, с женой,

⁶² Наше семейное песнопение-лепет-умиление, адресованное младенцу годовалому, младшей дочери. — 26.VIII.90.

тоже дикарь; и вот я с ними провожу время на пляже, а вчера даже ездили на оз. Рицу (тут близко).

Доедаю запасы, трачу мало, жмусь. Раз ходил в кино — «Совсем пропавший» — наш про Гека Финна. Ничего, весело.

Вчера гуляли в парке.

Отсыпаюсь — с 10 до 7 — на веранде над морем на склоне горном. Вид!..

Совестно отдыхать одному. Все перед глазами вид тебя, замореной, после той ночи, когда я из деревни приехал, а мать задержала рассказами, тебе же наутро на работу, а я, как зверь, набросился... Надо тебе будет при первой же возможности тоже уехать куда-нибудь расслабиться, отоспаться. Все равно — как видишь по мне — связь внутренняя между нами только очищается, а внешние ярма и тяжи, которыми друг друга препоясываем, мучая, — к общему благу улетучиваются.

Бабы — совершенно трансцендентные мне существа. И не зырю даже. Тоже новое чувство: легко и непринужденно гулять по курорту, связавшись с морем, небом, деревьями диковинными, а не впрягаясь в долг и обязательство искать бабу...

Ем мало. Всего лишь стакан вина выпил — вчера на Рице. Трезв и легок: отдаюсь неге космоса — воздуха и моря, а не изнутри, искусственно...

Сейчас вот сижу за столиком над морем в беседке пляжа дома «твурчести». Кончился стержень — сбежал в шортах в киоск рядом, купил, еще и конверт, и «Крокодил», и газетку, и книжечку про Гагры; вернулся — дописываю. Написав, пойду к этим знакомым на турбазов пляж. Сейчас без четверти 10 московского (11 — местного). Уже жарко, можно купаться (море — 20–21°).

Ну, обнимаю и целую всех нас, бедных. Осознаю, что отдыхаю я — представительственно: как наш папка, чтоб был хороши и справным папкой, а не как особы (статья) и индивид...

Маме привет передай и перескажи. Как там Ба-до-ой?⁶³

Напиши мне: Ереван, Главпочтamt, до востребования.

Записулек — не пишу. Нет сил. Это письмо — и то большой умственный труд. (Приложи его уж, кстати, к записулькам — в верхний ящик стола).

⁶³ Внутрисемейное прозвище младенца. — 27.VIII.90.

30.IX.73. (Полночь местного — абхазского — времени).

«Только на Твоих путях, о Господи, благо и правда, радость и легкость!» — вырвалось из души моей, когда вышел на улицу с посмотрения кино «Приваловские миллионы» — и не закурил, чтобы снять напряжение-переживание, а прошелся, подошел к морю, послушал там и утих и взмолился в радости и благодарности, что удержал меня Господь и сейчас вот от малых искушений, как и все дни эти здесь: не пропускаю стаканчика, не закуриваю, не накачиваюсь искусственной шальной радостью изнутри, а отдаюсь благому массажу наружки: массажу космоса — небом и морем; и душа чиста, легка.

Удержи и дальше так!

А то ведь как в городе, в жизни шалой? Очернятся, потом опьяняются; потом пуще очернятся — потом пуще опьяняются. Так идет дело — в погибель.

Так что удерживайся в малых искушениях — и как хорошо-то будет всему и тебе!

Только Бога помнить — всегда лик Его видеть сердцем, на Него компас души наведенным держать.

О, эти юбки! О, эти пьянки! О, гордыни-злобные соблазны! Отжени от меня, Господи!

И берегись быть гостем (как тебе предстоит скоро в Армении)! Гостя други покупают — угождением и — развращением.

Вот ты пьешь на террасе под небом, над морем остаток кислого молока с хлебом — и слышишь вздохи моря и стрекот цикад. А был бы средь друзов гостем — пил бы коньяк и жрал шашлык и курил бы, и в висках стучало б — и слышал бы лишь гул своих похотей = смертей, их перезвон.

Ловушка адова!

Сердце побаливает от поздноты: подпустил в созерцании переживания и смрад возможной тебе (и бывшей с тобою) жизни.

Дразнят зрелища.

Недаром и от них рекомендуют святые отцы оберегаться — от всех этих катарсисов, только упражняющих нашу способность сочувствия себе и вживания в жизнь как она есть — и по-рабощения у нее, и освящения ее.

Вот искусство, его дело.

А религия поднимает к очищению — через усилие и превозмогание себя и человеческого, слабого (а то сильно влюблены мы в человечьи слабости). Чуточку усилия — и какой простор свежий начинает раскрываться, благоуханный! Orbs целомудрия! Вселенная целомудрия! А не расхищающее нас и мир множество привязанностей к частностям...

Воздержание!

Как просто! Весь секрет в этом!

Но как нелегко...

1.X.73. Проснулся: «Господи! Дай ходить Твоими путями в грядущий день! Дай держать сердце открытым Тебе! Держи длань Свою на голове моей — и води!» Так помолясь, восстал с радостным сердцем, отбросив хмару ночную, из мутни недосыпа пробиваясь к светлому лучу и чистому дыханию.

Вот соседка пробежала зарядку делать. Думаю с умилением: «Кушка!» Все люди мне теперь видятся как детки и «кушки» — славные, хлопотливые... Как хорошо такое зрение сохранять!

Спустился в город — взял полхлеба черного и мацони. Стал подниматься отнести — и вовремя уловил в себе нагнетающуюся поспешность и горячечность: просто по привычке организма, по его заводу, пошел быстро — и спер дух. «Э-э! Не гоже!» — осадил себя. Ведь к чему ведет даже маленькое поспешение? К спиранию духа — и к почернению его в запоре и в загоне. А дальше что? Почекненный дух уж потребует и черной рекреации — расслабления: в питье, куреве, смехе, загуле... Так что не надо напрягаться, допускать малейшего спирания духа, нагнетания-угнетения. А для того — выработать в себе реле, осаживающее всякое разгорячение и поспешность. Лови начинающийся разгон и тут же притормаживай. Тогда будет в тебе ровное светлое радиование — как теплое море Святого Духа небесного: в нем легко тебе будет плавать и нежиться. Блаженство! Сплошное.

3.X.73. Не спе-шу.

Притормозил себя, а то разогнался сегодня уезжать (погода слегка потускнела, тучки понагнало) и уж нацелился на вокзал, но — жалко стало. Еще денек подарю себе. И верно: старый я

непременно бы, разогнавшись, уехал, ибо тот я «и жить торопился, и чувствовать спешил»⁶⁴. Нынешний же я взял курс на замедление всего. Тем самым выбираюсь из рабства у времени: раз не жалею его — значит, вечностью дышу. Ну да: отвергая Время, реактивно добываю Вечность.

Но и, мимо всех этих диалогистик, замедлять мгновение, вмединироваться в каждое — есть благо и блаженство.

Вот воссел на открытой веранде дома, царящей над видом, и гляжу, как ветер пасет облака на пастище моря. Рябое оно, бороздатое, как пашня. Ветер морю и пастух, и пахарь, пастор и оратай.

Как сла-авно-то! Ни за что получив вечер, сутки жизни в дар. А все оттого, что осадил спешку.

«Спешка»! Слово какое низкое, суэтное. Спешка > пешка. Человек в спешке — подлинно пешка, в медитации ж — генерал: всеобщее. «Генерал» — от general — «общее». Однако, еще глубже: от gens — gentis — «род»: генерал — генерирующий = порождающий. Генерал — прародитель. А патриархи — медленны, и веки их — аридовы и мафусаиловы. Так опять к корню времени — в вечности — пришли.

А спешка, пешка — пехота, пешком чапает: часть по части, как честь по чести.

Ладно, вдался опять в логосничество (мое лесничество).

И как хорошо — не бежать, не искать никого на вечер. Со всеми уж рас прощался. Волен! И неждан. Отвязан. Парю, легок.

Но, Боже! Как Ты хранишь меня эти дни славно! Не сделал ни ложного шага, ни ложного слова. А как я в них всю жизнь барахтался!..

Вот позавчера вечер — пример. Искал я, какое б кино посмотреть. Забрел в столовую на край Гагр. И в очереди спросил женщин: где что? Одна отозвалась. Слово за слово — пошли вместе. Она, видно, старая дева, одна, по туристской путевке. Пончувствовала ко мне доверие. Я был спокоен, ненавязчив. Сама она говорила. Посмотрели кино. Расстались. Не спрашивали ни

⁶⁴ Парафраз стиха П.Вяземского — эпиграф к «Евгению Онегину» — 27.VIII.90.

имен друг друга, не договаривались ни о чем, не касались. И было обоим чисто и легко.

И как я, возвращаясь, благодарил Тебя, о Боже, что сподобил меня, столь faux-pas⁶⁵-сного, ложно-шагового в таких ситуациях, контактах,— оказаться совершенно простым и не в тягость ни ближнему, ни себе. Умудрил Господы!..

Пойду отодвину детскую кофту на веревке (сушится): заслоняет заходящее солнце.

О, Божественный глаз! В прищуре меж облаков. Пращур в прищуре...

(Свежевато. Рубашку надену.) Какая дорожка: от Солнца к морю! К каждому идет. Каждому подан, расстелен этот ковер, царская тропа. Лично каждому. И действительно, в этом чудо солнечного отношения: лично к каждому оно обращено — каждый, значит, имеет прямое сообщение с Абсолютом (Богом) и не нуждается в линзах и призмах посредников-пресвитеров.

11 вечера (местное). Господь содействует честности.

Договорился я ждать у входа в д/о писателей университетского знакомого с женой и дамой еще, пока они поужинают там,— и ехать в старые Гагры в кино на французский фильм. Жду, жду. Уж без четверти 9 — нет. Поползновение явилось: плонуть и ехать самому. Но осадил: почуял, что это скверно, и мне на душе будет содомно. Дождался, рванул их в автобус. Приехали — билетов нет. Вертимся. Вдруг один кричит: «Есть 4 билета!» Я прыжком туда — и нам досталось. А ведь поехал бы один, как предатель,— не было бы у меня вдохновения и игры в душе — и не прыгнул бы я так, и не досталось бы мне ничего. Ушел бы оплеванный и преданный на поклев скорпионам души своей. Так-то. Риск опять оказался — благородное дело.

Несколько неприятно было с дамой сидеть, которая, видимо, желала со мною приключения. Однако, тоже сошло нескверно: имею же я право не откликаться на призывы — и не должно это обижать человека. И — вроде не обидел.

Итак, ладно все. Можно спать.

⁶⁵ Faux pas (франц.) — ложный шаг.

Значит: только о совести и чести радеть — а остальное приложится (иль не приложится — это уж не так важно).

Какие наплывы с моря раздаются! О, Боже! Лижет душу бытие.

А еще — небытие я вчера днем чувствовал. Помню, что ясно чувствовал. Но как бы восстановить?.. Шел я с пляжа вдоль берега, летел легко, тела не чувствовал, но главное: душою ликовал от неимения желаний. Отвязан я! Хоть упорхни сейчас и истай. Что ни случится — хорошо! Что ни предложи — согласен! Не имею своей воли. Какой это праздник! Вон, сопляжники предложили обедать идти — согласен. Отказались стоять в очереди — согласен. Расходимся по домам — и вот лечу я, веселый, и чую — Небытие, бытийствую в нем.

...Подошел к краю веранды, гляжу на узкую, утлую полоску берега в огнях — и на черную огромность за ним. Какой провал! Тартар! И дышит он — плесками. Тут хаотические шумы (машины, голоса), но через них мое дыхание в лад с морским устанавливается.

Море! Вот оно, обнажено наше общее подсознание, лохань Уроборо⁶⁶, — и плещется...

...Проснулся среди ночи. Смущают сны любовные: женщины, позы, тело алчет... Как еще не облитый семенем проснулся!.. Но, значит, действует завод воли, удерживает на краю.

И это ново: раньше бы дал себе поблажку: раз телу пора — пускай себе саморасслабится... И не выскочил бы с уровня напряжения-расслабления, страстно-горячечного. А теперь я свободы ищу на путях воли. БЕЗ ВОЛИ НЕ БУДЕТ ВОЛИ (свободы). Царствие небесное силою берется. И чувствую себя свежим и новым, чтобы на преклоне жизни начать новый курс и принцип: воздержание через волю.

Интересно: воля — усилие, напряжение, но другого рода, чем напряжение, требующее затем расслабления. От воли не устаешь, а, напротив, легчаешь. Когда сквозь тенета прорываешься к свету и воздуху ровного бытия и неба...

Записал, тушу свет — и опять на труд спанья...

⁶⁶ «Уроборо» — первобытный пласт бытия-сознания. Термин юнгианства.

4.X.73. Заснуть не удалось. Да уж и рассвет начался. В дремоте предался образам девочек-деточек своих: разбросаны по немому бытию родимые пятна, крапинки-кровинки, «кушки»: Настенька, Бадой, Мама Кук (жена родимая, Психеюшка, Ева) и мать моя мама. Вот чем жив и держусь — на этих душевных сваях. Тщедушны, крохотны — а крепят.

Держаться Господа. Потом — семья. Больше — ничего. (Дом деревенский припомнил: пустил туда Полину Алексеевну — как там?.. А ну его! И ляд с ним!)

Гляжу на море. Море — как небо. Ночью — черно, днем — голубо, серо, белесо. Простые первостикии, в единстве.

Но небо не страшно, а море страшно. Потому что — внизу провал, у ног, где опора, тверди быть должно. Небо же — легкость, ибо у глаз, у рта-дыхания, у слуха, чemu и нужен простор.

Небо — усиленный череп-шар головы, так что по логике тождества оно с верхом нашего существа единится. Такова ж и земля — твердь, опора пят, тоже соединяема с нами по логике тождества.

Но вода, жика и хлябъ?.. Это то, что внутри нас, под оболочкой кожи, костей и мышц, — вдруг вне нас, так что мы вроде и ни к чemu, не нужны (особи, существования...). Сдирая шкуру — и растворяйся и исчезай, жика к жице, кровь к воде — тоже солоноватой, густой... Едина их плазма жизни.

В армянском храме

6.X.73. Уж в Армении я. Ночевал в Сананине (где храм X–XI вв.). И сейчас на территории храма я. Солнце, птички, тишина. И стены, купола. Хочется замереть.

Однако, прочь, вялость! Не богоугодна лень. Под видом еще расслабления и медитации!.. Бодрность и трезвение! Потрудись!

Походил опять по притворам храма. Постоял в одной из 12 ниш открытой академии Григора Нарекаци (где и Саят Нова был), глянул снова на своды — и пронзило меня: ведь храм — это жилище Бога! Более того — сам Бог! Я в Боге хожу, по его порам и пещерам!

И побежал это чувство-уразумение записать. Теперь уже я со следующего, более одухотворенного уровня восприятия гляжу на стены, на формы божественно-величавого тела.

Правда, ветерок, щебетанье птичек, шелест звонкий падающих листьев, воздух легкий — все это дышит Богом вне дома (вон как мне сейчас лодка листа по макушке засадила!), внедомным Богом, но располагающимся в открытом пространстве.

И вот понял, почему меня угнетали всегда посещения храмов, входления во храм. Это вещь — изъятие Бога из мира и сосредоточение Его здесь, обезбоженение пространства. А существо хочет в небе, в воздухе, в дали-просторе Его созерцать, дышать Им, внимать Его представительство. Когда ж в нишу, в храм, в музей вхожу, свиваясь, воз-духу мне там не хватает.

Что это? Физиологическое ли ощущение тела (стеснение дыхания легких) или действительно святодуховность: лишь Всеменную чуять адекватным Богу домом? (Теперь лист мне в спину саданул).

Но также и благодетельность стен ощутил я вчера, войдя в одну из моленных ниш Ахиатского монастыря. Стены, почти облегающие мое туловище, с узенькой щелью окна впереди и вверху, как бы учинили обрезание внешнему миру, связям моим с ним и отношениям,— и в рубашке храма, голый, я предстал Богу. Вот зачем стены: не Бога упрятать от мира, вселенной (будто Он — слаб), а меня отсоединить от мирскости, чтоб подвести к Богу, сподобить расслышать Его, утишив себя.

Да: Бог — не утешение-утеха лишь, но — тишина, утишение. Чрез утишение — и утешение.

Итак, моленно-исповедальная часовенка, облегая тебя, сни- маает стружку мира с тебя, пресекает все твои токи горизонталь- ных от-ношений и оставляет-устремляет к одному, вертикаль- ному: из ОТ-ношений — к ВОЗ-ношению.

От себя вознеслись.

ОТ-ВОЗ!

Был у меня вчера соблазн в Ахиатском монастыре. Когда я уж заканчивал медитацию, появились три светские фигуры, го- ворящие на русском языке (а до того кругом — армяне, и даже учитель истории местной школы, величавый Саркиз, отказался

мне объяснять: «не умею по-русски»). Оказались — две молодые женщины-геологи с пожилым армянином, ученым геологом местным. Перекинулись словами: они из Москвы, и я из Москвы. С фото- и кино-аппаратами они, со своей машиной «виллисом»; и соблазн возник: попроситься к ним, соединиться и с ними поездить по древностям...

Но пахнуло легким, туристско-экскурсионным, смотрительным жанром. Для этого ли я приехал? Я приехал для прямой встречи с бытием, а вместо этого сразу, чуть оказался одинок, ускользну вбок, на привычную колею людской самозащиты от бытия: знакомые, разговоры светские, выпивка, веселье свое внутрилюдское? Так и спрячешься от бытия. Я ж приехал, чтоб иметь метафизический опыт, на трансцендентные ощущения, на этот предмет, — а вместо этого улепечу домой, назад, в уютный мир феноменов?

И я отошел от них, от машины «виллис», спустился по дороге у стен и сел на рюкзак у площади.

Бежали там армянские ребяташки, голосили чужестранно, древне. Так и тысячи лет назад, именуясь, «урартскими» или «ассирийскими», — но все с тем же составом крови, тела, глаз...

(Человек появился — директор музея. Поговорили).

И вот эта неизменность, неотменность полыхнула-поразила. А на площади, на стенах монастыря — красные тряпичные лозунги, слова на бумажках. Наклеечки все эфемерные!

Бумажка = Советчина — вот пропорция.
Камень = Армения

Умеют армяне принять любой внешний кесарев статус и включиться, будто всерьез. Но не это — их. Ихнее — поглубже уровня: тело и кровь.

И так сидел я на площади, ждал общего автобуса. Подъехал виллис, замедлил ход, я — глаза, и оттуда глаза молодой геологии, удивленные, что я не подаю знака. Но я отвернул голову — и машина уехала.

Тоскануло-резануло сперва. Но потом вознагражден я был за жертву эту — метафизическими встречами.

Под ночь приехал в Сананин. Где ночевать? Попросился к одному — он стал затылок чесать: только что приехало четверо к

нему из Кировакана. Я, было, объяснять, что мне ничего не надо: на улице, мешок есть спальный. Но дочка его: «В Алаверди есть гостиница». Тогда я вспомнил свой принцип: «не быть в тягость» — и ушел.

Попросился к другому. Пустил.

Утром я дал ему московский адрес, пригласил. Они оживились — затеяли приехать на ноябрьские праздники. (Раздается музыка — восточная, родная, болгарская: те же обороты, увеличенные секунды. И горы, и камень, и еда, и люди здесь сходны, древни). Сперва я колебался: давать или не давать московский адрес? Хлопоты ведь... Но потом очнулась душа, и Божье уразумение дошло: ведь тебе шанс дается оказать благодеяние брату твоему, принять странника! А ведь и Христос — странен, и «кто примет одного из малых сих — Меня примет». С этим сознанием и я перестал стыдиться-виниться перед хозяевами: ведь и им я, странник, доставил благодатную возможность богоугодной жертвы и услугния.

И так, на равных, мы расстались.

У молокан

7.Х.73. И за мудростью не спешить — вот что мудро. Ночевал сегодня в молоканском селе русском Воскресеновка (ныне Лермонтово). Услышал русскую речь в автобусе на Дилижан — бабушка в белом платочке. Ба! Да сам Господь приводит меня сюда. Куда мне торопиться в Дилижан армянский? Сошел — и вот ночую у самого старого — Ивана Фаддеевича.

А утром сегодня на собрании их был. Разиня рот и распахнув сердце, внимал их чтениям, толкованиям. Какие мужики! Какой остров чистой и крепкой веры! А пели — прозаические тексты из посланий апостолов — на волжский лад (мотив вроде «Вниз по матушке по Волге»). Каждый вставал, предлагал какое-то место из Писания и развивал мысль. Слова прямо из их умов и душ — в мое сердце капали. Боже! Какое испытал я ликование и воскресение! Воистину — братья и сестры мы! И вот обратились ко мне:

— Может, гость хочет что-нибудь нам почитать?

Я встал, подошел. Говорю:

— Спасибо, что приняли, допустили. Как хорошо, что есть такая крепость чистой веры, такой оазис, как вы! И да продлит Господь чтоб и молодежь вас продолжила. А вот хотел спросить вас: как вы понимаете: «блаженны нищие духом!»? Вот я учился разным наукам, а главного не знаю. Вы же не учились лишнему, зато твердо знаете главное. Вы — богатые духом, значит, а я — нищий... Но ведь вы — блаженны, а я — нет.

Еще я хотел про богатого юношу вам прочитать. Где это, не помните? (Они лучше знают послания апостолов, чем евангелия). Ну, где юноша был добр, законослушен и спрашивал у Христа, что ему сделать еще, чтоб войти в царствие небесное,— и Господь ему ответил: раздай все имение иди за Мной. И юноша, опечаленный, ушел, потому что на этот шаг решиться не смог, этого последнего рубежа веры прейти не мог... Вот и я — богатый юноша — знанием светским. Учился 19 лет, уж уважаем там, в Академии наук, а надо всем этим поступиться, бросить — и одним Писанием и душой заняться. Так вот этого шага последнего сделать не решаюсь.

Меня слушали понимающе и радостно:

— Ну да! Как же! 19 лет учился — вот его богатство. Как ему бросить все это?

— А и не надо бросать,— один еще мужик сказал.— Павел-апостол был тоже учен. Пусть с верой Христу все это и поднесет. И так я Вам отвечу: стучитесь — и отворится. Будь ветвью на лозе, которая — Христос. От нее силы и соки. Человек — футляр, а сила в нем — Бог. Как ток в железе электромотора, энергия. Припади — и дастся. Только с верою.

— Да вот то чую, что верую,— я в ответ,— то исчезнет это чувство среди хлопот.

Тогда один встал и зачитал насчет сеятеля и зерна. И где проптерний: «Вот и друг наш (это про меня) — тоже окружена его вера терниями забот и дел и теряет ее...»

Когда кончилось, приглашал один к себе на обед. Но я пошел к деду. Потом пошел копать с ними их картошку — пособить: отработать немного за их добро, ночлег и корм душе и телу.

И сейчас вернулся с картошки — неспешно, можно бы порыскать по селу и найти кого-то поговорить и набраться еще

мудрости. Но главная-то нeliшняя мудрость проста: веруй, не спеши и будь покоен и ровен. И будь на своем месте.

Правда, легко им, твердо при домах и делах своих живущим, быть на своем месте и свой долг исправлять. А каково мне, сорвавшемуся страннику, средь многих возможностей, что сейчас делать: ехать дальше иль оставаться? Идти на беседу иль копать картошку у приютивших меня? Тут уж вникай, вслушивайся в поводыря внутреннего — и поступай. И вроде — все верно и благодарно получается.

9 октября ведь! Обомлел, когда дошло. Самого глубокого рабочего времени сезона для всех, и для меня до сего. А теперь вот шлендраю, невесомый. Ночую в чужой семье (у Левы Казаряна, в Ереване). Родительская возня вокруг младенца. И чую себя дезертиром с семейного фронта. И зачем я невесомница? Не пристало ведь. При деле и при месте своем быть надо. А вот сижу в парке в Ереване на скамеечке после обеда — и хоть немного прихожу в себя от шальных впечатлений: заземляю себя ручкою по бумаге, привожу хоть немного к себе, к делу своему, к отчету.

До чего надсадно быть глазеньеобязанным туристом, что обязан рыскать, осматривать, расспрашивать. Фу! Надо ЖИТЬ просто — даже на чужом месте, а не экскурсничать. Вот и присел немного пожить свое, опамятоваться. И вместо осмотра очередной достопримечательности просто подремываю, дышу, пишу.

Да, не при деле я и не при исполнении. Похоть очес все это путешествованье без нужды и цели. Когда воздвигну душу ко Христу — никчемно все это шатанье. Вот молокане-крестьяне: сидят, недвижно век весь на месте и, уменьшив внешние раздражения, тем более душою углубляются в Бога. Дед Иван Фаддеевич мне позавчера, когда отобедали после собрания их:

— Может, пойдете чернобурых лисиц смотреть? Есть тут ферма.

Да что мне до лисиц чернобурых! — отвечаю. — Тут душа — черная! Как бы ее отбелить, чтоб как вот стены Вашего дома стала?

— А что, это просто: НЕ НАДО ПУСТЯКАМИ ЗАНИМАТЬСЯ — вот и все.

— А вот работа, хлеб, дом строить — это как?

— Это не пустяки,— серьезно ответил он.

— А что пустяки?

— Пить, курить, на чужих жен заглядывать...

Но ведь и мое нынешнее без нужды глазение — тоже из разряда «пустяков»? Или нет? Ведь работа это тоже моя. И сидел бы дома — их бы не увидал. «Да би мирно седяло — не би чудо видяло» («мирно сидел бы — чуда б не видел» — болгарская пословица).

Чужая жизнь в Ереване

Вечер. Ой! Чужая жизнь... К чему я здесь? Все эти красоты — безраздельные (не с кем разделить — в любви, в беседе). Стою на колоннаде филармонии. Иду один на концерт танцев национальных. Но перед этим два часа непряткности измотали пустотой и небытием. Вообще я сейчас — НЕбытийствую. Это кругом люди живут, здешнее бытие осуществляют. А я...

И на... мне узнавать чужую жизнь? Узнавать — не жить. А узнавать и не жить — вурдалачье дело, высуняязыковое, дурная бесконечность любопытства.

Христос не велит узнавать. И Бог запретил познавать. Оба велят — исполнять простое и известное, данное, заповеданное.

Искания же — мучения и бесприютность. Есть одно знание, которое мне сейчас — именно для жизни. Это — вникание в Христа и уподобление. А что ты? Ходил ли Христос на концерты танца?

Однако, когда забил ритм и выскочили дьяволы черные кавказские — и во мне остатки взыграли...

...Но тоски такой давно не было. Что значит влить в себя несколько ядовитой энергии (конъяк, чача вчера)! Отдача — в тоске, реактивно толкающей восвояси прибраться и свиться.

То ли дело было на море в Гаграх! Дело было: лежать, купаться, потом обедать, потом опять лежать, потом кино смотреть. А тут — выглядывать, ходить высматривать, зенки выпучив и выплялив. И — город: люд при деле, после трудов развлекается.

О, сколь напрасно я здесь существую!

10.X.73. Боюсь умереть; а для чего жить долго, если так? Не лучше ли сейчас, пока еще чего страшного от своей никчемности не натворил?

Но для чего долго живет дед Никита? (сосед мой в деревне Щитово под Москвой.— 31.VIII.90). Живет — и все. А Христос знает, сколько ему нужно. Для себя же чувствую, что жить долго для того, чтобы узнавать, познавать (мир и что в нем), — не накормит душу, не удержит. Вон как удручет меня перспектива все узнавания да познавания.

Нет, достойная цель на остаток жизни — себя выправления, приведения ко Христу, чтобы максимально очиститься и быть готовым... А для того — надо успокоиться насчет внешних целей (трудов своих умственных), исполнять день ото дня урок жизни домашней и рабочей — и быть благим.

Почему так скверно душе и угнетает перспектива смотреть очередное диво внешнее: гору, монастырь, искусство? Увод это от Христова пути. Его дело — в услужении людям, а я понуждаю людей служить себе: вон сбил с панталыку семью, где ночую, и они меня — обильным угощением — в ночное пробуждение ввели. Налипают, казнят услугами — не с тем ли (бессознательно), чтобы я скорей себя скверно почувствовал и вытолкнулся? Гостеприимцы навязывают чужую дхарму, облипают ею. А сам навлек; теперь выберись, попробуй.

Но можно и просто: обратясь и припав ко Христу душой — и это сразу помогает, наставляет на мирное поведение.

Конечно, мой кризис в умственной работе связан и с тем, что не могу я ею как раз служить людям, а лишь внутрь себя духовенствую (непроходимо все, что я пишу, в нашу печать). Обступил-таки мороз постепенно, охолодил и онемил, оцепенил — и вот я уж в анемии: без выхода-то на люд нет охоты себя заводить ни на мысль, ни на познание, ни на жизнь... Ночью вспомнил Серую шейку — утку что в луже (в проруби?) упорно плавала, но зима оледеняла и сужала лужу — таким и себя ощущил в зиме духовной советской — непробиваемой, уверенной, спокойной. А я вот, человек, чей срок истекает, — возистериковал...

Дал читать свое про Армению (по фильмам Пелешяна и Параджанова, что сообразил-написал ранее.— 31.VIII.90) Леве.

— Это, конечно, не может быть напечатано,— сразу опытно усек.— У тебя смелость — от невежества. И потом каждый (грузин, армянин) тебе укажет, что и там ты неправ, и тут ошибаешься...

— Конечно, людям тут не угодишь. Но я это пред Богом писал, Ему; ведь перед Богом можно человеку ошибаться. Как смешно: перед Богом можно, а перед человеком, который каждый весь — ограниченность и сплошной набор ошибок в суждениях,— ошибаться не можно!

4 ч. Завезли друзья по моей просьбе — и высадили на медитацию в ущелье реки Аштарак. Ну что ж, раз уж я вне дома и могу ля姆ку свою тянуть,— потяну чужую. И раз уж я в Армении оказался, да будет ум мой наемником: отдай его в эти дни на осознание того, что есть армянский космос, и тем возблагодари как-то за хлопоты их, послужи люду.

Потружусь, послужу.

Картины Сарьян

Вчера ходил в музей САРЬЯНА. Его (армянина) глазу и духу не нужны небо и даль; он впивается в землю; глаз — что плуг: режет ее линиями, складками, чертами резкими. Горы есть не то, что уводят дух в *высь*, в небо, но те ступени, по каким небо нисходит на землю и оземливается. Нет воспарения над землею, но внедрение-впивание в нее, которая — мать. Как земля затмевает небо, по важности для национального духа здесь, который непрерывно оттаскивали в ходе истории от земли родной, а армяне все более впивались в нее, как клещи, клешнями и кирками, и не сдуло их совсем, хотя и сдували многих под чужие небеса, но они их не любили — не ценили (небеса = чужбина, земля = родина), — так и мать затмевает отца, женское начало здесь более метафизично, чем мужское. Ведь мужское начало метафизично как дух и свет, спиритуальность, а они здесь — малозначащи; зато торжествует и разнообразится метафизика матери(и): плоть, краски, камень и фрукт, плод и цвет. Так что здесь и Бог как Дух не может быть достаточно взятен, но Бог как тело родим: отсюда — григорианство, монофизитство крен на боже-

ственную природу Христа, а человеческая в нас оставлена безблагодатной.

И памятник верно учяли какой здесь ставить: МАТЬ Армения. Адекватного по метафизике Отца здесь нет. Герой народного эпоса Давид Сасунский в высшем случае значит как СЫН, но не муж и не отец Матери Армении.

Итак, взгляд Сарьяна вбуравливается в недро вещества, земли. (И на портретах его взгляд — бур). Оно светится внутри себя, между собой, отливает красками, и не нуждается сей свет в помощи неба. Натюрморты, портреты — все без воздуха, в закрытом помещении и фоне. Взгляд упирается в ковер бытия — без роздыху и продыху: нет легкого ветра, дали, неба. Душно от красок и ароматов.

Крепок настой воздуха здесь, как крепка тут пища солнцеземли. Вон смотрел у бабушки одной: сушатся персики, в которые вместо косточек вставлены орехи греческие в сахаре густом. Какая мощь тем заделывается в человека! Это тебе не картошка и не огурчик. Тут — шашлык и персик, перчик: все огнеземельно, жгуче-горько, горящее, палящее.

Однако и это: орех в персике — указывает опять же на внедрение под кожу, как гроздь в гранате под шкуру прячется, как взгляд Сарьяна в вещество вбуравливается. Недаром есть в языке особый падеж, отпочковавшийся от Предложного, специально для выражения В-отношений: того, что внутри.

(Подремал чуток после хлеба с сыром в саду на обрыве над Аштараком. О, как я счастлив, что вырвался из города, где люди — при деле, а я — соглядатай праздношатающийся, в село, где и люди при деле, и я — при деле своей медитации; потом — хозяевам тихо помогу персик собирать, отплачу трудом за ночлег).

А вот портрет гранатового дерева. Это как взрыв: из недр земли разлетается куст в пространство, его пол(о)ня собою. А тень ярко густая — как кровь разверзшейся земли, только что родившей. Брызнул куст — не брызнул луч из-за туч: такого у него нет, что так излюблено в русском пейзаже и поэзии: прорыв небес и залитие небом земли.

Чутко, как медиум, художник улавливает и передает этот русский акцент мира в портретах русских женщин. Вот жена

сына — явно не армянка, хотя и черноватая. Глаза удивленно, вопросительно открыты, брови подняты, рот полураскрыт детски. А кругом нее заливает, заплавляет ей рот и душу чуждая предметность: фрукты, ковры душат ее, облегают. И она — расстерянная.

Или портрет Галины Улановой: глаза озерные, небесные, открыты лицо и лоб вверх, вперед и в небо. Что портрет русской женщины без глаз? А портреты армянок — с глазами прикрытыми, со взглядом опущенным — вниз, в землю, в недро, где их корень и душа. Сфинксы восточные, с непроницаемой душой. Вон жена его: вяжет с опущенными глазами. Сбоку зеркало: в нем профиль, где опять взор уведен. У-у! Ведьмы здесь женщины, могилы, Великая Матерь(я)... Недаром здесь Ева (Аракат — рай, Эдем здесь).

Глубокое молчание и непроницаемость жены, как воплощения Матери Армении, и рядом открытое лицо ликующей, доверчивой армянки (соседки) — лицо плоское, как неистинный образ армянки.

Или даже в групповом семейном портрете времен войны. Матери взгляд спокойно-владетельно опущен. Пытливо смотрят вперед глаза самого отца Сарьяна и сына. Но они плоски и прямолики — по сравнению с женским лицом. Недаром, по наблюдению ходившего со мною Левы Казаряна, женщина нарисована дважды: на переднем фоне как мать — в паре с портретом сына, и в зеркале, другой стороной лица своего — вместе с мужем, как супруга.

На портретах Сарьяна часто дается сбоку маска — как схема и канва, а рядом с ней — живое отклонение, индивидуальный лик человеческий. Портрет Чаренца таков.

И сам Сарьян, как он на снимках последних лет и своем графическом автопортрете предстает, уподобился старой женщине, ведьме, сивилле. Да, это — лицо сивиллы микельанджеловой, ведуньи. То есть, вошел в прообраз, слился с архетипом Армении, с ее первоидеей.

Напротив, фигура статуи Матери Армении, что над Ереваном, — мужеподобна: плоска грудь, и бедер нет, широки плечи и палаш в руках.

Андрогиния в Армении. То есть образ Целого — с акцентом на женском, материнском начале. (Любовь меж мужчинами, развитая здесь, это же подтверждает).

О, славность! Сижу на бревне. Сходил выпил воды. Вечереет. Прохлада. Переоделся. Шумит река под жутким обрывом. Слева — Арагац в снежном колпаке. Я снова при деле, я дышу вольно, я живу.

Кстати, насчет ЖИЗНИ. На автостанции, ища, чего б поесть, спросил одного: где?.. Он, признав во мне русского, стал говорить, что в России, если сдачу забыл, кричат тебе вслед: «копейку возьми!». Здесь — нет! Здесь закон нету. Здесь жизнь — хорошо, закон — плохо.

Андрогиния — и в том, что в армянском языке существительные не имеют родов. Потому кавказцы (и грузины) про женщину говорят: «ОН пошел».

Удобно Армении под Россией

11.X.73. Ну вот: безобидно (для людей) переночевал, потом с утра старушкам помог персики собрать, перенести. Сейчас что-нибудь мне дадут поесть (за труды, так что не неудобно мне принимать). Там, на винограднике их, где и персики, с соседом разговорился.

— Ну как: где лучше жить — здесь или в Москве?

— Где кто родился и привык — там тому хорошо: вам — здесь, мне в Москве.

— Нет,— не согласился он и презривую гримасу сделал,— здесь лучше. Брат женился и в Харькове живет. Там плохо, каждый день убийства, за 15 рублей один человека убил: выпить не на что было. За Ростов как проедешь — люди бедные, едят маргарин, комбижи. Деньги нету. А здесь каждый имеет машину, кто — две. За мой дом в России сколько дадут?

— Ну, тысячи 10–12–15...

— Здесь — 25 тысяч. Машину «Москвич» в Москве по государственной цене 5500, здесь — 15 тысяч без звука.

— Откуда же у людей такие деньги?

— А вот у меня дерево тутовое. Перегоню на водку — 300—

400 руб. С одного дерева возьму. А ты говоришь: у тебя сад, огород, 3 сотки под картошку. Сколько мешков взял?

— Мешков 12–15.

— Это — рублей 300, не больше, нет смысла. Я с одного дерева столько возьму. Вагон закупаю за 200 руб. И везу бочки вина; оттуда — зерно, картошку. Вот и деньги откуда... Сейчас прижали. Судят.

И вот думаю, что действительно для национальных окраин выгодно быть под Россией. Недаром Хачатур Абовян (рассказ «Ереванская крепость») так ликовал и благословлял присоединение. В самом деле: русские не режут армян, как турки-соседи, от турок охраняют, рынок своей бедности предоставляют нацменам для заработка (перепад уровня жизни в 5–10 раз). Немножко угнетали насчет национального чувства и религии, но разве сравнится это с турецко-исламской резней (1,5 млн. армян вырезали в 1915 г.) и гонениями на веру «гяуров»?

Центральная власть (Москва) далеко, не чувствуется так на жим, зато издаля, от ближних врагов-соседей, с кем у армян кровно- и кроваво-страстные отношения,— упасают свою паству. Хорошо под Россией армянам, грузинам... Хотя эти стонут: было б Черноморское побережье их — со всего мира стекали бы к ним деньги... Да, но тогда им пришлось бы оберегать побережье от турок, которые могли бы отобрать,— и опять им напрягаться, тратить жизни и средства... То же и казахам и т. п. Конечно, прижали местных архибогатеев: князей, ханов и т. п.— своим властителям не дают так бесконечно выделиться, но зато множество простых поднялись к мещанскому благополучию и зажиточности.

Так что для материальной жизни народа в общем много лучше быть под Россией.

— А для духа, для духовной жизни и творчества?

— Хуже. Ибо остается им из всего многовозможия идей — хвалить беспрерывно благодетеля, господина, власть советскую и русский народ. Атрофируются чувства и доблести даже кесарева уровня: воинская доблесть в защите от врагов, подтягивание духа пред лицом опасности и смерти — и расцветание красоты мужской, и вся гамма чувств и добродетелей меж людьми: любовь женщины к воину и т. п. Выделали из граждан — мещан

трусливых и льстиво-лицемерных, сверху донизу, оставил всем один уровень проявлений — труд на зажиточность.

— Ну а культура и беспрепятственное творчество в ней? Армяне в науке, в музыке — мировые величины... Разве было бы это при собственном маленьком царстве и государе? Разве меньше там при дворе было бы подхалимства, черни всякой и гадости? И разве не надо было бы кадить своему Владыке? И притом делать это с душой, ее порабощая, тогда как кадить далекой Москве можно формально, душой смеясь и оставаясь независимым.

Так что — не знаю... Похоже, что им лучше... Однако, все же для бодрости национального духа это — погибель, ибо вялость, анемия и хирение — в этом паразитизме жизни за чужой счет сильной России и мужества и доблестей ее народа. Ибо даже то, что армяне сражались в Отечественной войне (сильнее даже грузин), — это утечка доблести: она пишется на скрижалях России, а не Армении.

И армяне еще менее других нацменов под Россией страдают, ибо крепок и древен заквас, монолитен народ и его состав, орешек трудный для ассимиляции. А те, что послабее, вроде якутов, иль тех, кто поближе к огню русского центра (вроде белорусов), живее перечахнут.

Но опять же — не знаю... Коли турецкий ятаган припомнишь, что только 50 лет назад тут расходился, то русская власть такой легкой и безобидной предстанет, что дальше — некуда. И от своих беев, господ-властителей, уберегает народ. Вон как сейчас уповают на второго секретаря ЦК — русского Анисимова, который перечистит коррупцию верхов...

Вот поел со старушками: перец печенный, лук, помидоры, брынза, лаваш, чай. Как успокоительно с ними — молчать. И шли когда к ним на виноградник по улочкам узким, шли медленно и молча, — какая благодать тишины устанавливалась в душе! Никчемность слова вообще — не то что словесничанья. О чем говорить? Им неохота лишнего знать про меня: кто, откуда, зачем? Ясно, что идем в сад, и я помогу им собирать иносить. Что мне можно верить (привезла меня их внучка). И все.

За столом я общим с ними вот дописываю, пока одна доедает. И нет помех и напряжений. Будто не съединились поля наши

жизненно-душевые. И я в их поле погружен, а совершенно в своем остаюсь: линии изгибаются силовые, но не пересекаются.

Да, божественная метафизика чужбины! Залетный гость других миров я. Как Овидий средь цыган. Так что чужбина — и лекарство душе: в сосуд душевной пустоты ты опущен, в купель; все напряжение, связи и отношения остались там. А здесь — никаких: ни претензий, ни счетов... Вон Овидий: все его счеты — в Риме остались, все человеческие перетяжки и прерывы поля бытия... А теперь чужбина, сняв одежду и стружку отношений, выводит тебя прямо голым в бытие, в чувство Космоса, тогда как на родине Космос перетянут и отодвинут микромиром Социума.

Но что я говорю: «Космос, Космос», — разве стою я в прямом к нему отношении? Ночую ли под небом? Беру ли пищу прямо с земли? Ведь опять все — через людей; правда, не зацепляюсь с ними, не вхожу в отношения; но ведь это я снимаю проценты с заработанной дома, в Москве, репутации своих отношений со знакомыми армянами.

Итак, под Россией у народов порченные верхи, а простой народ лучше в нравственном отношении, ибо далеко пирог и кор�ушка, чтоб ревновать о деле же и доле. Но, значит, нечем гордиться становится народу. Ведь при независимости полной возникает сложная структура, иерархия, многосложно расцветает дерево — и выделяет наверху красоту, представительственный цвет нации: цари, полководцы, герои, поэты, живописцы, учёные и т. д. А тут как раз верх корумпирован, и лишается нация своего представительства в истории и красоты.

«Нечем гордиться» — так сказалось. Но ведь гордость — сатанинское чувство. Народ, человек, лишенный национальной гордости, — более Божий становится. Вон как у евреев сейчас сатанинство полыхает — в связи с пробуждением патриотизма! Так что, став серенькими, бесцветными, народы и люди к смирению идут, в мире живут душевном.

Значит, и путь в Божье царство лежит через нивелировку народов — как и цивилизация, и курс всеобщей истории. Совпадают тут линии: нивелирующие там и сям тенденции.

Есть ли дифференциация в ангелах, в святых!? А в людях — ого!.. Как разнимся мы: Светлана и я — живые люди!

А ангелы наши хранители, что представляют нас на Божьем уровне,— разве так разнятся? Наверное, и не отличишь их...

Важное тут я уразумел. Нокаут со стороны Бога и Христа пришел пафосу моих национальных штудий и картин мира. Бог — ИНТЕР-национал тоже = между-народен. Их дистиллят. Как Адам и Христос, человек первый и человек окончательный,— не национальны.

Ну, рассасывается у меня чувство вины перед домом, пред женой и детскими, что я тут праздно шатаюсь. Оказывается, и здесь я работаю, упряжку ту же тяну — тех же уразумений. Вот, распостерев себя на Армению, наложив себя на армянский психо-космо-логос, получил важные уразумения: заработал через страдания от никчемности — более крепкое чувство семьи, долга своего пред ними. Так что наработал и здесь, на чужбине, нечто для дома-семьи.

Однако хватит сидеть: насидался уж. Пойду предложусь в совхоз на винограднике поработать.

На винзаводе

Вечер. 10 ч. Ну, все обернулось праведным образом. От бабушек я вышел в 1 час дня и, спускаясь по улице, завернул в открытые ворота винного завода. Играво спросил: не требуется ли рабочая сила? И оказалось, что требуется. Правда, вид у меня экзотический: с рюкзаком, без языка (армянского). В шутку дали мне вилы, но скоро увидели, что я работаю не на шутку, а всерьез. Подошел главный инженер, что меня принял, спросил документы. «Все же мы в пищевой промышленности». Я достал членский билет Союза писателей. Снова стал работать: вилами ботву виноградную оттаскивать в пресс, потом из пресса — на самосвал.

Много народа подходило смотреть, как я работаю: вин-техник, глав-спирт, сам директор. Шутят: «отдохните!», протягивают виноград. А к вечеру гл(авный) инженер подошел и предложил мне подать заявление на временную работу в качестве рабочего. «Деньги получишь. И в дорогу с собой спирту и вина дадим. Семья большая?» — «Троє детей. Хорошо руками честно заработать, а не ручкой хитро», — говорю.

Рабочие тоже постепенно свыклись со мной, приглашают вместе обедать. А вечером, только что, и женщины из лаборатории и учета пригласили ужинать с ними. Несколько раз подходил один: «Выпить не хочешь?» Говорю: «После работы, а то в транспортер ненароком засосет руку или ногу». А недавно я сказал: «Ну, выпить можно?» И повел он меня в винный подвал и налил вино — истинная «КРОВЬ!» — как он сам сказал. И верно.

И так поработал я с 1 часу дня до 9 вечера, вертесь с вилами — чувствую себя прекрасно. А заработка тут — 10 р. В день. Правда, с 10 до 10 считается две смены. Так что вполне имеет смысл недельку здесь поработать; и винограду отъедаюсь сколько хочу, и физическая работа на воздухе, и еще платят хорошо — за неделю могу оправдать все расходы на поездку в Армению. Честный труд.

Правда, хотел я поработать дня три, а потом ехать на Арагац — в обсерваторию, потом к молоканам опять на воскресное собрание; на Севане дня два провести. Но так уныла мне опять увиделась перспектива таскаться в качестве туриста-соглядатая... А тут я живу, тружусь, зарабатываю. Все — по-христиански.

Теперь — спать!

12.X.73. Утро. Ну вот и сказался виноград и вино-«кровь»: ночью расперло мои семенники, и, впиваясь во сновидении зубами в женский пах, в сгиб меж ножкой и животом, я разразился...

Но не казню себя.

Сегодня опять на работу пойду к плутам. При подъезде каждой машины все набрасываются с сумочками и ящиками и отбирают себе грозди. Сторож — с мисочкой, инженер — вбок кучку себе складывает; так и снуют непрерывно. По мелочи, а за день наберут.

На меня косятся: «русский» ведь, а от русских сейчас — облава. Уж не подослан ли я? Все выясняют, задобряют. Но когда я сказал, что я у Ара Минаича, всем известного здесь, остановился, напряжение спало, возрадовались: значит, не опасен я.

Вот дед, у кого я: Ара Минаич — тоже за 80 лет, как и Ивану Фаддеичу. Винцо пьет, крепкий жучок земновозный. Чувство греха своего, наверное, не почевало в армянах никогда. Напро-

тив, извека живут с чувством, что все другие народы перед ними грешны (персы, римляне, турки, русские), а им остается лишь изворачиваться и обманывать. Что обман — плохо, это для них трансцендентно, неисповедимо. Напротив, это, скорее,— национальная добродетель. Но добро выработали они ее себе, живя в порах других народов, их беззастенчиво надувая. А когда собрались все такие вместе и теперь уж надо надувать друг друга, своих?..— тут комедия выходит...

Сосед Ара Минаича построил оранжерею, теплицу огромную — принесет ему, ей-богу, миллион: зимой цветок в Ереване стоит 3 р., 5 р. А при их культуре быта и эстетическом чувстве и культуре дарения — каждому в дом непременно требуются цветы. В России прогорел бы, а тут — покупают, на красоту расходуются люди.

Но и то очевидно: зарабатывает человек положительной предприимчивостью, а не утягиванием, как в России... Домина у него — как у министра, машина, ковры, дочь музыку преподает, сам играет на национальном инструменте на свадьбах и похоронах, а за это сильно платят!..

Полдень. Обед на винном заводе.

При себе ли я? Раз бумажку вытащить смог — значит, при себе. Пили вино (3 стакана), ели хлеб-лаваш с сыром. Замедленно слегка все во мне, но — ничего! Однако, трезвое состояние легче и веселее именно. Все — ради уважения к людям, со-работникам.

Однако, пойду за вилы. А то там уже рабочий шум идет.

3 ч. Выпивши, работать веселее, но тяжелее.

Должна ли быть вознаграждена бессеребренность? Вот я беден, кормят меня здесь чужие богатые люди армяне. Должен ли я восплатить им их мерой? Но я не дотяну до нее. Или — воспользоваться правом странника, предоставляющего людям проявить свою благорасположенность? Но тогда с моей стороны это будет корысть, а не бессеребренность.

Пойду дальше запускать ботву в пресс.

А теперь забежал посрать и пописать на минутку. Можно здесь и работать, и писать, и читать. Я уж несколько рассказов армянских за день прочитал.

...Нет, ничего пока: не требуюсь. Эх, благо! На винном заводе да письменный стол себе завел! В тени дерев, в перспективе Арагаца, при запахе кисло-винном. О, Господи! Награда это — или казнь? Твое дело иль лукавого соблазн? По ночи прошлой чувствую — соблазнами и искушениями отплатятся мне винные увеселения... Однако, тоски нема.

Опять прибежал: нет материала для машины, вверенной мне. Вина ведерко стоит от меня справа. Но не соблазняет. Как служителя публичного дома — женские отверстия.

И ради этих соображений ты черкаешь бумагу? Почтай лучше.

Привезли очередную партию винограда. Народ набросился. И я две кисти взял. Какая работа у меня здесь основная? — Как можно больше винограда безвредно для желудка суметь съесть. И платят за это 10 руб. В день.

В робе я рабочей (выдали с утра).

Давно не читал я с таким удовольствием, как сегодня, в урывах между работой. И много довольно прочитал. Так в обычной жизни читают женщины, вон и жена моя.

Еще чуток почитаю, а то скоро предстоит запарка: четыре машины навезли, сейчас ссыпят. Ну да: сейчас 17.40 — пошел послеполуденный сбор винограда с полей.

13.X.73. Запарка была вчера — с пол-шестого до пол-девято-го. Хорошо помял тело. Сейчас уж 2 ч. Току-свету нету, вино есть, стол.

Когда душевно устроен я, писать неохота — как вот вчера и сегодня. Метафизических мыслей нет (метафизика ушла из мозга в руки: тут сообщаюсь с бытием, посредством телодвижений), а записывать плоские, безмысленные наблюдения — не по мне.

Ну вот очередная партия начальства поступила на винный пункт, инженер им рассказывает про меня, смотрят, как я работаю. Потом трое в белых рубашках и галстучках подошли ко мне, поздоровались, спрашивают: «Что писать будете? И долго ли еще пробудете?». Волнуются мошенники. Я, как могу, утешаю их.

Нашелся здесь и армянин, проживший 24 года в Болгарии: с 1922 по 1946. Жалеет, что вернулся. Вспоминает Хасково, говорит по-болгарски.

4 ч. Почувствовав, что я для них не опасен, мошенники живо теряют ко мне всякий интерес. Как прилипал ко мне в первый день главный инженер! Как прилипал во второй день зав-спирт! А сегодня уже спокойно проходят мимо, не просят не надрываться, не предлагают гроздь винограда, не обещают денег и даров при отъезде. Даже жалко! Надо бы поиграть...

О, сколько мошенников в сем народе! Даже Ревик, муж Асмик, взятки в суде брал, и мы, и Бочаровы любим и любят их. Мыслимо ли, чтоб с русским взяточником мы любовно общались? А с армянским — общаемся, ибо это — общая магма и плазма, общий стиль и не мешает индивиду быть глубоким...

7 ч. Никто не хочет иметь хороших отношений с Господом Богом. Все хотят иметь хорошие отношения — с директором винзавода, с секретарем райкома, со сторожем винного пункта, с механиком — даже со мной. И взаимно плутуем все. Но невдомек, что лучше бы состоять в хороших отношениях с Господом Богом.

Ну — бегом опять к прессу.

(Про это все я подумал, спросив одного из молодых белых воротничков, что глазели, как я работаю: как бы попасть в обсерваторию на Арагаце и посмотреть в телескоп? — на что он: «Туда надо разрешение. Вот ваш начальник в хороших состоит отношениях с Амбарцумяном. Попросите».)

Ну а зачем меня пускать? Ведь вот во мне бес: запульнуть камнем в зеркало телескопа — подначивает, как он же в ребро толкал пустить петуха в Большом зале консерватории во время концерта — иль матом громогласно выругаться. Он же второй день шепчет слегка толкануть старичка хозяина — на обрыве над рекой кончается его огород, и по утрам мы там вместе оказываемся. Иль себя слегка туда подтолкнуть. Однако, слава Богу, не поддавался подобным искушениям. Уповаю, что и дальше убережет.

Так что мне-то, по грехам моим и искушениям, — только с Господом Богом в хороших отношениях состоять надо и об этом радеть. Это им, воришкам и плутам малогрешным, можно об ином помышлять и об Боге забывать. Но мне-то — ни-ни!

Бегом за вилы!

Сам у себя в изгнании — вот я. Считаю дни, когда смогу позволить себе домой вернуться — к «кушкам» своим, девочкам...

В Эчмиадзине

14.X.73. Ну, такая жизнь мне нравится! С утра, в 7 восстав, поехал в Эчмиадзин — армянский Иерусалим, он отсюда в 17 км. В 8 ч. был уже там, пробыл до 11, а вот сейчас в 12 — опять на винзаводе на работе (которая и не начиналась: виноград еще полевики не собрали). Выпил 2 стакана вина, в сени дерев пятнстой на столике записываю вот это. И так тебе сразу — и туризм, и виноград, и вино, и физический труд, и заработок.

Самое сверхвпечатление — Арагат: впервые увидел во всей мони эту седую глыбу Бога. Библейская гора! Гора книги Бытия. Гора Ноя. Это взвидеть и восчувствовать было — архи-пронзение.

Царит Арагат.

И второе: церковность = семейственность. Глядя, как во храме люди о жизни, смерти, рождении молятся, все об этом,— так к своим потянулся, до слез; завопила душа, все воспомнилось родное: «Бадой!», «Ты, папка, плохой!» — сладчайшие слова из уст женушки; настины плечики...

Взвинтилась душа внутрь, вглубь, в сердце. О, это мое последнее путешествие в одиночку! Следующее — или семьей всей, или с кем из. Самому в бесплодно-эгоистическое нутро свое принимать впечатления — отвратно.

Молился там человек в сером костюме: долго, час стоял на коленях. Потом, отмолясь, вышел, попил воды и пошел домой, не ожидая красоты службы католикоса в 12 часов, куда съезжается поглядеть весь армянско-ереванский бомонд. О, как защемило мне сердце от умиления на него, на этого человека! Один в толпе был с Богом — и смыл грехи свои.

Старушка в углу трона (католикосова?) присела тихо...

Всякий язык Бога молит, любит, славит. Тихо стоял я потом на стене, глядел на храм и Арагат. Храм прейдет, но... и Арагат прейдет... Но Бог?!

Как кружатся пчелы на солнце, привлеченные виноградною сладостью!

Но я не захотел дожидаться службы католикоса в 12 часов. Очень светская перла публика и — женщины: уловил в себе реакцию на их соблазн — и, сломя голову, подрал оттуда. Ибо не Богу душу я воздымал, а Сатане бы кадил, невольно глазами по формам женским поводя... И — хорошо! Сейчас на честной работе я, монотонность ее благолепна, есть «тапас» (в индуизме — жар аскезы, эпитеты). — 4.IX.90), служение-смижение и очистит...

Но сколь чувственна живопись и краски армянские — красные, лиловые; ангелочки — с такими задками, что, глядя на них, любой Карапет иль Ованес, небось, облизывается...

Хорошо не быть в туристских бегах.

6 ч. Ходят тут все на винзаводе вороватой походкой, глядя по бокам. Как дети.

Армянин из Болгарии соблазн в меня закинул: посылку винограда отправить семье в Москву — и в душе моей завязался целый сюжет. Я тут обзываюсь, а мои детки и не знают, что есть такое на свете изобилие. Как бы славно переправить: Бадою бы объяснили, что это от папы... Но для этого надо включаться в хоровое хищничество и заходить вороватой походкой. Сразу лишаюсь преимущества человека вне игры, что я доселе на винзаводе имею. А потом — хлопоты! Ящик доставать, проносить по частям виноград — и куда? Одно дело — я хозяину приношу в благодарность за постой и корм и в отплату. И что же: принесу и скажу: «это не для вас, руки прочь!»?

Но ведь чадолюбивый Азарх (мой многолетний спутник по туристским походам в горы. — 4.IX.90) сквозь все препоны отоспал бы. А это в тебе — эгоизм изощряется на доводы: нет в тебе такой силы любви... И за то осудит тебя жена: для детей не можешь постараться, а для себя — так постарался!

Мучимый, сходил на почту. Объяснили: ящик должен быть с дырками, а то испортится виноград; да и стоит недешево... Так что лучше пойду по приезде в Москву на рынок и на заработанные здесь деньги у тех же армян куплю такой же виноград.

Полегчало... эгоисту...

7 ч. Вяло сегодня. Воскресение: наверное, мало колхозников на поля вышло.

Книжку открыл... — нет, к бумаге!

В бумаге — магия. Магия чистоты и неизведанности. Пускаешь в путешествие по листу, не ведая, куда занесет...

И увлекательно — и шанс преображения.

Лист сначала = жизнь сначала.

Начинаю лист — как начинаю жизнь (уж было у меня об этом, но в других словах).

Завтра последний день здесь положил себе. И даже грустновато покидать плутишек, с кем сжился: работал, ел, пил, воровал. Да, и я ведь для хозяина проносил вчера.

А насчет хороших отношений с Богом дед Никита (мой сосед по деревне Щитово.— 4.IX.90) понимает: у него тост:

«Будем живы да Богу милы, а людям сам чорт не угодит!»

Все тут! Жизнь — с Богом, а люди — с чортом.

Однако, и неслужение людям тут закралось. Потому сам Никита понимает свое долголетие так, что Бог его не хочет к себе брать...

Как хорошо мне здесь с работягами, что в поте лица хлеб свой вкалывают! Вот выпил с ними среди трудов, разговорился... И как плохо мне было бы в городе среди людей труда неправедного, с интеллигентами — ироническими тружениками криводушия! Там пить, курить, иронизировать, за бабами ударять. И все — черно, чадно.

Дали мне с собою читать рассказ Гранта Матевосяна «Буйволица» — лучший рассказ, по словам Битова. Но чуть запахло быком, я оставил. Я — читатель простодушный и чтение принимаю не к сведению, а к исполнению. А поскольку жены моей со мною нет, а на жену ближнего я положил не заглядываться (не только «положил», но мне действительно брезгливо представлять лоно чужой жены — в отличие от Есенина, человека артельного, русского, в свальном грехе панибрратского), я такое соблазняющее чтение подпускать к себе не буду.

Поздний вечер. Уже к 10. Моем, убираемся. Самая нудная и долгая работа. Провозимся до 11.

Я сейчас слегка отлыниваю — от грязной мойки; днем зато труд других на себя принимал.

Буду, буду сожалело вспоминать о вечерней возне и винном заведении, где я сбоку, под лампой сквозь деревья, письмена заношу.

15.X.73. Ну, сегодня последний день, назначенный мной на казнение в Аштараке. Господи! Наказан я этим путешествием в Армению. А еще 10 дней быть вне дома!.. В чужих семьях, насилия своим вторжением чужую жизнь — вот старииков бедных здесь, иль в Ереване молодую семью...

Но и в Москве что ждет?.. Что я буду делать? Что работать? Раsterян я. Только дома бы свиться, в семье,— и закрыть глаза на мир остальной. А, затеяв работать что, выхожу, значит, на люди, в конфликты, на казнь печати.

Не вороши потроха своих прежних писаний. Не оглядывайся, а то — как жена Лота: от жалости и горечи расставания обрастишься в горючий столб соляной.

Но ведь замыслил опрятно умереть; а это значит для меня: привести в порядок расхристанные мои писания... Но мука это...

Однако, прочь уныние! Грех это неупования.

Лаваш и хачкар

3 автракали сейчас. Вдумался в ЛАВАШ — хлеб по-армянски. Длинные и широкие раскатаны плоские листы; отламывают кусок, кладут на него сыр или редьку или фасоль, заполняют и едят. То есть опять принцип нутри, сокрывания в недре: то, что было явным сделать тайным.

Обратен этому — БУТЕРБРОД: сыр или что кладется поверх ломтя хлеба, как небо на землю⁶⁷. В Армении же небо сворачивается в овчинку, озеляется, скрадывается в складках земли.

Так это и у Сарьяна на картинах.

Сижу на отвесе. Страшно себя: малое шевеление — и... Дайка перейду подальше от соблазна на грех.

Рассказ О. Туманяна прочел «Каменная баня». Человека, как сыр в лаваш, окутывают одеялами и кладут при (на?) кotle, куда раскаленные камни брошены. Русская баня: хлещут открытого, голого, веничиком березовым — деревом спасаются, а пар — открыт, в воздухе и небе. А тут все укутывают, загоняют внутрь: и пар, и человека.

⁶⁷ Или еще совсем отдельно можно: хлеб в одной руке, сыр в другой. Так я ем: не люблю смеси, а чистый продукт в отдельности.

Обязан еще про ТАНЦЫ Армении дождить. Смотрел концерт: «танцы Грузии и Армении». Грузины легки, воздушно-птичьи, скачут, невесомы. Армяне тяжелы, утаптывают землю, трамбуют ее в камень. Ну да: когда грузин ударяет в прыжке в землю, то — чтобы небесным стать, оттолкнуться; легко возносится. Армянин же в толчке прыжка не возносится, а лишь землю пуще уплотняет.

Грузины импровизационны в танце, озоруют, выдумывают, их это стихия. Армяне выступают как римская когорта, строем, даже начальник есть: дисциплинарны они, чтут закон.

Женщины гораздо активнее и сильнее в танцах Армении: извиваются в соблазне, завлекают, тогда как грузинка целомудренно плывет, отталкивает посягательства. И одежда ее бела иль небесна. Одежда армянок — красное, зелено-змеиное, желтое, черное. Все ведь цвета земли, крови, низа.— А желтое? Цвет ведь солнца! Да, но без прокладки голубого и белого это — солнце без неба. В Армении земля и солнце прямо сопрягаются, минуя небо, воз-дух, Святой дух.

Совершенно непонятен, должно быть, им в Троице Святой Дух. Голубком его представляют белым, жирным, как петух,— и все тут (как вчера в Эчмиадзине видывал).

Да, пейзажи Сарьяна — без неба, облаков, дали, воз-духа, а (ш)парит земля.

И в росписи потолка храма — лиловое, красное, но нет синего, голубого! То есть и небо — кроваво: кровь родная застит все — идея рода и крови-племени армянского.

Архитектура храмов — не возносящая в небо, а погружающая в глубь-внутрь себя: тяжки крыши, скаты, стены, малы отверстия окон, нет устремления ввысь.

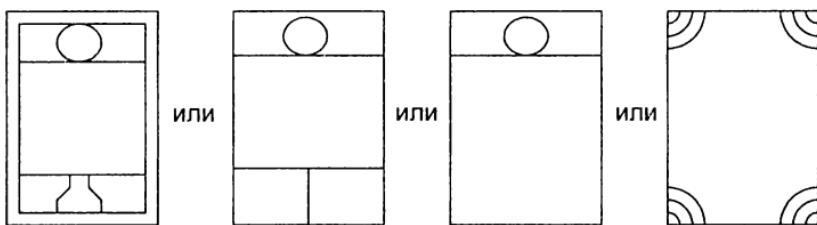
И кресты — хачкары вдавливают дух вниз: нет в кресте стремительности разлета в разные стороны света, но он увязен в веществе, в его тенетах тонет, в переплетениях и извилах лукаво-телесных, женских. Как бы Сын тут вбирается в себя Богоматерью. Отменяется взлет в небо — воскресение парящего духа, а вместо нее — могила женского лона, плач и скорбь лишь, в чем — торжество Матери Армении, ее стихия.

Резьба по камню тоже многоглагольна: камень в ажуре — значит: все в ажуре. Если в Греции и Италии камень — материал,

чтобы явить формы; а формы — небесны, эйдосы, суть виды, требуют и предполагают небо, свет и воздух, открытое пространство, камень там лишь краеуголен, основание, то здесь камень — больше, чем основа и материал: он — сама идея и субстанция мира и человека. Его здесь изукашают резьбой, а не отменяют его самость резцом скульптора, который отбивает его как лишнее.

Письмена на камне, орнамент по камню — вот что здесь излюбленно. И искусство намогильных плит — не скульптур: последнее здесь противоестественно, противокосмосно.

В притворе храма в Сананине пол выстлан плитами. Там схема человека начертана:



Вот и все, что есть человеческий образ: выщерб на камне, ущерб и изъян формы, неполнценность. Да, человек есть неполнценный камень: лишь туловище, которое прямоугольно, адекватно форме камня.

И еще видно, что саркофаг есть ладья: голова = нос; ноги = рули.

Не случайно и название книги Матевояна: «Мы и наши горы»: не «наше небо», не «наша земля», а наш — камень. И вторая идея — «МЫ» (как и в названии фильма Пелешяна). Это — род, кровь, племя.

Русские переселенцы-молокане на чужой земле образуют остров — артель и так лишь могут жить. Армяне же, поселяясь меж другими народами, именно рассеиваются: это им пристало — быть разъедающей солью в плазме другого вещества и так обитать. Русские, рассеявшиеся (как белоэмигранты), ассимилируются другими народами. Армяне — так лишь сохраняются и преуспевают. Ибо могут быть законно беспринципными и отдаваться своему гению мошенства, тогда как живи они вместе все —

тяжко бы всем пришлось⁶⁸: все ведь — гении мошенства. Но одно дело — проводить за нос чужих, нелюдей (русских, турок, болгар, французов...), а другое — самих себя, МЫ, кровь-племя свое. Тут один национальный принцип косой находит на камень другого. И тогда — я вижу это на винзаводе в Аштараке — происходит спасительный изгиб: они изгибаются в сторону России, так что не у себя, а вместе — у нее крадут и проводят ее за нос. И так им удобно существовать.

Так что напрасно армяне, перебирая свою историю, предаются ламентациям на захватчиков-соседей, которые почти никогда не давали Армении существовать самостоятельно, и отчего плен и скорбь и чужбина... Останься они одни в мире, как остров в бытии, они бы перемерли, оцепенев в камни. Ибо в их принципе как раз — жить с соседями, в соседях, но не друг с другом. Друг с другом — встречаться, хоронить, рыдать; но жить? — этого они не могут, не присуще. Так что это именно армянский принцип существования в ходе истории навлекал на страну соседей, раздирал ее на части, пускал кровь в геноциде — чтобы армяне получили законное право (оправдание в душе своей) убегать из родины, расселяться на чужбине и там с чистой совестью беззастенчиво обитать в порах других народов (ибо застенчиво существовать им не присуще)⁶⁹.

Вчера после того, как выпили все вместе, впервые со мной работяги-армяне разговорились более-менее, а то все с опаской поглядывали. Почувствовали, видно, что я — человек не вредный. Они — крестьяне, нанявшись на вин завод на месяц.

И вот я почуял красоту этого восчувствия человека в экземпляре другого племени, и себя тогда каждый тоже чувствует не армянином, не русским, а — человеком. Это в интернационализме пролетарском тоже веяло — красотой и вдохновением брат-

⁶⁸ 4.IX.90. Этому противоречит монолитность почти населения нашей Армении: около 75% там армян. И вообще односторонний и перекошенный у меня тут получился образ Армении и армянина — как лубочного «армяшки», по пословице: «где армянин прошел — там еврею делать нечего». Очевидно, из-за того так вышло, что я находился в низовой среде и мало общался с людьми культуры.

⁶⁹ 4.IX.90. И — право на плач и скорбь. Читал сим летом гениальную «Книгу скорбных песнопений» Григора Нарекаци. Она — что Библия народа, что «Божественная комедия» Данте, что «Витязь в тигровой шкуре» для грузин. И это надо же — картину Космоса, панораму бытия — пропустить-передать через жанр плача!

ства иноплеменных. Но жаль, что на — ненависти к своим богатейм тут же это замешивалось. Христианство же объединяет на абсолютной любви.

12 ч. На заводе. Сказал начальству, что сегодня последний день. Засутились: обещают платить за 8 часов и еще за сверхурочные 4 часа. Хорошо бы совсем успокоились насчет меня (а то все спрашивают: «Что о нас писать будете?» Я отвечаю, что я об этом не пишу, что ничего не буду,— не журналист я. (Но не верят. Ждут подвоха). Тогда бы и начальникам, как и работягам, во мне предстал урок простодушного человечества. И некое, чрез меня, увеличение суммы блага в мире...

У Аветика Исаакяна в рассказе «Трубка терпения» образ: «Полуденные кузнечики безудержно стрекотали. Казалось, то был голос самого солнца, словно солнечные лучи стрекотали неумолчно и яростно» («Армянские новеллы». Ереван, 1962, с. 216). Вот: свет переведен на более понятный здесь душе — звук. Русский поэт Тютчев — звук переводит на свет⁷⁰. Стрекот кузнечика = укус луча; предчувствуя возможный ход моего уразумения: армянский поэт на чрево и телесную мистику переводит небо.

«Я — Божия тварь, я — Божия тварь, я — Божия тварь...» — повторяю себе, веселею, легчаю и беззаботнею. Потому что наплыла забота: говорить с начальством в амплуа «писателя». Но отбросил насилие это над собой — и молчу с ними.

Овечка стоит у дерева. Пробуют ее: шашлык. А я гляжу: живая тварь, трется шеей о дерево, не знает...

Опасно писать: любопытствуют.

Выплатили 31 р. 25 коп. за 5 дней. Меньше, чем ожидал, но и на том спасибо. Начальник: «Подождали б до завтра, до 12 часов. Хотели праздник, Вас угостить...»

— Не надо, я — вегетарианец (прилгнул). И у меня — маршрут.

Однако, напрасно я старался: начальник махнул рукой — и овечку стали резать. Хоть бы и я согласился на завтра — и не пришел.

Вон она уже висит на одной ноге.

⁷⁰ Об этом см. главу «О национальной образности русской поэзии (45 натуралистических романов на стихи Тютчева)» в моей книге «Национальные образы мира», М., 1988. С. 174—348.— 4.IX.90.

16.X.73. О, мученье! Вчера обпился; ночью и утром рвало, и сейчас все мутит. И на что я наклал себе под конец за столом груду лиц, взглядов, хитрых улыбок, реплик? Теперь они в душе, как в желудке перепой и перекорм, отправляющие действуют: забили чистоту ее и свежесть.

Наконец, снялся в путь. Пошел к Арагацу. Сейчас в поле под деревом. Легчает.

Как хорошо выйти из загона завода на простор полей и гор! И — так славно — не евшему (до сих пор извергаю из себя)! А там пять дней торчал — для обжирания виноградом и обивания вином. Тыфу! (Зачем клянешь прошедший миг? Благодари!).

1 ч. дня. Сижу на кладбищенском камне у подъема на Арагац. Гляжу на долину, а за ней — Аарат.

Горло растерзано острой пищей. Молока бы, яйца бы, масла!

3 ч. Лег в пустыне на Арагаце. Час лежу в первичной тишине. Наслаждаюсь безлюдьем. Напротив — Аарат.

17.X.73. В Матенадаране у входа фреска архивоинственная — зачем понадобилась? У входа в КНИГОхранилище! Мирные и робкие народы любят изображать себя архивоинственными. Мои болгары опять же: непременно Лев на гербе и на деньгах...

Опять на выставке Сарьяна. Картина 1969 г. «Земля» — совершенно так закат солнца средь облаков изображают на севере: разноцветные причудливые линии. Но здесь именно небо оземлено: в земле все радужные краски заката видятся, ввержены.

Конус Аарата, его синева и белизна заменяет купол неба — см. картина «Обрыв на склоне Арагаца», 1958 г., панно «Армения» 1964, иль «Сбор хлопка в Ааратской долине», 1949.

18.X.73. В картинной галерее. Армянка должна быть жестока и безжалостна (в сравнении с русской женщиной, которая — жалеет): погубить в себе мужчину — ее пафос. О, эти опущенные черные глаза! И у художника Сурпеняница характерные сюжеты: Саломея, Семирамида у тела прекрасного армянского царя; женщины-хищницы.

В портретах: лицо мужчины, даже простого, — озабоченно вниз. Складка боли, скорби (Портрет отца художника Агаджаняна). Но мать — удовлетворенно миром глядит (иль не глядит).

То же и на портретах Сарьяна: автопортреты с буравящим озабоченным взором, Аветик Исаакян в думе; женщины же — не глядят, умиротворенны...

Еще 16 вечером в Ереване до востребования получил письмо Светланы.

Любимый, далекий па!

А. Рембо умирал глупо и последние его слова к сестре — больше с ним никого не было — были полны горькой зависти:

*J'irais sous la terre et toi, tu marcheras
dans le soleil⁷¹!*

Так и мы с тобой сейчас — на абсолютных полюсах.

Ты — весь в брызгах солнца, моря и свободы.

Я — в смрадной темнице, погубляющей.

Не успел ты хорошенько уехать, как плотно сжалась социальные тиски. Работа! За троих! Две бабы разбежались, трое — болело. Два сбора сразу (нулевой и пятый)⁷². С раннего утра до позднего вечера + озверевшие коллеги. Дошла до состояния шахтерской клячи. Уйти и все бросить! — Но без тебя нельзя: *Il faut gagner sa vie⁷³.*

Но сейчас — не знаю насколько! — меня ушла болезнь. Заездили. Что-то радикулитное. Большой ОЙ! Подняться не могу. По франц. Радикулит и все его бесчисленные вариации объединяются точным: *attaque des nerfs⁷⁴*. У меня, конечно, буквально соответствует. Чувствую, что сосуд мой загажен, и надо — не рассчитывая — бежать сих тлетворных берегов.

Бадой — ужасен. Хулиганит бесконечно. Бабке ни одеть, ни раздеть, ни накормить, ни умыть не дается. Лукавит, прячется, катается по полу, делает свои хиханьки! Сейчас — мы все как на тонущей посудине.

Это, конечно, не значит, что тебе надо все бросать и к нам бежать. Не надо!!! Ты уж свое добирай, а мы свое. Как-нибудь переживем. (Нам же будет плохо, если ты не кончишь! Надо,

⁷¹ Я пойду под землю, а ты замаршируешь в солнце (*франц.*).

⁷² Светлана преподавала тогда французский язык в Военном институте иностранных языков.

⁷³ Надо зарабатывать на жизнь (*франц.*).

⁷⁴ Атака нервов (*франц.*).

чтобы sacrifices⁷⁵ имели смысл, твое всяческое обогащение). Успеем, соединимся для любви и общей дружбы. Целую. Бадой очень много говорит: папа и на фотографиях, что сделал Саша, только тебя и показывал и говорил свои славные звуки. Целую. Твоя Света.

20.X.73. В молоканское село прибыл. Хозяева пошли в баню. Я в доме один, читаю Евангелие от Иоанна.

Вот я — странник. Меня принимают, ибо сказано: «принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает» (13,20). Но, значит, сколь ответственна роль странника: быть подобным Христу! За такового ведь тебя принимают: а вдруг ты — тот, кого послал Он?

Хорошо, что отказался от их бани — под предлогом, что простины спать в мешке своем на улице.

Про людское и Божье слово думаю: стихи поэтов или мой слог — в переводе теряют... А Божье слово — Библия — на любом языке равномощно существует, значит и действует.

21.X.73. Господи! Прильну (к бумаге), прокляну! С какой радостью белых на вокзале вижу!

Е — ду! До — мой!

Однако, ничто и никто не виноваты (армяне — что сочногубы и хитрецы); то в тебе нестроение.

И потом: Бог ведь везде — и тут. Почему тебе именно дома надо быть, чтобы Его чувствовать?

Но — мятён я: мятет меня нечто. Остановиться в лунке своей!. . Всякая остановка в лунке чужой (как эти сутки у молокан в доме) только усиливает боль не-при-себе-бытия.

Хорошо, что еду не в купе, где надо было бы входить в отношения и объяснения с соседями и создавать на двое суток микромир-общину, но на боковом месте в общем вагоне, где никому нет дела, что я за столиком устроился и вот пишу.

Вот успокоюсь, посправедливею к Армении и отпишу про нее...

⁷⁵ Жертвы (ֆранц.).

Да! Как хорошо, оказывается, на боковом месте. Один всего против тебя, тогда как в купе рядом — четверо, так что трое, общество целое, глазело б на тебя и требовало б отчета, что там пишешь. А сейчас против меня милый молчаливый русский милиционер: как дорого его увидеть — бессильного здесь, в море лжи, стражи порядка и закона. О, торжество здесь лавочников и мошенников! Одна интеллигенция здесь нищая. И какая-нибудь жирная продавщица сыра, что продаёт сыр двухрублевый за трехрублевый голландский, посмеивается над мелочностью бедного интеллигента, который один здесь живет только на свою зарплату нищенскую (как мой Лева Казарян, у кого я пребывал в Ереване).

Еду на долг жить

22.X.73. Когда мне становится тошно и непонятно, зачем жить, что дальше делать, я вспоминаю девочек, своих малых: наделал их и наделил именем своим, и если их не возвращу с понятием и на дело мое, тогда за что брошены Настенька и Лариса в мир с фамилией «Гачева»? Ведь мама, с кем они останутся, — Семенова; дядя-отчим, что появится, будет еще какой... За что же они ни с того, ни с сего будут мечтены знаком «Гачевы»?

Чуть было и я не стал «и к злодеям причтен». В вагоне ночью у русской женщины пропало 410 руб., и так как я ночью перешел с места на место, да и вообще вид странный: в спальном мешке спит, когда все нормальные на постелях, — предложили меня обыскать. Я согласился. Но потом не стали.

У Бога не убудет

Севан-то люди опустили гидроэлектростанцией на 18 м. Ах! — было, возмутился. Но тут же вспомнил, что в хозяйстве Бога происходит исчезновение морей, и возникновение чего-то иного. И успокоился за дела бытия на твердой формуле: «У Бога не убудет».

Село молокан расположено в долине меж гор. «Как в балке, — говорит хозяйка. — Приехала к нам из России родственни-

ца, посмотрела и ужаснулась: «Как будто больше ничего за эти-ми краями гор и нет, все тут, свету больше нету».

Это (горы) дивно для русского взгляда, кому субстанциаль-но присущи простор и даль. И это же само собой разумеется для армян, взгляд которых — не в *далъ*, а в *глубъ*. Ни даль им, ни ветер не говорят уму и сердцу.

В машине, когда ехали смотреть Гехард и Гарни с Пелешяном Артуром (режиссером фильма «Мы»), с Л. Казаряном и еще «Джоном»-шофером, предложил я поговорить о женщинах-армянках. Предположил, что они, в сравнении с русскими, должны быть гораздо более страстны, требовательны в ласках и душою жестки, даже жестоки, тогда как русская женщина — жалеет, нежна и добра, а в ласках — целомудренна. Хотя на вид русская — развязна, а эта — стыдлива. Но знаем эти опущенные глаза! Армянке — погребсти в себе мужчину, зарыть. Вон даже Ануш в поэме Ованеса Туманяна: ее взор спровоцировал то, что возлюбленный перешел предел в игре-борьбе и так поверг и опозорил противника. И за этим вся погибель естественно воспоследовала. И в картинах художников сюжеты: Саломея, Семирамида у тела убитого царя и т. д.

Шофер Джон, молчавший все, вдруг: «Насчет безжалостно-сти — это точно!» Правда, Лева хотел свести к индивидуальным характеристикам и темпераментам, но я:

— Разница ведь: вскормлена ли плоть на картошке и квашеной капусте — или на персиках, орехах, перце и гранате!..

Русский космос возникает

Космос видимости настал: просторы, дали за окном. Теряет-ся взор, угасает в неопределенном.

Зато небо высвободилось, закаты. Теперь разнообразие — в небе (пласти красок), а не на земле (горы).

Бедненькое, серенькое, простенькое уже затеплилось, по-важнело в душе: кустарники, силуэты деревцев безлистенных.

Ну да: важнее стали деревья, вообще растительность — ибо рисуется прямо на небе, а не теряется в складках и на горбах гор.

Горы — животны: мышечно упруги их формы, костисты и мясисты. Горы — шашлык. Горы — быки.

Равнинны — растительны, вегетариански, кротки.

Горы Грузии — костисты. Горы Армении — мясисты.

И письменность армянская — округла.

Да, вхожу в себя, прихожу в мысль, в самовладение и покой, тогда как, мечемый в путешествии, растерянный разум имел.

Молокан Павел Михайлович Шутов, к кому я специально приехал на беседу вторично в село, в конце вздохнул о себе:

— Шестой уж десяток разменял. И не заметил, как. Раньше жизнь шла — вроде просторно впереди виделось, воздуху много. А теперь впереди — стена.

— И я тоже в это уперся. Но, может, годы нужны нам для очищения — и это дает им надежду на осмысленность?

Но он строго поправил:

— Не очищаться, а сохранять чистоту, которую мы приобрели при обращении ко Христу.

И мне тоже: восстановить ту белизну души, что имел я в следующий день после крещения⁷⁶... Однако, и работа осмысления пути и всего, которую возобновляю, тоже дает надежду на осмысленность предстоящих лет и воздух подает...

Как славно ехать так: одному в купе! Сумерки. Утихи армянские шумы: их громогласия до уровня Ростова повыскакивали.

Кружева кустарников и дерев на небе. Серо уж оно. Пепельно: ну да — выжглось за день буравом светозарным солнца — и теперь почивает в слабой жизни пепла.

Прах и пепел! Прах — земное, пепел — небесное.

Смотрю вдоль коридора вагонного: обрусл вагон, побелел. Речь мягкая — вместо резко кричащей. Кротость на душе вместо жжения устанавливается.

Вечер в вагоне. Господи! Слава Тебе: вхожу в дело свое! Вот и математикой два-три часа с удовольствием занимался.

Еду к долгу!

Еду к дому!

⁷⁶ Помню: проснулся я и — ИСЧЕЗЛА НЕРВНАЯ СИСТЕМА во мне! Душа — как «табула раса», чистый лист... — 5.IX.90.

Вон последний армянин из купе, сходя, похвалялся: «60 рублей потратил за один день езды!» А я во всю эту поездку за целый месяц путешествия, кроме поезда сюда ($21 + 4$) и обратно (22 р.), и 60 руб. не истратил.

О, жирные магазинщики... И еще наших бедных белых бабеночек, не имеющих своей радости под чахло-водочными мужиками, едут гребать, да оскорбляют и мужиков бедных русских, и бедных женщин... Вон проводник (молодой армянин) одну беленькую из вагона держал у себя...

А ведь вдуматься! Чья-то невеста (реальная или потенциальная, что все равно) этим безнадежно испорчена, или чья-то жена... Осквернена божественная плоть единого брака, и вклинилась Двоица дьяволова, а с ней — и цепная реакция размножения, вклиниений...

Разбито Целое! Сосуд целомудрия!

Но сам-то — о, ужас! — только о таком и мечтал и помышлял и делал, будучи уже в браке первом! Волосы дыбом, как воспоминю, как и зазрения не было совести, когда жен знакомых иль чужих... О-о-!. Это сейчас, когда боишься — собственник! — за жену, ужшибко добродетельным заделался и о целомудрии запел, заканючили, старпер⁷⁷!

23.X.73. Русский рассвет за окном. Серенький. Родненький. Кончились вызывающие дива природы и истории (монастыри...), принуждающие: НАДО меня смотреть. Здесь ничего не надо смотреть во *вне*, нечего; зато — покой, и вглубь себя высвобождается взор.

А ведь без Христа и не отольешь! Сейчас в последний раз в уборную вне дома ходил. И вспомнил, как я не раз замечал, подойдя отливать в общественных туалетах, что что-то (стеснение некое) запирает тебе канал, не дает разродиться струе. А вот помолишься — и обмякнешь сразу: предашь себя и в этом Богу — и Он разверзает твои чресла.

Все! Наш пейзаж: люди в телогрейках, съежившиеся, серые по серому и слякотному... А ведь вчера только — разноцветные купальщицы в Гаграх виднелись.

⁷⁷ Старый пердун.

Всё на Север! В лоно стужи! В родимый сон осенне-зимний, в родимый дом...

А в Аштараке, на винном заводе,— теплынь!

Еду в ровный родимый гнет. Родит уныние и немочь жить. Так что же? А другой космос, юга, растворяет тебя — на что? Раздражает, зовет на какое-то беспредметное дело, на взрыв сил — и только раздражение и пустое прогорание от этого.

А дома уж — благое терпение, смирение привычное, кротость. Божественные ведь чувства и жизненастроения. Не то что южные сатанинские вспышки и взрывы динамитные.

Ишь какой ветрило завывает за стеклом! (Как только встали — ощущался). По дали — и ветер. Он и есть русский богатырь, кому пройтись и разгуляться по ровню-гладню (Гоголь). Воз-духовен его состав.

Вот и старые знакомцы появляются, собираются: ветер, серь, лужи, слякоть, холод — и небо! Много неба. Многое небо. Оно избыточно здесь, как в горах — земля: чашей наверх, а здесь небо чашей — вниз.

539-й километр от Москвы. Какой-то город губернский. Уж не Курск ли?

А вот уже и снег за окном. Снег есть умножение неба, его белизна рас простертие и вниз, на землю. Из мира исчезает чернота, земля; все — небесность: «земля» искрится светом (а не огнем), когда на небе голубизна, и матово белится, когда — белизна-серизна.

О, как духу рожден снег! Как свет. При снеге = при себе дух себя чувствует.

Вон еще чернота полей непокрытых напоминает о трудах плодородия и об нашей службе как акушерок при природе. (Таков земледелец, и я в это лето был сею бабкой повивальной. И грязно, и надоело в чревесах возиться гряземли).

Но и это покроется, побелеет. Исчезнет жизнь снаружи, зато вгонится внутрь, в дома, меж нас, в тепло любви. Жизнь — это явно станет очевидно — есть не природа-рождение, а душевность, сердечность меж нами, существами.

11 час — 329-й км. О, уж и ледок на речке! Опять гляжу в окно, переприручаю свой взгляд — с мышц гор, с медитации над их многоразличием,— на разнообразие равнинных плоскостей.

Уж и елочки заявились! Темненькие, дремучие, сказочные, вестницы дремы зимней. Ими высь черна и зелена зимой. Ну да: земля, где обычна чернь и зелень,— бела; а чернота и зелень вскинуты елями вверх, в воздухе плывут меж белым небом и белоземлей.

Рыжеватые жнивы под снегом, а где — зеленоватые озими. Все мягко-нежно коричневато, как кустики на лоне белоснежной жены моей Светланы.

И березки! И осинки! Всё — уже дома мы!

Какие они нежно-слабенькие, кружевные, без листвьев-то!

А вот опять наплыли елочки густотою своею.

Хоровод! Диалог, нет — многолог мотивов, мелодий. Перемежаются, перехлестывают друг друга, наплывают, отодвигают.

А вот и стога под снегом неполным.

Крепкие дубки с листвою золотой свой фаготный мотив пропели.

Все! Душа улегается в привычные условия, принимает уж и деревню, и долг поехать туда к себе в избу, огород вскопать, наблюсти еще что...

А ведь мятет уже выюжкой за окном!

Как правильно ехать поездом: постепенно акклиматизировать тело и душу — и полюбить... А самолетом — все вдруг, взрыв, удар ошаления. Тело враз перенесешь, а душа — смятена, вне себя и вне места. Потрясение ей. И лишь за те же двое суток уляжется; только нервам это хуже, ибо после потрясения. Да и не видишь ничего по пути. Самолет — это ПУТЬ БЕЗ ШЕСТВИЯ.

А дома-то — куш-ки! Славные бубушки! В валенках по снежку...

Как вопросительно растопырены кверху голые ветви лиственных, и как утвердительно звучат густые темные конусы хвойных!

Пелена скрывает даль. Вороны... (А вчера еще чайку следил, параллельно с поездом летевшую).

Станция. Рабочие в ушанках с опущенными ушами. Лица красивые от ветра и мороза.

«Скуратово»! Название уж какое твердо-державно-русское! Это тебе не «Ереван-Боржоми» (как вагоны наши соседние).

В поезде уже затопили.

Вдруг увидел: красные рябинки — ягоды снегирии деревца обвешали.

А это — «Горбачево». В валенках с калошами и в платках...

Уже и дали нет. Где ДАЛЬ-то? В яйце-белке мы — черненькие блошки и черточки существования. Облегает бытие.

А вот и луковица церкви — как червонное сердце и навитой тюрбан-чалма. Крыша армянского храма:



стремление в *высъ* являет, но прикрывает и направляет вниз, к земле прихлопывает. Храм = саркофаг (особенно одна церковка в Агарцинском монастыре такова). В храме — в могиле при жизни. Привыкаем.

Луковка тоже в *высъ* стремления не дает. Но она сердечна, задушевно-тепла, собирает к себе люд из пространств и далей погреться у душевного очага. Уютно избяна она, луковица теремная. Сказочна.

Совсем уж призрачны черточки кустарников, стогов на снегу: в снегу — как в воздухе. И корни с землей от ствола снегом обрезаны. Призраки бывшей жизни бескоренно плывут, висят в снежном мареве. Черный саван деревьев. Кажется: никакой им связи и опоры в бытии нет. (Земля-то исчезла как субстанция. Есть просто низ, но и он уж бел, как и небо).

Если русская женщина в пышно жизненном молоканском селе в горах Армении подивилась: всего и свету-то, а дальше ничего нет за кромкой чаши из гор! — то здесь удивишься: только-то и жизни! существования! Такое призрачное оно и слабое, бытие, в небытии!.. То есть там — твердая ограниченность-конечность пышной жизни. Здесь — безграничность небытия и пронизанность им той слабой жизни, что (еще) есть, ее призрачность и прозрачность, проницаемость небытием — небом.

Уж и кустарники-деревья не чернеют, а белеют: седые они стали, и чернота воспринимается уже не как субстанция, а как тень: матьма, материя — функция света, есть ПОДсвет всего лишь.

Городок. Унылая веселость казенных пятиэтажек раскрашенных. Как уютно видится старинное барское здание трехэтажное, розоватое, в белых колоннах и в белой шапке!

Индустрия, краны. Пары, дымы.

Тоже вопросно-ответно стоят опоры электропередач:
вопрос — , ответ —  . И опять поля да леса да поземка.

Вот поселок большой ровно-крышный, аккуратно-немецкий. А рядом взметнулось неправильных доменных форм чудовище, чадно-дышащее. Завод теперь — живое существо(вание): дракон, Минотавр,— имеет право иметь кривые линии рук, плеч, сочленений-труб. А людское жилье и жизнь должны становиться мертвенно-геометрически правильными и прямыми (человек — винтик).

Тихо и пустынно в вагоне. Редко где человечек прикорнул-сгорбился у окошечка: легкий, залетный, со станции — до другой. А основательные тучные пассажиры-армяне повытряслись к Ростову уж. И странно вдруг сзади услышать взлет их речи гортанной: «ара, ара» (проводники между собой и кем-то).

Язык их — твердый, резкий, мускулистый. Вчера послушал без зла, незаинтересованно уж, мужскую речь в купе под моей полкой — и восхитился: звучность крепких земляных масс, сшибка камней, трения и прорывы, взлеты звука звонкого, в соноре...

Бедная легковушка: по грязи и шуге машина...

Уж предслышу вопрос Ашота Тиграновича, своего шефа⁷⁸:

— Ну как Вам понравилась Армения?

И ответ созревает:

— Трудно армянам жить друг с другом. Легче — среди других народов. Уж слишком крепко заквашен народ: сплошная соль и камень. Каково жить соли с солью! Надо, чтоб вокруг соли — жижка была — ну, как русские, арабы, французы, англичане или другие народы, чья субстанция пожиже, повоздушнее. А то все хитры, все умны, все волевые, все напористы, все сильны. Как тут обманешь, когда все хитры? А средь других — безболезненно проюлишь; и для тех полезно: поры займешь...

Все это и к евреям относится. Так что их затея с государством Израиль — это поселить соль земли с солью земли. А сами с собой — жестоковыйны; и недаром вся история их, что в Библии,— это почернение «избранного народа», огреховенье.

⁷⁸ Заведовал сектором истории механики в Институте истории естествознания и техники АН СССР, где я тогда работал.— 7.IX.90.

И сейчас их воинственность и национализм — плоски: «Ах, вы думаете, что евреев только бить можно? Так мы вам покажем, что они и сами могут и бить, и уничтожать, и воевать, и быть жестокими,— словом, КАК ВСЕ!» То есть, эта идея — от противного. Слаба она, чтоб надолго... Израиль — alter ego Освенцима; вызван к жизни резней евреев, как кроликов и овечек, во Вторую мировую войну,— что побудило национальное чувство восстать и проявить себя тоже волками, хищниками, ничем не хуже.

А вот уже и московские коробы-громады. Смотреть не на что, не надо. В огромной Москве живя, надо не видеть, а уходить в душу, внутрь, и там жить-обитать.

Царицыно. Все в домах. Простора нет. Въезжаем в мешок Москвы. И долго еще в ее кишках...

Однако и неохота простору. А хочется — свиться — и в библиотеку. Свиться телом — и развиться в дух. Изъятие из природы. Город — жизнь духа пророчит и ее обещанием заманивает.

В метро. Только ступил на платформу вокзала, как завертелась во мне привычные скоростные механизмы, и понесли мои шарниры — в кишку метро. И вот я уже — в трубах городской канализации передвигаю свое кровяное тельце.

Лица — высеченные и эмалированные отчуждением: чтобы, будучи рядом, в толпе, быть совсем в другом месте, вести свою линию, быть несъединимы, образовывать чисто математическое, а не органическое множество.

И тут восчитил я отчуждение: оно, его механизм позволяет быть личностью в массе; более того: содействует уникальности каждого с увеличением множества.

Какие скульптурные маски — эти лица едущих на эскалаторе, или идущих на тебя на перроне, или сидящих напротив в вагоне!

Какая полифония! Каждый ведет свою партию в бытии, не слыша другого, не влияясь никаким соседним мотивом. Вон этот пожилой в очках, или военный с газетой, иль молодая женщина у дверей, иль пара ребят справа от меня.

Труба над рекой (метромост «Ленинские горы»), река в трубе (Неглинка) — всему труба.

Взгляды людей — потушенные. Портретов с этих ликов не напишешь. Где жар, где пыл?..

Григор Нарекаци

27.VII.90. Вчера, прося Настю (дочь) подкормить меня каким чтением умно-духовным, получил от нее «Книгу скорбных песнопений» Григора Нарекаци, армянина,— и потрясен изобилием слов-речений и все одной интонации: покаяния-плача. Книга величиной с «Божественную комедию». Верно Аверинцев в предисловии: что нагромождение слов — это чтобы подольше оставаться в состоянии медитации. И тому риторика служит: словесная щедрость и изукрашенность — как спорт. Для удержания себя в состоянии внимания. Рыщущему уму там пищи мало, но некое остолбенение на одном мыслечувстве. Слова помогают ступору, столпничеству, оцепенению-безмыслию (как в тихом делании «Иисусовой молитвы в исихазме этот же эффект удержанием от слов достигается).

Ну что ж: монах! Надо ж занять себя каким делом-послушанием на долгую жизнь. И вот в ключе ПЛАЧА panoramu Бытия и его явлений приводит. Армянская идея-затея: внутрь себя, интраверты. Грузин бы мир провел в жанре ТОСТА, заздравицы, застольной песни, гимна-пэана. Наружу, в небо, в ширь, в воздух, в высъ. Экстраверты!

Однако, какая мысль и красота в сих плачах, когда вчитаешься! Описав бесконечность бедствий и грехов, Григор:

Ибо все эти полки неправедного войска искусителя
Можно уничтожить всего лишь тонкими ручейками
пролитых из очей слез
Или легчайшим вздохом скорбящего сердца, из души
исходящим,
Подобно тому, как многоногие пресмыкающиеся, черви
язвящие,—
Что рождаются в гнили земли и,
Едва двигаясь, вновь вползают в нее —
Погибают, попав в вязкий ток масла оливы
Либо в самую малость смертоносного зелья

(Гл.7,1)

Кавказ

Но потрясающе — как Армянский космос тут проявлен: ориентация на низ и землю (черви и гниль) и в грудь свою: покаяние, центростремительное накачивание — в ядро себя. Оттого — переполненность армянина, налитой он и его глаз: и собою, и миром подавлен, уплотнен. Не развеян-разветрен, как грузин, кто щедр наружу, даже не от избытка, а просто так ориентирован. И ничего нет у него, а будет дарить-одаривать. Армянин же — стяжатель. Даже страданий, как этот, Нарекаци, копилка плачей-стенаний. Уплотнитель ткани Бытия. Мало того, что плоть его — камень, но еще и душу свою камнями побивает:

И поелику поставил я тебя, о душа моя бесплодная,
 Как мишень пред внутренним взором моим,
 То меча в нее булыжники слов своих,
 Я, как зверя дикого, неукротимого,
 Стану безжалостно избивать тебя камнями.
 ...Начну сражаться я добровольно,
 С самим собою, как с врагом неким.
 ...Исповедую сокровенные тайны,
 Что волнуют мысли мои,
 Как уже свершившиеся деяния греховные

(гл. 9, 3)

То есть потенциальная энергия тут роднее и существеннее кинетической. Полагаю, что и в естественно-научных теориях армян-ученых, физиков, этот акцент бы можно уловить — проследить. Помысел, потенциал греха, трактуется Григором Нарекаци в его мысленном эксперименте со своей Психеей как уже поступок, свершение, делание в наружном мире. Но он вверчен внутрь армянской души и там уплотнен в бессветной динамике Черного Солнца. Его предельное проявление в переживаниях души — это отчаяние. И о нем как со знанием дела толкует Нарекаци, приводя к нему диалектику греха и покаяния:

Поелику исступленное покаяние,
 Как и необузданное грешение,
 Равно к погибели ведут,
 То хотя разнородны они и несходки между собой,
 Однако, сопоставляя суть каждого из них друг с другом,
 (Видишь), что оба они порождают отчаяние

(гл. 10, 1)

Черное солнце

8.XI.92. Из сверхъидей и архетипов, пронизывающих Армянство, Черное солнце тут сильно пышет и формирует «лица необщье выраженье» этого Космо-Психо-Логоса. Это не то «черное солнце», что взвидел на небе Григорий Мелехов, похоронивши Аксинью. Нет, оно не в небе и снаружи, а в земле, в недре Матери-и и внутри человеческого существа — некий центр тяготений и энергий, центростремительных туда и отводящих взгляд от неба и света наружу. И там вулкан стиснутый, окованный, гнетет... Вон как у современного поэта, армяно-иудея из Одессы, пишущего по-русски, Эдвига Арзуняна⁷⁹, это выражено:

я песчинка в бесконечном море //
на летящем острове Земле
мне в удел даны лишь ночь да горе //
с редкими просветами во мгле

Он страдает, да, но и любит это состояние, оно — родное:

я знаю я мертвец я камень я природа
весь смысл в бездействии и хаосе... с ума
сошли вы все... да здравствует свобода
от жизни... да восторжествует тьма

Вот новый вариант «Вакхической песни» пушкинской, армяно-советский ее извод, ибо плюс к армянству еще и душевное состояние людей времен «застоя» тут выражено:

в эти годы мрачные // в эти годы душные
развелись невзрачные // люди равнодушные

Но эта вдавленность в землю, в себя, в помещение прочь от пространства — интимный вектор армянства. Тут душа — при себе:

я хочу рассказать ни о чем // я хочу рассказать никому
я хочу заложить кирпичом // все проходы к себе самому

⁷⁹ Он родился в 1937, филолог-русист. Писал «в стол» (скорее — «в память» свою, как зэк, не арестованный еще), иногда печатался по мелочи в газетах и журналах. Сейчас три года уж как живет в США, там тоже с трудом свою философскую (не злободневную) поэзию пытаясь издавать.

Позднее книгу издал и прислал, но под рукою нет, так что цитирую по рукописи. 3.I.02.

«В стену равнодушия я вмурowan» — тот же образ. Или:

мир катится в кромешный ад // а мы твердим про цель
и каждый втихомолку рад // в свою забиться щель

«Щель», «колба», «гроб» — варианты закрытого пространства, космос, где царит МА-ТЬ = ТЬ-МА.

я стучу по затылку // как в пустую бутылку
а потом стучу в лоб // как в наполненный гроб

Лоб, ум — мучитель, но и освободитель. Веселый Ум (как Зеленый шум) — жизненная стихия Арзуняна. С умом он повсюду дома: ум = дом. По долгу службы жизни «как все» возмождееет он и женщину, однако, свободнее ему вот как:

но я поставил у дверей // тяжелую кровать
и сам я лег на ту кровать // чтоб ты не шла ко мне
я буду ночью ревновать // твоих зверей к луне

Но мне в себе не скучно, потому что в меня вмурowan простор жизни, и я ее арена. Там — «Мой зверинец»:

во мне живут четыре зверя // и кот и пес и конь и волк
они живут во мне не веря // что в этом есть какой-то толк
они мякуают и лают // и ржут и воют день и ночь
они напомнить мне желаю // что выйти из меня не прочно

Вот какие субстанции и энергии, и у каждой — свой интерес и цель, свой звук и хоты:

кот хочет выпрыгнуть в окошко // туда где промелькнула кошка
его за это я ругаю // но иногда с цепи спускаю
пес хочет выскочить в ворота // и за штаны поймать кого-то...
конь хочет проскакать галопом // по всем Америкам
Европам...

— мечта советского невыездного,

а волк проводит время воя // о том что он желает бол
его совсем я не ругаю // зато с цепи и не спускаю

И что же? Как жить в таком разрыве? Не человек, а «разрыв-трава».

во мне живут четыре злюки // и волк и конь и пес и кот
они замучились от скуки // жить на цепи который год

они мяукают и лают // и ржут и воют день и ночь
они напомнить мне желаю // что разорвать меня не прочь

Человек-взрыв, расширяющаяся вселенная, что втиснута в худощавого человечка среднего роста с меланхолическими черными глазами. Он обессилен разнонаправленными векторами своих желаний выйти из себя в мир: к женщине, в дружбу, в путешествие, в драку политики; но так как разнонаправленные стремления погашают друг друга, ему остается скуча и динамическая неподвижность.

Характерен и жизненный выбор армяно-иудея Арзуняна. Он, конечно, в разладе с советской действительностью, но не выходит наружу диссидентствовать и бороться, печатать в самиздате тут или за границей, нет: ему для самочувствия и самоуважения достаточно писать в себя, «в стол». И здесь не только страх попасть в тюрьму или психушку (хотя и это есть), а и привычка к самоудовлетворенной жизни в себе, внутри, под воздухом и пространством событий, истории, в катакомбах земли и в оболочке себя. Недаром в диссидентском движении эпохи «застоя» так мало армян. И если Арзунян слагает такие стихи:

мои стихи не музыка // прекраснозвучных лир
они записка узника // переданная в мир

не торопитесь при этом общественно-политически ахать и со-
страдать поэту под гнетом власти и цензуры; тут поглубже: эк-
зистенциальный узник он — у самого себя в заключении. А из
этой тюрьмы выдраться — большой подвиг. Да и зачем выди-
ваться, когда там — целая своя жизнь и ткань?

и маленький паучишко // плетущий свои паутины
и давят меня ногами // огромные кретины
а я пожираю мелочь // попавшую в паутины
и вырасти мечтаю // как огромные кретины

Человек из подполья! В России этот персонаж там страждет и рвется в открытое пространство наружу и кричит, речист-многоглаголен: не нормально такое обитание в космосе-то «беско-
нечного простора». А армянину в подполье бытия как-то и не плохо: ведь он под полой у Матери-и Земли, в ее толще залегает. И там тяготение «черных дыр» его Вселенной. Тяготение Земли

пересиливает всемирное тяготение Неба. Вот как об этом в «Споре Неба и Земли» Персеса Мокаци, поэта XVI–XVII вв.:

Что краше и что могучей — // Земля или небосвод?
 Небесное солнце и тучи // Или блага земных щедрот?
 Небо Земле сказало: // «Богатств у тебя немало,
 Но в сумрак и ночью поздней // На небе мерцают звезды,
 Сияют с моих высот
 Земля отвечала: «Я тоже // Отмечена милостью Божьей,
 Владычица я не из бедных: // Шесть тысяч цветов
 разноцветных
 В моих цветниках растет!»

И далее Небо хвалится дождем, солнцем, градом, ангелами, Земля же — плодородием, влагой, ущельями, могилами, апостолами и святыми; и вот решающие аргументы:

И Небо Земле сказало: // «Богатств у тебя немало,
 Но все же на Небе тот, // Чья власть над тобой и мною,
 Кто высшее все и земное // По воле своей создает»,
 Земля отвечала: «И все же // Я знаком отмечена Божьим:
 Суд страшный грешников ждет, // Внизу он вершиться будет,
 На Землю спустятся судьи, // Небо на Землю падет».
 И Небо в гордыне смирилось, // И Небо Земле
 поклонилось...

(пер. Н. Гребнева)⁸⁰

Странная интуиция! Страшный суд значимее Бога. И вершится ведь он, по Апокалипсису, надземно, в воздушном пространстве: там трубы и всадники и проч. И престол Судии, Царя Небесного,— в высях. А тут даже событие Страшного суда притягивается мощным полем Матери-и Земли, в полах ее происходит.

Начало Великой Матери-и тут не обращено вверх, в Небо (как Вечно Женственное начало в России: Богородица, София, Софийность, или в германстве, у Гете в «Фаусте»), но вектор его вниз: опущен взор армянки, да и армянина — не вверх, а прямо или вниз смотрит налитыми своими черными глазами-каплями-камнями драгоценными = сгустками Черного солнца. Ведь его представители в земле — это камни, металлы.

⁸⁰ Армянская средневековая лирика. Л., 1972. С. 327, 329.

Да, это важнейший акцент — непросветленность Женского начала здесь: не тянется в *высъ*, исполняясь светом и духом (как в православии София и душевные женские персонажи русского романа), но МАТЬМА тут самодовлеющая и самоуверенна, что все ее будет, к ней придет, в лоно ее. Не просветляет такое мужчину. Воздуховность душевности — черта северной Психеи. В армянстве МАТЬ = ТЬМА — владычица и гнет душевность внутрь и вниз, в оплотнение вещества — и существа. Камень тут всесимвол. Недаром и Мандельштам, чья психея оказалась к армянству склоненна, уже свой первый сборник стихов назвал «Камень». И странный поворот времен года поразил меня в стихотворении «Я, смертный, сотворен из праха» Хачатура Кечареци (XIII–XIV вв.):

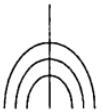
Жизнь — это снег на склоне горном,
Грядет весна — растает он (там же, с. 244).

Твердость = Жизнь. Влага и Свет, Весна = Смерть...

Каждый из национальных миров имеет свои характерные эмблемы. В еврействе мне таковой видится семисвечник:



Так мало зацепления с землей и развит воздух. Психо-Логос минус Космос — в этой фигуре-схеме. Эмблема армянства — Арагат-гора. Это как бы семисвечник перевернутый:



И каждый мир и символ имеет свой смысл, красоту и ценность в божественной экономии Бытия.

24.I.93. Подыскивал заголовок для своего Армянского путешествия, в коем бы дать идею-символ Армянства,— и родился такой: «Белый Арагат и Черное солнце». А ведь подходит! Белый Арагат, библейская Гора-Небо, как воплощенный низшедший Бог,— да это же как монофизитство, в котором Божественная сущность вынесена вне человека (и даже вне земли Армении Арагат стоит, за ее границей, на территории Турции, и манит — вот, рукой подать!). Человека же, как богооставленного, лава Черного солнца недр заливает...

НЕТ БОЛЬШЕЙ ПЕЧАЛИ... (Послесловие)



ет большей печали, чем вспоминать о днях счастья, находясь в несчастье» — этими словами Дантовой Франчески хочется начать Послесловие к книге. Вот, кажется, запускаю ее в печать, но как изменились времена! Музу культурологии заглушают пушки. К намерению спокойно дифференцировать национальные понятия о мире и системы ценностей примешивается вздыбленная ныне страстно-политическая ситуация НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА, решать который, как обезумев, бросились и огромные народы-массивы, и каждое племя свою кукольную государственность учреждать. И остро встал прагматический вопрос: ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО — мое исследование и описание? Какая польза и прок, к чему может побуждать, вести?

Во-первых, заявляю: Национальное — не высшая ценность для человека, это лишь одно из измерений его бытия среди равнomoщных сверхъидей и сущностей. Выше и труднее — Личность, Истина, Дух, Любовь... Национальное — подсобье, уровень природы-породы (поначалу). Но как надо изучать Природу (чтобы человечество в согласии с нею развивало Дух и Культтуру за свою Историю), так надо изучать и контекст национальной ментальности, национальный Космос, дабы человек мог пронзять эти плотные слои атмосферы и развиваться выше в Свободу и Личность (Национальное же им — как Судьба), а Любовь-Эрос да пресуществляется в Любовь-Агапэ.

Так что Национальное — это и почва, и помеха. Как почва, оно плодородящее: умозрения поэтов и философов, идеи науки и даже теории физики там корень своих интуиций имеют. Галилей, Декарт, Ньютон внесли архитектурность Италии, баланс-симметрию француза, «самосделанность» англосакса — в системы физики и математики. Как раз это мне было любопытнее всего выявлять в начале моих трудов над национальной темой — варианты Инварианта, единой истины Целого. Однако эпиграфом к своим национальным исследованиям я недаром взял изречение Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос (из спящих же каждый отвращается в свой собственный)». Значит, национальные образы мира — это как бы сны народов о Едином. Зачем же заниматься «снами»? А чтоб не принимать их за действительность. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных «снов» можно попробовать и до подлинной реальности добраться.

Однако в принципе Национальное — из тех вопросов, про которые мудро сказал генерал де Голль: есть вопросы (проблемы), которых нельзя разрешить; с ними надо научиться жить — не решенными... Так мыслил и Будда, и другие мудрецы, отказываясь ставить и отвечать на последние метафизические вопросы. Нынешняя же ангажированность прагматикой «национального вопроса» и поиск практических мер и путей к его «разрешению» — очередная эпидемия Глупости, которая вот уж правит бал... Политики куют национальные государства, посольства и парады, «чтоб и у нас, как у людей, как у всех!» — и при этом каждый народ начинает выглядеть, как другой, самобытность нивелируется. Не всем-то и свое государство нужно. Представьте себе государство цыган — что бы там именно от НИХ осталось?

И парадокс: политическая одержимость национальным вопросом так же не дает ныне изучать и понимать национальные особенности в быту, мышлении, психике, как прежде идеология казенного «интернационализма», что игнорировала этот аспект. Тогда подступаться к этой теме было запретно из опасения: как бы не питать-стимулировать национализм?! И на этом основании мои опыты издать эти портреты национальных республик Со-

юза ССР отвергались в 60, 70, 80-е годы. Но вот пошла «перестройка», вспыхнули национальные страсти и конфликты. Национальная проблема выдвинулась в проблему № 1. Политики собираются, мудруют, не дав себе труда знать и понимать национальные отличия народов и стран, хлопочут именно по-пустому и без хозяина, ибо не ведают, какую «глину» пробуют месить. Однако и теперь издавать боятся: как бы не задеть национальные чувства, не обидеть? А они ведь так щепетильны, раздражимы, если им покажется НЕ ТО определение их (а значит, ограничение), объяснение... Выходит: стрелять — не обидно, а мыслить — обидно? Мои ведь интеллектуальные головоломки на национальную тему — во избежание физических как раз... И интонация моя — благая: каждый народ видится мне (повторю свой образ) — как инструмент в оркестре человечества. Флейта, контрабас, валторна разны по тембрам, но все они — музыка, единое дело и бытие осуществляют. *Возлюбленная непохожесть* и незаменимость — мой девиз! Но почему-то валторна вдруг застыдилась своего тона и похотела звучать скрипкой и ломает корежит-перестраивает свою структуру и варганит новую, чтобы доказать, что «и мы такие же, умеем!» Как раз недостаток САМОПОЗНАНИЯ собственного качества своего народа — у политиков, что хлопочут об уСЛОВИЯХ существования и развития своей нации, не слыша безусловного СЛОВА, чем она жива.

Национальное — это толща, вертикаль (или шар). Всемирная единая цивилизация — горизонталь, поверхность. Их диалог — в этом поле силовых линий — питает Историю и Культуру мира. Судьба и Свобода — полюса-ориентиры тут. Национальный Космос — как судьба, Предопределение данному Народу, есть ПРИРОДИНА его страны, чему он — и Сын, и Супруг и призван любить-возделывать ее в ходе Труда (как свободы от Природы). Культура есть чадородие их супружества за историю. Причем Труд и Природа — и в соответствии, но и в дополнительности друг ко другу: через труд создается то, чего не дано стране от природы (как, например, земля в Нидерландах и проч.).

Итак. Национальное — частично и есть относительная ценность. Но азарт изучения этой части может застить остальные, и

частный аспект начинает выступать как главно ценный и определяющий. Эта односторонность видения есть в моих национальных описаниях — и в этой книге. Однако увлеченность есть Эрос, энергия. «Без страсти не делается ничего истинно великого», — говорил Гегель. Да и самого малого — зачатия. В состоянии страсти свет клином сходится в сей миг на возлюбленном «предмете», на этом смертном мотыльке,— и тогда совершаются порождение и творчество, которые ускользают количественной меры. Ведь всякое существо есть превосходное в своем роде. Вот этот СВОЙ РОД СОВЕРШЕНСТВА и призваны выявлять описания национальных образов мира.

И в каждом из моих интеллектуальных путешествий в национальные республики я описывал «свой род совершенства» тамошнего бытия и мышления. И, по наивности, посыпал им эти портреты, пытаясь издавать у них на месте. Ничего из этих попыток не вышло, но каждая неудача отмечена местным колоритом и национальным характером и добавляет свой любопытный штрих к соответствующим картинам.

Готовя сейчас рукопись к возможному изданию, думал: как странно теперь, во времена кровавых смут взбесившихся народов, звучат эти тексты из «доброго старого времени», когда в стране была

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина.

(Ломоносов)

— то есть МИР и дружба народов — не только верхушечная, но и реальная, низовая-глубинная, и когда можно было спокойно постоянную сущность каждого народа созерцать, улавливать и осмысливать! Однако никуда она не денется от народа — его константная сущность. И для возвращения к себе, для работы «познай самого себя», каждому народу, надеюсь, могут послужить эти мои портреты.

Ведь какая aberrация, искажение зрения! Народы сцепились ныне друг с другом, одержимые страстью к своей национальности, стремясь высвободить простор для своего именно особенного качества — чтобы ему привольнее в этом мире жить и прояв-

ляться. Но делают-то что? Самое одинаковое и абстрактное — смерть! Ей, всеуравнивающей абхазов и грузин, азербайджанцев и армян,— служат. Нивелировку и энтропию осуществляют, стремясь к своей уникальности! А цели какие ставят? Заиметь собственного Левиафана-государство, валюту, полицию — и чваниться на международных конференциях, т. е. стать КАК ВСЕ. Снова дивлюсь этому парадоксу, ironии неисповедимых путей Господних. И в усилиях этих, направленных на создание условий национального бытия, катастрофически как раз СЛОВО свое растрачивают: жертвуют и жизнями людей, и культурой, «лица необщье выраженье» свое губят. И какие-то противные (простите!) стали люди и народы — в этом состоянии ошаления зверского. А были-то, виделись мне такими благородными: по-разному, но — прекрасными!

И понял: нарисовал я ИДЕАЛ каждого народа, ему ИКОНУ его самого: то благое, что мне увиделось в нем, и в какой комбинации особой. И это уже — уникальный опыт и дело, запись и текст. Такое уже не повторится. Сейчас, да и никогда уже, подобного не увидишь и не напишешь. Пускай же посмотрят народы, их интеллигенты-читатели, в эти свои высокие образы и да побудят они их к возвращению к своей сути, к положительному творчеству национальной культуры — к этим занятиям, прочь от абстрактно-механической установки на взаимоотталкивание и уничтожение.

22–24 января 1993 года.

Георгий Гачев

**Национальные образы мира:
Кавказ**

**Интеллектуальные путешествия из России
в Грузию, Азербайджан и Армению**

**Компьютерная верстка
И. Белюсенко**

**Корректоры
Л. Калайда, А. Макарова**

Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.01.02
Формат 84x108/32. Гарнитура Мысль. Бумага офсетная
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84. Тираж 3000 экз.

Заказ № 198
Типография №12. г.Москва, ул.Мясницкая, 40, стр.6

КНИГИ-ПОЧТОЙ

**ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА
«ТРИКСТА»**

*предлагает заказать и получить по почте
книги следующей тематики:*

- психология
- философия
- история
- социология
- культурология
- учебная и справочная литература
по гуманитарным дисциплинам
для вузов, лицеев и колледжей

**Прислав маркированный конверт
с обратным адресом, Вы получите каталог,
информационные материалы
и условия рассылки.**

Наш адрес:

*111399, Москва, ул. Мартеновская, 3, стр. 4
ООО «Трикста»,
служба «Книга-почтой».*

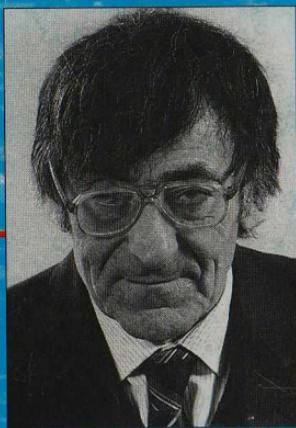
**Заказать книги можно также по тел./факсу:
(095) 305-60-88, 176-93-38, 176-95-23**

**или по электронной почте:
e-mail: aproject@mtu-net.ru**

**Просим Вас быть внимательными и указывать полный
почтовый адрес и телефон/факс для связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых поступлениях книг.**

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!





Георгий Гачев, писатель-мыслитель и ученый, доктор филологии, работает на стыке гуманитарных и естественных наук, стремясь к целостной картине мира. В его «привлеченном мышлении» сотрудничают на равных рассудочное понятие и художественный образ. Его произведения — это одновременно явления и науки, и философской прозы.

Главный труд жизни Г.Д. Гачева — серия сравнительных описаний культур и миропонимания разных народов «Национальные образы мира» в 16 томах, из которых уже вышли: «Образ в русской художественной культуре» (1981), «Национальные образы мира» (1988), «Русская Дума. Портреты русских мыслителей» (1991), «Наука и национальные культуры (Гуманитарный комментарий к естествознанию)» (1992), «Образы Индии (Опыт экзистенциальной культурологии)» (1993), «Русский Эрос» (1994), «Космо-Психо-Логос» (1995), «Америка в сравнении с Россией и Славянством» (1997), «Евразия — космос кочевника, земледельца и горца» (1999). Хорошо известны читателю и другие книги этого автора: «Ускоренное развитие литературы» (1964), «Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр.» (1968), «Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа» (1972), «Жизнемысли» (1984), «Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке» (1991), «Семейная комедия (Исповедь)» (1994), «Жизнь с мыслью. Книга счастливого человека (пока...). Исповедь» (1995), «Музыка и световая цивилизация» (1999), «Вещают вещи, мыслят образы» (2000).

ISBN 5-94186-010-2



9 785941 0860104